



Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО И И. К. ЛУППОЛА



Т о м X



А К А Д Е М И Я
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПРОЗА



А С А Д Е М И А
1937

*Виньетки на титульных страницах
и заставки Л. Р. Мюльгаунта
Суперобложка и переплет
Л. С. Хижинского*

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Я до сих пор не мог написать вам о событиях великих трех февральских дней, так как был совершенно ошеломлен. Все время барабанный бой, выстрелы и марсельеза. От последней, от этой нескончаемой песни, чуть не взорвался мой мозг, и, увы! — опаснейший для государства идейный сброд, который я много лет держал там в заключении, снова вырвался наружу. Чтобы несколько приглушить мятеж, возникший в моей душе, я по временам напевал вполголоса какую-нибудь благочестивую отечественную мелодию, например: «Слався в победном венце» или «Чести и верности не изменяй» — тщетно! Дьявольский франкский напев своим громом заглушал во мне все лучшие звуки. Боюсь, что демонические преступные звуки вскоре донесутся и до вас и вы тоже узнаете их обольстительную мощь. Примерно так должна была звучать песня, которую насвистывал Гамельнский крысолов. Не повторяется ли великий автор? Не иссякает ли его творческая сила? Драма, которую в феврале этого года он поставил в наш бенефис, — не давалась ли она уже восемнадцать лет тому назад, здесь же, в Париже, под заглавием «Июльская революция»? Но хорошую пьесу можно смотреть и два раза. Во всяком случае, она исправлена и дополнена, в особенности обновлен ее конец, встреченный с шумным одобрением. У меня было хорошее место, с которого я мог смотреть на представление, так сказать, нумерованное отдельное место, потому что улица, где я находился, была с обоих концов отделена баррикадами. Лишь с большим трудом удалось мне добраться до моего жилища. Тут я имел

полную возможность восхищаться талантом, который проявляют французы при постройке своих баррикад. Эти высокие бастионы и траншеи, для возведения которых немецкой основательности потребовались бы целые дни, вырастают из-под земли в несколько минут, и, кажется, подземные духи принимают в этом участие. Французы — народ быстроты. Подвиги, которые они совершали в эти февральские дни, тоже вызывают наше удивление, но все же мы не должны ими смущаться. Отвага есть и у других: человек по своей природе храбрая бестия. Презрение к смерти, проявленное французскими рабочими во время борьбы, потому, собственно, должно бы повергать нас в изумление, что источником его отнюдь не является религиозное сознание и опорой ему не служит прекрасная вера в потусторонний мир, где получаешь награду за то, что здесь, на земле, ты умер за свое отечество. Столь же значительна, как их храбрость, я даже сказал бы, столь же бескорыстна была и честность, которой отличались эти бедные люди в блузах и лохмотьях. Да, их честность была бескорыстна и тем самым не похожа на торгашеский расчет, по которому терпеливая честность доставляет большую выгоду и доход, чем удовлетворение воровских наклонностей, не приводящих нас в конце концов ни к чему: честность, мол, крепче всего. Богачи немало удивлялись тому, что несчастные бедняки, в течение трех дней господствовавшие в Париже, за все время не тронули чужой собственности. Богачи трепетали за свои сундуки с деньгами и очень удивились, когда нигде не произошло краж. Строгость, которую народ проявил по отношению к отдельным вора, застигнутым врасплох, даже не всем пришлась по душе, и некоторым стало почти что жутко, когда они узнали, что воров расстреливают на месте. Ведь при таком правительстве, думалось им, в конце концов нельзя быть спокойным за свою жизнь. Многие разрушила ярость народа, особенно в Пале-Рояль и в Тюильри, но грабежей не было нигде. Только оружие

брали там, где его находили, да еще в двух упомянутых королевских дворцах народу было разрешено присваивать себе найденные съестные припасы. Пятнадцатилетний мальчик, живущий в нашем доме и принимавший участие в битве, принес своей больной бабушке банку варенья, которую он завоевал в Тюильри. Маленький герой совсем и не полакомился им и в целости принес банку домой. Он так радовался, когда старуха нашла, что варенье Луи-Филиппа, как он его называл, чрезвычайно вкусно! Бедный Луи-Филипп! В таком преклонном возрасте снова взяться за страннический посох! И в холодную, туманную Англию, где варенье изгнания вдвойне горько на вкус.

Париж, 19 марта 1848.

Луи-Филипп был приветлив и добр. Жестокость, кровопролитие были ему противны, это был король мира, оливковая ветвь служила ему скипетром; он был, так сказать, личным врагом войны. Он обладал познаниями во всех областях науки, и просвещение, терпимость и филантропия XVIII века прочно вошли в его ум и в его характер. Он был здоров. Не только оспа, но также и революция была своевременно привита ему, и он был свободен от той наследственной тайной злобы к молодой Франции, которой болели его кузены старшей линии. Он рожал прекрасных, чистых детей, цветущее поколение. Он хорошо сидел в седле и проявлял в опасностях, в особенности если они угрожали только его жизни, самую хладнокровную отвагу; на придворных празднествах и в беседах он восхищал всех своей любезностью, благосклонностью и приветливостью. Этот Луи-Филипп обладал всеми буржуазными добродетелями и не обладал ни одним дворянским пороком, нравом был целомудрен, как сельский священник в Шотландии, умерен в своих удовольствиях, как арабский бедуин, неутомимо трудолюбив, как приват-доцент в Геттингене, — словом, у него были всевозможные достоинства, — и все же в одно прекрасное

утро французы сбросили его с трона, и все-таки они со стыдом и позором выгнали его из страны. Когда злополучный монарх взшел на корабль, который должен был увезти его в унылую Англию, он произнес знаменательные слова: «Вместе со мной хоронят монархию во Франции, я был последним королем французов!» Да, Луи-Филипп был единственно возможным для этого народа королем, и даже его, после восемнадцатилетнего опыта, перестали они выносить. Французы выросли из поэтической ливреи роялизма, пурпурно благочестивой романтики с золотыми галунами, — она была для них слишком узка, она лопалась по всем швам, и они сменили ее на республиканскую блузу, правда, слишком широкою для них, но все же дающую возможность более свободно двигаться. Теперь у них республика, и совсем неважно, любят ли они ее или не любят. Она есть у них теперь, а когда имеешь такую вещь, то уж имеешь ее, подобно тому как имеешь грыжу, или жену, или немецкое отечество, или какой-нибудь другой изъян. Французы теперь обречены быть республиканцами, à perpétuité *. Право же, им больше не оставалось никакой другой одежды: они ведь не могли ходить совсем голыми, и приличие требовало, чтоб они как можно скорее оделись. Теперь пусть каждый справляется, как может. По правде говоря, мы здесь уже кое-как свыклись со своей долей, мы чувствуем себя так, как будто всю жизнь все были Брутами, и недавнее прошлое лежит позади нас, словно старая нянина сказка: «Жил был когда-то король». Неужели властители по ту сторону Рейна с таким же равнодушным спокойствием примут невероятный факт? Почему бы нет? Господин де-Ламартин в своем циркуляре к полномочным послам в столь прекрасных словах высказал ту великую истину, что республика и монархия суть две формы правления, которые, в качестве добрых соседей, смело могут существовать друг подле

* вечно

друга и не должны, как прежде, вести друг с другом смертельную борьбу.

Какое великолепное произведение этот циркуляр, или, вернее, этот манифест господина де-Ламартина. Какой священной и примиряющей серьезностью веет от его слов, врачующих раны современности и рассеивающих страх перед будущим! Этот человек — истинный пророк, у него и речь и взгляд пророка. С удивлением, с головокружением взираем мы снизу вверх на эту высокую фигуру, которая за один год так выросла на наших глазах. Сначала это был только поэт, правда, первоклассный, но все же не слишком превосходивший нас, прочих. Я умел ценить его за совершенство формы и гармоническое единство его мыслей и чувств (два свойства, совершенно недостающих его сопернику Виктору Гюго и все же необходимых для достижения бессмертия). Но в произведении Ламартина несносен для меня был тот самый спиритуализм, та самая так называемая платоническая любовь, которая уже в канцонах и сонетах его предка, Петрарки, вызывала во мне нестерпимое отвращение и на которую я всю жизнь нападал в стихах и прозе. Только тогда, когда я услышал политические речи Ламартина, моя мысль, родственная ему, с ликованием бросилась ему навстречу; тут понравилось мне его лучшее сходство с мессером Франческо, который был не только поклонником Лауры, но и другом Риенци, и которого вечное солнце свободы воспламеняло так же восторженно, как и смертные звезды, глаза провансальской красавицы. Но как описать воодушевление, овладевшее мною, когда появились «Жирондисты» Ламартина, это произведение, популярность которого достигает легендарных пределов; после «Истории революции» Тьера и «Парижских тайн» Эжена Сю ни одна книга не возбуждала здесь такого внимания. Эта книга, прославляющая благородных мучеников Жиронды, как бы служит им великолепным саркофагом, и саркофаг этот, по античному образцу, украшен барельефами, изобраа-

жающими вакханалии: здесь мы видим причудливые вакхические шествия французской революции, воздымающих тирсы корибантов свободы и равенства, удаляющих в кимвалы террористов и умерших флейтистов, козлоногих сатиров bougrement patriotiques *, менад гильотины с развевающимися волосами, толпы людей, опьяненных божественным безумием, проноссящих в самых неслыханных и невероятных позах, при виде которых нами тоже овладевает жуткое разрушительное опьянение — эвоз, Дантон! эвоз, Робеспьер! Да, вакхический успех заслужила эта книга господина де-Ламартина. Право, казалось, что автору невозможно будет достичь еще большей славы. И все же это удалось ему, после того как он стал не только историком революции, но также одним из ее прославленных героев, ее теперешним гонфалоньером с трехцветным знаменем, которое он верно охранял, когда ему хотели навязать тот красный кровавый флаг, от которого небо да защитит нас на долгие годы.

Париж, 14 марта.

Почтенный соотечественник, которому я обычно диктую свои письма и который поэтому называет меня своим диктатором, уже несколько дней как покинул меня, и я, более чем когда-либо изменяя Германии, должен пользоваться посредничеством французского пера. Если вы найдете нужным перевести на отечественный язык мое сегодняшнее сообщение, то будьте добры устранить из него все те украшения и завитушки, которые еще напоминают аристократическую эпоху рококо в немецкой письменности. Власть изящного стиля кончилась, как и многие другие власти; искусство немецкого слова тоже эмансипируется, во всяком случае оно теперь больше не будет искусством. Подневольный труд строения периодов должен быть упразднен, и розги грамматики, которыми школьные тираны

* дьявольски патристических

заблаговременно начинают нас мучить, должны быть сломаны. В республике ни один гражданин не должен писать лучше другого. Истинно демократическое правительство должно провозгласить не только свободу печати, но и равенство стиля. Может быть, наш чудесный Ипполит Карно, издавая свой знаменитый циркуляр к ректорам школ, имел в виду что-нибудь подобное?

Но шутки в сторону. Карно — слишком дорогое имя и слишком благородный, воодушевленный свободой ум, чтобы нельзя было простить ему кое-какие преувеличенные выражения, которые вызвали неудовольствие в умеренных пескарях болота, но не могут быть признаны несвоевременными, если смотреть на них с известной высоты — с бескорыстной высоты горных вершин. Мысль этого циркуляра, подвергающегося нападкам, полна глубочайшей правды: революция нуждается в новых людях, и их нужно выкапывать из низших слоев общественной почвы. Старые метлы, которыми убирали старые нечистоты, износились, если и сами не превратились в мусор, и их тоже надо вымести вон. Новые времена, новые метлы! —

Наш карнавал был очень печален.

Париж, 22 марта.

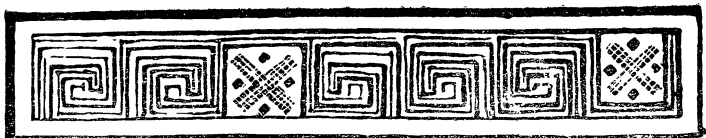
Да, это невероятно! Это превосходит самую горячую игру фантазии арабского импровизатора, всякий вымысел праздного мозга, все сказки «Тысячи и одной ночи». Шехеразада не раз решалась в своих рассказах на слишком смелые затеи, на слишком причудливые прыжки, и сонный султан спокойно мирился с самыми резкими нарушениями правдоподобия; однако, если бы изобретательная дама осмелилась с полной достоверностью рассказать о событиях последних трех недель, о наших новейших происшествиях, то, конечно, султан Шахриар в нетерпении выпрыгнул бы из постели и воскликнул бы: «История о заколдованных рыбах, заговоривших на сковороде человеческим языком, сама

по себе уже отнюдь не заслуживала доверия и грешила против всех привычных требований разума, но я никогда не поверю в нечто столь неслыханное, как парижская февральская сказка или же невозможные, придуманные злонамеренными безумцами, волшебные революции, которые будто бы произошли на тихих берегах Дуная и Шпре! Глупая баба! Глупые сказки!» Действительно, правда сбросила с себя всякие одежды правдоподобия. «Credo quia absurdum est»* — теперь это стало правильным изречением. Не только мир, но и разум отдельных индивидуумов сорвался с петель. Черепные коробки лопаются, потому что в них зараз ворвалось столько нового, — может быть, даже новые мысли. — Все это случилось так внезапно! Но как это случилось? Или в самом деле события этого мира направляются разумной мыслью, мыслящим разумом? Или же ими правит только смеющийся хамен, бог Случай? Ведь очень легко можно доказать, что победа республики была логической необходимостью, что она неизбежно должна была победить как последовательный вывод разума. Но еще легче усмотреть, что срок ее победы был сильно сокращен благодаря случаю и что, может быть, ей пришлось бы еще столетиями довольствоваться простыми деньгами, если бы несколько человек в блузах не опередило на несколько минут национальных гвардейцев, когда в палате депутатов происходила известная сцена. Если некогда справедливо утверждали, что в Июльской революции Луи-Филипп на фокуснический лад похитил власть, теперь с таким же правом то же самое можно утверждать относительно республики. Но почему бы честным людям и не испытать своих фокуснических талантов — тем более, что эти люди выделяли свои фокусы в пользу нуждающихся. Выборы временного правительства наверняка были делом случая. Но, к счастью Франции, эти выборы оказались очень удачными. Народ, этот

* «Верю, ибо это нелепо»

взрослый сирота, вытащил на этот раз счастливые номера из лотерейной урны. Сплошь выигрыши! Какое прекрасное соединение доблестных и одаренных людей, из которых каждого воспламеняет космополитическая любовь к человечеству! Храбрые паладины мира, истинные рыцари человечности, круглый стол, главой которого, увенчанной лаврами, должен быть признан господин де-Ламартин. Есть ли более прекрасные героические имена, чем имена: Араго, Карно, Кремье, Луи Блан, Мараст, Дюпон-де-Лер и т. д.? Но все же — и это замечание возникло у меня в первую же минуту — если эти имена несколько странным образом упали рядом, то им недостает внутреннего духовного сродства, и это отсутствие однородности было для меня самым бесспорным признаком того, что временное правительство республики не было созданием особой фракции, которая на случай победы держала бы наготове своих избранников, как это обычно бывает. Нет, этих людей действительно подняла на щит потребность и озарение минуты. Но кто же был глашатаем этой всеобщей воли и тысячеголового народного сознания? Это был молодой человек, по имени Этцель, по профессии книготорговец, но энтузиаст свободы, стройный, со светлой бородкой, остроумный человек. Он находился среди народа, врывавшегося в палату депутатов, и, сам не зная как это произошло, охваченный вдохновением, он поспешно написал на записке имена, прозвучавшие в его голове или в его сердце, — и это был список членов временного правительства, который на конце штыка был подан на трибуну оратору господину Кремье, прочитавшему его под бурные возгласы одобрения. Потом и весь Париж стал вторить этим возгласам, и с каким великолепием депутации сотен тысяч свободных граждан санкционировали авторитет временного правительства, — об этом последние номера газет сообщили с достаточной подробностью.

**ПРЕДИСЛОВИЕ
К НОВЕЛЛАМ А. ВЕЙЛЯ**



Господин А. Вейль, автор эльзасских идиллий, которым мы посвящаем несколько вступительных строк, утверждает, что этот жанр он первый пустил в ход на немецком книжном рынке. Это утверждение совершенно справедливо, как уверяют нас друзья, которые, кроме того, говорят, что упомянутому автору принадлежат не только первые, но и лучшие новеллы из деревенской жизни. Незнакомство с шедеврами современного творчества по ту сторону отца-Рейна мешает нам высказать собственное и самостоятельное суждение на этот счет.

Самому жанру — деревенским новеллам — мы, впрочем, не склонны отводить значительное место в литературе, а что касается творческого приоритета, мы также не преувеличиваем и этой заслуги. Самое важное — то, что труд, лежащий перед нами, хорош и удачен в своем роде, и с этой точки зрения мы воздаем ему самую справедливую хвалу и самое дружеское признание.

Конечно, господин Вейль — не из числа тех немецких писателей, в чьих художественных созданиях, осмысленно гармонических, проявляется природный дар пластического изображения, но зато он в буйном изобилии обладает редкой непосредственностью чувства и мысли, обладает восторженной душой, легко доступной всяким впечатлениям, и живостью ума, которая необычайно помогает ему, когда он повествует или описывает, и придает его литературным созданиям характер чего-то естественного. Он схватывает жизнь в любом ее внезапном проявлении, он застигает ее

врасплох, и сам он, так сказать, — одушевленный страстью дагерротип, который более или менее удачно, а порою, если то угодно случаю, и поэтично, отображает окружающий мир. Этот замечательный талант, или, вернее, это врожденное свойство, сказывается и в остальных сочинениях господина Вейля, особенно — в его недавней исторической книге о Крестьянской войне и в его весьма интересных, весьма острых и весьма бурных статьях, где он с самым похвальным неистовством защищает великое дело современности. Здесь выступают все социальные добродетели и все эстетические недостатки нашего автора. Здесь мы видим все его агитаторское великолепие и все его недочеты. Здесь он — в полной мере истерзанный, усталый от Европы сын движения, который уже не в силах выносить все неприятности и мерзости нашего нынешнего порядка вещей, и он уносится в будущее, верхом на идее...

Да, такие люди — не только носители идеи, идея несет их самих, словно всадников, мчащихся на коне без седла и без узды; как будто они, голые, привязаны к идее, как Мазепа, на известной картине Ораса Верне, — к своему дикому коню; она уносит их вдаль сквозь все ужасные выводы, через степи и пустыни, через камни и сучья; колючий кустарник рвет их тело, лесные хищники, попадаясь им на пути, стремятся их схватить, из ран струится кровь. Куда же примчатся они? К донским ли казакам, как на картине Верне? Или к золотой решетке блаженных садов, где бродят те боги?..

Кто они, эти боги?

Я не знаю, как их зовут, но великие поэты и мудрецы всех веков давно уже возвестили их. Сейчас они еще скрываются, таинственно замаскированные; но в снах, полных предчувствий, я порою осмеливаюсь срывать покрывала, и тогда я вижу... Я не в силах высказать, что я вижу, ибо при этом зрелище гордый испуг наполняет меня трепетом и сковывает мой язык. Ах! Ведь

я еще дитя прошлого, я еще не исцелился от того рабского смирения, того скрежещущего презрения к самому себе, которым человечество болеет уже полтора тысячелетия и которое мы впитали вместе с молоком матери, полным предрассудков... Я не смею высказать то, что я видел... Но наши более здоровые потомки с самым радостным спокойствием будут созерцать, узнавать и утверждать свою божественность. Они почти не в силах будут понять болезни своих отцов. Им будет казаться, что это сказка, когда они услышат, что прежде люди отказывались от всех наслаждений этой земли, умерщвляли свою плоть и душили свой ум, убивали девичью красу и юношескую гордость, все время лгали и скулили, терпели самые пошлые бедствия... кому в угоду — я думаю, не стоит говорить!

В самом деле, наши внуки будут думать, что слышат нянюшкину сказку, когда им расскажут, во что мы верили и что мы выстрадали! И они будут очень нас жалеть! Когда-нибудь они, эти прекрасные внуки, радостный сон богов, будут восседать в своих храмах-дворцах и, окружив алтарь, посвященный ими самим себе, развлекаться беседой о прошлом человечества, и вот, быть может, какой-нибудь старец расскажет им, что было время, когда люди чтили мертвеца, как бога, и справляли по нем страшные поминки, воображая при этом, будто хлеб, который они едят, — его мясо, а вино, которое они пьют, — его кровь. При этом рассказы щеки женщин покроются бледностью, и будет заметно, как вздрогнут венки, украшающие их прекрасные головы. Мужчины же подбросят ладана на алтарь-очаг, чтобы благовониями прогнать мрачные, зловещие воспоминания.

Писано в Париже, в страстную пятницу 1847 года.

ДОКТОР ФАУСТ

**ТАЛЦОВАЛЬНАЯ ПОЭМА,
С ПРИЛОЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ ЗАБАВНЫХ СООБЩЕНИЙ О ГЕРБАХ,
ВЕДЬМАХ И ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ**



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Г. Лемлей, директор лондонского Театра ее величества королевы, предложил мне написать для его сцены балет, и я, идя навстречу этому желанию, написал следующую поэму. Я назвал ее «Доктор Фауст, танцевальная поэма». Но эта поэма не была исполнена отчасти потому, что в сезоне, на который она была назначена, беспрецедентный успех так называемого «Шведского соловья» в Театре королевы делал излишним всякое другое представление, отчасти же потому, что балетмейстер из *esprit de corps de ballet** самым злостным образом тормозил и затягивал постановку. Этот балетмейстер считал опасным новшеством то, что либретто балета в кои-то веки было создано поэтом, в то время как до сих пор такого рода произведения всегда составлялись одними только балетными мартышками его породы в сотрудничестве с каким-нибудь убогим литератором. Бедный Фауст! Бедный чародей! Таким образом пришлось тебе отказаться от чести демонстрировать свою черную магию перед великой Викторией Английской! Посчастливится ли тебе больше на твоей родине? Если бы, против моего ожидания, какая-нибудь немецкая сцена проявила хороший вкус и вздумала поставить мое сочинение, то прошу высокочтимую дирекцию не забыть при этом доставить причитающийся автору гонорар мне или моим законным

* Непереводимая игра слов: «корпоративный дух балета» или «дух кордебалета».

наследникам, при посредстве издательства Гофман и Кампе в Гамбурге. Считаю нелишним заметить, что для обеспечения авторских прав на мой балет во Франции я уже издал французский перевод и представил в соответственное учреждение предписанное законом количество экземпляров. После того как я имел удовольствие вручить рукопись моего балета г. Лемлею и мы за чашкой душистого чаю беседовали с ним о духе фаустовской легенды и моей обработке ее, остроумный импрессарио просил меня набросать сущность нашей беседы, чтобы дать ему возможность дополнить этим впоследствии либретто, которое он предполагал в вечер исполнения раздать своей публике. Идя навстречу этому дружескому пожеланию, я написал обращенное к Лемлею письмо, которое привожу в сокращенном виде в конце этой книжки, так как, быть может, эти беглые наброски смогут представить некоторый интерес и для немецкого читателя.

Как об историческом, так и о мифическом Фаусте я представил в письме к Лемлею лишь скудные указания. Поэтому я не могу обойтись без того, чтобы не свести здесь в немногих словах результаты моих исследований о возникновении и развитии этого сказочного, легендарного Фауста.

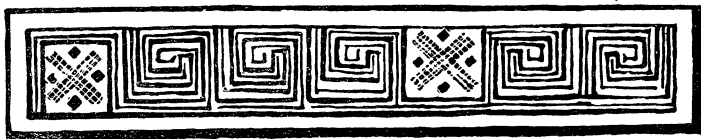
Основой этой легенды о Фаусте следует считать, собственно говоря, не сказание о Теофиле, сенешале епископа Адамского в Сицилии, а его старинную англосаксонскую драматическую обработку. В дошедшей до нас нижненемецкой поэме о Теофиле мы находим старосаксонские или англосаксонские архаизмы, как бы словесные окаменелости, ископаемые обороты речи, указывающие на то, что поэма эта воспроизводит лишь более древний оригинал, затерянный с течением времени. Эта англосаксонская поэма, вероятно, существовала еще некоторое время после завоевания Англии французскими норманнами, ибо она, по всей видимости, послужила образцом для почти буквального подражания французского поэта, трубадура Рютбефа, и в качестве

мистерии была перенесена на французский театр. Для тех, кому недоступно собрание Моммерка, где напечатана и эта мистерия, я отмечу, что около семи лет тому назад ученый Маньен поместил исчерпывающие сведения об упомянутой мистерии в «*Journal des Savants*». Эту мистерию трубадура Рютбефа использовал английский поэт Марло, когда писал своего «Фауста»: аналогичное сказание о немецком чародее Фаусте из старинной книжки о Фаусте, уже переведенной тогда на английский язык, он облек в драматическую форму, предоставленную ему французской мистерией, также уже известной в Англии. Таким образом мистерия Теофиля и старинная книжка о Фаусте представляют собой два элемента, из которых сложилась драма Марло. Герой ее уже не нечестивый, восставший против неба мятежник, который, будучи соблазнен колдуном, ради земных благ продает свою душу чорту и, в конце концов, подобно Теофилю, спасается по милости богородицы, извлекающей договор из ада; — героем пьесы является сам колдун; в нем, как и в некроманте книжки о Фаусте, сходятся сказания обо всех предыдущих чернокнижниках, искусство которых он разворачивает перед высокопоставленными особами; и, между прочим, все происходит на протестантской почве, на которую спасающая богородица не имеет права ступить, вследствие чего дьявол безжалостно и немилосердно уносит колдуна. Кукольные театры, распространенные в Лондоне времен Шекспира и немедленно завладевавшие всякой пьесой, имевшей успех на больших сценах, разумеется, также давали «Фауста» по образцу Марло, с большей или меньшей серьезностью пародируя оригинальную драму или же приспособляя ее соответственно местным потребностям; либо же они, как часто случалось, предоставляли самому автору переработать ее сообразно точке зрения их публики. Это и есть тот самый «Фауст» кукольного театра, который, перебравшись из Англии на континент, после странствий по Нидерландам вошел и в балаганы нашей родины и, переведенный

на простонародное немецкое наречие и опошленный немецким паясничаньем, потешал низшие слои немецкого народа. Как ни различны редакции, образовавшиеся с течением времени, особенно благодаря импровизациям, существо все же оставалось неизменным, и из такой кукольной пьесы, на представлении которой в одном из захудалых театров Страсбурга присутствовал Вольфганг Гете, наш великий поэт заимствовал форму и содержание своего высокого творения. В «Фрагменте», первом издании Гетевского «Фауста», это выявляется с наибольшей наглядностью; здесь отсутствует еще заимствованное из «Саконталы» введение, отсутствует и пролог, написанный в подражание Иову, нет еще отступления от формы простой кукольной пьесы и не содержится ни одного существенного мотива, позволяющего заключить о знакомстве со старинными оригинальными книжками Шписа и Видмана.

Таково происхождение сказания о Фаусте — от поэмы о Теофиле до Гете, который создал Фаусту его нынешнюю популярность. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков же родил Иуду, в руках которого во веки веков останется скипетр. В литературе, как и в жизни, каждый сын имеет своего отца, которого он, однако, не всегда знает или от которого он даже хотел бы отречься.

Париж 1/X 1851 г.



ДОКТОР ФАУСТ

ТАНЦОВАЛЬНАЯ ПОЭМА

Из гроба ты вызвала меня
Своей магической волей,
Но жара страсти, что зажгла,
Тебе не утишить боле.

Прижми уста к моим устам,
Прекрасно людей дыханье!
Я выпью душу твою до дна,
Безмерны мертвых желанья*.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большой сводчатый рабочий кабинет в готическом стиле. Скудное освещение. По стенам книжные шкафы, астрологические и алхимические приборы (земные и небесные глобусы, изображения планет, реторты и странные сосуды), анатомические препараты (скелеты людей и животных) и прочие реквизиты некромантии.

Бьет полночь. У стола, заваленного грудями книг и физическими инструментами, в высоком кресле сидит в раздумье доктор Фауст. На нем старонемецкая одежда ученого XVI века. Наконец он подымается, неверными шагами подходит к книжному шкафу, где на цепи прикован большой фолиант; он отпирает замок и тащит освобожденную книгу (так называемые «Ключи ада») к своему столу. В его поведении и во всем его существе проявляется смесь беспомощности и мужества, учительской неуклюжести и вызывающей докторской спеси.

* Перевод Д. Горфинкеля.

Он зажигает несколько свечей и мечом очерчивает различные магические круги на полу; затем он открывает фоллиант, и в движениях его отражаются тайные ужасы заклинаний. Комната темнеет; блеск молнии и раскаты грома; из земли, которая с шумом разверзается, подымается огненнокрасный тигр. При виде его Фауст несколько не испуган. Он с презрением подступает к огненному зверю и как бы повелевает ему немедленно скрыться. Тигр действительно вскоре проваливается в землю. Фауст снова начинает свои заклинания, снова ужасно сверкает молния и гремит гром, и из раскрывшегося пола взвивается вверх огромная змея, свертывающаяся угрожающими кольцами и изрыгающая огонь и пламя. Доктор и ее встречает с презрением, он пожимает плечами, смеется и издевается над тем, что адский дух не сумел появиться в более опасном образе, и змея уползает обратно в землю. Фауст тотчас же с новым рвением приступает к своим заклинаниям, но на этот раз мрак внезапно рассеивается, комната освещается бесчисленными огнями, вместо грохота громов раздается нежнейшая танцевальная музыка, и из раскрывшегося пола, как из цветочной корзины, подымается балерина в обычном газе и трико и начинает выделять самые банальные пируэты.

Фауст сначала изумлен, что вызванный им дьявол Мефистофель не мог явиться в более зловещем образе, чем образ танцовщицы, но под конец ему начинает нравиться это улыбающееся изящное существо, и он отвечает ему важный поклон. Мефистофель, или, вернее, Мефистофела, как мы будем теперь называть эту перешедшую в женское естество чертовщину, пародируя доктора, отвечает на его приветствие и с обычной кокетливостью продолжает танцевать. В руках у нее волшебная палочка, и все, чего она касается ею в комнате, претерпевает самые забавные превращения, но таким образом, что первоначальная форма предметов не окончательно исчезает. Так, например, темные изображения планет начинают пестро светиться изнутри. Из банок

с уродцами выглядывают прелестные птицы, в клювах сов появляются канделябры, из стен появляются в сверкающем великолепии драгоценные золотые сосуды, венецианские зеркала, античные барельефы, произведения искусства — все хаотично-призрачно и все же блистательно-прекрасно: все — одна чудовищная арабеска. Красавица как будто заключает с Фаустом союз дружбы, но он еще отказывается подписать пергамент, страшное обязательство, которое она ему предлагает. Он требует, чтобы она дала ему возможность увидеть прочих властителей ада, и они, эти князья тьмы, немедленно появляются из земли. Это чудовища со звериными рожами, баснословные порождения смешного и ужасного, большинство — с коронами на головах и со скипетрами в лапах. Мефистофела представляет им Фауста, — церемония, при которой соблюдается строжайший придворный этикет. Торжественно перешагиваясь, цари преисподней начинают свой неуклюжий хоровод, но едва Мефистофела коснулась их волшебной палочкой, с них спадает их отвратительная оболочка, и они тотчас же превращаются в изящных пляшущих балерин, в газе и трико и с цветочными гирляндами. Фауста забавляет эта метаморфоза, но из всех этих хорошеньких дьяволиц ни одна как будто не приходится ему вполне по вкусу; заметив это, Мефистофела вновь взмахивает своей палочкой, и в одном из стенных зеркал, еще раньше вызванных ее волшебством, появляется отражение красавицы в придворном туалете и с герцогской короной на голове. Едва увидев ее, Фауст охвачен изумлением и восторгом и приближается к чудесному образу со всеми знаками желания и нежности. Но женщина в зеркале, начавшая двигаться, как живая, отстраняется от него с высокомерной гримасой; с мольбой он преклоняет перед ней колени, она же еще оскорбительнее повторяет свои презрительные движения.

Тогда бедный доктор обращает молящий взор к Мефистофеле, которая, однако, отвечает ему шаловливым

пожатием плеч и взмахивает своей волшебной палочкой. Из земли тотчас же наполовину высовывается уродливая обезьяна, которая, однако, по знаку Мефистофелы, сердито покачивает головой, проваливается обратно, откуда в тот же миг выскакивает красивый, стройный танцор, исполняющий самые банальные па.

Танцор приближается к зеркальному изображению, и в ответ на его пошлейшие и самодовольные любовные приветствия красавица отвечает восхитительной улыбкой, она с томной страстностью протягивает к нему руки и расточает нежнейшие проявления любви. При виде этого Фауст впадает в яростное отчаяние, но, сжалившись над ним, Мефистофела касается волшебной палочкой счастливого плясуна, который тут же проваливается сквозь землю, предварительно превратившись в обезьяну и оставив на полу сброшенную балетную одежду. Теперь Мефистофела вновь протягивает пергамент Фаусту, и тот без долгого раздумья открывает у себя на руке жилу и своею кровью подписывает договор, по которому он за преходящие земные наслаждения отрекается от небесного блаженства. Он сбрасывает с себя серьезное и почтенное докторское одеяние и облекается в греховный и пестрый мишурный наряд, брошенный исчезнувшим танцором на полу; при этом переодевании, производимом с большой неловкостью, ему помогает легкомысленный кордебалет преисподней.

Теперь Мефистофела дает Фаусту урок танцев и обучает его всем ухищрениям и ухваткам, вернее, коленцам этого ремесла. Неуклюжесть и беспомощность ученого, старающегося воспроизвести изящные, легкие па, приводит к забавнейшим эффектам и контрастам. Дьявольские танцовщицы хотят и здесь помочь ему, каждая по-своему старается пояснить науку примером; одна бросает бедного доктора в объятия другой, которая в свою очередь кружится с ним; его дергают во все стороны, но силой любви и волшебной палочки, делающей понемногу податливыми непослушные конечности, ученик хореографии достигает наконец высшего совершен-

ства: он исполняет блестящее *pas de deux* с Мефистофелой и, к удовольствию прочих товарок по искусству, порхает вместе с ними, исполняя самые замысловатые па. Достигнув такой виртуозности, он решается предстать в качестве танцовщика и перед красавицей в волшебном зеркале, и она отвечает на его пляшущую страсть движениями самой пламенной взаимности. Фауст танцует с возрастающим упоением. Мефистофела, однако, прикосновением волшебной палочки вновь увлекает его прочь от зеркала, и на сцене продолжается обучение высшей школе древнеклассического танца.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большая площадь перед замком, виднеющимся справа. У рампы, окруженные свитой; рыцарями и дамами, восседают на высоких тронах герцог и герцогиня; он — чопорный пожилой господин, она — юная пышная красавица, точный портрет женщины, являвшейся в волшебном зеркале первого действия. Заметно, что на левой ноге она носит золотой башмак.

Сцена великолепно разукрашена для придворного праздника. Исполняется пастораль во вкусе старинного рококо: изящная приторность и галантная невинность. Эти слащаво-манерные аркадские танцы внезапно прерваны появлением Фауста и Мефистофелы, которые в своих балетных костюмах и в сопровождении демонических балерин совершают под ликующие трубные звуки свой победный въезд. Фауст и Мефистофела проделывают перед герцогской четой свои прыгающие реверансы, причем, едва он и герцогиня внимательнее всмотрелись друг в друга, оба поражены радостным воспоминанием. Они узнали друг друга и обмениваются нежными взглядами. Герцог явно принимает приветствия Мефистофелы с особенно милостивым благоволением. В неистовом *pas de deux*, которое она исполняет теперь вместе с Фаустом, оба обращаются по преимуществу к герцогской чете, и в то время как их сменяют дьявольские

танцовщицы, Мефистофела воркует с герцогом, а Фауст с герцогиней; безмерная страсть двух последних тут же как бы подвергается пародии: угловатым и неловким нежностям герцога Мефистофела противопоставляет ироническое жеманство.

Наконец герцог обращается к Фаусту и требует, чтобы в виде образца его чародейства здесь предстал умерший царь Давид, танцующий перед ковчегом завета. В ответ на такое высочайшее требование Фауст берет из рук Мефистофелы волшебную палочку, помахивает ею, совершая заклинание, и из разверзшейся земли появляется требуемая группа: на колеснице, запряженной левитами, стоит ковчег завета, перед ним в шутовском веселии пляшет царь Давид, наряженный подобно карточному королю; а позади ковчега, с копьями в руках, гарцуют царские телохранители, одетые, точно польские евреи, в длинных обвисших шелковых кафтанах и в высоких меховых шапках на трясущихся головах, украшенных остроконечной бородкой. После того как эти карикатуры совершили свое шествие, они вновь проваливаются под гром рукоплесканий.

Снова Фауст и Мефистофела вылетают в блистательном *pas de deux*, и снова влюбленными жестами стараются завлечь, он — герцогиню, а она — герцога, так что, наконец, величественная чета не в силах сопротивляться и, сойдя с трона, присоединяется к их пляскам. Драматическая кадриль, в которой Фауст еще сильнее стремится опутать герцогиню. Он заметил на ее шее дьявольское родимое пятно и, заключив из этого, что она — колдунья, назначает ей свидание на ближайшем шабаше ведьм. Она испугана и пытается отпереться, но Фауст указывает на ее золотой башмак, служащий отличительным признаком Домины, главной невесты сатаны. Стыдливо соглашается она на свидание. В это время герцог и Мефистофела пародируют их своим поведением, и демонические танцовщицы продолжают танцевать, после того как четыре главных действующих лица беседуя удаляются в глубину сцены.

В ответ на новую просьбу герцога показать ему образец своего чародейства Фауст берет волшебную палочку и прикасается ею к проносящимся мимо них танцовщицам. В одно мгновение они снова превращаются в чудовищ, какими мы их видели в первом действии, и, перейдя от грациозной круговой пляски к самому неуклюжему и причудливому хороводу, они в конце концов проваливаются среди языков пламени в разверзшуюся землю. Шумные восторженные рукоплескания, и Фауст с Мефистофелой благодарно склоняются перед высокими особами и высокочтимой публикой.

Однако после каждого волшебного фокуса дикое веселье все возрастает; четыре главных действующих лица снова безудержно бросаются на место пляски, и в возобновившейся кадрили их страсть принимает все более дерзкие формы: Фауст преклоняет колено перед герцогиней, которая обнаруживает свою взаимность не менее компрометирующими ее жестами. Перед игривой и неистовствующей Мефистофелой старый герцог склоняется, точно сладострастный фавн; однако, случайно обернувшись назад и увидев свою супругу рядом с Фаустом в вышеописанных позах, он с яростью бросается на них, выхватывает меч и хочет заколоть дерзкого чародея. Но последний быстро хватается свою волшебную палочку, касается ею герцога, и из головы последнего разом вырастают громадные олени рога, за кончики которых его удерживает герцогиня. Общее замешательство придворных, которые хватаются за мечи и наступают на Фауста и Мефистофелу. Но Фауст опять взмахивает своей палочкой, и в глубине сцены внезапно раздаются звуки боевой трубы и показывается в стройных рядах целый отряд рыцарей, вооруженных с головы до ног. В то время как придворные поворачиваются лицом к этим последним, для того чтобы защищаться, Фауст и Мефистофела улетают на двух вороних конях, явившихся из-под земли. В тот же миг, как фантасмагория, исчезает и отряд рыцарей.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена ночного шаша ведьм: широкая горная площадка; по обеим сторонам деревья, на ветвях которых висят странные лампы, освещающие сцену; посредине каменный пьедестал вроде алтаря, на котором стоит большой черный козел с черным человеческим лицом и свечой, горящей между рогами. В глубине сцены горные вершины, громоздясь друг на друга, образуют нечто вроде амфитеатра, на колоссальных ступенях которого восседают зрителями почетные особы преисподней, те самые князья тьмы, которых мы видели в предыдущих действиях и которые здесь производят впечатление еще более внушительных гигантов. На упомянутых деревьях пристроились музыканты с птичьими головами и необычайными струнными и духовыми инструментами. Сцена уже довольно сильно оживлена танцующими группами, одежды которых напоминают различные страны и эпохи, так что все сборище похоже на маскарад, тем более, что действительно многие из собравшихся — в масках и костюмах. Как ни причудливы, ни необычайны, ни нелепы многие из этих фигур, они все же не должны оскорблять чувства красоты, и отвратительное впечатление уродливого маскарада смягчается или устраняется сказочной пышностью и действительным ужасом. Время от времени к козлиному алтарю подходит пара — мужчина и женщина — каждый с черным факелом в руке; они отвешивают поклон козлиному заду, преклоняют колени и прикладываются. Между тем являются новые гости, слетающиеся по воздуху на помелах, а также на волках, кошках. Эти вновь прибывшие встречаются здесь со своими возлюбленными, уже поджидавшими их. После радостных приветствий они смешиваются с группами танцующих. Прилетает на огромной летучей мыши и ее светлость герцогиня. Она в наряде, обнажающем ее сколько возможно, и на правой ноге у нее золотой башмак. Она как будто нетерпеливо разыскивает кого-то.

Наконец она замечает желанного, то есть Фауста, который прилетает на празднество вместе с Мефистофелой на вороньих конях. На нем блестящее рыцарское одеяние, а его спутница в пристойной, тесно прилегающей амазонке немецкой знатной барышни. Фауст и герцогиня бросаются друг другу в объятия, их неудержимая страсть выражается в самых неистовых плясках. Тем временем Мефистофела также отыскала ожидаемого кавалера, тощего дворянчика в черном испанском плаще с кровавокрасным петушиным пером на берете; но в то время как Фауст и герцогиня в своей пляске проходят всю лестницу истинной страсти, дикой любви, танец Мефистофелы и ее кавалера представляет собою, в виде контраста, лишь сладострастное выражение ухаживания, нежной издевающейся над собой похоти. Все четверо хватают, наконец, черные факелы, совершают поклонение указанным образом козлу и затем присоединяются к круговой пляске, в которой все пестрое общество мчится вокруг алтаря. Своеобразие этого хоровода заключается в том, что танцующие повернуты друг к другу спиной, а не лицом, которое обращено наружу.

Фауст и герцогиня, ускользнув из круга, достигают вершины своего любовного упоения и скрываются за деревьями с правой стороны сцены. Круговая пляска окончена, и новые гости выступают перед алтарем и совершают здесь поклонение козлу. Среди них коронованные особы и даже высшие церковные сановники в своих духовных облачениях.

Тем временем на авансцене появляется множество монахов и монахинь, которые прыжками причудливой польки потешают дьявольских зрителей, аплодирующих им с горных вершин вытянутыми вперед лапами. Снова появляются Фауст и герцогиня, но лицо Фауста омрачено, и он с досадой отворачивается от женщины, преследующей его сладострастными ласками. Он самым недвусмысленным образом выказывает ей свое раздражение и недовольство. Напрасно с мольбою

герцогиня бросается перед ним на колени, — он отталкивает ее с отвращением. В этот миг появляются три мавра в золотых ливреях с вышитыми на них черными козлами. Они приносят герцогине приказ немедленно предстать пред ее господином и владыкой — сатаной, и так как она колеблется, то ее увлекают силой. Видно, как в глубине сцены козел, спустившись со своего пьедестала, после нескольких странных поклонов начинает танцевать с ней менуэт. Медлительно размеренные, церемонные па. На лице козла запечатлена мрачность падшего ангела и глубокая тоска пресыщенного государя. Все черты герцогини изобличают самое безнадежное отчаяние. По окончании танца козел вновь восходит на свой пьедестал; дамы, созерцавшие это зрелище, приближаются к герцогине с поклонами и приветствиями и увлекают ее за собой. Фауст остался на авансцене, и, в то время как он наблюдал за менуэтом, подле него вновь появилась Мефистофела. С отвращением и раздражением Фауст указывает на герцогиню, и видно, что он рассказывает о ней нечто ужасающее. Он вообще проявляет отвращение ко всему этому скоморошьему кривлянию, которое видит перед собой, ко всей этой готической вакханалии, которая представляет собой лишь грубое и низменное издевательство над церковным аскетизмом и, однако, противна ему не менее, чем этот последний. Он охвачен беспредельной тоской по чистой красоте, по греческой гармонии, по бескорыстно благородным образам гомеровской весны! Мефистофела понимает его, и, коснувшись своей волшебной палочкой земли, она вызывает оттуда образ прославленной Елены Спартанской, образ, в тот же миг исчезающий. Вот к чему стремилось ученое, жаждущее античного идеала сердце доктора; он обнаруживает свое полное восхищение, и по мановению Мефистофелы вновь являются волшебные кони, на которых они оба улетают. В тот же миг вновь появляется на сцене герцогиня; заметив бегство возлюбленного, она в безумном отча-



Г. ГЕЙНЕ
С портрета маслом Ф. Лено

янии падает в обмороке на землю. В этом состоянии ее поднимают какие-то зловещие фигуры и, шутя и гримасничая, некоторое время носят ее по кругу, как в триумфальном шествии. Новый хоровод ведьм, внезапно прерываемый пронзительными звуками колокольчика и органным хоралом, представляющим собой кошунственную пародию на церковную музыку. Все теснится к алтарю, где, охваченный пламенем, с треском сгорает черный козел. После того как упал занавес, слышны еще ужасающие, причудливые, кошунственные звуки сатанинской обедни.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Остров Архипелага. Слева виден уголок моря в изумрудных переливах, ласково отделяющийся от бирюзы неба, солнечное сияние которого освещает идеальную местность; растительность и архитектура здесь так по-гречески прекрасны, как некогда мечтались они творцу Одиссеи. Пинии, кусты лавра, в тени которых покоятся белые изваяния; большие мраморные вазы с невиданными растениями; деревья, обвитые цветочными гирляндами; кристальные водопады; справа храм Венеры-Афродиты, статуя которой белеет в глубине колоннады; все это оживлено цветущими людьми, юношами в белых праздничных одеждах, девушками в легких, свободных одеяниях нимф; на головах у них розовые и миртовые венки; часть их резвится отдельными группами, часть в чинном хороводе совершает радостное служение перед храмом богини. Все дышит здесь греческой жизнерадостностью, божественным миром, классическим спокойствием. Ничто не напоминает о туманном потустороннем мире, о мистическом трепете сладострастия и страха, о надземных экстазах духа, освобожденного от телесности: все здесь — реальное, наглядное блаженство, без тоски о прошлом, без пустого томления предчувствий. Царица этого острова — Елена Спартанская, прекраснейшая женщина поэзии; она танцует во главе своих придворных девушек перед

храмом Венеры: танцы и позы, в согласии с окружением, размерены, невинны и торжественны.

В этот мир внезапно врываются прилетевшие на вороных конях Фауст и Мефистофела. Они как бы освободились от мрачного навождения, от гнусной болезни, от меланхолического безумия и отдыхают, наслаждаясь зрелищем этой первозданной красоты и истинного благородства. Танцуя со своей свитой, царица гостеприимно встречает их, предлагает им яства и питье в драгоценных чеканных сосудах и призывает остаться здесь, у них, на мирном острове блаженства. Фауст и его спутница отвечают радостными танцами, и все, соединившись в едином праздничном шествии, отправляются в храм Венеры, где доктор и Мефистофела сменяют свои средневековые романтические костюмы на великолепное в своей простоте греческое одеяние. Вновь выступив в этом преображении вместе с Еленой на авансцену, они исполняют здесь мифологическое танцевальное трио.

Наконец Фауст и Елена опускаются на трон с правой стороны сцены, между тем как Мефистофела, схватив тирс и бубен, носится вакханкой, принимая бесстыдные позы. Девушки Елены увлечены ее примером: они срывают со своих голов розы и мирты, вплетают виноградные лозы в распутившиеся кудри и с развевающимися волосами, потрясая тирсами, кружатся в вакхической пляске. Юноши тотчас же вооружаются щитами и копьями, изгоняют божественно неистовствующих девушек и исполняют боевую пляску, одну из тех военных пантомим, которые так прелестно описаны древними авторами.

В эту героическую пастораль можно вплести также античную юмористическую сценку, а именно появление толпы амуров, въезжающих верхом на лебедях и тоже исполняющих боевую пляску с копьями и луками. Но эта очаровательная игра внезапно прервана: испуганные купидоны мигом кидаются на своих верховых лебедей и уносятся при виде герцогини, прилетевшей на

огромной летучей мыши и фурией представшей перед тронном, на котором спокойно восседают Фауст и Елена. Видно, как герцогиня осыпает его безумными упреками и угрожает ей. Мефистофела, с злорадством созерцавшая всю эту сцену, снова начинает свой вакхический танец, к которому вновь присоединяются девушки Елены, так что этот радостный хор издевательски противопоставляется бешенству герцогини. Последняя, однако, не в силах сдержать ярость, она потрясает волшебной палочкой, которую держит в руке, сопровождая это движение самыми страшными заклинаниями. Сразу темнеет небо, сверкает молния, грохочет гром, бурно вздымается морской прилив, на всем острове предметы и лица претерпевают ужасающее превращение. Все как бы поражено непогодой и смертью: деревья высохли и лишились листьев; храм обратился в развалину; разбитые статуи лежат на земле; царица Елена, отощавшая, как скелет, сидит в белом саване подле Фауста; танцующие женщины тоже стали костлявыми призраками в белых саванах, которые, свисая с головы, прикрывают лишь тощие бедра, как на изображениях ламий; и в этом образе они продолжают свои веселые пляски и хороводы, словно ничего не случилось и будто они совершенно не заметили своего превращения. Но Фауст, видя, что все его блаженство разрушено по милости мстительной и ревнивой ведьмы, исполнен ужаснейшего гнева против нее; он вскакивает с трона, выхватывает меч и пронзает им грудь герцогини.

Мефистофела снова приводит своих волшебных коней и в страхе побуждает Фауста поскорее отсюда убраться. А море вздымается все выше и выше, оно понемногу заливают людей и памятники, только танцующие ламии как будто ничего не замечают и продолжают танцевать под веселые звуки бубна до последнего мгновения, когда волны достигают их головы и весь остров погружается в воду. Высоко в воздухе над бушующим морем проносятся на черных конях Фауст и Мефистофела.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Большая площадь перед собором, готический портал которого виднеется на заднем плане. По обеим сторонам изящно подстриженные липы. В тени их слева сидят пирующие горожане в нидерландских одеждах XVI века. Невдалеке виднеются стрелки, сбивающие из само-стрелов птичье чучело, посаженное на высоком шесте. Повсюду ярмарочный разгул, балаганы, музыканты, марионетки, прыгающие скоморохи и веселящиеся группы. Посреди сцены лужайка, на которой танцуют почетные горожане.

Птица сбита, и победитель, в качестве короля стрелков, ведет триумфальное шествие. Это толстый пивовар, на голове у него огромная корона, с множеством бубенчиков, живот и спина его покрыты большими бляхами из позолоченной жести; и так он шествует с трезвоном и грохотом. Перед ним маршируют барабанщик и флейтист, а также знаменосец, коротконогий карапуз, забавнейшим образом размахивающий громадным знаменем; важно выступает за ними вся гильдия стрелков. Проходя мимо толстого бургомистра и его не менее увесистой супруги, восседающих вместе с дочкой под липами, участники шествия приветственно машут знаменами и почтительно кланяются. Те отвечают на приветствия, и дочка, белокурая девушка с картины нидерландской школы, подносит королю стрелков почетный кубок.

Звучат трубы, и на высокой, украшенной зеленью тележке, запряженной парой черных кляч, въезжает высокоученый доктор Фауст в яркокрасном обшитом золотом костюме бродячего знахаря; впереди тележки, ведя лошадей, шагает Мефистофел, также в блестящем ярмарочном наряде, в лентах и перьях, с большой трубой в руке; временами она трубит и приплясывает, зазывая таким образом народ. Толпа вскоре окружает тележку, где бродячий знахарь продает всякие снадобья и микстуры за наличные деньги. Некоторые

приносят ему в больших бутылках свою мочу для исследования. Другим он рвет зубы. На глазах у всех он чудесным образом исцеляет убогих калек, которые уходят от него здоровыми и пляшут от радости. Наконец он сходит с тележки, которая в это время уезжает со сцены, и раздает толпе свои склянки, из которых достаточно выпить несколько капель, чтобы исцелиться от всякого недуга и исполниться неудержимым желанием танцевать. Король стрелков, проглотивши целую склянку, чувствует ее волшебную силу, он хватается Мефистофелу и прыгает с нею в *pas de deux*. И на пожилого бургомистра и его супругу питье производит зажигающее действие, и оба неуклюже пускаются в старинный гротеск.

Между тем, как все общество вертится в безумном круговороте, Фауст приближается к дочери бургомистра и, восхищенный ее простотой и естественностью, благонравием и красотой, объясняется ей в любви и, скорбными, почти боязливыми жестами указывая на церковь, просит ее руки. И пред родителями, которые запыхавшись опускаются на скамейку, он повторяет свою просьбу; те очень довольны предложением, и, наконец, наивная красавица тоже застенчиво дает свое согласие. Она и Фауст, разукрашенные цветами, выступают теперь в качестве жениха и невесты и чинно исполняют пристойнейшую пляску Гименея. Наконец доктор в сладостно-скромной идиллии обрел домашнее счастье, удовлетворяющее его душу. Забыты сомнения и мучительные наслаждения высокомерного духа, и он сияет внутренним блаженством, словно вызолоченный петух на церковной колокольне.

С торжественной пышностью составляется брачное шествие, и оно уже приблизилось к церкви, когда вдруг с издевательскими жестами выступает перед женихом Мефистофел, разрушая его идиллическое спокойствие; она как будто приказывает ему немедленно удалиться отсюда. Фауст в порыве гнева противится ей, зрители поражены всей этой сценой. Но еще больший

ужас охватывает их, когда внезапно, по заклинанию Мефистофелы, спускается ночная тьма и разражается страшная буря. В ужасе они бегут и ищут убежища в церкви, откуда раздается звон колокола и звуки органа — молитвенный гул, резко противоположный грохоту, грому и молнии всего этого адского спектакля, происходящего на сцене. Фауст тоже хотел укрыться, как и другие, в церкви, но появившаяся из-под земли громадная черная рука удерживает его, в то время как Мефистофела со злобно торжествующим лицом достает из-за корсажа пергамент, который некогда доктор подписал своею кровью; она указывает ему, что срок договора истек и что тело и душа его теперь принадлежат аду. Напрасно Фауст представляет всевозможные возражения, напрасно в конце концов он начинает умолять ее — ведьма пляшет вокруг него с издевательскими ужимками. Земля разверзается, и из нее показываются ужа-сающие владыки ада, чудища со скипетрами и в коронах; в торжествующем хороводе они также высмеивают злополучного доктора, которого Мефистофела, превратившаяся в конце концов в отвратительную змею, удушает, бешено сжимая его своими кольцами. Вся группа при треске огней проваливается в землю, в то время как колокольный звон и звуки органа, раздающиеся из собора, призывают к благочестивым христианским молениям.

ОБЪЯСНЕНИЯ

To Lemley, Esq-re,

Director of the Theatre of Her Majesty the Queen *.

Dear Sir! **

Легко понятное смущение охватило меня, когда я подумал, что избрал для моего балета сюжет, уже обработанный нашим великим Вольфгангом Гете, и

* Господину Лемлею, директору Театра ее величества.

** Милостивый государь!

притом в его величайшем произведении. Но если достаточно опасно было, располагая равными поэтическими средствами, соперничать с этим поэтом, то насколько головоломен такой замысел, когда собираешься выступить на арену с неравным оружием! Действительно, для выражения своих мыслей Вольфганг Гете имел в своем распоряжении весь арсенал словесного искусства, он распоряжался всеми ларцами в сокровищнице немецкого языка, столь богатого чеканными изречениями глубокомыслия и первобытными естественными звуками мира чувств, волшебными заклинаниями, которые, давно отзвучав в жизни, вновь, как эхо, слышатся в рифмах Гетевской поэмы и так чудесно возбуждают воображение читателя. Насколько жалки, в сравнении со всем этим, средства, которыми вооружен я, несчастный, для того, чтобы дать внешнее выражение своим мыслям и чувствам. Я действую исключительно посредством тощего либретто, где со всей сжатостью намечаю, как должны действовать и поступать танцоры и танцовщицы и как я себе приблизительно представляю при этом музыку и декорации. И все же я осмелился написать «Доктора Фауста» в форме балета, соперничая с великим Вольфгангом Гете, который предвосхитил меня даже в отношении свежести материала, имея притом возможность посвятить обработке его свою долгую цветущую олимпийскую жизнь, — в то время как мне, жалкому больному, был представлен вами, уважаемый друг, срок всего лишь в четыре недели, в течение которого я должен был представить свою работу.

Я не мог, к сожалению, переступить границы моих изобразительных средств. Но в их пределах я сделал то, что может сделать честный человек, и, по крайней мере, стремился к заслуге, которою Гете никак не может похвалиться: ведь в его поэме о Фаусте мы сплошь и рядом не найдем верности подлинному сказанию, благоговения перед истинным духом, его пиетета перед его внутренней душой, пиетета, которого скептик XVIII века

(а таким скептиком Гете оставался до самой своей кончины) не мог ни ощутить, ни понять! В этом отношении он оказался повинным в произволе, предосудительном также и с эстетической точки зрения и в конце концов отомстившем за себя поэту. Да, недостатки его поэмы были связаны с этими преступлениями, ибо, отступив от благочестивой симметрии, благодаря которой сказание жило в сознании немецкого народа, он так и не мог закончить свое создание по вновь начертанному противорелигиозному плану, он так и не смог справиться, если, впрочем, не считать колченогую вторую часть «Фауста», появившуюся сорок лет спустя в качестве завершения всей поэмы. В этой второй части Гете освобождает некроманта от когтей дьявола, он не посылает его в ад, но торжественно возносит его в царство небесное в сопровождении пляшущих ангелочков, католических купидонов, и жуткий договор с дьяволом, внушавший нашим отцам панический ужас, кончается как фривольный фарс, — я чуть было не сказал, как балет.

Мой балет включает в себе существенное содержание древнего сказания о докторе Фаусте, и я, объединив главные его моменты в драматическое целое, с полной добросовестностью придерживался и в подробностях существующих традиций, как я впервые нашел их в народных книжках, продающихся у нас на рынках, а также в кукольных пьесах, исполнение которых я видел в детстве.

Содержание народных книг, упомянутых мною, отнюдь не одинаково. Большинство их беспорядочно состряпано из двух старейших больших сочинений о Фаусте, в которых наряду с так называемыми «Ключами ада» следует усматривать основные источники сказания. Книги эти настолько важны в этом отношении, что не могу обойтись здесь без сообщения более точных сведений о них. Старейшая из этих книг о Фаусте издана в 1587 году во Франкфурте Иоганном Шписом, который, как видно, не только напечатал, но и сочинил ее, хотя

в посвящении своим покровителям он и говорит, что получил рукопись от одного своего друга из Шпейера. Эта старая франкфуртская книга о Фаусте гораздо поэтичнее, гораздо глубокомысленнее и гораздо символичнее, чем другая книга о Фаусте, написанная Георгом-Рудольфом Видманом и изданная в 1599 году в Гамбурге. Последняя, однако, имела большее распространение, быть может потому, что она разбавлена проповедническими размышлениями и нашпигована высокомерной ученостью. Лучшая книга была, таким образом, вытеснена и почти окончательно забыта. В основе обеих книг лежит благочестивая цель — благонамеренное предостережение от договоров с дьяволом. Третий источник сказания о Фаусте, так называемые «Ключи ада», представляет собою сборник заклинаний духов, написанных частью по-латыни, частью по-немецки и приписываемых самому доктору Фаусту. Они самым странным образом отличаются одна от другой и обращаются под разными заглавиями. Самый великолепный из этих «Ключей ада» называется «Дух моря»; самое название произносилось некогда трепетным шопотом, и манускрипт лежал в монастырских библиотеках, прикованный железной цепью. И все же по преступной нескромности эта книга была напечатана в 1682 году, в Амстердаме, Гольбеком.

Народные книги, возникшие из указанных источников, использовали, между прочим, также не менее любопытное сочинение о сведущем в чародействе помощнике доктора Фауста, который звался Христофором Вагнером и приключения и шутки которого нередко приписываются его знаменитому учителю. Автор, издавший свое сочинение, составленное, очевидно, по испанскому первоисточнику, в 1594 году, называет себя Толет Шотус. Если он в самом деле переводил с испанского, в чем я, однако, сомневаюсь, то мы находим здесь след, по которому можно было проследить знаменательное сходство сказания о Фаусте со сказанием о Дон-Жуане.

Существовал ли в действительности когда-либо Фауст? Как и многих других чародеев, Фауста тоже объявляли чистым мифом. С ним случилось в известной степени и нечто худшее: поляки, несчастные поляки, заявили на него права, как на своего соотечественника, и утверждают, что он и по сей день еще известен у них под именем Твардовского. Действительно, согласно самым ранним известиям о Фаусте, он изучал магию в Краковском университете, где она, что очень замечательно, преподавалась публично, как свободная наука; верно также и то, что поляки в те времена были великими чародеями, чего теперь нельзя о них сказать; но наш доктор Иоганнус-Фаусиус — такое глубоко честное, правдивое, глубокомысленно-наивное, стремящееся к существованию вещей и даже в чувственности своей ученое существо, что он мог быть либо вымыслом, либо немцем. Но сомневаться в его существовании невозможно: о нем сообщают лица, вполне достойные доверия, как, например, Иоганн Вир, написавший знаменитую книгу о колдовстве, затем Филипп Меланхтон, соратник Лютера, равно как и аббат Тритгейм, великий ученый, также занимавшийся тайными науками и поэтому, замечу мимоходом, быть может, из профессиональной зависти старавшийся принизить Фауста и выставить его невежественным шарлатаном. Согласно указанным свидетельствам Вира и Меланхтона, Фауст был родом из Кундлингена, маленького городка в Швабии. Замечу мимоходом, что вышеуказанные главные книги о Фаусте расходятся в указании места его рождения. Согласно более старому франкфуртскому варианту, он сын крестьянина из Рода под Веймаром. Однако в гамбургском варианте Видмана говорится: «Фаустус был родом из графства Ангальтского, родители его жили в округе Зольтведель; они были набожные крестьяне».

В записке о великолепном и достопочтенном глистогоне докторе Кальмониусе, которою я занят в настоящее время, я имею случай показать с полной очевидностью, что истинный исторический Фауст был не кто иной,

как тот самый Сабелликус, которого аббат Тритгейм изобразил ярмарочным шарлатаном и архиплутом, обманувшим господа и людей. То обстоятельство, что на визитной карточке, посланной им Тритгейму, он назвал себя Фаустом младшим, привело многих писателей к ошибочному предположению, что существовал еще какой-то другой, старший колдун, носивший это имя. Но прилагательное «младший» должно здесь означать лишь, что у Фауста был тогда в живых еще отец или старший брат, что для нас не имеет никакого значения. Было бы совсем иное, если бы я, например, вздумал приложить эпитет «младший» к нашему нынешнему Кальмониусу, так как тем самым я указывал бы на существование другого, старшего Кальмониуса, который жил в середине прошлого столетия и также, вероятно, был хвастунишкой и лгуном; он похвалялся, например, своей близкой дружбой с Фридрихом Великим и часто рассказывал, как однажды утром король продефилировал вместе со всей армией пред его домом и, остановившись под его окном, крикнул ему: «Адю, Кальмониус, иду на Семилетнюю войну, надеюсь увидеть тебя в добром здравии!»

Очень распространено в народе заблуждение, будто наш чародей — это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание. Это заблуждение полно значения и глубокой мысли. Народ отождествил двух человек, так как чувствовал, что образ мыслей, представляемый чернокнижником, нашел страшнейшее орудие распространения в изобретении книгопечатания, и таким образом произошло отождествление их обоих. Но этот образ мыслей есть сама мысль в своем противопоставлении слепой вере средневековья, вере во все авторитеты неба и земли, вере в воздаяние там, наверху, за самоотречение здесь, как это проповедывала церковь коленапоклоненному угольщику. Фауст начинает мыслить, его безбожный разум возмущается против святой веры его отцов, он не хочет больше метаться во тьме и мучиться в нищете, он требует знания, светской власти, мирских

наслаждений; он хочет знать, мочь и наслаждаться, и, выражаясь символическим языком средних веков, он отпадает от бога, отказывается от небесного блаженства и поклоняется сатане и его земным наслаждениям. Этот мятеж и его доктрина получили благодаря книгопечатанию столь волшебного-могучий толчок, что с течением времени захватили не только отдельных высокообразованных людей, но и народные массы. Быть может, легенда о Иоганне Фаусте имеет столь таинственное очарование для наших современников именно потому, что они видят здесь в наивной наглядности изображение борьбы, которую они сами ведут теперь, — современной борьбы между религией и наукой, между авторитетом и разумом, между верой и мышлением, между покорным отречением и дерзкой жаждой наслаждения, — борьбу не на жизнь, а на смерть, в заключение которой, быть может, чорт заберет нас, так же как забрал он бедного доктора из графства Ангальтского или Кундлингена в Швабии.

Да, нашего колдуна нередко отождествляют в предании с первым типографом. Это делается как раз в кукольных комедиях, где мы находим Фауста всегда в Майнце, тогда как народные книжки считают местом его жительства Виттенберг. Глубоко знаменательно то, что местопребывание Фауста — Виттенберг — одновременно является местом рождения и лабораторией протестантизма.

Кукольные комедии, вторично упоминаемые мною, никогда не появлялись в печати, и лишь недавно один из моих друзей издал одно такое произведение по рукописным текстам. Этот друг — г. Карл Зимрок, который вместе со мною слушал в Боннском университете лекции Шлегеля по немецкой археологии и метрике, не раз также осушал со мною добрую чашу рейнского вина и таким образом усовершенствовался во вспомогательных науках, которые впоследствии очень пригодились ему для издания старой кукольной комедии. С умом и таким реставрировал он утраченные места

текста, отобрал имеющиеся варианты и обработкой комического персонажа показал, что превосходно изучил также и немецких гансвурстов, по всей вероятности, тоже на лекциях А. В. Шлегеля в Бонне. Как замечательно начало пьесы, где Фауст сидит один в кабинете со своими книгами и произносит следующий монолог:

Вот до чего занятие наукой меня довело,
Что надо мною каждый глумится зло.
Книги все перебрал, до последней страницы,
А философского камня не мог добиться.
Юриспруденция с медициной — не впрок,
В некромантии успеха залог.
Теология, что мне дала она?
Кто заплатит мне за ночи без сна?
Нитки нет живой, во что бы одеться,
А от долгов — невдомек, куда и деться.
Надобно мне с преисподней связаться ныне,
В тайны природы проникнуть, в ее глубины.
Но чтоб духи являлись на зов покорно,
Магией мне предстоит заняться черной.

В следующей затем сцене содержатся высоко поэтические и глубоко захватывающие мотивы, достойные высокой трагедии и в самом деле заимствованные из величайших драматических произведений. Среди этих произведений следует назвать прежде всего «Фауста» Марло, гениальное создание, не только содержанию, но и форме которого, очевидно, следовали кукольные комедии. Возможно, что «Фауст» Марло послужил образцом и для других английских поэтов его времени при обработке того же сюжета. Эпизоды из таких пьес перешли затем в кукольные драмы. Такие английские комедии о Фаусте были, вероятно, впоследствии переведены на немецкий язык и разыгрывались так называемыми английскими комедиантами, которые к тому времени уже исполняли на немецких сценах лучшие произведения Шекспира. Мы имеем лишь скудные сведения о репертуаре этой труппы английских комедиантов; самые пьесы, никогда не появлявшиеся в печати, исчезли и сохранились, быть может, разве в захолуст-

ных театрах или в бродячих труппах низшего разряда. Так, вспоминаю, что дважды видел сам жизнь Фауста в изображении этих артистических бродяг, и не в обработке новых поэтов, а вероятно по обрывкам старинных, давно забытых пьес. Первую из этих драм я видел двадцать пять лет тому назад в балагане на так называемой Гамбургской горе, между Гамбургом и Альтоной. Вспоминаю, что вызванные заклинаниями черти появились все с головы до ног закутанные в серые простыни. На вопрос Фауста: «Мужчины вы или женщины?» они ответили: «Мы бесполы». Фауст спрашивает затем, как они, собственно, выглядят под своим серым покровом, и они отвечают: «У нас нет облика, свойственного нам, по твоему желанию мы принимаем всякий облик, в каком ты хотел бы нас увидеть: мы всегда будем выглядеть согласно твоей мысли». По заключении договора, где ему обещаны познание всех вещей и наслаждение всем, Фауст прежде всего спрашивает, как устроено небо и ад, и, получив требуемые сведения, он замечает, что, вероятно, на небе слишком холодно, а в аду слишком жарко; лучше всего климат, очевидно, на нашей любезной земле. Прекраснейших женщин этой любезной земли он завоевывает посредством магического кольца, придающего ему вид цветущего юноши, красоту и изящество, а также самый блестящий рыцарский наряд. После многих лет беспашанной и распутной жизни он вступает в любовную связь с синьорой Лукрецией, знаменитой венецианской куртизанкой; но он коварно покидает ее и уезжает на корабле в Афины, где в него влюбляется и хочет стать его женой дочь герцога. В отчаянии Лукреция обращается к силам преисподней за советом, как отомстить изменнику, и дьявол открывает ей, что все великолепие Фауста исчезнет вместе с кольцом, которое он носит на указательном пальце. Тогда синьора Лукреция в одежде паломника отправляется в Афины и является здесь ко двору в ту самую минуту, когда Фауст в брачном наряде собирается подать прекрасной принцессе руку, чтобы

вести ее к алтарю. Но переодетый пилигрим, мстительная женщина, внезапно срывает у жениха с пальца кольцо, и тут же юношеские черты Фауста превращаются в морщинистое старческое лицо с беззубым ртом, а бедный череп вместо золотистых кудрей обрамлен лишь скудными серебристыми прядями. Искрящийся великолепием пурпур спадает, точно увядшая зелень, с согбенного трясущегося тела, покрытого теперь лишь грязными лохмотьями. Но, лишившись своих чар, чародей не замечает, что он изменился таким образом, или, вернее, что теперь его тело и платье обнаруживают действительное разрушение, которому они подвергались в течение двадцати лет, в то время как бесовский обман скрывал их под лживым великолепием от людских взоров; он не понимает, почему с отвращением отхлынула от него толпа придворных, почему принцесса восклицает: «Уберите с глаз моих этого старого попрошайку!»; тут переодетая Лукреция злорадно подставляет ему зеркало, он со стыдом видит свой подлинный образ, и наглая челядь выбрасывает его за дверь, словно паршивую собаку.

Другую драму о Фаусте, упомянутую мною выше, я видел на конской ярмарке в одном ганноверском местечке. На лужайке был выстроен балаган, и, несмотря на то, что представление происходило среди бела дня, сцена заклинания производила чрезвычайно жуткое впечатление. Явившийся демон назвался не Мефистофелем, а Астаротом, — имя, первоначально, вероятно, тождественное с именем Астарты, хотя последняя в тайных писаниях магов считается супругой Астарота. Астарта изображается в указанных сочинениях с двумя рогами на голове, образующими полумесяц, как она и в самом деле некогда почиталась финикийцами, у которых она была богиней луны, и поэтому евреи считали ее, подобно прочим божествам своих соседей, дьяволом. Но царь Соломон Мудрый втайне поклонялся ей, и Байрон прославил ее в своем «Фаусте», которого он назвал «Манфредом». В кукольной драме, изданной Зимроком, книга,

соблазняющая Фауста, называется «*Clavis Astarti de magica*» *.

В драме, о которой я начал говорить, Фауст предпосылает своему заклинанию жалобу, что он настолько беден, что всегда вынужден бегать пешком, и что даже скотница не хочет его поцеловать; он хочет предаться дьяволу, чтобы получить от него коня и прекрасную принцессу. В ответ на заклинание является дьявол, сначала в образе различных животных — свиньи, быка, обезьяны, но Фауст прогоняет его с назиданием: «Чтобы испугать меня, тебе надо быть пострашнее». Тогда дьявол является в виде льва и ревет *quaerens quem devorat***, но и теперь он недостаточно страшен дерзкому некроманту. Он принужден, поджав хвост, убраться за кулисы, откуда возвращается в виде громадной змеи. «Ты еще недостаточно ужасен и страшен», говорит Фауст. Снова дьявол принужден постыдно удалиться, и теперь он появляется пред нами в образе человека чрезвычайной красоты, закутанного в красный плащ. Фауст выражает ему свое изумление, и красный плащ отвечает: «Нет ничего более ужасающего и страшного, чем человек, — в нем хрюкает, и ревет, и мычит, и шипит природа всех других зверей, он грязен как свинья, груб как бык, смешон как обезьяна, яростен как лев, ядовит как змея, он является смесью всей животной природы».

Немало поразило меня удивительное сходство этой старинной комедийной тирады с одним из основных учений новой натурфилософии, в особенности в том виде, как ее развивает Океани. По заключении адского договора Астарот предлагает многих красавиц на выбор, расхваливая их Фаусту, например Юдифь. «Не нужна мне головорезка», отвечает тот. «Хочешь Клеопатру?» спрашивает тогда дух. «И ее не хочу», — отвечает Фауст, — она слишком расточительна, слишком дорога и смогла даже разорить богатого Антония;

* «Астартов ключ к магической науке».

** ища, кого поглотить

Der Doktor Faust.

Ein

G a n z p o e m ,

nebst

kuriosen, Berichten über Teufel, Hexen

und Dichtkunst

von

Heinrich Heine.

Hamburg.

H o f f m a n n u n d C a m p e.

1851.

Титульный лист первого издания «Доктор Фауст»

она пьет жемчуг». — «Тогда я рекомендую тебе прекрасную Елену Спартанскую, — отвечает Астарот, улыбаясь, и иронически добавляет: — с этой особой ты сможешь разговаривать по-гречески». Ученый доктор восхищен этим предложением и требует, чтобы дух дал ему физическую красоту и великолепное платье, дабы он мог с успехом соперничать с рыцарем Парисом; кроме того он требует коня, чтобы тотчас же скакать в Трою. Получив согласие, он удаляется вместе с духом, и оба тотчас же показываются за территорией балагана на высоких конях. Они сбрасывают с себя плащи, и мы видим, как Фауст, а также и Астарот, обратившись в английских наездников в блестящих мишурных одеждах, исполняют замечательные верховые трюки, приводящие в изумление собравшихся конских барышников, которые толпятся вокруг со своими ганноверски-багровыми лицами и от восхищения шлепают себя по желтым кожаным штанам, — это рукоплескания, каких мне не приходилось слышать ни на одном драматическом представлении. Но Астарот в самом деле восхитительно ездил верхом и был стройной хорошенькой девушкой с большими черными дьявольскими глазами. И Фауст был пригожим молодцом, в своем великолепном костюме наездника, и держался он на лошади лучше, чем все прочие немецкие доктора, которых я когда-либо видел верхом. Он носился вместе с Астарот вокруг сцены, на которой уже виднелся теперь город Троя, а на стенах его Елена Прекрасная.

Бесконечно знаменательно это явление Прекрасной Елены в легенде о докторе Фаусте. Оно прежде всего характеризует эпоху его возникновения и дает нам сокровеннейшее объяснение самого сказания. Этот вечно цветущий идеал прелести и красоты, эта Елена Прекрасная, однажды утром являющаяся докторшей Фауст в Виттенберге, есть сама Греция и эллинизм, внезапно выплывшие в сердце Германии, словно вызванные заклинаниями; а магическая книга, заключающая могущественнейшие из этих заклинаний, называлась

Гомером, и это был подлинно великий Адский ключ, заманивший и соблазнивший Фауста и столь многих его современников. Фауст, как исторический, так и легендарный, был одним из тех гуманистов, которые с энтузиазмом распространяли в Германии эллинизм, греческую науку и искусство. Средоточием этой пропаганды был тогда Рим, где знатнейшие прелаты были приверженцами культа древних богов и где даже папа, как некогда его предшественник, император Константин, соединял должность верховного жреца язычества с саном главы христианской церкви. Это была так называемая эпоха воскресения, или, лучше сказать, возрождения античного мировоззрения, совершенно правильно называемая поэтому Ренессанс. В Италии это возрождение легче могло достигнуть расцвета и господства, нежели в Германии, где против него, опираясь на появившийся в это время новый перевод Библии, с таким иконоборческим фанатизмом выступило также возрождение еврейского духа, которое мы назвали бы евангелическим Ренессансом. Удивительное дело. Две великие книги человечества, которые так яростно боролись друг с другом тысячу лет тому назад, а в продолжение всего средневековья, словно устав от борьбы, сошли со сцены, — Гомер и Библия в начале XVI столетия вновь открыто выступают на арену. Выразив выше мнение, что подлинной идеей сказания о Фаусте был бунт реалистической, сенсуалистической жажды жизни против спиритуалистической древнекатолической аскезы, я хочу здесь указать, что первой причиной пробуждения этой сенсуалистической, реалистической жажды жизни даже в душах мыслителей было то, что им пришлось неожиданно познакомиться с памятниками греческого искусства и науки, что они начали читать Гомера, равно как подлинные сочинения Платона и Аристотеля. В обоих этих писателей, как со всей определенностью сообщает предание, Фауст погрузился так глубоко, что имел высокомерие сказать однажды, что если бы их творения были утрачены, то он восстановил бы их

по памяти, как сделал покойный Эзра с Ветхим заветом. Насколько глубоко Фауст изучил Гомера, мы видим из легенды о том, что пред студентами, слушавшими его лекции об этом поэте, он вызывал своими чарами живых героев Троянской войны. Таким же заклинанием вызвал он однажды для увеселения своих гостей ту самую Елену Прекрасную, которую впоследствии пожелал получить от дьявола лично для себя и которою обладал вплоть до рокового конца, как о том сообщает старейшая книга о Фаусте. Книга Видмана опускает эти рассказы, и составитель ее говорит: «Не скрою от христианского читателя, что обрел в сих местах некие истории о докторе Иоганнесе Фаустусе, каковые в рассуждении христианских опасений не полагал упоминать в сем месте, кроме того, что дьявол не допустил его до сочетания браком и вогнал в свое адское мерзкое блудилище, а равно приставил к нему Елену из ада в соблудницы, каковая породила ему на первый раз устрашительное чудовище, а потом сына, по имени Юстуса».

В двух местах старейшей книги о Фаусте, относящихся к Елене Прекрасной, говорится:

«В воскресенье на Фоминой неделе неожиданно вновь пришли в дом к доктору Фаусту к ужину вышереченные студенты, принесли яства и пития, почему были приятными гостями. Как дошло до круговой, речь была за столом о пригожих женах, и тут заговорил один, он-де никакой иной жены видеть не желает, кроме Прекрасной Елены из земли греческой, которой ради прекрасный город Троя был разрушен; а хороша она, вероятно, была, затем что так часто ее похищали, отчего бывало такое возмущение. Ну, ежели таково ваше желание видеть благолепный образ царицы Елены, Менелаевой хозяйки, Тиндара и Леды дочери, Кастора и Поллукса сестры (каковая считалась наипрекраснейшей в Греции), то я вам ее представлю, дабы вы лично узрели дух ее в виде и образе, как была она в жизни, как я уже представил императору Карлу

Пятому, по его пожеланию, императора Александра Великого с супругой. Затем повелел доктор Фаустус, чтобы никто не молвил ни слова, ни от стола не вставал, ни осмелился коснуться ее и вышел в соседний покой. Когда он вернулся, за ним вслед шла царица Елена, столь прекрасная, что студенты не знали, в себе ли они или нет, в таком смущении и любовном пылу они были. Сия Елена явилась в драгоценной черной порфире, волосы распустила, сиявшие как бы золотом и длинные до колен, глаза были у ней черные как уголь, личико премилое, головка округлая, уста красные как вишни, ротик маленький, шея, как лебедь, белая, щечки, как роза, красные, лик красотою несказанно блистательный, вся была она станом высокая и держалась прямо. Вообще изъяна в ней было не найти, и оглядела она горницу взором дерзким и плутовским, так что студенты возгорелись к ней любовью; но как почитали они ее духом, то легко прошла у них похоть сия, и так Елена опять покинула горницу вместе с доктором Фаустусом. Повидав все сие, студенты просили доктора Фаустуса, сделал бы он им удовольствие и завтра опять представил бы им ее, они же приведут с собой живописца, чтоб он снял с нее портрет, в чем, однако, доктор Фаустус им отказал и сказал, что не всякий раз можно ему пробуждать ее дух. Но он добудет им ее портрет, который им, студентам, вольно будет срисовать, что и сделал, и живописцы повсюду рассылали этот портрет, ибо был то образ жены весьма прекрасной. Но кто срисовал его для Фаустуса, дознаться не могли. Студенты же, отойдя ко сну, из-за того облика, во плоти наглядно узренного, не могли уснуть. Явно из сего, как часто в людях возжигает любовь и ослепляет их дьявол, вовлекая их в распутство, из коего потом выбраться нелегко».

Дальше в старой книге говорится:

«Разгула плотских страстей своих ради, в полночь пробудившись, злосчастный Фаустус вспомнил греческую Елену, которую некогда в воскресенье на Фоми-

ной представил студентам, почему на утро и приказал своему духу, чтобы тот доставил ему Елену в любви-нищ, что и было исполнено, и была сия Елена в том же обличьи, что и та, которую представил он студентам, видом любезная и приятная. Узрев ее, доктор Фаустус так пленен был сердцем, что вошел с нею в любовь и держал при себе возлюбленною и так привязался к ней, что, пожалуй, ни мига не мог без нее быть, и она в том же году понесла от него и родила ему сына, каковому Фаустус весьма радовался и назвал его Юстус Фаустус. Младенец тот много рассказал Фаустусу вещей будущих, каким во всех странах свершиться должно. Но когда затем Фаустус жизни лишился, то вместе с ним исчезли мать и младенец».

Так как большинство народных книжек о Фаусте имеет своим источником сочинение Видмана, то Елѣна Прекрасная упоминается в них редко, и значение ее легко могло быть упущено из виду. Упустил его вначале и Гете, если он вообще в то время, когда писал первую часть «Фауста», был знаком с народными книжками и не опирался исключительно на пьесы кукольного театра. Лишь спустя четыре десятилетия, когда он стал сочинять вторую часть «Фауста», он вывел здесь и Елену, и, в действительности, образ ее выписан здесь *con amore* *. Это лучшее, или, вернее, единственно хорошее, во всей второй части в этой аллегорической запутанной чаще, из которой на высоком пьедестале внезапно подымается греческая статуя, исполненная совершенства, и взгляд ее белых глаз выражает такое божественно-языческое очарование, что мы проникаемся настоящей скорбью. Это самое драгоценное изваяние, когда-либо выходившее из мастерской Гете, и едва верится, что перед нами творение рук старца. Это скорее результат спокойной и сознательной работы, чем дитя вдохновенной фантазии, никогда вообще с особенной силой не прорывавшейся у Гете, — ни у него, ни у его

* с любовью, пристрастием

учителей и родичей, — я чуть не сказал: у его земляков — у греков. И у них было больше гармонического чувства формы, чем избытка свободного творчества, больше пластического дарования, чем силы воображения — да, я хочу высказать даже такую ересь: больше мастерства, чем поэзии. После этих указаний, вы, дорогой друг, легко поймете, почему Елене Прекрасной я посвятил в моем балете целое действие. К тому же остров, куда я перенес ее местопребывание, не сочинен мною. Греки давно уже открыли его, и, согласно утверждениям древних авторов, в особенности Павзания и Плиния, он расположен в Понте Евксинском, приблизительно у устья Дуная, и назывался Ахиллея, по находившемуся на нем храму Ахилла. Сам Ахилл — таково предание, — восставший из могилы Пелид, пребывает там в обществе прочих знаменитостей Троянской войны, среди которых находится и вечно юная Елена Спартанская. Хотя доблести и красоте суждена, на радость черни и посредственности, ранняя гибель, однако великодушные поэты вырывают их у могилы и спасают на каком-либо блаженном острове, где не увядают ни цветы, ни сердца.

Я несколько ворчливо отозвался о второй части Гетевского «Фауста», но все же я поистине не могу найти слов для выражения всей глубины восторга, вызываемого во мне данным здесь изображением Елены Прекрасной. К тому же здесь Гете остался верным и духу сказания, что, к сожалению, как я уже заметил, бывает у него так редко, — упрек, который я не устану повторять. В этом отношении больше всех может на Гете пожаловаться дьявол. Его Мефистофель не имеет ни малейшего внутреннего сродства с подлинным «Мефистофилом», как называют его старейшие народные книжки. И этим обстоятельством также подкрепляется мое предположение, что Гете не был с ними знаком, когда писал первую часть «Фауста». Иначе он не вывел бы Мефистофеля в столь свински-забавной, столь циничеши-шүтовской маске. Ведь Мефистофель не

какая-нибудь зауридная адская мразь, это, как сам он себя называет, «утонченный дух», большой барин, очень знатный и высокопоставленный в адской иерархии, в правительстве преисподней, где он принадлежит к тем государственным мужам, из которых выходят имперские канцлеры. Поэтому я сообщил ему облик, соответствующий его достоинству. Ведь обычно дьявол всего охотнее принимал образ красивой женщины, и в старейшей книге о Фаусте Мефистофель именно в этом виде ловко успокаивает бедного доктора, когда несчастного начинают одолевать благочестивые сомнения. Старая книга о Фаусте рассказывает с полнейшей наивностью:

«Когда Фауст, пребывая в одиночестве, хотел предаться размышлению о слове божием, дьявол, представ ему во образе пригожей жены, лобызал его и творил с ним всякое блудодейство, отчего тот, немедля забыв и на ветер пустив божеское слово, продолжал свое распутство».

Выводя дьявола и его спутника в виде танцовщицы, я сохраняю большую верность преданию, чем вы полагаете. То, что во времена доктора Фауста уже существовал бесовский кордебалет, не выдумка вашего друга, но факт, который я могу подтвердить выдержками из жизнеописания Христофора Вагнера, бывшего учеником Фауста. В XVI главе этой старинной книги рассказывается о том, как этот великий беспутник давал в Вене пир, где черти в женском образе наигрывали на струнных инструментах прекрасную и восхитительную музыку, в то время как другие черти «плясали всяческие необычайные и непристойные пляски». Они танцевали при этом также в обезьяньем образе, о чем рассказывается: «Вскоре появилось двенадцать обезьян, которые пустились в круговой пляс, танцевали французские балеты, какие танцуют теперь в Италии, Франции и Германии, прыгали и скакали весьма прекрасно, так что всем на диво». Дьявол Ауэрган (Глухарь), состоявший в услужении у Вагнера, является

обыкновенно в образе обезьяны. Он выступает впервые именно в виде пляшущей обезьяны. Когда Вагнер вызвал его заклинанием, он, по рассказу старинной книги, обратился в обезьяну и тут «прыгал вверх и вниз, танцевал гальярду и другие сладострастные танцы, наигрывал тут же на гуслях, свистел на свирели, трубил в трубу, — словно тут их сотня собралась!»

Не могу преодолеть искушения тут же пояснить вам, любезный друг, что понимает биограф колдуна под названием танца «гальярды». В еще более старой книге Иоганна Преториуса, напечатанной в Лейпциге в 1668 году и содержащей сведения о шабаше на Блоксберге, я вычитал удивительное сообщение, что танец этот изобретен дьяволом; почтенный автор прямо говорит об этом следующее:

«О новой гальярдской вольте, итальянском танце, при котором хватают друг друга за срамные места и кружатся и вертятся, словно катящийся горшок, и который привезен колдунами из Италии во Францию, прибавить надлежит, что оный танец весь полон непристойных похабных ужимок и постыдных телодвижений, да мало того, от него происходят несказанно многие убийства и выкидыши, за чем неукоснительно должно бы следить благоустроенной полиции и запрещать строжайшим образом. И поелику город Женева особенно ненавидит всякое плясание, то сатана подучил одну тамошнюю девицу всех обращать в пляс и скакание, до кого дотронется она железной палочкой или прутиком, который дал ей дьявол. И над судьями она насмеялась и сказала, что они не посмеют предать ее смерти; и оттого она никогда не раскаивалась в своем преступлении».

Из этой выдержки вы, любезный друг, можете заключить, во-первых, что такое гальярда, и, во-вторых, что дьявол благоприятствует танцевальному искусству, желая подразнить благочестивых людей. Вершиной его злопыхательства было то, что он своим железным прутом принудил танцевать благочестивый город

Женеву, этот кальвинистский Иерусалим! Вообразите только, как все эти маленькие женевские угодники, все эти богобоязненные часовщики, эти избранники господни, все эти добродетельные воспитательницы, эти чопорные, угловатые учительские и проповеднические фигуры вдруг завертелись в гальярде! Рассказ этот, должно быть, правдив, так как я вспоминаю, что встречал его также в «Демонии» Бодена, и меня подбивает охота переработать его в балет под заглавием «Пляшущая Женева».

Как видите, дьявол — великий танцмейстер, и, право, нечего удивляться, что он является пред почтеннейшей публикой в образе танцовщицы. Менее естественна, но полна глубокого смысла метаморфоза, о которой рассказывается в старейшей книге о Фаусте, где Мефистофель, превратившись в крылатого коня, доставляет на своей спине Фауста во все страны и города, куда того влечет прихоть или похоть. Дух здесь одарен не только быстротою мысли, но и мощью поэзии; он является здесь Пегасом в собственном смысле слова, в кратчайший срок переносящим Фауста ко всем прелестям и наслаждениям этой земли. В мгновение ока он перебрасывает его в Константинополь, да еще прямо в султанский гарем, где Фауст божественно наслаждается среди изумленных одалисок, принявших его за бога Магомета. Он переносит его также в Рим — и прямо в Ватикан, где Фауст, невидимый никем, утачив из-под носа у папы лучшие яства и напитки, вдоволь услаждается ими; иногда он начинает громко смеяться, так что папа, полагавший, что он один в комнате, пугается. Ненависть к папству и вообще к католической церкви ярко выступает повсюду в сказании о Фаусте. В этом отношении характерно также и то, что Фауст, впервые вызвав заклинанием Мефистофеля, сразу же прямо приказывает ему отныне являться на его зов непременно в рясе францисканца. В этом монашеском облачении изображают его нам старинные народные книжки (но не кукольные пьесы), — в осо-

бенности там, где он препирается с Фаустом о религиозных вопросах. Здесь веет дыхание реформационного времени.

Мефистофель не только лишен реального образа, но и популярным он сделался не в каком-либо определенном образе, подобно другим героям народных книжек, например Тиллю Эйленшпигелю, этой фигуре немецкого подмастерья, этому олицетворенному смеху или Вечному жиду с длинной восемнадцативековой бородой, седины которой, как бы омоложенные, вновь почернели на концах. И в магических книгах Мефистофель не имеет установившегося облика, как другие духи, например Азиабель, всегда предстающий в виде маленького ребенка, или дьявол Марбуэль, непременно являющийся в образе десятилетнего мальчика.

Не могу, кстати, не заметить здесь, что вполне представляю усмотрению вашего театрального механика, пронесется ли Фауст по воздуху со своим адским спутником на двух конях или же в большом волшебном плаще, окутывающем обоих. Волшебный плащ — более народный мотив.

Однако же надо, чтобы ведьмы прилетали на шабаш верхом на какой-нибудь домашней утвари или на каком-нибудь чудище. Немецкая ведьма пользуется обыкновенно помелом, смазанным тем же волшебным притиранием, каким она предварительно натерла свое голое тело. Если ее адский кавалер является за нею лично, то во время полета он сидит впереди, а она сзади. Натираясь мазью, французские ведьмы приговаривают: «Эмен-Этан, Эмен-Этан». «Вверх несись, нигде не зацепись!» — таково заклинание немецких наездниц на помеле, приготовившихся вылететь в трубу. Они знают, как встретиться друг с другом в воздухе, и прилетают на шабаш стаями. Так как ведьмам, как и феям, глубоко ненавистен христианский звон колоколов, то обыкновенно, проносясь мимо колокольной, они на лету забирают колокол и с ужасающим хохотом забрасывают его

в какое-нибудь болото. И это обвинение также встречается в колдовских процессах, и французская пословица правильно говорит, что поскорее бежать следует тому, кого обвиняют в краже колокола с колокольни Нотр-Дам.

Относительно места, где происходит сборище ведьм, которое они называют своим собором, или рейхстагом, мнения в народе очень расходятся. Однако, опираясь на единогласные утверждения очень многих ведьм, несомненно показывавших под пыткой правду, равно как на такие авторитеты, как Ремигиус, Годельманус, Вирус, Бодинус и даже де-Ланкр, я остановился на окруженной деревьями горной лужайке, каковую и указал для третьего действия моего баяета. В Германии бесовское собрание, говорят, обыкновенно происходило или даже теперь происходит на Блоксберге, представляющем собой центр Гарца. Там, однако, собираются не только национально-немецкие ведьмы, но и многие иноземные, и не только живые, но и давно умершие грешницы, не находящие покоя в могиле и, подобно виллисам, и после смерти терзаемые сладострастной тягой к пляске. Поэтому мы видим на шабаше смесь одежд всех стран и веков. Знатные дамы появляются обычно в масках, чтобы не чувствовать стеснения. Колдуны, в большом количестве собирающиеся здесь, часто — люди, в повседневном быту прикрывающиеся самым достопочтенным христианским образом жизни. Что же касается бесов, исполняющих обязанности любовников при ведьмах, то они принадлежат к очень различным рангам, так что старой кухарке или скотнице приходится довольствоваться весьма низкосортным чертенком, тогда как важные патрицианки и высокопоставленные дамы, сообразно своему положению, имеют возможность развлекаться с весьма образованными и тонкохвостыми дьяволами, с галантной золотой молодежью преисподней. Последние являются обычно в старинном испанско-бургундском придворном костюме, притом, однако, либо в совершенно черном,

либо в крикливо ярком, а на берегу их покачивается неизбежно кровавокрасное петушиное перо. Но как ни стройны, как ни изящно одеты, на первый взгляд, эти кавалеры, странно, что всегда в них чувствуется отсутствие известного *finished* * и при более внимательном рассмотрении во всем их существе обнаруживается дисгармония, оскорбляющая слух и зрение: то они слишком тощи, то слишком толсты, лицо их то слишком бледно, то слишком красно, нос то слишком короток, то чуточку длинноват, и при этом подчас заметны пальцы вроде птичьих ногтей, а то и конское копыто. От них не несет серой, как от любовников бедных баб из простонародья, которым, как уже указано, приходится довольствоваться всякими заурядными беснотами, истопниками преисподней. Но всем дьяволам присущ один роковой недуг, на который в судебных разбирательствах жаловались ведьмы всех разрядов, а именно — ледяная холодность их объятий и любовных ласк.

Люцифер, божьей немилостью царь тьмы, председательствует на соборе ведьм в образе черного козла с черным человеческим лицом и факелом между рогами. В середине собрания на высоком помосте или на каменном столе стоит его величество, с серьезным и меланхолическим видом, обличающим нестерпимую скуку. Пред ним, верховным своим властелином, совершают все собравшиеся ведьмы, колдуны, дьяволы и прочие вассалы обряд поклонения, попарно преклоняя пред ним колени, со свечами в руках, и затем благоговейно прикладываясь к его заду. Но и это поклонение явно мало радует его, он остается меланхолическим и серьезным в то время, как все пестрое общество ликуя пляшет вокруг него. Этот хоровод и есть та пресловутая пляска ведьм, характерная особенность которой заключается в том, что лица танцующих обращены наружу, что все они повернулись друг к другу спиной и никто

* лоска

не видит чужого лица. Это, конечно, мера предосторожности, принимаемая с той целью, чтобы ведьмам, которым в дальнейшем предстоит, быть может, судебное преследование, не так легко было под пыткой выдать подруг, с которыми они справляли шабаш. Опасение такого доноса и заставляет высокопоставленных дам являться на бал с маской на лице. Многие танцуют в одной рубашке, многие сбрасывают с себя и это одеяние. Многие сплетают в пляске руки, образуя хоровод, или вытягивают руки вперед; другие размахивают своим помелом с ликующим возгласом: «Гар! Гар! Шабаш! Шабаш!» Дурным предзнаменованием считается, если кто во время пляски упадет на землю. А если ведьме случится в вихре танца потерять башмак, то это означает, что еще в этом году она будет сожжена на костре.

Оркестр, под музыку которого здесь пляшут, состоит или из адских духов в фантастических уродливых образах или из бродячих виртуозов, набранных на большой дороге. Всего охотнее берут для этого слепых скрипачей или флейтистов, чтобы испуг не помешал их игре, когда они увидят ужасы шабаша. К этим ужасам прежде всего принадлежит обряд принятия новых ведьм в черное сообщество, когда послушница посвящается в самые чудовищные таинства. Она как бы официально вступает в брак с адом, и при этом случае дьявол, ее мрачный супруг, дает ей новое имя, un Nom d'amour *, и выжигает на ее теле тайный знак, как память о его нежности. Знак этот так скрыт, что следственным властям в колдовских процессах нередко с величайшим трудом удавалось разыскать его, и для этой цели они при посредстве палача выстригали волосы на теле у обвиняемой.

Но среди ведьм сборища есть у князя тьмы еще избранница, носящая титул верховной невесты, Archi-sposa, и состоящая как бы его главной любовницей. Ее баль-

* любовное прозвище

ный наряд очень прост, более чем прост, так как состоит единственно из одного золотого башмачка, отчего она называется также госпожой в золотом башмачке. Это очень красивая, крупная, почти огромная женщина, ибо дьявол не только знаток прекрасных форм, артист, но и любитель мяса, и по его мнению, чем больше мяса, тем больше и грех. Мало того, в утонченности своего злодейства он старается усугубить грех еще тем, что никогда не избирает своей верховной невестой незамужнюю особу, но непременно замужнюю, к простому распутству присоединяя еще прелюбодеяние. При этом она должна быть хорошей танцовкой, и на чрезвычайном шабаше нередко случалось видеть, как сиятельный козел, сойдя со своего пьедестала, собственной персоной исполнял вместе с голой красавицей своеобразный танец, от описания которого я уклоняюсь «по существеннейшим христианским причинам», как сказал бы старик Видман. Ограничусь указанием, что это древний национальный танец содома, традиции которого после гибели города сохранены были дочерьми Лота и удержались вплоть до сего дня, так как и мне самому часто приходилось видеть исполнение этого танца в Париже в rue Saint Honoré № 359, рядом с собором св. Вознесения. Если принять во внимание, что шабаш ведьм не упорядочен вооруженной моралью, в полицейском мундире, умело обуздывающей вакхическое неистовство, то легко догадаться, какого сорта козлиные прыжки открыто совершались при этом вышеупомянутом *pas de deux*.

Согласно многим сообщениям, Великий козел и его верховная невеста обыкновенно председательствуют также на банкете, происходящем по окончании танца. Утварь и яства на этом пиршестве исключительно драгоценны и изысканны; но если кому вздумается унести оттуда что-нибудь, то на другой день он видит, что золотой кубок оказался глиняным горшком, а сладкий пирог — навозом. Характерно для этого пиршества полнейшее отсутствие соли. Песни, распеваемые со-

бравшимися, — сплошное кощунство, и поются они на мотивы молитвенных песнопений. Святейшие религиозные обряды воспроизводятся с отвратительным шутовством. Так, например, над нашим святым крещением глумятся, совершая его обряд по вполне церковному чину над жабами, ежами и крысами, и в продолжение этого ужасающего действия крестный отец и крестная мать ведут себя как набожные христиане, корча самые ханжеские рожи. Святая вода, посредством которой совершается обряд, есть чудовищная, кощунственная жидкость, а именно моча дьявола. И крестным знаменем осеняют себя ведьмы, но навыворот и левой рукой; говорящие на романских языках произносят при этом слова: «In nomine patrica aragueaco petrica, agora, agora, valentia, jouando goure gaits goustia», что приблизительно значит: «Во имя Патрике, Петрике Арагонского, в сей час, в сей час, Валенсия, всей нашей горести конец». В заключение для издевательства над божественной проповедью любви и всепрощения адский козел возвышает свой ужасающий громовой голос, взывая: «Мстите, мстите, не то помрете». Этими сакраментальными словами он объявляет шабаш ведьм закрытым и, в виде пародии на возвышеннейшее действие Страстей, антихрист приносит и себя самого в жертву, но не ради спасения, а ради гибели человечества: козел в конце концов предает сожжению самого себя, он сгорает в треске пламени, и каждая ведьма старается захватить себе горсть пепла, чтобы совершать при его помощи новые злодеяния. Так заканчиваются бал и пиршество, кричит петух, дамы начинают сильно зябнуть и, как они прибыли, так и разлетаются, только еще быстрее, и не одна госпожа ведьма успевает вновь улечься в постель рядом со своим храпящим супругом, не заметившим, что в отсутствие его дражайшей половины подле него лежало лишь полено, принявшее ее образ.

Однако и меня уже тянет в постель, ибо ведь я, дорогой друг, писал до поздней ночи, чтобы свести в целое заметки, которые вы желали получить. Я имел

при этом в виду не столько директора театра, предполагающего поставить мой балет, сколько высокообразованного джентльмена, интересующегося всем, что есть искусство и мысль. Да, друг мой, вам понятен самый беглый намек поэта, и всякое ваше слово в свою очередь плодотворно влияет на него. Непостижимо для меня, как вы, испытанный деловой практик, можете быть одарены таким необычайным художественным чутьем, и еще более я изумляюсь тому, что среди всех тревожений вашей профессиональной деятельности вы сумели сохранить в себе столько восторженной любви к поэзии!

БОГИ В ИЗГНАНИИ



Еще в давнишних моих статьях останавливался я на идее, которою вызваны предлагаемые сообщения: я возвращаюсь к тому перевоплощению в дьяволов, которому подверглись греко-римские божества, когда верховенство на свете перешло к христианству. Теперь народные верования, хоть и не отрицая существования этих богов, начали видеть в них нечто проклятое, вполне сходясь в таком взгляде с церковью. Последняя отнюдь не объявила, как это сделали философы, богов химерами, порождением обмана и заблуждения; она, напротив, признавала их злыми духами, которые, низвергнутые победою Христа с светозарной вершины своего могущества, стали теперь ютиться на земле во мраке развалин древних храмов или заколдованных чаш, соблазняя заблудившихся там слабовольных христиан своими прельстительными дьявольскими ухищрениями, сладострастием и красотой, особенно же плясками и пением, к отпадению от веры. Обо всем, имеющем отношение к этому вопросу, об обращении древних культов природы в служение сатане и языческого жречества в колдунов, об этом превращении богов в дьяволов я непринужденно беседовал как во второй, так и в третьей частях «Салона» и тем менее вижу необходимости в дальнейших подробностях, что с тех пор многие писатели, одни — идя по следам моих указаний, другие — под влиянием выдвинутых мною соображений о значении этого предмета, осветили вопрос гораздо многостороннее, шире и основательнее. Если они при этом случае не упомянули имени автора, которому принадлежит заслуга почина, то это, конечно, несущественная

забывчивость. Я сам не придаю особого значения такому притязанию. В самом деле, поднятый мною вопрос не был новостью; но с такою популяризацией старых идей всегда бывает то же, что с колумбовым яйцом. Всякий это знал, но никто не высказал. Да, то, что я сказал, не было новостью и давно было напечатано в distinguished фолиантах и квартантах компиляторов и археологов, в этих катакомбах учености, где подчас в ужа-сающей симметрии, гораздо более страшной, чем дикий произвол, нагромождены разнообразнейшие скелеты мыслей. Не скрою, что и современные ученые занимались этим предметом, но они, так сказать, похоронили его, как мумию, в деревянных гробах своего путаного и абстрактного научного языка, в котором не в силах разобратся читающая публика, способная принять его за египетские иероглифы. Из этих-то гробниц и кладбищ я вновь вызвал мысль к действительной жизни, и этого я добился колдовской силой общепонятного слова, черной типографской магией здорового, ясного, народного стиля!

Но возвращаясь к моей теме, основная мысль которой не подлежит здесь, как указано выше, дальнейшему обсуждению. Лишь немногими словами обращаю внимание читателя на то, как бедные старые боги, о которых шла речь выше, в эпоху окончательной победы христианства, то есть в III веке, оказались в тягостном положении, имеющем чрезвычайное сходство с более древними неприятностями их божественной жизни. Дело в том, что теперь они очутились в тех же прискорбных затруднениях, в которых им пришлось раз побывать в те древнейшие времена, в ту революционную эпоху, когда титаны вырвались из-под охраны Орка и, взгромоздив Пелион на Оссу, взобрались на Олимп. Пришлось им тогда удирать с позором, бедным богам, и под разнообразнейшими масками скрывались они у нас на земле. Большинство отправилось в Египет, где они, как всем известно, приняли для большей безопасности образы различных зверей. Совершенно так

Die verbannten Götter.

Von

Heinrich Heine.

Aus dem Französischen

Mit Mittheilungen über den kranken Dichter.



Berlin, 1853.

Verlag von Gustav Hempel.

Титульный лист первого издания «Бог в изгнании»

же вынуждены были бедные языческие боги вновь обратиться в бегство и в разнообразнейших личинах искать убежища в недоступных тайниках, когда истинный владыка мира водрузил свое знамя креста над градом небесным и фанатичные иконоборцы, черная монашеская банда, разрушили все храмы и преследовали изгнанных богов огнем и проклятиями. Многие из этих бедных эмигрантов, оставшись совершенно без крова и амброзии, вынуждены были взяться за мещанское ремесло, стараясь хотя бы заработать на хлеб. В таких обстоятельствах кое-кому, у кого были конфискованы его священные рожи, пришлось работать по-денно у нас в Германии дровосеком и пить пиво вместо нектара. Аполлон в столь тяжелом положении, кажется, дошел до службы у скотоводов, и, как некогда он пас коров Адмета, так теперь он жил пастухом в Нижней Австрии, где, однако, заподозренный благодаря своему прекрасному пению и обличенный одним ученым монахом в том, что он старый колдовской языческий бог, был предан духовному суду. На пытке он сознался, что он бог Аполлон. Перед казнью он просил позволения еще хоть раз сыграть на цитре и пропеть песню. Но он играл так трогательно и пел так очаровательно и был при этом так прекрасен лицом и всем обликом, что все женщины рыдали, а многие впоследствии даже захворали от такого волнения. Спустя некоторое время его собирались снова вырыть из могилы, чтобы проткнуть его тело колом, в убеждении, что это оборотень и что заболевшие женщины выздоровеют от такого испытанного домашнего средства; однако могила оказалась пустой.

О судьбе старого бога войны Марса после победы христиан я могу рассказать немного. Я склонен думать, что в феодальные времена он прибегал к кулачному праву. Долговязый Шиммель-пениг, племянник мюнстерского палача, встретился с ним как-то в Болонье, где они вели разговор, о котором я сообщу в другом месте. Некоторое время до того он служил ландс-

кнехтом под начальством Фрундсберга и присутствовал при взятии Рима, где ему, конечно, горько было видеть отвратительный разгром своего любимого города и храмов, где поклонялись как ему самому, так и его родичам.

Более, нежели Марсу и Аполлону, повезло после великой этой ретирады богу Вакху, и легенда рассказывает следующее:

Есть в Тироле очень большие озера, окруженные лесами, высокие деревья которых великолепно отражаются в голубых водах. Деревья и волны шумят так таинственно, что испытываешь какое-то странное чувство, когда бродишь там в одиночестве. На берегу такого озера стояла хижина молодого рыбака, кормившегося рыбной ловлей, а подчас подрабатывавшего также перевозом, когда какому-либо путнику нужно было переехать на другой берег. У него была большая лодка, которую он привязывал к старым пням неподалеку от избушки. Он жил здесь в полном одиночестве. Однажды, во время осеннего равноденствия, около полуночи услышал он стук в окно и, выйдя за дверь, увидел пред собою трех монахов, спрятавших лица под капюшонами и, видимо, очень спешивших. Один из них торопливо попросил его дать им на время его лодку, обещая через несколько часов вернуть ее на то же место. Монахов было трое, и рыбак, которому при таких условиях долго раздумывать не приходилось, отвязал лодку; пока они усаживались и переправлялись через озеро, он вернулся к себе в избушку и улегся спать. Как человек молодой, он вскоре уснул, но спустя несколько часов его разбудили возвратившиеся монахи; когда он вышел к ним, один из них сунул ему в руку серебряную монету за провоз, и все трое быстро удалились. Выйдя взглянуть на лодку, рыбак нашел ее на месте крепко привязанной. Тут его начало знобить, но не от ночного воздуха. Дело в том, что его всего как-то странно передернуло, и сердце его почти заглохло, когда монах, давая ему деньги, коснулся его руки; пальцы монаха были холодны как

лед. В продолжение нескольких дней он никак не мог забыть этого обстоятельства. Но в конце концов в юности мы легко забываем все неприятное, и рыбак перестал уже и думать об этом происшествии, когда на следующий год, тоже около осеннего равноденствия, в полночь кто-то постучался в окно рыбацкой избушки, и вновь появились три монаха с закутанными лицами и поспешно потребовали лодку. На этот раз рыбак дал ее им с меньшим опасением, и, когда спустя несколько часов они возвратились и один из них торопливо сунул ему в руку плату, он вновь с ужасом ощутил ледяные пальцы. То же самое повторялось из года в год в одно и то же время и таким же порядком, и, наконец, когда подошел урочный день седьмого года, рыбаком овладело сильнейшее желание во что бы то ни стало узнать тайну, скрывавшуюся под этими тремя монашескими рясами. Он навалил в свою лодку ворох сетей, так чтобы под ними можно было спрятаться в то время, когда монахи будут усаживаться в лодку. Действительно, в должное время пришли ожидаемые черные путники, и рыбаку удалось незаметно укрыться под сетями и поехать вместе с ними. К его удивлению, переправа длилась очень недолго, между тем как ему обычно требовалось более часа для переезда на противоположный берег; и еще больше возросло его изумление, когда здесь, в местах так хорошо ему известных, пред ним открылась никогда им до того невиданная обширная лесная лужайка, окаймленная деревьями совершенно неизвестной ему породы. Деревья были увешаны бесчисленным множеством фонарей; на высоких пьедесталах стояли вазы с пылающей смолой и при этом месяц светил так ярко, что рыбак, словно при дневном свете, мог разглядеть собравшуюся там толпу. Их было несколько сот, юношей и девушек, почти сплошь удивительно красивых, хотя лица у всех были белы, как мрамор, что, в соединении с их одеянием, состоявшим из белых, очень свободных туник с пурпурной каймой, придавало им вид движущихся статуй. У женщин

были на головах венки из виноградных лоз, естественных или свитых из золотой и серебряной проволоки, а волосы были частью уложены на темени в виде короны, а частью спускались вольными завитками с короны на плечи. На головах у молодых людей тоже были венки из виноградных листьев. Юноши и девушки, размахивая золотыми жезлами, обвитыми виноградной зеленью, выбежали навстречу трем новоприбывшим, с ликованием приветствуя их. Один из них сбросил теперь рясу, из-под которой явился малый средних лет, вызывающего вида, с отвратительно похотливой, просто похабной рожей и с заостренными козлиными ушами, выставивший напоказ смехотворно преувеличенный половой признак, в высшей степени непристойную гиперболу. Другой монах тоже сбросил рясу, из-под которой явился такой же голый толстяк, на лысый череп которого бойкие женщины надели веночек из роз. Лица обоих монахов были так же белоснежны, как и у всех собравшихся. Белоснежным было также лицо третьего монаха, с громким смехом откинувшего капюшон с головы. Когда он развязал подпоясывавшую его веревку и с отвращением отбросил грязный богоугодный наряд вместе с крестом и четками, из-под рясы явился в сверкающей алмазами тунике юноша чудесной красоты и благороднейшего сложения; впрочем, круглые бедра и тонкий стан делали его несколько женообразным. Нежно изогнутые губы и расплывчатые черты также придавали юноше несколько женственный облик; однако лицо его все же отличалось смелым, почти вызывающим героическим выражением. Женщины в исступленном восторге осыпали его ласками, возложили на его голову веночек из плюща и накинули на его плечи великолепную леопардовую шкуру. В тот же миг подкатила золотая двухколесная запряженная парой львов колесница, на которую с достоинством, но с веселым взглядом взошел юноша. Взяв в руки пурпурные возжи, правил он дикой упряжкой. По правую сторону колесницы шагала один из его разо-

блачившихся спутников, чьи похотливые ужимки и вышеупомянутая непристойная преувеличенность забавляли сборище, между тем как его товарищ, плешистый толстяк, посаженный веселыми женщинами на осла, ехал слева у колесницы, держа в руке золотой кубок, в который ему непрерывно подливали вино. Медленно подвигалась вперед колесница, за которой в разгульной пляске следовали юноши и девушки в виноградных венках. Перед колесницей выступала придворная музыка триумфатора: хорошенький толстощекий мальчик, дувший в двойную свирель; затем девушка в высоко подобранной тунике, неистово колотившая косточками пальцев по натянутой коже бубна; затем не менее восхитительная красавица с трезугольником; затем трубачи, козлоногие молодцы с красивыми, но сладострастными лицами, победно трубившие в причудливо изогнутые рога животных или в морские раковины; затем шли музыканты, игравшие на лютях...

Однако, любезный читатель, я все забываю, что имею дело с очень образованным, весьма осведомленным читателем, давно уже заметившим, что здесь идет речь о вакханалии, о празднестве Диониса. Тебе достаточно часто приходилось видеть на древних барельефах или на гравюрах в археологических сочинениях торжественные шествия во славу этого бога, и, разумеется, ты, при твоем классическом воспитании, ни в коем случае не испугался бы, если бы когда-нибудь в полуденном уединении лесной чащи пред тобою внезапно предстал живой призрак такой вакханалии со всем неизбежным для нее пьяным персоналом. Разве лишь легкое сладострастное содрогание, эстетическую жуть ощутил бы ты при виде этого бледноликого сборища, этих прелестных привидений, покинувших саркофаги своих могил или же тайники своих развалившихся храмов, чтобы еще раз совершить древнее веселое богослужение, чтобы еще раз игрой и пляской отпраздновать победное шествие божественного освобо-

дителя, спасителя чувственных наслаждений, чтобы еще раз закружиться в жизнерадостной пляске язычества, в канкане античного мира, без всякого лицемерного прикрытия, без всякого вмешательства полисменов спиритуалистической морали, в безудержном исступлении былых дней, в неистовстве, в ликовании восклицая: «Эвоэ, Вакх!» Но, ах, любезный читатель, бедный рыбак, о котором мы рассказываем, отнюдь не был так сведущ в мифологии, как ты, он никогда не углублялся в археологию, и он в страхе содрогнулся при виде этого прекрасного триумфатора и двоих его необычайных спутников, когда они сбросили свое монашеское облачение; в ужас привели его непристойные ужимки и прыжки вакхантов, фавнов, сатиров, козлиные ноги и рога которых показались ему особенно дьявольскими, и все сборище он счел слетом привидений и бесов, стремящихся своими кознями навлечь погибель на всех добрых христиан. Волосы встали дыбом у него на голове, когда он увидел головоломную позу одной менады, которая, откинув голову, с развевающимися волосами, лишь при помощи тирса сохраняла равновесие. И у него самого, у бедного нашего лодочника, помутилось в голове, когда он увидел корибантов, исступленно искавших сладострастного упоения в страдании и короткими мечами наносивших себе раны. Мягкие, нежащие и в то же время мучительные звуки музыки, доносившейся до него, вторгались в его душу, подобно пламени, которое испепеляло, пожирало, ужасало. Но когда, наконец, бедняга увидел пресловутый египетский символ преувеличенных размеров и разукрашенный цветами, который обносила вокруг на высоком шесте одна бесстыдница, — тут отшибло у него и слух и зрение, он кинулся к своей лодке и, дрожа всем телом и стуча зубами, заполз под сети, словно сатана уже крепко держал его за ногу. Немного погодя вернулись в лодку и три монаха, и они отчалили. Когда они, наконец, пристали к другому берегу и вышли, рыбак ухитрился так ловко выскользнуть из своего тайника, что мона-

хам показалось, будто он ожидал их за ивами; после того как один из них опять сунул ему ледяными пальцами плату, они поспешно удалились.

Ради спасения своей души, находившейся, по его убеждению, в опасности, а также и для того, чтобы охранить прочих христиан от гибели, рыбак счел себя обязанным донести духовному суду о страшном происшествии, и так как настоятель соседнего францисканского монастыря был окружен высоким уважением, как председатель такого суда и особенно как ученый заклинатель, то он решился незамедлительно отправиться к нему. Поэтому на рассвете рыбак был уже на пути к монастырю и, смиренно опустив очи, вскоре предстал пред его высокопреподобием, приором, который, низко надвинув на лицо капюшон, сидел в кресле в своей библиотеке и пребывал в состоянии неподвижной задумчивости все время, пока рыбак рассказывал ему ужасную историю. По окончании рассказа настоятель поднял голову, и, так как при этом откинулся его капюшон, остолебневший рыбак увидел, что его высокопреподобие — это один из трех монахов, ежегодно переезжавших через озеро, и узнал в нем как раз того, который минувшей ночью в образе языческого демона правил колесницей, запряженной львами: это было то же мраморно-белое лицо, те же прекрасные правильные черты, тот же рот с нежно изогнутыми губами. И на этих губах играла благоволяющая улыбка, и из этих уст исходили теперь сладкозвучные елейные слова: «Возлюбленный сын во Христе! Охотно верим, что вы провели эту ночь в обществе бога Вакха, и ваш необычайный рассказ о чертовщине — лучшее тому свидетельство. Ни в коем случае не хотим мы сказать что-либо дурное об этом боге; он, без сомнения, нередко утешает скорбь и радует сердце человеческое, но он очень опасен для тех, кто не обладает большой выносливостью, а вы, очевидно, принадлежите к таким людям. Посему преподаем вам совет отныне наслаждаться золотым соком винограда с должной умеренностью

и не беспокоить духовное начальство бредом опьянения, а равно помалкивать, точнее, вовсе держать язык за зубами по поводу вашего последнего видения; в противном же случае вам будет отсчитано мирскою рукою палача двадцать пять розог. Теперь же, любезнейший сын во Христе, ступайте на монастырскую кухню, где брат келарь и брат трапезник дадут вам закусить».

Затем преподобный пастырь благословил рыбака, и когда тот в недоумении отправился на кухню и увидел там брата трапезника и брата келаря, он от испуга чуть не упал на землю: ибо эти двое были ночные спутники приора, два монаха, переправлявшиеся вместе с ним через озеро, и рыбак узнал и толстое брюхо, и лысину одного, и издевательски-похотливые черты лица и козлиные уши другого. Но он ни о чем не заикнулся и лишь много лет спустя рассказал эту историю своим близким.

Старинные хроники, сообщающие сходные сказания, переносят место действия в Шпейер на Рейне.

На восточнофрисландском побережье ходит сходное предание, в котором отчетливейшим образом отражаются древнеязыческие представления о переправе покойников в царство теней, лежащее в основе всех этих сказаний. Правда, о Хароне, правящем ладьей, нигде не идет речь, да и вообще этот старый чудодей сохранился не в народном предании, а только в кукольном театре; но гораздо более важный мифологический персонаж открывается нам в так называемом экспедиторе, заведующем переправой мертвых и уплачивающем обычную плату за проезд лодочнику, исполняющему обязанности Харона и предстающему в образе обыкновенного рыбака. Несмотря на причудливую маскировку, мы скоро разгадаем действительное имя этой личности, и потому я передам здесь самое предание со всей возможной точностью.

В Восточной Фрисландии, на побережье Северного моря, существуют бухты, называемые *зиль* и образующие как бы небольшие гавани. У самого входа в них

стоит одинокий домик какого-нибудь рыбака, в тишине и довольстве проживающего здесь со своей семьей. Природа печальна в этих местах, ни одна птица не щебечет здесь, кроме чаек, вылетающих иногда из своих песчаных гнезд, затерянных в дюнах, и зловещим криком предвещающих шторм. Однообразный гул прибоя и мрачные вереницы туч вполне соответствуют друг другу. И люди здесь тоже не поют, и на этом меланхолическом побережье вы никогда не услышите ни одной строфы народной песни. Люди в этих местах сосредоточены, честны, скорее рассудительны, нежели религиозны, и гордятся своим отважным духом и свободой своих предков. Такие люди нелегко увлекаются полетом воображения и не особенно склонны к мудрствованию. Главный заработок рыбака, живущего у своей одинокой бухты, это рыбная ловля да время от времени плата за перевоз проезжих, направляющихся на какой-нибудь из близлежащих островов Северного моря. Рассказывают, что в известное время года, ровно в полдень, как раз в тот час, когда рыбак сидит за обедом вместе со своей семьей, входит в большую общую горницу проезжий и просит хозяина уделить ему несколько минут, чтобы поговорить об одном деле. Рыбак — после тщетных приглашений прежде всего разделить с ними трапезу — в конце концов исполняет желание гостя, и оба отходят к столику у углового окна. Не стану, согласно праздной беллетристической манере, долго описывать наружность незнакомца; для моей цели достаточно определенных примет. Отмечу, стало быть, следующее: это пожилой, однако хорошо сохранившийся человек, моложавый старик, плотный, но не жирный, щечки у него красненькие, как борсдорфское яблочко, глазки весело подмигивают во все стороны, на напудренной головке — треуголочка. Под яркожелтым плащом с бесчисленным множеством воротничков виднеется старомодная одежда, какую мы находим на портретах голландских купцов, говорящая об известном недостатке: шелковый камзольчик зеленого попугайного

цвета, расшитый цветочками жилет, коротенькие черные штанишки, полосатые чулки и туфли с пряжками, такие блестящие, что непонятно, как можно было сохранить их в такой чистоте, пробираясь по прибрежному илу. Голос у него сдавленный, пискливый, иногда переходящий в визг, но речь и повадка у этого человечка чинно-важные, как подобает голландскому купцу. Однако важность эта кажется скорее деланной, чем естественной, и временами ей противоречат любопытствующее метание глазок по сторонам и плохо сдерживаемая судорожная подвижность рук и ног. То, что незнакомец — голландский купец, видно не только по его платью, но и по той меркантильной точности и осмотрительности, с какою он умеет обделать дело к наибольшей выгоде для своего пререпоручителя. Ибо, по его словам, он — экспедитор, и получили от одного из своих торговых друзей поручение перевезти с восточно-фрисландского берега на Белый Остров некоторое количество душ, — сколько вместит обыкновенная лодка; вот для какой надобности, — продолжает он, — желательно ему знать, возьмется ли лодочник этой же ночью перевезти упомянутый груз на своем судне на упомянутый остров. В таком случае он готов плату за проезд внести вперед в твердой уверенности, однако, что тот, из христианской умеренности, не станет запрашивать слишком дорого. Голландский купец (это, собственно говоря, плеоназм, так как всякий голландец — купец) делает это предложение с величайшей непринужденностью, словно речь идет о грузе сыра, а не о душах умерших. Рыбак несколько ошеломлен словом «души», и у него по спине пробегает легкий мороз, так как он сразу заметил, что речь идет о душах умерших и что пред ним тот самый призрачный голландец, который уже не раз поручал его товарищам перевозку мертвых душ и хорошо платил за это. Как я заметил, однако, обитатели восточнофрисландского побережья отважны, здоровы и трезвы и лишены того болезненного воображения, которое делает нас столь восприимчивыми ко всему поту-

стороннему и сверхчувственному; поэтому тайный ужас нашего рыбака длится одно лишь мгновение; подавив тревогу, он тотчас овладевает собой и с видом величайшего спокойствия начинает набивать цену за переправу. Все же после некоторого торга и спора стороны договариваются относительно платы, бьют по рукам в подкрепление сделки, и голландец, вытащив грязный кожаный кошелек, набитый мелкими серебряными пфеннигами, самой мелкой монетой, какую чеканят в Голландии, уплачивает этими забавными монетками всю сумму за перевозку. Дав затем рыбаку указание, чтобы тот около полуночи, когда месяц выйдет из-за облаков, явился с лодкой в определенное место побережья для принятия груза, он прощается со всем семейством, тщетно повторяющим свои приглашения разделить с ними трапезу, — после чего персона, еще недавно казавшаяся такой важной, удаляется, семена мелкими шажками.

В условленный час лодочник является на условленное место в своей лодке, которую туда и сюда швыряют волны. Но когда показывается полный месяц, лодочник начинает замечать, что его суденышко качается уже не так легко и все глубже погружается в воду, так что, наконец, вода отстоит от края борта всего на ладонь. Это обстоятельство открывает ему, что его пассажиры, души, уже взошли на судно, и он отчаливает со своим грузом. Сколько он ни напрягает свой взор, он не различает в лодке ничего, кроме полос тумана, которые движутся взад и вперед, не принимая, однако, определенной формы, и свиваются друг с другом. И сколько бы он ни вслушивался, он не слышит ничего, кроме невыразимо легкого пощелкивания и треска. Лишь временами с пронзительным криком проносится над его головой чайка или рядом с ним всплывает из волн рыба и тупо вглядывается в него. Зияет ночь, и ветер с моря становится все холоднее. Повсюду лишь вода, лунный свет и безмолвие; и, притихший, как и все вокруг, добирается, наконец, лодочник до Белого Острова и пристает со своей лодкой.

На берегу он не видит никого, но слышит резкий, астматически сдавленный и визгливый голос, в котором он узнает голос голландца; с особой ритмической монотонностью, как бы делая переключку, он зачитывает список собственных имен, из этих имен некоторые известны рыбаку и принадлежат лицам, умершим в этом году. По мере того как чтение списка близится к концу, лодка становится все легче и легче, и если недавно еще она грузно сидела в прибрежном песке, то теперь, по окончании проверки, она внезапно и с легкостью всплывает; и рыбак, поняв из этого, что его поклажа принята, спокойно возвращается к жене и детям в свой милый домик у залива.

Так происходит всякий раз с перевозкой душ на Белый Остров. В качестве особого случая лодочник однажды отметил, что невидимый контролер, читая список, внезапно остановился и крикнул: «Где же Питер Янсен? Это не Питер Янсен», — на что тоненький жалобный голосок ответил: «*Ick bin Pitter Jansens Mieke un hab mi op mines Manns Noame inscreberen laten*» *.

Выше я позволил себе, несмотря на ее ловкую маскировку, изобличить важную мифологическую персону, появляющуюся в приведенной легенде. Это не кто иной, как бог Меркурий, былой вожатый душ, Гермес Психомп. Да, под этим поношенным плащом и за этой прозаической фигурой купца скрывается блистательнейший юный бог язычников, хитроумный сын Майи. На его треуголочке нет ни перышка, которое могло бы напомнить о крыльях божественного шлема, и неуклюжие башмаки со стальными пряжками ни в малейшей степени не напоминают крылатых сандалий; этот по-голландски тяжеловесный свинец так отличен от подвижной ртути, получившей даже название от этого бога! Но именно этот контраст свидетельствует о нарочитой преднамеренности, и бог избрал себе эту маску

* «Я Питера Янсена Мике, и просила записать меня на имя моего мужа».

[illegible]

Рукопись «Боги в изгнании»

[illegible]

Рукопись начала «Боги в изгнании»

именно для того, чтобы тем увереннее за ней скрываться. Быть может, впрочем, он остановился на ней не по прихоти: Меркурий, как вам известно, был одновременно богом воров и торговцев, и вполне естественно, что при выборе маски, под которою он мог бы скрыться, и ремесла, которым он мог бы прокормиться, он считался со своим прошлым и со своими дарованиями. Последние были достаточно испытаны: он был изобретательнейшим из олимпийцев, он изобрел черепаховую лиру и солнечный газ, он обкрадывал людей и богов и уже в младенчестве был маленьким кальмониусом, ускользнувшим из колыбели, чтобы стащить пару волос. Он должен был выбрать какое-либо из двух ремесел, по существу не слишком различных, так как оба ставят себе одну задачу: возможно дешевле овладеть чужой собственностью; но лукавый бог сообразил, что воровское сословие не пользуется в общественном мнении столь высоким уважением, как торговое, что первое преследуется полицией, в то время как второе даже охраняется привилегиями, что купцы в наши дни достигают высочайшей ступеньки на лестнице почестей, между тем как представителям воровского сословия приходится подчас взбираться по менее приятной лесенке, что они ставят на карту свободу и жизнь, в то время как купец может потерять лишь свои капиталы или капиталы своих друзей, — и хитроумнейший из богов сделался купцом и, чтобы стать им полностью, сделался даже голландцем. Его продолжительная практика в качестве бывшего Психопомпа, вожатого теней, делала его особенно пригодным для экспедиции душ, транспорт коих на Белый Остров совершается, как мы видели, через него.

Белый Остров иногда называется также Бреа, или Бритиниа. Не имеется ли тут в виду белый Альбион, известковые скалы английского берега? Вот была бы юмористическая идея — назвать Англию страной мертвецов, царством Плутона, преисподней! Иному иностранцу Англия, действительно, может представиться в этом обличье.

В статье, посвященной легенде о Фаусте, я обстоятельно осветил народные верования, относящиеся к царству Плутона и к нему самому. Я показал там, как древнее царство теней обратилось в законченный ад, а древний мрачный повелитель его — в совершенного дьявола. Однако лишь на канцелярском языке церкви эти вещи звучат так резко; несмотря на христианскую анафему, положение Плутона по существу не изменилось. Он, бог преисподней, и брат его Нептун, бог моря, не эмигрировали, подобно другим богам, и после победы христианства остались в своих владениях, в своей стихии. Какие бы нелепости ни сочиняли о нем здесь, наверху, на земле, старик Плутон сидел себе внизу, в тепле, подле своей Прозерпины. Гораздо меньше клеветы, чем его брату Плутону, пришлось претерпеть Нептуну, и ни звон колоколов, ни звуки органа неспособны были оскорбить его ухо в пучине океана, где он сидел спокойно подле своей белогрудой супруги Амфитриты, окруженный влажной свитой nereид и тритонов. Лишь изредка, когда какому-нибудь юному моряку случалось впервые пересекать экватор, он появлялся, вынырнув из своих глубин, с трезубцем в руке, в венке из водорослей и в ниспадающей до пупа волнистой серебряной бороде. Он совершал тогда над новичком обряд страшного крещения морской водой и держал при этом длинную елейную речь, пересыпанную забористыми матросскими остротами, которые он, к восторгу своих просмоленных слушателей, не столько высказывал, сколько выплевывал вместе со струями желтой жижи пережеванного табака. Один приятель, подробно описывавший мне, как разыгрывается моряками на кораблях такое водяное таинство, уверял меня, что как раз те матросы, которые беспешашнее других хохотали над потешной карнавальной рожей Нептуна, все же ни на мгновение не сомневались в существовании этого водяного бога и иногда, в минуту большой опасности, молились ему.

Таким образом, Нептун остался властителем водного царства, подобно тому как Плутон, несмотря на свое превращение в дьявола, остался государем преисподней. Им посчастливилось более, нежели их брату Юпитеру, третьему сыну Сатурна, который после свержения своего отца воцарился на небе и в качестве владыки вселенной с божественной жизнерадостностью правил ею с Олимпа, окруженный блестящей свитой смеющихся богов, богинь и почетных нимф. Когда разразилась прискорбная катастрофа, когда провозглашено было верховенство креста и страдания, эмигрировал и великий Кронид, который так и исчез в сумятице переселения народов. Потерялся след его, и я напрасно обращал мои вопросы к старым летописям и к старым бабам, — никто не мог дать мне сведений о его судьбе. С тою же целью я перерыл множество библиотек, где мне показывали великолепные манускрипты, украшенные золотом и драгоценными камнями, — настоящие одалиски в гареме науки, — и я публично выражаю здесь обычную благодарность ученым евнухам за беспрекословность и даже предупредительность, с какою они открывали предо мною эти сверкающие сокровища. Повидимому, никаких народных преданий о средневековом Юпитере не сохранилось, и все, что мне удалось выловить, исчерпывается рассказом, сообщенным мне некогда моим приятелем Нильсом Андерсеном.

Я назвал Нильса Андерсена, и вновь, как живой, встает в моей памяти его милый забавный образ. Посвящу ему здесь несколько строк. Я охотно указываю мои источники и даю их характеристику, дабы предоставить благосклонному читателю возможность лично судить, в какой степени они заслуживают доверия. Итак, несколько слов о моем источнике.

Нильс Андерсен, уроженец Трондгейма в Норвегии, был одним из величайших китоловов, каких я знал. Я очень ему обязан. От него идут все мои познания по части китоловного промысла. Он познакомил меня со всеми уловками, к каким прибегает умное животное,

чтобы ускользнуть от охотника; он открыл мне все военные хитрости, посредством которых справляются с этими уловками. Он научил меня приемам при метании гарпуна, показал мне, как, бросая в кита гарпун, надлежит упереться коленом правой ноги в передний борт шлюпки, а левой ногой дать здоровенного пинка матросу, который недостаточно быстро разматывает привязанную к гарпуну веревку. От него я узнал все, и если я не сделался великим китоловом, то в этом не виноваты ни Нильс Андерсен, ни я, но моя злая судьба, не давшая мне встретиться на моем жизненном пути ни с одним китом, с которым я мог бы вступить в достойный бой. Я встречался только с обыкновенной треской и паршивой селедкой. А против селедки что поделаешь с самым лучшим гарпуном? Теперь я вынужден отказаться от всяких охотничьих надежд — ввиду моих парализованных ног. Когда я познакомился с Нильсом Андерсеном в Рицебюттеле подле Куксгавена, у него тоже было неладно с ногами, так как одна молодая сенегальская акула, вероятно приняв его правую ногу за конфетку, откусила ее, и бедному Нильсу пришлось с тех пор ковылять на деревяжке. Лучшим удовольствием его в ту пору было сидеть на высокой бочке и колотить по ее пузу своей деревянной ногой. Я часто помогал ему взобраться на бочку, но не раз отказывался помочь ему слезть, пока он не расскажет мне какое-нибудь из своих чудесных рыбацких сказаний.

Как Магомет Ибн-Мансур всегда начинал свои песни с похвалы лошади, так Нильс Андерсен все свои истории начинал панегириком киту. Не обходится без такого похвального слова и его легенда, передаваемая здесь. «Кит, — говорил Нильс Андерсен, — не только самый большой, но и самый красивый зверь. Из двух ноздрей на его голове бьют две громадные водяные струи, сообщающие ему вид чудесного фонтана и производящие, в особенности ночью при лунном свете, волшебный эффект. При этом он добродушен, миролюбив и проявляет большую склонность к тихой семейной

жизни. Трогательную картину представляет собою кит-отец, когда он возлежит в кругу своих близких на огромной льдине, и стар и млад вокруг него соперничают друг с другом в любовных играх и беззаботном взаимном поддразнивании. Иногда все они разом прыгают в воду, чтобы играть в жмурки между большими льдинами. Чистота нравов и целомудрие китов в гораздо большей степени поддерживается ледяной водой, в которой они неустанно плещутся плавниками, чем моральными принципами. Увы, невозможно отрицать, что они лишены религиозного чувства, что они существуют совершенно без религии...»

— Мне кажется, что это ошибка, — перебил я моего приятеля, — я читал недавно отчет одного голландского миссионера, где он изображает великолепие мироздания, каким оно являет себя в далеких полярных областях, когда утром восходит солнце и дневные лучи озаряют причудливые исполинские ледяные глыбы. Напоминая сказочные алмазные замки, говорит он, они представляют собою столь внушительное свидетельство о господнем величии, что не только человек, но и грубая морская тварь, потрясенная этим зрелищем, молитвенно славит создателя, и — так уверяет его преподобие — своими собственными глазами он много раз наблюдал китов, которые, прислонившись к ледяной стене, стояли выпрямившись и склоняли верхнюю часть тела, кланяясь как богомольцы.

Нильс Андерсен недоверчиво покачал головой: он не спорит, ему и самому случалось видеть, как киты, стоя у ледяной стены, совершали движения, немногим отличавшиеся от тех поклонов, которые можно наблюдать в молельнях у некоторых сект, но он совершенно отказывался объяснять их религиозным усердием. Он объяснял это явление физиологически: он заметил, что у кита, этого Чимборозо среди животных, лежит под кожей такой невероятно толстый слой сала, что нередко один кит дает сто — полтораста бочек жира и ворвани. Этот слой сала до того толст, что многие сотни

водяных крыс поселяются в нем, пока великан спит на льдине, и эти гости, несравненно более крупные и злобные, чем наши домашние крысы, ведут развеселую жизнь под кожей кита, где могут день и ночь, не покидая гнезда, услаждаться наилучшим салом. В конце концов эти пиршества могут оказаться несколько докучными и даже невыносимо мучительными для невольного их хозяина, а так как у него нет рук, как у человека, который, если его где кусает, слава тебе господи, имеет возможность почесаться, то он старается смягчить свои глубокие страдания тем, что становится на острые края ледяной стены и, ерзая взад и вперед, яростно трет об нее спину, совсем так, как у нас чешутся собаки о кровать, когда их одолевают блохи. Эти вот движения и счел почтенный батюшка за молитвенные поклоны и приписал их набожному благоговению, тогда как они вызваны крысиными оргиями. «Хоть и много в ките ворвани, — закончил Нильс Андерсен, — религиозного чувства в нем нет ни капли. Он не почитает ни святых, ни пророков, и, даже проглотив однажды по недоразумению маленького пророка Иону, такой кит не мог его никак переварить и через три дня выплюнул. Увы, милейшее чудище обходится без религии и столь же мало почитает нашего истинного господя, проживающего на небе, как и ложного языческого бога, сидящего далеко у северного полюса на Кроличьем острове, где оно иногда его навещает».

«А это что за место, Кроличий остров?» спросил я Нильса Андерсена. Он же побарабанил деревянной ногой по бочке и ответил:

«Это и есть тот остров, где случилась история, которую я хочу вам рассказать. Настоящего местоположения острова я указать не могу. С тех пор, как он открыт, никто не мог вновь побывать на нем; этому мешали огромные ледяные горы, громоздящиеся вокруг острова и, вероятно, лишь очень редко дающие возможность подойти к нему. Только команде одного русского китобойного судна, заброшенного северными бурями в

такую даль, довелось вступить на землю острова, а с тех пор прошло сто лет. Когда эти моряки причалили туда на шлюпке, остров оказался диким и пустынным. Печально покачивались стебельки дрока над прибрежным песком; лишь там и здесь виднелись карликовые ели, да у самой земли чах бесплодный кустарник. Множество кроликов прыгало перед их глазами, почему они и назвали эту землю Кроличьим островом. Только одна жалкая хижина указывала на присутствие человеческого существа. Войдя в нее, моряки увидели дряхлого старика, который сидел на камне у очага в отрепьях, сшитых из кроличьих шкур, и грел у пылающего хвороста свои тощие руки и трясущиеся колени. Справа от него стояла громадная птица, с виду напоминавшая орла, но так безжалостно обципанного временем, что у него сохранились одни только длинные взъерошенные перья на крыльях, что придавало ободранной этой птице чрезвычайно глупый и в то же время ужасающе отвратительный вид. Слева от старика прикурнула на земле необычайно большая облезлая коза, казавшаяся совсем старой, хотя вымя ее с розовыми сосками было полно молока.

Среди русских моряков, высадившихся на Кроличьем острове, было несколько греков, и один из них, не думая, что старик поймет его, сказал товарищу по-гречески: «Этот старикашка — либо привидение, либо злой дух». Но при этих словах старик вдруг поднялся с своего каменного сидения, и с великим изумлением моряки увидели пред собой его высокую, статную фигуру; несмотря на преклонный возраст, он выпрямился с властным, почти царственным достоинством, едва не касаясь головой балок потолка; и черты его лица, хоть и истощенного и поблекшего, свидетельствовали о былой красоте; они отличались благородством и строгой соразмерностью; немногочисленные серебряные пряди волос скудно ниспадали на чело, изборожденное гордостью и летами, взгляд бесцветных и неподвижных глаз был пронизателен, и из высоко изогнутого рта полились звучные и гармонические

слова старинной греческой речи: «Вы ошибаетесь, молодой человек, я не привидение и не злой демон; я — несчастный, знавший некогда лучшие дни. А вы кто такие?»

Моряки рассказали старцу о злключениях своего путешествия и пожелали получить сведения обо всем, что касается острова. Сведения эти, однако, были очень скудны. С незапамятных времен, рассказывал старик, живет он на этом острове, ледяная ограда которого дает ему надежное убежище от неумолимых врагов. Существует он по преимуществу ловлей кроликов, и ежегодно, когда замерзают плавающие льды, приезжают на саних партии дикарей, которым он продает кроличьи шкурки, а они оставляют ему в уплату различные предметы первой необходимости. Киты, иногда приплывающие к острову, приятнейшее для него общество. Тем не менее ему доставляет удовольствие вновь поговорить на родном языке, ибо сам он грек; он в свою очередь просил своих соотечественников сообщить ему некоторые сведения о нынешнем положении Греции. Что с колоколен греческих городов снесены кресты, явно доставило старику злобную радость; однако он был не особенно доволен, когда услышал, что на место креста водружен теперь полумесяц. Странно было, что ни один из моряков не знал названий городов, о которых осведомлялся старик и которые, по его уверению, находились в его времена в цветущем состоянии; с другой стороны, неизвестны были ему названия нынешних городов и сел Греции, о которых упоминали моряки. Поэтому старик не раз печально покачивал головой, а моряки удивленно переглядывались. Они заметили, что ему отлично знакомы все местности Греции, и, в самом деле, он с такой точностью и наглядностью описывал заливы, косы, горные выступы, даже маленькие холмики и незначительнейшие скалы, что его неосведомленность в самых общеизвестных названиях повергла моряков в величайшее изумление. Так, с особенным интересом, даже с некоторой боязливостью, расспра-

шивал он их об одном древнем храме, который, по его словам, в его время был самым красивым во всей Греции. Но никто из слушателей не знал названия, которое он с такой нежностью произносил, пока, наконец, после того как старик со всей точностью вновь описал местоположение храма, один молодой матрос не догадался по описанию, о какой местности идет речь.

«Деревня, где он родился, — так говорил молодой человек, — расположена как раз в этой местности, и мальчиком он долго пас на описанном месте отцовских свиней. Действительно, говорил он, там сохранились развалины древнейших зданий, свидетельствующие об исчезнувшем великолепии; лишь кое-где возвышались еще большие мраморные колонны, то в одиночку, то связанные наверху плитами фронтона, из трещин которого, подобно заплетенным косам, свешивались вниз цветущие побеги жимолости и красных колокольчиков. Другие колонны, среди них многие из розового мрамора, валялись разбитыми на земле, и драгоценные капители, на которых сплелись прекрасно высеченные листья и цветы, большие мраморные плиты, четырехугольные и треугольные обломки стен и крыш торчали там, наполовину уйдя в землю, осененные огромной дикой смоковницей, выросшей из щебня. Целые часы, — продолжал молодой матрос, — проводил он под этим деревом, рассматривая странные фигуры, выпукло высеченные на больших камнях и изображавшие различные игры и состязания; приятно и радостно было смотреть на них, хотя, к сожалению, по большей части они сильно пострадали от непогоды или же заросли мхом и плющом. Отец, которого он расспрашивал о таинственном значении этих колонн и изваяний, как-то сказал ему, что это развалины древнего храма, где некогда обитал проклятый языческий бог, который предавался не только самому откровенному разврату, но и противоестественным порокам и кровосмесительству; однако в честь его ослепленные язычники нередко приносили в жертву сотню быков пред его алтарем; выдол-

бленная глыба мрамора, в которую стекала кровь жертв, еще находится там, и это то самое каменное корыто, из которого он, сын его, иногда поил своих свиной скопившейся в нем дождевой водой или сохранял там всякие объедки для их корма».

Так говорил молодой человек. Старик же ответил глубоким вздохом, свидетельствовавшим о величайшем страдании; бессильно опустил он на свое каменное сидение, закрыл лицо обеими руками и заплакал как дитя. Большая птица устрашающе заклекотала, распустила свои огромные крылья и стала угрожать пришельцам когтями и клювом. А старая коза лизнула руки своего господина и заблеяла печально и как бы успокаивая его.

Тревожное беспокойство охватило моряков при виде этого; они поспешно покинули хижину и были рады, когда до слуха их перестали доноситься рыдания старика, клекот птицы и блеяние козы. Возвратившись на судно, они рассказали там о своем приключении. Но среди экипажа находился один русский ученый, профессор философского факультета Казанского университета, и он объявил, что этот случай имеет очень большое значение; лукаво приставив указательный палец к носу, он уверял моряков, что старик на Кроличьем острове — без сомнения, древний бог Юпитер, сын Сатурна и Реи, бывший царь богов. Птица подле него — это, по всей вероятности, орел, некогда державший в своих когтях устрашающие молнии. А старая коза, по всей вероятности, не кто иная, как Амальтея, старая кормилица, еще на Крите вспоившая бога своим молоком и теперь в изгнании вновь питающая его».

Так рассказывал Нильс Андерсен, и, должен признаться, его повесть наполнила мою душу печалью. Уже сообщения о тайных муках китов возбудили мое сострадание. Бедный больной зверь! От мерзостной крысиной сволочи, внедрившейся в тебя и неустанно тебя грызущей, нет спасения, и тебе приходится всю жизнь таскать ее с собою; и хотя ты в отчаянии мечешься от

северного полюса к южному и чешешься о его ледяные края, — ничто не поможет тебе, ты не можешь избавиться от них, от этих мерзостных крыс, да к тому же еще тебе не дано черпать утешение в религии! Все великое на этой земле грызут тайные крысы, и даже богам в конце концов уготована позорная гибель. Таков железный закон рока, и даже высочайший из бессмертных должен постыдно склонить пред ним голову. Он, воспетый Гомером и изваянный Фидием из золота и слоновой кости; он, которому стоило повести очами, чтобы сотряслась вся земля; он, любовник Леды, Алкмены, Семелы, Данаи, Каллисто, Ио, Латоны, Европы и т. д., — он вынужден в конце концов прятаться на краю света у северного полюса за ледяными горами и, чтобы поддержать свое жалкое существование, торговать кроличьими шкурками, как обтрепанный саваяр!

Не сомневаюсь, что есть люди, злорадно упивающиеся такого рода зрелищем. Эти люди, повидимому, являются потомками тех самых злосчастных быков, которые сотнями были закланы в виде гекатомб на алтарях Юпитера. — Радуйтесь, отомщена кровь ваших предков, этих жалких жертв суеверия! Нас же, необремененных наследственной ненавистью, нас потрясает зрелище павшего величия, и мы приносим ему в дань наше глубочайшее сострадание. Эта чувствительность, быть может, и помешала нам вести наш рассказ с той холодной серьезностью, которая является украшением историка; лишь в некоторой степени удалось нам усвоить ту важность, какую возможно проникнуться только во Франции. Мы скромно рекомендуем себя снисхождению читателя, которому неизменно изъявляли наше глубочайшее уважение, и таким образом заканчиваем здесь первую часть нашей истории богов в изгнании.

БОГИНЯ ДИАНА



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Нижеследующая пантомима возникла точно таким же образом, как и моя поэма для танца «Фауст». Во время беседы с Ломлеем, директором лондонского Королевского театра, последний высказал желание, чтобы я указал ему несколько балетных сюжетов, которые могли бы послужить основанием для большой постановки с пышными декорациями и костюмами, и когда я симпровизировал кое-что в этом роде, между прочим и легенду о Диане, последняя показалась, видимо, отвечающею намерениям остроумного, изобретательного импрессарио, и он попросил меня тотчас же наметить сценарий этой легенды. Это было выполнено в форме нижеследующего беглого эскиза, который так и не дождался дальнейшей разработки, так как он не был потом вовсе использован для сцены. Я печатаю его здесь не в заботе о собственной славе, но чтобы помешать упорно шныряющим за мною воронам слишком горделиво рядиться в чужие павлиньи перья. Ведь сюжет моей пантомимы по существу содержится уже в третьей части моего «Салона», откуда некий маэстро Бартель зачерпнул не один жбан неперебродившего вина. Эта легенда о Диане появляется здесь, впрочем, в самом подходящем для нее месте, так как она примыкает непосредственно к циклу сказаний о «Богах в изгнании», и я, следовательно, могу обойтись без особых оговорок.

Париж, 1 марта 1854.

Генрих Гейне.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Древний, пришедший в ветхость храм Дианы. Развалины его еще довольно хорошо сохранились, лишь кое-где обвалившаяся колонна или отверстие в крыше; сквозь него виден край вечернего неба и на нем полумесяц. Направо лес. Слева алтарь со статуей богини Дианы. Нимфы ее то тут, то там небрежными группами полулежат на земле. Они проявляют дурное настроение, им скучно. Время от времени одна из них вскакивает, танцует несколько па и как будто теряется в светлых воспоминаниях. Другие присоединяются к ней и исполняют античные пляски. Затем они пляшут вокруг статуи богини, полушутливо-полуторжественно, как будто готовясь к храмовому празднеству. Они зажигают свечильники и вяют венки.

Вдруг со стороны леса стремительно вбегает богиня Диана в обычном наряде охотницы, точь в точь такая же, какую она изображена тут же в виде статуи. Она кажется испуганною, точно убежавшая от охотника серна. Она рассказывает встревоженным нимфам, что кто-то преследует ее. Она в величайшем смятении от испуга, но не от одного только испуга. Сквозь ее суровое негодование пробиваются более нежные чувства. Она непрестанно бросает взгляды на лес, наконец, видимо, замечает своего преследователя и прячется за собственной статуей.

Входит молодой немецкий рыцарь. Он ищет богиню. Ее нимфы вяются вокруг него, чтобы задержать его подальше от статуи повелительницы. Они ласкаются к нему, они угрожают. Они борются с ним, он защищается, поддразнивая их. Наконец он вырывается от них, замечает статую, с мольбою простирает к ней руки, кидается к ее ногам, обнимает в отчаянии пьедестал и дает обет вечно служить ей душой и телом. Он видит на алтаре нож и жертвенную чашу; страшная мысль пронизывает его: он вспоминает, что богиня некогда любила человеческие жертвы, и в упоении страсти он

хватает нож и чашу: он готов совершить жертвенное возлияние, наполнив ее кровью своего сердца, он уже приближает лезвие к своей груди; но тут настоящая, живая богиня выбегает из своего тайника, сжимает его руку, вырывает из пальцев нож; они глядят друг на друга в течение долгой паузы, удивление в них граничит с ужасом, страсть, дрожь, готовность умереть, полнота любви.

В своем *pas de deux* они то убегают, то ищут друг друга, но теперь это приводит лишь к одному: они неизменно находят друг друга и понижают в объятии. Наконец они садятся на пьедестал богини, нежно шепчась, точно счастливые дети, а нимфы пляшут вокруг них, изображая собою хор, и своею пантомимую комментируют то, что нашептывают друг другу влюбленные.

(Диана рассказывает своему рыцарю, что древние боги вовсе не умерли, но лишь скрываются в горных пещерах и в развалинах храмов, сходятся там по ночам и справляют свои торжества.)

Вдруг раздается сладостно-нежная музыка, и входят Аполлон и музы. Он наигрывает песню влюбленным, а спутницы его водят прекрасный мерный хоровод вокруг Дианы и рыцаря. Музыка становится более взволнованной, из-за кулис доносятся сладострастные мелодии, звоны цимбал и бубна — это Вакх, совершающий торжественный въезд со своими сатирами и вакханками. Он восседает на ручном льве, по правую руку от него толстобрюхий Силен на осле. Бешеные, неистовые пляски сатиров и вакхантов. Последние, с виноградными листьями, а некоторые со змеями в развевающихся волосах, украшенные золотыми коронами, потрясают тирсами и принимают те вызывающие, невероятные, даже невозможные позы, которые мы видим на древних вазах и всякого рода барельефах. Вакх сходит к влюбленным и приглашает их принять участие в его радостной мистерии. Они поднимаются и вдвоем исполняют пляску бесконечного опьянения радостью

жизни; к этой пляске присоединяются Аполлон и Вакх, вместе со своими спутниками, и нимфы Дианы.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Большой зал в готическом рыцарском замке. Слуги в пестрых, расшитых гербами кафтанах заняты приготовлениями к балу. Слева эстрада, на ней видны музыканты, они наигрывают на своих инструментах. Справа высокое кресло, в нем сидит рыцарь, в задумчивости и меланхолии. Рядом стоит его супруга, на ней наряд хозяйки замка, тесно облегающее платье с кружевным воротником; тут же шут в дурацком колпаке и с жезлом; оба они тщетно стараются развеселить рыцаря своими танцами. Хозяйка замка выражает в степенных размеренных па свою супружескую нежность и почти впадает в сентиментальность; шут как бы преувеличенно пародирует ее и выделяет самые причудливые прыжки. Музыканты также наигрывают нестройные мелодии. За сценой слышны трубные звуки, и вскоре появляются приглашенные на бал рыцари и девицы, довольно нескладные пестрые фигуры в невероятно пышных средневековых нарядах; мужчины воинственно-грубы и тупы, женщины подчеркнуто благопристойны и манерны. При их появлении встает владетель замка, рыцарь, и следуют самые церемонные поклоны и книксены. Рыцарь и его супруга открывают бал. Тяжелые па немецкого вальса. Появляются канцлер и его писцы в черных присвоенных их званию одеждах, с тяжелыми золотыми цепями на груди и с зажженными восковыми свечами в руках; они исполняют известный танец факелов, во время которого шут вскакивает в оркестр и начинает дирижировать; дурачась, он отбивает такт. Снова слышатся за сценою трубные звуки.

Слуга докладывает, что неизвестные маски просят позволения войти. Рыцарь кивает головой в знак согласия, в глубине сцены открывается дверь, и тремя процессиями входят замаскированные фигуры; в руках

у некоторых музыкальные инструменты. Предводитель первой процессии играет на лире. Эти звуки, видимо, возбуждают в рыцаре сладостные воспоминания, и остальные слушатели внимают в изумлении. В то время как предводитель первой процессии играет на лире, вокруг него торжественно пляшет его свита. Из второй процессии выступают вперед с цимбалами и бубнами. Эти звуки повергают рыцаря в состояние величайшего восхищения; у одной маски он вырывает из рук бубен, бьет в него сам и исполняет при этом, как бы восполняя музыку, самый неистово ликующий танец. — С таким же диким, необузданным ликованием пляшут вокруг него маски второй процессии с тирсами в руках. Рыцари и дамы охвачены еще большим изумлением, и даже госпожа не может скрыть целомудренного восторга. Один только шут, соскочив с эстрады, выражает свое полное сочувствие в сладострастных каприолях. Но вдруг перед рыцарем встает маска, предводительствующая третьей процессией, и повелительным жестом приказывает ему следовать за нею. Вне себя от ужаса и возмущения направляется госпожа к той маске, желая узнать, кто она. Но та гордо глядит на нее, отбрасывает маску и скрывающий ее плащ и является Дианою в обычном наряде охотницы. Другие маски тоже принимают настоящий свой вид и отбрасывают укутывающие их плащи; это — Аполлон и музы, составляющие первую процессию, вторую составляют Вакх и его спутники, в третью входят Диана и нимфы.

При виде открывшейся богини рыцарь с мольбою кидается к ее ногам и заклинает не покидать его. И шут в таком же восторге кидается к ее ногам и заклинает взять его с собою. Диана повелевает, чтобы все смолкло, танцует свой божественно благороднейший танец и жестами объясняет рыцарю, что она отправляется к Венериной горе, где он впоследствии может найти ее. Госпожа дает полный простор излиниям своего гнева и возмущения в самых безумных прыжках, и перед нами *pas de deux*, в котором язычески-грече-

ское ликование богов справляет в пляске единоборство с германски-спиритуалистическою добродетелью домашнего очага.

Диана, пресытаясь борьбою, окидывает всех собравшихся презрительными взглядами и удаляется в конце концов вместе со своими спутниками через среднюю дверь. Рыцарь в отчаянии устремляется вслед за ними, но его удерживают супруга, ее прислужницы и остальная челядь. — За сценою вакхически-ликующая музыка, в зале же снова кружится прерванный чопорный факельный танец.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Дикая горная местность. Справа — фантастические группы деревьев и край озера. Слева — крутой выступ скалы, на котором виден большой портал. — Рыцарь блуждает вокруг, точно безумный. Судя по движениям, он заклинает небо и землю, всю природу, возвратить ему возлюбленную. Из озера выходят ундины и кружатся вокруг него в торжественно-обольстительном танце. На них длинные белые покрывала, убраны они жемчугом и кораллами. Они пытаются увлечь рыцаря в подводное царство, но из зелени деревьев выскакивают духи воздуха, сильфы, удерживающие его игристым, даже разнузданным весельем. Ундины скрываются в озере.

Сильфы одеты в светлые цвета, и на головах у них венки из зелени. Легко и весело пляшут они вокруг рыцаря. Они дразнят его, утешают и хотят увлечь его в свое воздушное царство, но вот у него под ногами разверзается земля, и оттуда бурю вырываются наружу духи земли, крохотные гномы с длинными белыми бородами и короткими мечами в маленьких ручках. Они набрасываются на сильфов, которые уносятся как стая испуганных птиц. Некоторые из них спасаются на деревьях, раскачиваются в ветвях и, прежде чем совершенно исчезнуть в воздушных струях, издеваются

над гномами, которые остались внизу и в движениях выражают свое бешенство.

Гномы танцуют вокруг рыцаря и, видимо, стараются внушить ему мужество и злобное упорство, которым воодушевлены и они сами. Они показывают ему фехтовальные приемы; они исполняют боевой танец, пыжаты, точно победили весь мир, — но тут внезапно появляются духи огня, саламандры, и, едва завидя их, гномы в трусливом испуге вновь уползают в свои земные недра.

Саламандры — долгоязыые, тощие мужчины и женщины в плотно облегающих их огненнокрасных одеждах. У всех у них большие золотые короны на головах, а в руках скипетры и другие знаки государственной власти. Они танцуют вокруг рыцаря с пламенной страстностью; они и ему протягивают корону и скипетр, и он невольно вовлекается в пылающий, огневой разгул; пламя спалило бы его, если бы не раздались вдруг звуки охотничьего рога и в воздухе в глубине сцены не показалось видение неистой охоты.

Рыцарь рывком освобождается от духов огня, которые, точно ракеты, рассыпаются искрами и исчезают; освобожденный страстно простирает руки к той, что ведет эту неистовую охотничью рать.

Это — Диана. Она восседает на снежно-белом коне и, приветливо улыбаясь, кивает рыцарю. За нею скачут, тоже на белых конях, нимфы-богини, а также сонм богов, которых мы уже видели, когда они прибыли к древнему храму, то есть Аполлон с музами и Вакх со спутниками. Арьергард на крылатых конях образуют некоторые великие поэты средневековья, равно как прекрасные женщины последних эпох. Обогнув горные вершины, шествие достигает, наконец, переднего плана и вступает в широко раскрывающиеся ворота по левую сторону сцены. Диана одна сходит с коня и остается со своим рыцарем, упоенным радостью. Влюбленные торжествуют в восторженных танцах свое соединение. Диана указывает рыцарю на ворота в скалистой стене и поясняет ему, что это и есть прославленная Венераина

гора, обиталище всякого изобилия и сладострастия. Она хочет ввести его туда точно в триумфе, — но им навстречу выходит старый, белобородый воин, с ног до головы закованный в броню, и удерживает рыцаря, предостерегая его против опасности, которой подвержена его душа в языческой Венериной горе. Когда же рыцарь оставляет без внимания благие предостережения, престарелый воин (имя которому верный Эккарт) берется за меч и вызывает рыцаря на единоборство. Рыцарь принимает вызов и приказывает встревоженной богине не вмешиваться в их борьбу, но после первых же выпадов он падает, заколотый насмерть. Верный Эккарт ковыляет прочь, в туповатой удовлетворенности, радуясь тому, что он спас по крайней мере хоть душу рыцаря. На труп последнего кидается полная отчаяния безутешная богиня Диана.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Венерина гора: подземный чертог; его архитектура и убранство во вкусе ренессанса, только еще гораздо фантастичнее, напоминают арабские волшебные сказки. Коринфские колонны, капители которых превращены в деревья и образуют крытые аллеи. Экзотические цветы в высоких мраморных вазах, украшенных античными барельефами. На стенах — картины, изображающие любовные похождения Венеры. Золотые канделябры и лампы проливают магический свет, и все носит здесь черты волшебного преизбытка. То здесь, то там группы людей, беспечно и небрежно покоящихся на земле или сидящих за шахматной доскою. Другие играют в мяч или предаются воинским упражнениям и потешным боям. Рыцари и дамы прогуливаются парами, предаваясь галантным беседам. Костюмы этих людей принадлежат разнообразнейшим эпохам. А сами они — это те прославленные мужи и жены античного мира и средних веков, которых народное предание перенесло в Венерину гору в силу их сенсуалистической репу-

тации или же за их баснословные дела. Среди женщин мы видим, например, прекрасную Елену Спартанскую, царицу Савскую, Клеопатру, Иродиаду; тут же непонятным образом и Юдифь, убийца благородного Олоферна, и героини различных бретонских рыцарских сказаний. Среди мужчин выделяются: Александр Македонский, поэт Овидий, Юлий Цезарь, Дитрих Бернский, король Артур, Ожье Датчанин, Амадис Галльский, Фридрих Второй Гогенштауфен, Клингсор Венгерский, Готфрид Страсбургский и Вольфганг Гете. Все они в костюмах своего времени и сословия, и здесь нет недостатка в духовных облачениях, выдающих самых высоких сановников церкви.

Музыка передает беспредельно сладостное *dolce far niente**, но вдруг переходит в тона величайшей чувственности и сладострастия. Тогда появляется госпожа Венус с Тангейзером, ее *cavalier servent* **. Оба они, весьма обнаженные, с венками из роз на головах, танцуют очень чувственно *pas de deux*, кое в чем напоминающее наиболее запретные танцы новейшего времени. Они то как будто враждуют между собою в танце, то осмеивают, то подзадоривают друг друга, то презрительно отворачиваются друг от друга, то снова, как будто невзначай, соединяются силою непреодолимой любви, которая, однако, ни в коем случае не обусловлена взаимным уважением.

Еще несколько фигур присоединяются к танцу тех двух, все в той же необузданной манере, и так образуются самые смелые кадрили.

Но внезапно это бешеное веселье обрывается. Раздается режущая слух похоронная музыка. С распущенными волосами и с жестами самой дикой скорби выбегает богиня Диана, а за нею шествуют нимфы, несущие тело рыцаря. Его опускают на середине сцены, и богиня с любовной заботливостью подкладывает

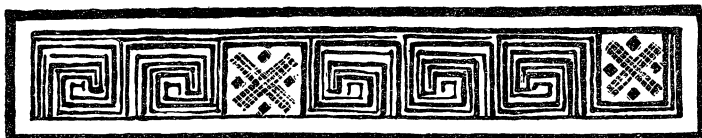
* сладостное ничегонеделанье

** услужливый кавалер

несколько шелковых подушек ему под голову. Диана исполняет свой страшный танец отчаяния со всеми потрясающими проявлениями подлинной трагической страсти, без примеси кокетства и легкомыслия. Она закликает свою подругу Венеру пробудить рыцаря от смерти. Но последняя пожимает плечами, — она бессильна против смерти. Диана, как безумная, бросается на труп и орошает слезами и поцелуями его окоченелые руки и ноги.

Снова меняется музыка и предвещает успокоение и гармоническое блаженство. По левую сторону сцены во главе муз выходит бог Аполлон. И снова меняется музыка: чувствуется в ней переход к ликующей жизнерадостности, и по правую сторону сцены появляется Вакх со своей вакхической свитой. Аполлон настраивает лиру и, играя, танцует вместе с музами вокруг умершего рыцаря. Под эти звуки последний пробуждается, будто от тяжелого сна, он протирает глаза, изумленно озирается, но вскоре снова падает в оцепенении смерти. Тогда схватывает бубен Вакх и в сопровождении своих неистовствующих вакхантов пляшет вокруг рыцаря. Всемогущее вдохновение овладевает богом жизненной радости, он едва не разбивает тамбурин. Эти мелодии снова пробуждают рыцаря от смертного сна, и он наполовину приподымается, медленно, с полукрытым жаждущим ртом. Вакх велит Силену наполнить кубок и льет вино в рот рыцарю. Едва вкусив от напитка, тот вскакивает с земли, встряхивается всем телом и начинает исполнять самые дерзновенные и упоенные танцы. И богиня вновь светла и счастлива, она вырывает тирс из рук вакханки и вторит ликованию и упоению рыцаря. Все присутствующие принимают участие в радости влюбленных и, образуя новые кадрили, справляют праздник воскрешенья. Оба, рыцарь и Диана, в конце концов склоняют колени у ног госпожи Венус, которая возлагает свой розовый венок на голову Дианы, а венок Тантейзера на голову рыцаря. Апофеоз,

ПРИЗНАНИЯ



Написано зимою 1854 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующие страницы написаны мною для включения в новое издание моей книги «De l'Allemagne». Предполагая, что содержание их может привлечь равным образом внимание немецких читателей, я предаю гласности эти «Признания» также на немецком языке, и даже ранее появления французского текста. К этой предосторожности вынуждает меня проницательность так называемых переводчиков, которые, несмотря на то, что я недавно объявил в немецких газетах о предстоящем издании моего труда, все-таки не постыдились подцепить в парижском журнале появившееся уже по-французски начало моего произведения и издать отдельной брошюрой по-немецки, нанося, таким образом, ущерб не только литературной репутации, но и имущественным интересам автора. Такие воришки гораздо презреннее разбойника с большой дороги, который смело подвергает себя опасности быть повешенным, тогда как эти, в трусливейшей безопасности пользуясь пробелами нашего законодательства о печати, имеют возможность совершенно безнаказанно красть у бедного писателя его столь же тяжелый, сколь скудный заработок. Не стану останавливаться здесь на том частном случае, о котором говорю; гнусность эта, должен признаться, не удивила меня. У меня достаточно горького опыта, и моя бывшая вера — или суеверие — в немецкую честность очень ослабела. Не могу скрыть, что за время моего пребывания во Франции

я очень часто бывал жертвой этого суеверия. Оригинально, что среди мошенников, с которыми мне, увы, приходилось, к несчастью моему, встречаться, был всего лишь один француз, и мошенник этот оказался уроженцем одной из тех областей, которые, будучи некогда оторваны от германского государства, ныне затребованы нашими патриотами обратно. Если бы мне пришлось составлять по этнографическому образцу Лепорелло иллюстрированный список соответственных прохвостов, опустошавших мой карман, то, разумеется, все культурные страны были бы в нем представлены достаточно богато, но пальма первенства досталась бы все же любезному отечеству, достигшему в этой области невиданных высот, и я мог бы порассказать об этом в песне с припевом:

Но в Германии тысяча три.

Характерно, что нашим немецким жуликам присуща некоторая сентиментальность. Это не холодные рассудочные негодяи, но прохвосты, полные чувства. Они не лишены сердечности, принимают задушевнейшее участие в судьбе тех, кого обокрали, и от них невозможно отделаться. Даже наши важные деловые аферисты не являются простыми эгоистами, ворующими лично для себя, но они стремятся завладеть презренным маммоном с единственной целью делать добро; в свободные часы, когда они не заняты своей профессией, например директорством общества газового освещения богемских лесов, они покровительствуют пианистам и журналистам, и кой-кто из них, под пестро расшитым, отливающим всеми цветами Ириды, жилетом, носит также и сердце, а в сердце — грызущего червя мировой скорби. Делец, издавший в виде брошюры вышеупомянутое мое сочинение, сопроводил его заметкой о моей особе, где жалостно скорбит о печальном состоянии моего здоровья и, понадергав всяческих газетных статей, сообщает трогательнейшие сведения о моем нынешнем горестном виде, так

что я описан здесь с головы до ног. Один остроумный приятель, читая все это, воскликнул со смехом: «В наше время все шиворот навыворот, — теперь вор публикует приметы честного человека, которого обокрал».

Париж, май 1854.

Один остроумный француз — несколько лет тому назад эти слова были бы плеоназмом — как-то назвал меня *romantique détroqué* *. Я питаю слабость ко всему, что отмечено умом, и как ни зло это название, оно все же чрезвычайно позабавило меня. Оно очень метко. Несмотря на мои уничтожающие походы на романтизм, я все же всегда оставался романтиком и был им в большей степени, нежели сам подозревал. После того как я нанес романтической поэзии в Германии смертоноснейшие удары, меня самого вновь охватило беспредельное томление по голубому цветку в прозрачной стране романтики, и я взялся за волшебную лютню и пропел песню, в которой снова отдался всем блаженным крайностям, опьянению лунным светом, всему захватывающему соловьиному безумию напева, некогда столь любимого.

Знаю, что

Может быть, конец лесной тут
Вольной песне романтизма

и что я ее последний поэт: мною заканчивается у немцев старая лирическая школа и мною же открывается новая лирическая школа, современная немецкая лирика. Это двойное значение приписывают мне немецкие историки литературы. Мне неподобаet распространяться об этом подробно, но с полным правом я могу сказать, что в истории немецкой романтики я заслуживаю обстоятельного упоминания. По этой причине в моей книге «*De l'Allemagne*», где я стремился изложить эту историю романтической школы с возможной

* расстриженный романтик

полнотою, я должен был бы поговорить и о своей собственной персоне. Так как я этого не сделал, возник пробел, который мне нелегко исправить. Составление автохарактеристики было бы работой не только неудобной, но попросту невозможной. Я был бы пошлым фатом, если бы стал грубо выставлять здесь все, что мог бы сказать о себе хорошего, и был бы большим дураком, если бы начал перебирать перед целым светом недостатки, которые, повидимому, тоже мне известны. И затем, при всем желании быть искренним, ни один человек не может сказать правду о самом себе. Да это и не удавалось до сих пор никому — ни св. Августину, благочестивому епископу Гиппонскому, ни женевицу Жан-Жаку-Руссо, — и менее всего последнему, именовавшему себя человеком природы и правды, в то время как по существу он был лживее и неестественнее, чем его современники. Он, конечно, слишком горд, чтобы ложно приписывать себе достоинства или прекрасные поступки; напротив, он сочиняет отвратительнейшие вещи, чтобы опорочить себя. Клеветали ли он на себя для того, чтобы с тем большим правдоподобием клеветать и на других, например на моего бедного соотечественника Гримма? Или он делает лживые признания для того, чтобы скрыть под ними истинные проступки, ибо, как достаточно известно, гнусные сплетни, ходящие о нас, обыкновенно очень огорчают нас лишь в тех случаях, когда заключают истину, между тем как душа наша гораздо меньше бывает ими задета, если в них нет ничего, кроме выдумки. Так, я убежден, что Жан-Жак не крал ленты, стоившей места и чести напрасно обвиненной и выгнанной горничной; у него, без сомнения, не было никакого таланта к воровству; слишком был он для этого робок и неуклюж, он, этот будущий медведь Эрмитажа. Он, быть может, был повинен в каком-либо другом проступке, но это не было воровство. И не отдавал он своих детей в приют для подкидышей, а всего только детей девицы Терезы Левассер. Еще тридцать лет тому назад

один из крупнейших немецких психологов обратил мое внимание на одно место «Исповеди», из которого бесспорно следует, что Руссо не мог быть отцом этих детей; тщеславный брюзга решил, что лучше выдать себя за бессердечного отца, чем сносить подозрение, будто он вообще неспособен быть отцом. Но человек, оклеветавший в своем собственном лице и человеческую природу, все же оставался ей верен в отношении нашей наследственной слабости, заключающейся в том, что мы всегда хотим казаться в глазах света не тем, что мы есть на самом деле. Его автопортрет есть ложь, великолепно проведенная, но все-таки чистейшая ложь. Гораздо честнее был король племени Ашанти, о котором я недавно прочитал в одном путешествии по Африке много смешных вещей, и я приведу здесь наивное отражающее указанную человеческую слабость. Майор Бодич, будучи отправлен английским губернатором мыса Доброй Надежды в качестве министра-резидента ко двору этого могущественнейшего монарха Южной Африки, старался снискать расположение царедворцев, в особенности же придворных дам, среди которых, несмотря на их черную кожу, были и чрезвычайно красивые, тем, что рисовал их портреты. Король, восхищенный разительным сходством, выразил пожелание также получить свой портрет и уже несколько раз позировал перед художником, когда однажды тому показалось, что на лице короля, часто вскакивавшего, чтобы следить за успехом работы, замечается некоторое беспокойство и неловкое смущение человека, у которого есть на языке желание, но нет подходящих слов для его выражения. Однако художник до тех пор выпрашивал его величество, прося сообщить ему высочайшее пожелание, пока, наконец, бедный негритянский король не спросил с робостью, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы он был нарисован белым.

В этом все дело. Черный негритянский король хочет, чтоб его писали белым. Не смейтесь, однако, над бед-

ным африканцем: каждый человек — такой негритянский король, и каждому из нас хотелось бы предстать пред публикой в иной окраске чем та, которая суждена нам судьбой. Благодарение богу, что мне это известно, и поэтому я остерегусь в этой книге изображать самого себя. Но пробел, созданный отсутствием этого портрета, я постараюсь до некоторой степени восполнить на дальнейших страницах тем, что не раз буду иметь случай представить свою особу в самом сомнительном свете. Я ведь поставил себе задачей на пользу и благо читателя этого нового издания моей книги «De l'Allemagne» дополнительно изобразить здесь возникновение книги, равно как философские и религиозные изменения, происшедшие в мыслях автора со времени ее окончания.

Не беспокойтесь, я не нарисую себя чересчур белым и не буду слишком чернить моих ближних. Со всей точностью буду я всегда сообщать мою окраску, чтобы все знали, в какой степени можно доверять моему суждению, когда я говорю о людях другой окраски.

Я дал моей книге то же заглавие, под которым г-жа Сталь выпустила в свет свое знаменитое сочинение, посвященное тому же предмету, и сделал это с полемической целью. Нимало не отрицаю, что эта цель руководила мною; но, заявляя наперед, что написал партийное сочинение, я оказываю искателю истины, быть может, большую услугу, чем если бы лицемерно прикрывался известной вялой беспартийностью, которая всегда есть ложь и вреднее для критикуемого автора, чем самая решительная враждебность. Так как г-жа Сталь — автор гениальный и некогда выразила мысль, что гений не имеет пола, то я по отношению к этой писательнице могу обойтись без той галантной снисходительности, которую мы обычно оказываем дамам и которая, по существу, есть лишь сострадательное удостоверение их слабости.

Верен ли банальный анекдот, который передают об этом высказывании г-жи Сталь и который я еще

мальчиком слышали в числе иных острот времен Империи? Рассказывали, что в то время, когда Наполеон был еще первым консулом, к нему на дом явилась как-то с визитом г-жа Сталь; несмотря на все уверения дежурного чиновника, что он получил строгий приказ не допускать никого, она все же настойчиво требовала, чтобы он немедленно доложил о ней своему прославленному господину. Когда последний велел передать, что, к сожалению, не может принять почтенную даму, поелику как раз в этот момент находится в ванне, то она будто бы ответила знаменитым изречением, что это нисколько не мешает, так как у гения нет пола.

Не ручаюсь за достоверность этой истории; но если она неверна, то все же хорошо выдуманна. Она рисует назойливость, с которой пылкая особа преследовала императора. Нигде не имел он покоя от ее обожания. Раз навсегда она вбила себе в голову, что величайший человек столетия должен вступить в более или менее идеальный союз с величайшей современницей. Но когда она однажды, в расчете на комплимент, обратилась к императору с вопросом: какую из женщин своего времени он считает величайшей, — он ответил: «Ту, которая больше всех родила детей». Это было не особенно галантно, как и вообще нельзя отрицать, что император в отношениях с женщинами не проявлял той нежной предупредительности и того внимания, которое так любят француженки. Но они сами зато никогда не вызовут какой-либо неучтивости своим бестактным поведением, как это сделала знаменитая уроженка Женевы, показавшая в этом случае, что при всей своей физической подвижности, она не была свободна от некоторой неповоротливости, свойственной ее землякам.

Когда почтенная дама заметила, что ничего не сможет добиться всей своей назойливостью, она сделала то, что обычно делают в таких случаях женщины, — она объявила себя противницей императора, разглагольствовала против его грубого и негалантного господства, и разглагольствовала до тех пор, пока полиция

ее не выслала. Она бежала тогда к нам, в Германию, где подбирала материалы для знаменитой книги, которая должна была восславить немецкий спиритуализм как идеал всякого великоления, в противоположность материализму императорской Франции. Здесь, у нас, она не замедлила сделать великую находку: она встрети-лась с неким ученым, по имени Август-Вильгельм Шлегель. Это был гений без пола. Он сделался ее вер-ным чичероне и сопровождал ее в ее путешествии по всем чердакам немецкой литературы. Она нахлобу-чила на голову необъятный тюрбан и сделалась, таким образом, султаншей мысли. Словно на умственном смотре, пропускала она мимо себя наших литераторов, пародируя при этом великого султана материи. По-добно тому как он обращался к людям с вопросами: «Сколько вам лет? Сколько у вас детей? Сколько лет на службе?» и т. д. — так она спрашивала наших уче-ных: «Сколько вам лет? Что вы написали? Вы кантианец или фихтеанец?» и тому подобные вещи, почти не дожидаясь ответов, которые ее верный мамелюк, Август-Вильгельм Шлегель, ее Рустан, поспешно заносил в свою записную книжку. Как Наполеон объявил самой ве-ликой женщиной ту, которая больше всех народила детей, так Сталь объявила самым великим человеком того, кто написал больше всего книг. Невозможно пред-ставить себе, сколько шуму она у нас наделала, и не-которые сочинения, лишь недавно появившиеся, как, например, «Воспоминания» Каролины Пихлер, письма Рахили Фарнгаген и Беттины Арним, равно как сви-детельства Эккермана, забавнейшим образом рисуют затруднительное положение, в которое поставила нас султанша мысли в пору, когда султан материи при-чинил нам достаточно неприятностей. Это был умствен-ный военный постой, бремя которого пало прежде всего на ученых. Те литераторы, которыми почтенная дама осталась особенно довольна и которые лично пришлось ей по вкусу чертами своего лица или цветом глаз, могли рассчитывать на почетное упоминание,

как бы на крест Почетного легиона в ее книге «De l'Allemagne». Эта книга всегда производит на меня столь же комическое, сколь раздражающее впечатление. Я вижу перед собой эту аффектированную женщину во всей ее воинственности, вижу, как этот ураган в юбке проносится по нашей мирной Германии, как она повсюду в восторге вскрикивает: «Каким освежающим покоем веет здесь на меня!» Она разгорячилась во Франции и явилась в Германию, чтобы прохладиться у нас. Целомудренное дыхание наших поэтов было так сладостно для ее горячей, пламенной груди! Она рассматривала наших философов, как различные сорта мороженого, и глотала Канта, как ванильный пломбир, Фихте — как фисташковое, Шеллинга — как «арлекин!» — «О, как прохладительно в ваших лесах, — восклицала она беспрестанно, — какое живительное благоухание фиалок, как мирно щебечут чижи в своем немецком гнездышке! Вы — прекрасный, добродетельный народ, и вы понятия не имеете об испорченности нравов, царящей у нас на rue du Vas».

Почтенная дама видела у нас только то, что хотела видеть: туманную страну духов, где бестелесные люди, сплошная добродетель, бродят по снежным равнинам, рассуждая исключительно о морали и метафизике! Она видела у нас повсюду лишь то, что хотела видеть, и слышала лишь то, что хотела услышать и пересказать, — и притом слышала она всего лишь немного и никогда не слышала истинного: с одной стороны, потому, что всегда говорила сама, а затем потому, что рассуждая с нашими скромными учеными, она своими резкими вопросами смущала и ошеломляла их. — «Что есть дух?» спросила она робкого профессора Бутервека, положив свою мясистую ногу на его тощие, дрожащие бедра. — «Ах, — писала она потом, — как интересен этот Бутервек! Как потупляет он глаза! Этого никогда не случалось с моими собеседниками в Париже на rue du Vas!» Она повсюду видит немецкий спиритуализм, она восхваляет нашу честность, нашу

добродетель, наше духовное развитие — она не видит наших тюрем, наших публичных домов, наших казарм — можно подумать, что каждый немец достоин мантионовской премии. И все это для того, чтобы досадить императору, врагами которого мы тогда были.

Ненависть к императору — душа этой книги «De l'Allemagne», и хотя имя его нигде в ней не названо, все же ясно, что при каждой строчке писательница искося поглядывает на Тюильри. Не сомневаюсь, что книга эта более чувствительно досадила императору, чем самое прямое нападение, ибо ничто не уязвляет мужчину сильнее мелких женских булавочных уколов. Мы готовы к могучим ударам меча, а нас щекочат в самых чувствительных местах.

О женщины! Мы должны многое им прощать, ибо они любят много и даже многих. Их ненависть — собственно та же любовь, только переменившая направление. Иногда они стараются также причинить нам зло потому, что рассчитывают таким путем сделать приятное другому мужчине. Когда они пишут, один глаз у них обращен на бумагу, а другой на какого-нибудь мужчину, — и это относится ко всем писательницам, за исключением графини Ган-Ган, у которой только один глаз. У нас, писателей-мужчин, тоже есть наши предвзятые симпатии, и мы пишем за или против чего-нибудь, за какую-либо идею или против нее, за какую-либо партию или против нее; женщины же всегда пишут за или против одного единственного мужчины, или, лучше сказать, ради одного единственного мужчины. Характерна для них склонность к сплетне, к кружковщине, которую они переносят и в литературу и которая по мне во много раз ужаснее самого грубого неистовства клеветы мужчины. Мы, мужчины, иногда лжем. Женщины же, как все пассивные натуры, редко могут что-нибудь изобрести, но зато умеют так извратить действительность, что вредят нам таким образом гораздо безошибочнее, чем настоящей ложью. Думаю, по совести, прав был мой друг Бальзак, как-то

сказавший мне с глубоким вздохом: «*La femme est un être dangereux*» *.

Да, женщины опасны; но я должен все же заметить при этом, что красивые не так опасны, как те, которые обладают умственными преимуществами более, чем физическими. Ибо первые привыкли к тому, чтобы мужчины ухаживали за ними, между тем как последние идут навстречу самолюбию мужчин и, приманивая их лестью, добывают больше поклонников. Я не хочу этим сказать, упаси господи, что г-жа Сталь была уродлива; но красавица есть нечто совсем иное. В ней были приятные частности, которые, однако, слагались в пренеприятное целое; особенно невыносима для нервных людей, к которым принадлежал покойный Шиллер, была ее привычка быстро вертеть в руках стебелек или бумажную трубочку — от этих манипуляций у бедного Шиллера начинала кружиться голова, и он в отчаянии хватал ее красивую руку, чтобы удержать ее, а г-жа Сталь воображала, что чувствительный поэт увлечен чарами ее особы. У нее в самом деле были, как я слышал, очень красивые руки и прекраснейшие плечи, которые она всегда обнажала; конечно, Венера Милосская не могла похвалиться такими прекрасными руками. Белизною ее зубы были блистательнее челюстей драгоценнейших скакунов Аравии. У нее были очень большие красивые глаза, дюжина купидонов уместилась бы на ее губах, и улыбка ее была, говорят, восхитительна. Таким образом она не была уродлива — уродливых женщин нет, — но можно положительно утверждать, что если бы у спартанской Елены Прекрасной была такая наружность, то не было бы никакой Троянской войны, град Приама не пал бы добычей пламени, и Гомер не мог бы воспеть гнев Ахиллеса, Пелеева сына.

Как сказано выше, г-жа Сталь объявила себя противницей великого императора и пошла на него

* «Женщина — опасное существо».

походом. Однако она не ограничилась писанием книг против него; она пыталась нападать на него и нелитературным оружием: некоторое время она была душой всех аристократических и иезуитских интриг, предшествовавших коалиции против Наполеона, и, как настоящая ведьма, сидела она на корточках у кипящего котла, в котором все дипломатические отравители, ее друзья, — Талейран, Меттерних, Поццо-ди-Борго, Кестльри и т. п. — варили яды на погибель великому императору. Шумовкой ненависти мешала эта женщина варево в роковом горшке, где стряпалось несчастье для всего мира. Когда пал император, г-жа Сталь победоносно вступила в Париж со своей книгой «De l'Allemagne» и в сопровождении нескольких сот тысяч немцев, которых привезла с собой как бы в качестве пышной иллюстрации к своей книге. Иллюстрированное таким образом живыми фигурами, ее произведение должно было очень выиграть в подлинности, и здесь наглядно можно было убедиться в том, что автор изобразил нас, немцев, и наши отечественные добродетели с большой точностью. Каким великолепным гравированным на меди фронтисписом был отец Блюхер, этот забубенный картежник, этот старый хрен, имевший как-то наглость объявить в суточном приказе, что выпорот императора, если тот попадется ему живьем в руки. И нашего А. В. Шлегеля привезла с собой г-жа Сталь в Париж в качестве образца немецкой наивности и геройской доблести. Следовал за ней также Цахариас Вернер, этот образчик немецкого целомудрия, за которым с хохотом бегали обнаженные красотки Пале-Рояля. К любопытным фигурам, представившимся в ту пору парижанам в своих немецких костюмах, принадлежали также господа Геррес, Ян и Эрнст-Мориц Аридт, три знаменитых французоода, забавная порода свирепых псов, получивших это прозвище от известного патриота Берне в его книге «Менцель-французоед». Сей Менцель ни в коем случае не есть, как полагают некоторые, сочиненный персонаж, но он

в самом деле существовал, или, вернее, издавал в Штутгарте газету, в которой ежедневно уюкокишивал полдюжины французов и пожирал их с кожей и волосами; слопав свою порцию французов, он иногда в дополнение закусывал еще евреем *pour se faire la bonne bouche*, — чтобы во рту остался хороший вкус. Теперь он давно оттаял и, беззубый, паршивый, издыхает в какой-то швабской книжной лавчонке на макулатурной свалке. В числе образцовых немцев, которых можно было видеть в Париже в свите г-жи Сталь, находился также Фридрих Шлегель, являвшийся, разумеется, представителем гастрономического аскетизма или спиритуализма жареной курятины; его сопровождала его достойная супруга Доротея, урожденная Мендельсон и сбегавшая Фейт. Не могу здесь обойти молчанием также еще один экземпляр этой породы, замечательного аколита Шлегелей. Это один немецкий барон, на которого по особой рекомендации Шлегелей была возложена обязанность представлять в Париже германскую науку. Он был родом из Альтоны, где принадлежал к одной из почтеннейших семей Израиля. Его родословное древо, восходившее до Авраама, сына Таера и предка Давида, царя иудейского и израильского, давало ему вполне достаточные права именоваться дворянином, и, так как он отошел от синагоги, так же как отошел впоследствии от протестантства, и, официально отрекшись от последнего, вошел в лоно римско-католической единоспасающей церкви, то с полным основанием мог посягать на титул католического барона. В качестве такового он основал в Париже для содействия феодальным и клерикальным интересам журнал, под названием «*Le catholique*». Не только на страницах этого издания, но и в салонах некоторых знатных благочестивых вдовиц аристократического предместья этот ученый дворянин неустанно разглагольствовал о Будде, и вновь о Будде, и обстоятельно и основательно доказывал он, что было два Будды, в чем французы и так поверили бы ему на честное слово дворя-

нина, и показывал, что догмат Троицы содержится уже в индуских Тримурти, и цитировал Рамайану, Магабгарату, Упнекаты, корову Сабалу и царя Вишвамитру, Снорриеву Эдду и еще множество неоткрытых ископаемых и мамонтовых костей, и был при этом совершенно допотопно сух и очень скучен, что всегда ослепляет французов. Так как он беспрестанно возвращался к Будде и, быть может, смешно выговаривал это слово, то насмешливые французы в конце концов прозвали его «барон Будда». Под этим именем я застал его в 1831 году в Париже, и, слыша, как он с жреческой и почти синагогальной важностью вертит свою ученую шарманку, я вспомнил одного комического субъекта в «Уэкфильдском священнике» Гольдсмита, по имени, кажется, мистер Дженкинсон, который всякий раз, встретившись с каким-нибудь ученым, подходящим для надувательства, цитировал разные места из Мането, Берозуса и Санхуниатона; санскрит не был еще изобретен в те годы. Немецким бароном более идеального пошиба был мой бедный друг Фридрих де-ла-Мотт-Фуке, въехавший тогда в составе коллекции г-жи Сталь в Париж на своем высоком Росинанте. Это был Дон-Кихот с головы до пят; при чтении его произведений нельзя было не восхищаться... Сервантесом.

Был, однако, среди французских паладинов г-жи Сталь не один галльский Дон-Кихот, не уступавший в шутовстве нашим германским рыцарям, например ее друг виконт Шатобриан, шут в черном колпаке с бубенцами, как раз возвратившийся ко времени этого торжества романтики из своего благочестивого паломничества. Он привез с собою в Париж необъятных размеров бутыль воды из Иордана и этой святой водой наново крестил соотечественников, сделавшихся язычниками за время революции, и окропленные французы стали теперь истинными христианами и отреклись от сатаны и его прелестей, получили в царстве небесном воздаяния за отнятые у них на земле завоевания, на-

пример за прирейнские области, и при этом случае я сделался пруссаком.

Не знаю, верен ли рассказ, будто во время Ста дней г-жа Сталь предложила императору поддерживать его своим пером, если он уплатит ей два миллиона, которые Франция осталась должна ее отцу. Император, который, очень хорошо зная французов, берег их деньги больше, чем их кровь, не согласился на эту сделку, и дочь Альпов осталась верна народной поговорке: «Point d'argent, point de suisses»*. Впрочем, содействие талантливой дамы мало помогло бы в это время императору, ибо вскоре после этого произошло сражение при Ватерлоо.

Я сказал уже, при каких печальных обстоятельствах сделался пруссаком. Я родился в последнем году прошлого столетия в Дюссельдорфе, столице герцогства Бергского, принадлежавшего тогда курфюрсту Пфальцскому. Когда Пфальц достался баварскому дому и баварский князь Максимилиан-Иосиф был возведен императором в сан короля баварского, а королевство его было расширено присоединением части Тироля и других пограничных земель, король баварский отказался от герцогства Бергского в пользу зятя императора, Иоахима Мюрата; этот последний, после присоединения к его герцогству пограничных областей, стал именоваться великим герцогом Бергским. Но в те годы повышение происходило очень быстро, и прошло немного времени, как император сделал своего зятя Мюрата королем неаполитанским и тот отказался от суверенитета над великим герцогством Бергским в пользу принца Франциска, племянника императора и старшего сына короля голландского Людовика и прекрасной королевы Гортензии. Так как Франциск никогда не отрекался и его герцогство, оккупированное пруссаками, после его смерти перешло *de jure* к сыну короля голландского, принцу Луи-Наполеону Бона-

* «Нет денег, нет швейцарцев».

парту, то последний, ныне также император французский, есть мой законный государь.

В другом месте, в моих мемуарах, я рассказываю подробнее, чем мог это сделать здесь, как после Июльской революции переселился в Париж, где живу с тех пор, спокойный и довольный. Что я делал и что претерпел во время Реставрации, также будет рассказано современем, когда бескорыстная цель таких сообщений не сможет наткнуться на сомнения и подозрения... Я много сделал и много претерпел, и когда солнце Июльской революции взошло во Франции, я почувствовал себя очень усталым и нуждался в отдыхе. Воздух отечества становился к тому же с каждым днем все пагубнее для меня, и я должен был серьезно подумать о перемене климата. У меня были галлюцинации; проносящиеся облака пугали меня и строили мне всякие страшные рожи. Иногда мне казалось, что солнце — прусская кокарда; по ночам мне снился отвратительный черный коршун, клюющий мою печень, и великая меланхолия удручала меня. К тому же я познакомился с одним старым берлинским юристом, просидевшим много лет в крепости в Шпандау и рассказывавшим мне, как неприятно бывает носить зимой кандалы. Мне в самом деле показалось очень нехристианским, что людям не подогревают немножко их цепи. Если бы нам чуточку подогревали оковы, то они не производили бы столь неприятного впечатления и даже зябкие натуры отлично переносили бы их; следовало бы также позаботиться о том, чтобы цепи были парфюмированы розами и лаврами, как это делается здесь. Я спросил моего собеседника, часто ли его кормили в Шпандау устрицами. Он отвечал, что нет, — Шпандау слишком далек от моря. Мясо, — прибавил он, — тоже там в редкость, а из крылатой породы не получаешь там ничего, кроме мух, падающих иногда в суп. Одновременно я познакомился с одним французским коммивояжером, который распространял вина какой-то фирмы и не мог нахвастаться, как весело теперь жи-

вется в Париже, какая там благодать, как с утра до вечера распевают там марсельезу и «En avant marchons» и «Lafayette aux cheveux blancs» * и на всяком углу написано «Свобода, равенство, братство»; при этом он расхваливал шампанское своей фирмы, вручив мне целую пачку ее объявлений и обещая мне рекомендательные письма в наилучшие парижские рестораны на случай, если мне вздумается посетить для развлечения столицу. Так как мне в самом деле следовало развлечься, а Шпандау слишком далек от моря, чтобы там есть устриц, и супы со шпандауской птицей не особенно соблазняли меня, к тому же прусские цепи зимой очень холодны и не могли быть полезны для моего здоровья, то я решил отправиться в Париж и в отечестве шампанского и марсельезы пить первое и слушать последнюю вместе с «En avant marchons» и «Lafayette aux cheveux blancs».

1 мая 1831 года я переехал через Рейн. Старого речного бога, отца Рейна, мне не пришлось повидать, и я удовольствовался тем, что забросил ему в реку мою визитную карточку. Он сидел, как сообщили мне, на самом дне и опять зубрил французскую грамматику Мейдингера, так как за время прусского владычества очень поотстал во французском языке и хотел на всякий случай опять подучиться. Мне как будто послышалось, как он там внизу спрягает: «J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons» **. — Но что он любит? Ни в коем случае не пруссаков. Страсбургский собор я видел лишь издали, он покачивал головой, как старый «верный Эккарт» при виде юного молодчика, направляющегося в Венерину гору.

В Сен-Дени я пробудился от сладкого утреннего сна и впервые услышал возгласы кондукторов «кукушки»: «Париж! Париж!» и звонки продавцов «коко». Здесь дышишь уже воздухом столицы, виднеющейся на гори-

* «Марш вперед» и «Седой Лафайет»

** «Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим».

зонте. Какой-то старый плут-проводник старался убедить меня посетить королевские гробницы, но не для того приехал я во Францию, чтобы посмотреть мертвых королей; я удовольствовался тем, что позволил этому чичероне рассказать мне местную легенду о том, как злой король-язычник повелел отрубить голову св. Денису и как тот, неся свою голову в руке, прибежал из Парижа в Сен-Дени, чтобы там быть погребенным и дать местечку свое имя. Если принять во внимание дальность расстояния, — добавил мой рассказчик, — нельзя не удивиться чуду, что человек мог без головы пройти так далеко, но, — прибавил он с особенной улыбкой, — «dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui coûte» *. Это стоило двух франков, каковые я и дал ему pour l'amour de Voltaire **. Через двадцать минут я был в Париже и въехал через триумфальные ворота бульвара Сен-Дени, первоначально воздвигнутые в честь Людовика XIV, теперь же ознаменовавшие торжественность моего въезда в Париж. Я был поистине поражен толпой нарядных людей, одетых с большим вкусом, словно картинки модного журнала. Затем мне внушило почтение то, что все они говорили по-французски, что у нас считается признаком высшего света; здесь, значит, весь народ так же знатен, как у нас дворянство. Мужчины все были вежливы, а прекрасные женщины улыбались. Если кто-нибудь, нечаянно толкнув меня, не спешил попросить извинения, то я мог биться об заклад, что это соотечественник; и если какая-нибудь красotka имела слишком кислый вид, то она или наелась кислой капусты, или же умела читать Клопштока в подлиннике. Все это показалось мне таким занятым, и небо было такое синее, и воздух такой приветливый, такой щедрый, и при этом кое-где еще мерцали огоньки июльского солнца; щеки прекрасной Лютеции еще горели от пла-

* «в таких случаях труден только первый шаг»

** из любви к Вольтеру.

менных поцелуев этого солнца, и на груди ее еще не совсем увял свадебный букет. На углах улиц, правда, уже стерлись опять кое-где *liberté, égalité, fraternité* *. Я не замедлил побывать в ресторанах, к которым имел рекомендацию; эти трактирщики уверили меня, что приняли бы меня хорошо и без рекомендательных писем, ибо моя пристойная и благородная наружность служит достаточной рекомендацией. Никогда немецкий харчевник не говорил мне ничего подобного, если даже так думал; такой грубиян полагает, что должен скрывать от нас приятное и что немецкая откровенность обязывает его говорить нам в лицо только неприятные вещи. В нравах и даже в языке французов так много восхитительной лести, которая стоит так мало и, однако, действует так благотворно и живительно! Моя душа, бедная мимоза, так съездившаяся от боязни отечественной грубости, вновь раскрылась навстречу этим приветливым звукам французской вежливости. Бог дал нам язык для того, чтобы говорить нашим ближним приятное.

С французским языком у меня по приезде было немножко неладно, но после получасового разговора с маленькой продавщицей цветов в *passage de l'Opéra*, мой французский язык, несколько закоченевший после сражения при Ватерлоо, вновь обрел беглость, я вновь втянулся в галантнейшие спряжения и очень понятно объяснил малютке систему Линнея, в которой цветы классифицируются по тычинкам; малютка придерживалась другой системы и разделяла цветы на такие, которые пахнут и которые воняют. Кажется, и по отношению к мужчинам она придерживалась той же классификации. Она была поражена, что я такой ученый, несмотря на свою молодость, и раструбила мою ученую славу по всему *passage de l'Opéra*. Я и здесь с упоением впитывал ароматы лести и развлекался воею. Я разгуливал по цветам, и не один жареный голубь влетел мне

* свобода, равенство, братство

в разинутый рот. Сколько занятого видел я здесь по приезде! Всех знаменитостей общественного развлечения и официальной смехотворности. Самыми смехотворными были серьезные французы. Я увидел Арналя, Буффе, Дежазе, Дюбюро, Одри, мадемуазель Жорж и «большую кастрюлю» во Дворце инвалидов. Я видел морг, французскую академию, где также выставлено множество неизвестных трупов, и, наконец, люксембургский некрополь, где покоятся все мумии клятвопреступления вместе с набальзамированными ложными присягами, принесенными ими всем династиям французских фараонов. Я видел в Jardin des Plantes жираффу, трехногого козла и кенгуру, особенно позабавивших меня. Я видел также г-на Лафайета и его седые волосы; последние, впрочем, я видел отдельно, так как они находились в медальоне, висевшем на шее у одной красивой дамы, в то время как сам он, герой двух частей света, ходил в темном парике, как все старые французы. Я побывал в королевской библиотеке и видел здесь хранителя медалей, которые только что были украдены; в темном коридоре видел я там же Дендерский зодиак, некогда наделавший столько шума, и в тот же день я видел г-жу Рекамье, знаменитейшую красавицу времен Меровингов, равно как г. Балланша, который принадлежал к *pièces justificatives* * ее добродетели и которого она с незапамятных времен всюду таскала за собой. К сожалению, я не видел г. де-Шатобриана, который, конечно, развлекал бы меня. Зато я видел в Grande Chaumière Лагира в тот момент, когда он был *bougrement en colère* **; он только что схватил за шиворот и выбросил за дверь двух Робеспьеров в белых жилетах добродетели с большими отворотами; одного маленького Сен-Жюста, пытавшегося хорохориться, он вышвырнул им вслед, и такая же участь едва не

* оправдательным документам

** здорово обозлен

постигла нескольких хорошеньких гражданок Латинского квартала, жаловавшихся на нарушение человеческих прав. В другом подобном заведении я видел знаменитого Шикара, знаменитого торговца кожей и канканиста, коренастого господина, багровое одутловатое лицо которого превосходно оттенялось ослепительно белым галстуком; чопорный и сосредоточенный, он был похож на помощника мэра, готовящегося увенчать «розыеру». Я был восхищен его пляской и сказал ему, что она имеет большое сходство с античной пляской Силена, которую исполняли на Дионисиевых празднествах и которая получила свое название от имени Силена, достойного воспитателя Вакха. Г-н Шикар сказал мне много лестного о моей учености и представил меня некоторым дамам его круга, равным образом не преминувшим расхвалить мою основательную ученость, так что вскоре слава моя облетела весь Париж, и редакторы журналов являлись ко мне, чтобы пригласить меня сотрудничать у них.

К лицам, которых я увидел вскоре после моего приезда в Париж, принадлежит также Виктор Боэн, и я с удовольствием вспоминаю этого жизнерадостного, остроумного человека, своей любезностью и своим поощрением много способствовавшего тому, чтобы разогнать тучи на челе немецкого мечтателя и приобщить его истрадававшееся сердце к веселью французской жизни. Он основал в ту пору «L'Емюре littéraire» и в качестве редактора этого журнала явился ко мне с предложением написать для него несколько статей о Германии в жанре г-жи Сталь. Я обещал доставить статьи, определенно указав, однако, что я хочу написать их в совершенно противоположном жанре. «Это мне безразлично, — отвечал он со смехом, — я, как Вольтер, разрешаю все жанры, кроме скучного». Для того чтобы я, бедный немец, не впал в этот genre ennuyeux *, друг Боэн часто приглашал меня к обеду

* скучный жанр

и орошал мой дух шампанским. Никто не умел лучше его устроить обед, где можно было насладиться не только наилучшей кухней, но и увлекательнейшей беседой; никто не умел быть более гостеприимным хозяином, никто не умел так представлять, как Виктор Боэн — и, конечно, он с полным правом поставил в счет акционерам «Europe littéraire» сто тысяч франков за представительство. Его жена была очень хороша собой и имела прелестную левретку, по имени Жи-жи. Юмору этого человека способствовала даже его деревянная нога, и когда он, мило ковыляя вокруг стола, подливал своим гостям шампанского, он походил на Вулкана, исполняющего обязанности Гебы в собрании ликующих богов. Где он теперь? Давно я ничего не слышал о нем. В последний раз, лет десять тому назад, я встретил его в ресторанчике в Гранвиле; он приехал на день в этот маленький портовый городок в Нижней Нормандии из Англии, где проживал для того, чтобы изучать колоссальный национальный долг Англии и при этом случае забыть о своих малых личных долгах, и здесь я увидел его у столика за бутылкой шампанского и в обществе коренастого низколобого обывателя с разинутым ртом, выслушивающего объяснения Боэна относительно проекта какого-то предприятия, в котором, как доказывал убедительнейшими цифрами Боэн, можно нажить миллион. Спекулятивному духу Боэна всегда был свойственен чрезвычайный размах, и когда он изобретал дело, то прибыли оно всегда обещало миллионы, никогда меньше миллиона. Друзья прозвали его поэтому Мессер Миллионе, как некогда называли в Венеции Марко Поло, когда он, по возвращении с востока рассказывал под аркадами площади св. Марка своим разинувшим рты согражданам о сотнях миллионов и еще сотнях миллионов жителей, перевиденных им в странах, которые он объездил, — в Китае, Татарии, Индии и т. д. Новая география восстановила честь знаменитого венецианца, которого долго считали обман-

щиком, и о нашем парижском Мессере Миллионе мы можем с полным правом сказать, что его промышленные проекты всегда были задуманы с великолепной правильностью и только из-за случайности рушились при своем осуществлении; многие из них приносили большие прибыли, когда попадали в руки людей, не так эффектно обставлявших предприятия, не умевших так великолепно представлять, как Виктор Боэн. И «Europe littéraire» тоже была превосходным замыслом, ее успех казался обеспеченным, и я никогда не мог понять ее гибели. Еще накануне того дня, который был началом конца, Виктор Боэн дал в помещении редакции журнала великолепный бал, где он танцевал со своими тремястами акционерами, совершенно так же, как некогда Леонид со своими тремястами спартанцами накануне сражения при Фермопилах. Всякий раз, рассматривая в галлерее Лувра картину Давида, изображающую эту сцену античного героизма, я вспоминаю о том последнем танце Виктора Боэна; точно так же как презревший смерть царь спартанский на картине Давида, стоял он на одной ноге; это была та же классическая поза. Путник! Если когда-нибудь тебе придется брести в Париже вниз по шоссе д'Антен по направлению к бульварам и ты в конце концов окажешься у грязной долины, носившей название rue Basse du Rempart, то знай: ты стоишь здесь пред Фермопилами журнала «Europe littéraire», где Виктор Боэн геройски пал со своими тремястами акционерами!

Статьи, написанные мною, как я сказал, для этого журнала и напечатанные в нем, послужили для меня поводом высказаться с большей обстоятельностью о Германии и ее умственном развитии, и таким образом возникла книга, которую ты, дорогой читатель, держишь теперь в руках. Я предполагал раскрыть здесь не только ее цель, ее тенденцию, ее сокровеннейшее предназначение, но и происхождение этой книги, для того чтобы каждый мог с тем большей точностью определить,

в какой степени мои сообщения заслуживают веры и доверия. Я писал не в жанре г-жи Сталь и, хотя я старался быть возможно менее скучным, я все же наперед отказался от всяких эффектов стиля и фразы, встречаемых в таком громадном количестве у г-жи Сталь, крупнейшего писателя Франции времен Империи. Да, по-моему, автор «Коринны» стоит выше всех своих современников, и я без конца восхищаюсь блистательным фейерверком ее изложения; но, увы, этот фейерверк оставляет за собой зловонную тьму, и мы должны признать, что гений ее не такой бесполой, каким, согласно прежнему утверждению г-жи Сталь, полагалось бы быть гению; ее гений — женщина со всеми недостатками и капризами женщины, и долгом моим, как мужчины, было возразить против блестящего суесловия этого гения. Это было тем более необходимо, что сообщения в ее книге «De l'Allemagne» касались предметов, не знакомых французам и имевших прелесть новизны, — таким было, например, все, относящееся к немецкой философии и романтической школе. Полагаю, что в своей книге я представил, в особенности, что касается первой из них, добросовестнейшие сведения, и время подтвердило все, что в ту пору, когда я излагал это, казалось неслыханным и непонятным.

Да, в том, что касается немецкой философии, я без обиняков выболтал тайну школы, до тех пор укутанную в схоластические формулы и которую знали, из посвященных, лишь особы первого класса. Мои разоблачения вызвали здесь величайшее изумление, и я вспоминаю, как весьма выдающиеся французские мыслители наивно признавались мне, что были всегда уверены, что немецкая философия есть некая мистическая туманность, в которой, как в священной облачной твердыне, скрывается божество, а немецкие философы — это экстатические провидцы, дышащие лишь благочестием и страхом божьим. Не моя вина в том, что это никогда не было так, что немецкая философия есть прямая противоположность тому, что мы до сих пор называли

благочестием и страхом божьим и что наши новейшие философы провозгласили как последнее слово нашей немецкой философии полнейший атеизм. Беспощадно, с вакхической жизнерадостностью сорвали они голубой покров с немецкого неба, возглашая при этом: «Смотрите, все божества сбежали, и там, наверху, сидит только старая дева со свинцовыми руками и скорбным сердцем: необходимость».

Ах, то, что в ту пору звучало так необычайно, проповедуется теперь по ту сторону Рейна со всех крыш, и фанатический пыл кой-кого из этих проповедников ужасен! У нас завелись теперь фанатические монахи атеизма, великие инквизиторы безверия, которые сожгли бы г. Вольтера за то, что в глубине души он все же был закоренелым деистом. Пока такие доктрины оставались сокровенным достоянием аристократии умников и обсуждались на изысканном языке кружка избранных, непонятном лакеям, стоявшим за нашими стульями, пока мы богохульствовали за нашими философскими *petits soupers* *, до тех пор я принадлежал к легкомысленным *esprits forts* **, в большинстве своем напоминавших тех либеральных знатных господ, которые незадолго до революции пытались новыми разрушительными идеями разогнать скуку своей праздной придворной жизни. Но когда я заметил, что грубая чернь, плебейские низы, начала рассуждать о тех же вопросах на своих нечистоплотных пиршествах, где вместо восковых свечей и жирандольей горели сальные свечи и масляные лампы, когда я увидел, что всякие неумытые сапожные и портняжные подмастерья позволяют себе на своем неуклюжем кабацком наречии отрицать бытие божье, — когда атеизм начал очень сильно вонять сыром, водкой и табаком, — тут у меня внезапно раскрылись глаза, и то, чего я не понимал рассудком, я понял теперь обонянием, понял посред-

* интимными ужинами

** вольнодумцам

*

ством отвращения и тошноты, и атеизму моему, слава богу, пришел конец.

Сказать правду,—пожалуй, не одна только тошнота оттолкнула меня от учения безбожников и привела к отказу от него. Здесь сыграла роль и известная житейская тревога, которую я не мог преодолеть: я увидел, что атеизм вступил в более или менее тайный союз с жутко оголенным, лишенным всякого фигового листка грубым коммунизмом. Право, мой страх перед ним не имеет ничего общего с испугом нажившегося спекулянта, дрожащего за свои капиталы, ни с раздражением состоятельных промышленников, опасющихся какой-либо помехи в деле эксплуатации: нет, меня удручает тайная болезнь художника и ученого, ибо мы видим в победе коммунизма угрозу всей нашей современной цивилизации, достоянию, добытому тяжким трудом многих столетий, плоду благороднейших усилий наших предшественников. Увлеченные потоком великодушных помышлений, мы, может быть, были бы готовы пожертвовать интересами искусства и науки и даже всеми нашими личными интересами общим интересам страждущего и угнетенного народа, но мы не можем скрыть от себя, чего нам следует ожидать, как только широкая грубая масса, которую одни называют народом, а другие чернью и правящей на самодержавное верховенство провозглашено давно, придет к действительному господству. Особенно жуткий ужас пред воцарением этого мешковатого самодержца ощущает поэт. Мы готовы принести себя в жертву ради народа, ибо самопожертвование относится к утонченнейшим нашим наслаждениям, — освобождение народа было великой задачей нашей жизни, и мы боролись и терпели за него несказанные страдания на родине и в изгнании, — но чистоплотная чувствительная природа поэта противится всякому личному соприкосновению с народом, и еще сильнее трепещем мы при мысли о его ласках, от которых избави нас, боже! Один великий демократ как-то сказал,

что если бы король пожал ему руку, он поспешил бы сунуть ее в огонь, чтобы очистить ее. Я сказал бы таким же образом: я вымыл бы руку, если бы самодержавный народ почтил меня рукопожатием.

О, у народа, этого бедного короля в лохмотьях, оказались лстецы, кадившие ему гораздо более бесстыдно, чем царедворцы Византии или Версаля. Эти придворные лакеи народа непрестанно прославляют его достоинства и добродетели и восторженно восклицают: как прекрасен народ! как добр народ! как разумен народ! — Нет, вы лжете! Бедный народ не прекрасен; наоборот, он очень безобразен. Но безобразие это возникло от грязи и исчезнет вместе с нею, когда мы построим общественные бани, где его величество народ будет иметь возможность мыться бесплатно. Кусочек мыла не повредит при этом, и мы увидим чистенький народ, народ, который помылся. Народ, доброта которого так прославляется, совсем не добр; иногда он зол, так же как некоторые другие самодержцы. Но злость его происходит от голода; нам следует позаботиться о том, чтобы самодержавному народу всегда было что есть; как только его величество будет как следует накормлено и насыщено, оно будет вам улыбаться благосклонно и милостиво, совсем как прочие величества. Его величество народ также не слишком разумен; он, быть может, глупее прочих, он почти так же скотски глуп, как его фавориты. Любовью и доверием он дарит только тех, кто говорит или рычит на жаргоне его страсти, но ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним на языке разума для его же просвещения и облагорожения. Так оно есть в Париже, так оно было в Иерусалиме. Предоставьте народу свободу выбора между праведнейшим из праведников и гнуснейшим разбойником с большой дороги, будьте уверены, он заорет: «Отдай нам Варраву! Да здравствует Варрава!» Причина этого извращения — невежество; к искоренению этого национального зла мы должны стремиться посредством общественных школ, где народ

будет получать обучение бесплатно вместе с потребными для этого бутербродами и прочими съестными припасами. — И когда каждый человек из народа получит возможность приобретать всякие какие ему угодно знания, вы не замедлите вскоре увидеть и разумный народ. — Быть может, в конце концов он будет так же образован, так же тонок, так же остроумен, как и мы, то есть как я и ты, дорогой мой читатель, и у нас вскоре будут еще новые ученые парикмахеры, сочиняющие стихи, как мосье Жасмен из Тулузы, и много еще иных философических портняжек, пишущих серьезные книги, как наш земляк, пресловутый Вейтлинг.

При имени этого пресловутого Вейтлинга внезапно в памяти моей вновь всплывает во всей ее комической серьезности сцена моей первой и последней встречи с тогдашним героем дня. Господь бог, видящий все с высот своего небесного замка, вероятно, от души посмеялся над кислой миной, которую я, должно быть, скорчил, когда в книжном магазине моего друга Кампе ко мне обратился прославленный портняжный подмастерье и отрекомендовался в качестве коллеги, исповедующего те же революционные и атеистические воззрения. В этот миг мне в самом деле хотелось, чтобы господа бога вовсе не существовало, — лишь бы он не видел моего замешательства и стыда, в которые повергло меня столь милое товарищество! Господь бог, конечно, от души простил мне все мои старые прегрешения, если прикинул на своих счетах унижение, испытанное мною при этом цеховом приветствии неверующей черни, при этой товарищеской встрече с Вейтлингом. Что более всего оскорбило мою гордость, так это полнейшее отсутствие почтения, проявленное этим субъектом в разговоре со мной. Он не снял пашки, и, между тем как я стоял перед ним, он сидел на деревянной скамеечке, придерживая рукой подтянутую вверх скорченную правую ногу, так что она коленом почти касалась его подбородка; другой рукой он не-

прерывно тер эту ногу повыше лодыжки. Сперва я приписал эту непочтительную позу портновскому обыкновению сидеть поджавши ноги, но когда я спросил его, почему он непрестанно трет таким образом ногу, он объяснил мне, в чем дело. Самым равнодушным тоном, без всякого смущения, точно речь идет о совершенно естественных вещах, он сказал мне, что в разных немецких тюрьмах, где он сидел, его обыкновенно заковывали в цепи; и так как иногда железное кольцо слишком тесно, то у него сохранилось на ноге ощущение зуда, заставляющее его иногда чесать это место. Слушая это наивное признание, автор этих строк имел, вероятно, приблизительно такой же вид, как волк в эзоповой басне, когда он спросил собаку, отчего у нее на шее так вытерта шерсть, и та ответила: «Меня ночью сажают на цепь». Да, признаюсь, я отступил несколько шагов назад, когда портной заговорил таким образом со своей противной фамильярностью о цепях, в которые временами его заковывали немецкие тюремщики, когда он сидел в каменном мешке. «Каменный мешок! Тюремщики! Цепи!» — все надоевшие кружковые словечки замкнутого общества, причастным к которому — какой ужас! — меня здесь предполагали. И речь здесь шла не о тех метафорических цепях, которые носит теперь весь мир, которые можно носить с величайшей пристойностью и которые у людей хорошего тона даже вошли в моду, — нет, у членов этого замкнутого общества подразумеваются цепи в самом что ни на есть железном их значении, цепи, которые прикрепляют к ноге железным кольцом, — и я отступил несколько шагов назад, когда портной Вейтлинг заговорил об этих цепях. И это был не страх перед пословицей «Вместе пойманы, вместе повешены», нет, — меня ужасала возможность быть повешенным рядом.

Забытый теперь, этот Вейтлинг был, надо сказать, человеком талантливым; у него не было недостатка в мыслях, и книга его, под заглавием «Гарантии общества», была долгое время катехизисом немецких комму-

нистов. Число их невероятно увеличилось в Германии за последние годы, и партия эта в данный момент бесспорно является одной из сильнейших по ту сторону Рейна. Ремесленники образуют ядро армии неверия, быть может, не слишком дисциплинированной, но превосходно вымуштрованной в знании доктрины. Эти немецкие ремесленники в большинстве своем придерживаются грубейшего атеизма и как бы обречены на исповедание этого безрадостного отрицания, если не хотят впасть в противоречие со своим основным принципом и вместе с тем в полнейшее бессилие. Эти когорты разрушения, эти саперы, топор которых угрожает всему общественному зданию, бесконечно сильнее уравнителей и бунтарей в других странах вследствие ужасающей последовательности их доктрины, ибо в безумии, толкающем их, есть, как сказал бы Полоний, система.

Нет большой заслуги в том, что я в книге «De l'Allemagne» задолго предсказал чудовищные явления, наступившие лишь позднее. Мне нетрудно было пророчествовать о том, какие песни будут современем насвистывать и чирикать в Германии, ибо на моих глазах вылуплялись птицы, впоследствии затянувшие эти новые напевы. Я видел, как Гегель со своим почти комически серьезным лицом сидел наседкой на этих роковых яйцах, и слышал его кудахтанье. По совести сказать, я редко понимал его и лишь путем позднейшего размышления добился разумения его слов. Мне кажется, он совсем и не хотел быть понятым, и отсюда его опутанное оговорками изложение, отсюда, быть может, и предпочтение, оказываемое им лицам, о которых он знал, что они его не понимают, и которых он тем охотнее удостаивал чести своего близкого знакомства. Так, всякий в Берлине изумлялся близости глубокомысленного Гегеля с покойным Генрихом Бёром, братом прославленного повсюду и восхваляемого остроумнейшими журналистами Джакомо Мейербергера. Этот самый Бер, Генрих, был явно глуповатый малый, ко-

торого впоследствии его семья и в самом деле объявила слабоумным и взяла под опеку, так как он вместо того, чтобы при помощи своего большого состояния сделать себе имя в искусстве или науке, растрачивал свое богатство на всякую сумасбродную блажь, — так, например, он однажды купил тросточек для гуляния на шесть тысяч талеров. Этот несчастный, не пожелавший прослыть великим драматургом или великим астрономом, или же увенчанным лаврами музыкальным гением, соперником Моцарта и Россини, и предпочитавший тратить деньги на тросточки, этот непохожий на свою породу Бер состоял в интимнейшей близости с Гегелем, он был доверенным другом философа, его Пиладом, и повсюду следовал за ним, как его тень. Столь же остроумный, сколь талантливый Феликс Мендельсон пытался однажды объяснить этот феномен, утверждая, что Гегель не понимает Генриха Бера. Но теперь я думаю, истинная причина этой интимной близости заключалась в том, что, по убеждению Гегеля, Бер ничего не понимал из того, что говорит ему Гегель, который поэтому в его присутствии мог без стеснения отдаваться течению своей мысли. Беседа Гегеля вообще всегда была чем-то вроде монолога в прерывистых вздохах, произносимого беззвучным голосом; часто поражала меня причудливость выражений, из коих многие остались у меня в памяти. Однажды в прекрасный звездный вечер стояли мы вдвоем у окна, и я, двадцатидвухлетний юнец, только что хорошо поужинавший и напившийся кофе, мечтательно говорил о звездах и назвал их обителью блаженных. Но учитель проворчал себе под нос: «Звезды, гм, гм! Звезды — только сверкающая проказа на небе». — «Ради создателя, — воскликнул я, — значит там наверху нет блаженной обители, где бы после смерти нам воздавалось за добродетель?» Но он, неподвижно устремив на меня свои бесцветные глаза, резко ответил: «Вы хотите, стало быть, получить на-чай за то, что ухаживали за больной матерью и не отравили родного брата?»

При этих словах он боязливо оглянулся, но тут же как будто успокоился, когда заметил, что это всего только Генрих Бер, подошедший, чтобы пригласить его на партию виста.

Как трудно понимание сочинений Гегеля, как легко здесь ошибиться и вообразить себя всепонимающим, в то время как только научился конструировать по чужому образцу диалектические формулы, я заметил лишь много лет спустя, здесь, в Париже, когда занялся переводом этих формул с отвлеченного школьного наречия на родной язык здравого смысла и общепонятности — на французский язык. Тут переводчик должен с точностью знать, что надо сказать, и самое стыдливое понятие вынуждено сбросить мистические одеяния и показаться в своей обнаженности. Дело в том, что я предполагал составить общедоступное изложение всей Гегелевской системы, чтобы включить его в виде дополнения к новому изданию моей книги «De l'Allemagne». Я посвятил этой работе два года и лишь с трудом и напряжением удалось мне осилить неподатливый материал и изложить самые отвлеченные места в возможно популярнейшей форме. Однако, когда работа была, наконец, готова, меня при ее виде объял жуткий трепет, и мне почудилось, будто рукопись смотрит на меня незнакомыми, ироническими, прямо злобными глазами. Я оказался в странном затруднении: автор и его сочинение перестали согласоваться друг с другом. Дело в том, что к тому времени душу мою уже охватило вышеупомянутое отвращение к атеизму, и, так как я не мог не сознаться пред самим собой, что Гегелевская философия послужила самой роковой поддержкой всем этим кощунствам, она сделалась мне в высшей степени неприятной и чуждой. Слишком большого восторга никогда вообще не возбуждала во мне эта философия, и об убежденности по отношению к ней не могло быть и речи. Я никогда не был абстрактным мыслителем и без проверки принимал синтез Гегелевой философии, потому что выводы ее льстили моему

тищеславию. Я был юн и заносчив, и моему высокомерию было приятно, что господь бог не тот, кто, как думала моя бабушка, восседает на небесах, но я сам, здесь, на земле, и есть этот господь бог. Эта глупая заносчивость не оказала никакого тлетворного действия на мои чувства, которые она, наоборот, возвысила до степени героизма; и я в ту пору растратил столько великодушия и самопожертвования, что, разумеется, совершенно затмил самые блестящие подвиги тех добрых мечан добродетели, которые действовали только из чувства долга и повиновались только законам морали. Я ведь сам был теперь живым законом морали и источником всякой правды и всякого права. Я был первородной нравственностью, я был непогрешим, я был воплощенной чистотой; отъявленнейшие Магдалины очищались просветляющей и искупающей силой моего любовного огня, и непорочными, как лилии, и зарумянившимися, как целомудренные розы, в совершенно новой девственности выходили они из объятий бога. Это реставрирование потерпевших ущерб девственностей, должен сознаться, иногда истощало мои силы. Но я давал, не торгуясь, и неисчерпаем был источник моего милосердия. Я был весь любовь и был совершенно свободен от ненависти. И я уже не мстил больше своим врагам, так как по существу не имел врагов, или, вернее, никого таковым не признавал: теперь для меня существовали только неверующие, сомневающиеся в моей божественности. Всякая обида, причиненная ими мне, была святотатством и их хула — кощунством. Такие оскорбления божества я, разумеется, не всегда мог оставлять безнаказанными, но в таких случаях не человеческая месть постигала грешника, а божья кара. При отправлении этого высшего правосудия я не раз с большим или меньшим усилием подавлял в себе всякое пошлое сострадание. Как не было для меня врагов, так не было и друзей, но только паства, веровавшая в мое величие, поклонявшаяся мне, восхвалявшая мои произведения — как стихотворные, так и те, что написаны

прозой, и этой общине истинно благочестивых и благоговейных я сделал много добра, в особенности молодым богомолкам.

Но неисчислимы расходы на представительство у бога, который не скряжничает и не щадит ни тела, ни кошелька; для того чтобы с достоинством играть эту роль, особенно необходимы две вещи: много денег и много здоровья. Увы, случилось так, что однажды — в феврале 1848 года — у меня иссякли оба эти аксессуара, и потому моей божественности пришел конец. К счастью, достопочтенная публика была в это время поглощена столь великими, неслыханными, баснословными зрелищами, что могла и не обратить большого внимания на перемену, происшедшую в ту пору с моей маленькой особой. Да, они были неслыханны и баснословны, события этих безумных февральских дней, когда посрамлена была мудрость умнейших и избранники тупоумия были подняты на щит. Последние стали первыми, низы взобрались наверх, ниспровергнуты были и вещи и мысли, — и мир действительно перевернулся. Будь я в это безрассудное, вверх ногами опрокинутое время человеком разумным, то, несомненно, от этих событий потерял бы рассудок, но так как я был тогда сумасшедшим, то должно было произойти противоположное, и, странное дело, как раз в дни всеобщего безумия я вновь обрел разум! Подобно многим другим павшим богам этого революционного периода, пришлось и мне бесславно выйти в отставку и возвратиться в состояние частного человека. Это было самое разумное из всего, что я мог предпринять. Я вернулся внизкий хлев божьих созданий и вновь уверовал во всемогущество высшего существа, которое правит судьбами этого мира и которому предстоит впредь управлять и моими личными земными делами. За то время, что я был моим собственным провидением, они пришли в опасное расстройство, и я был рад передать их, так сказать, небесному управителю, который при посредстве своего всеведения, право, гораздо лучше справляется с ними. С тех пор

существование бога стало для меня не только источником благодати, но и избавило меня от всяких мучительных деловых расчетов, столь противных мне, и я обязан ему величайшими сбережениями. Как о себе, так и о других мне уж не приходилось теперь заботиться, и с тех пор как я принадлежу к числу людей благочестивых, я почти ничего не трачу на помощь нуждающимся; я слишком скромн, чтобы, как раньше, поддерживать божественное провидение в его деле, я не попечитель о пастве, не подражатель божий, и моим бывшим клиентам я с благочестивым смирением заявил, что я только жалкое человеческое существо, воздыхающая тварь, не имеющая больше никакого касательства к управлению вселенной, и что отныне им в беде и нужде надлежит обращаться к господу богу, проживающему на небесах и располагающему бюджетом столь же беспредельным, как его благодать, тогда как мне, бедному отставному богу, даже в самые божественные мои дни для удовлетворения моих благотворительных прихотей приходилось очень часто «тянуть чорта за хвост».

«Tirer le diable par la queue» в самом деле одно из удачнейших выражений французского языка, но само по себе такое положение было чрезвычайно унижительно для божества. Да, я рад, что избавился от моего узурпированного ореола, и теперь никакому философу уже не удастся убедить меня в том, что я бог. Я всего лишь бедный человек, к тому же не совсем здоровый, и даже очень больной. В этом состоянии истинное благодеяние для меня, что есть кто-то на небесах, пред кем я могу непрестанно скулить о своих страданиях, особенно после полуночи, когда Матильда, которая так любит поспать, наконец отправляется на покой. Благодарение господу! В такие часы я не один и могу молиться и ныть сколько угодно и без стеснения могу изливать всю свою душу пред всемогущим и доверить ему кое-что из того, о чем мы обыкновенно умалчиваем и пред собственной женой.

После этих признаний благосклонный читатель легко поймет, почему моя работа о философии Гегеля перестала занимать меня. Я основательно понял, что появление ее не может принести ничего хорошего ни читателям, ни автору; я понял, что самые жидкие больничные супы христианского милосердия все же, вероятно, питательнее для изнемогающего человечества, чем серая разварная паутина Гегелевской диалектики. Да, признаюсь уж во всем, я вдруг ужасно испугался вечного огня — это, конечно, суеверие, но я испугался — и тихим зимним вечером, когда мой камин ярко пылал, я воспользовался удобным случаем и бросил мою рукопись о Гегелевской философии в жаркое пламя; горящие листки взвились в трубу со странным хихикающим потрескиванием.

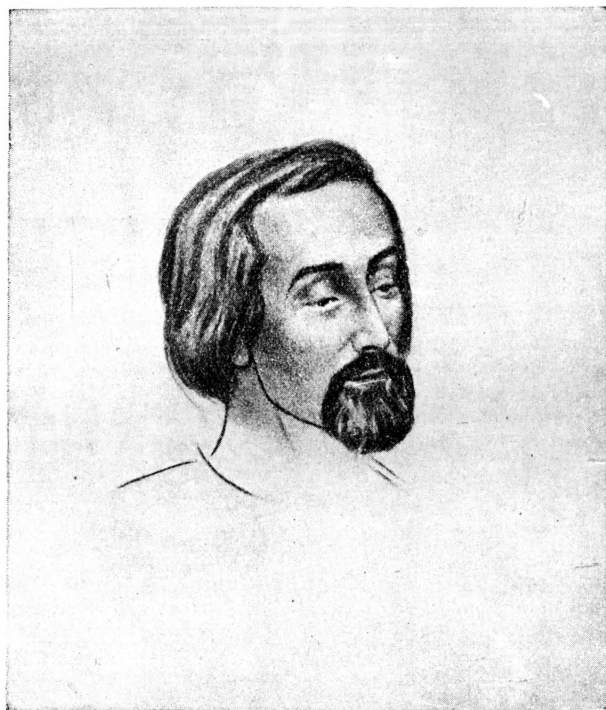
Слава богу, я избавился от нее! Ах, если бы я мог таким же образом уничтожить все, что некогда печатал о немецкой философии! Но это невозможно, и, так как я, как пришлось мне недавно с прискорбием убедиться, лишен даже возможности воспрепятствовать перепечатке уже распроданных книг, то мне не остается ничего, кроме публичного признания, что мое изложение немецких философских систем, то есть главным образом первые три части книги «*De l'Allemagne*», грешат предосудительнейшими ошибками. Я напечатал указанные три части в виде отдельной книги по-немецки, и так как последнее издание этой книги разошлось, и моему издателю принадлежало право выпустить в свет новое издание, то я предпослал книге предисловие, из которого привожу здесь одно место, избавляющее меня от печальной необходимости давать особые объяснения насчет этих трех частей «*De l'Allemagne*». Вот это место: «Сказать по совести, мне было бы приятнее совсем не отдавать эту книгу в печать. Дело в том, что после ее появления мои взгляды на некоторые вопросы, в особенности на вопросы религии, существенным образом изменились и кой-что из сказанного мною противоречит моим нынешним убеждениям. Но раз выпущенная

стрела, расставшись с тетивой, выходит из-под власти стрелка, и слово, слетевшее с уст, не принадлежит произнесшему его, особенно если оно было размножено печатью. Кроме того, не печатать эту книгу и исключить ее из полного собрания моих сочинений значило бы нарушить чужие права, могущие проявиться для меня и в возражении и принуждении. Я, конечно, мог бы, как делают некоторые писатели в подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений, к прикрытию фразой; но до глубины души ненавижу я двусмысленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые листья *. Но при всяких обстоятельствах у честного человека остается неотъемлемое право открыто признаться в заблуждении, и этим правом я хочу безоговорочно здесь воспользоваться. Поэтому безоговорочно признаю, что все относящееся в этой книге к великому вопросу о божестве столько же ложно, сколь необдуманно. Равным образом ложно и необдуманно повторенное мною вслед за школой утверждение, будто теория совершенно покончила с деизмом, который лишь в мире явлений влачит свое жалкое существование. Нет, неправда, будто рационалистическая критика, опровергнув доказательство бытия божьего, известное нам с Ансельма Кентерберийского, положила конец и самому бытию божьему. Деизм живет, живет живейшей жизнью, он не умер, и менее всего убила его новейшая немецкая философия. Эта хитросплетенная немецкая философия, неспособная выманить собаку из-под пещки, не в состоянии кошку убить, не то что бога. На себе самом я испытал, сколь мало опасны ее смертоубийственные удары; она только и делает, что убивает, а жертвы ее живут себе да поживают. Некогда привратник Гегелевской школы, лютый Руге, безоговорочно, или, вернее, тупо и бестолково, заявил в «Галльском ежегоднике», что убил меня насмерть своей привратничьей булавой, и, однако, в это самое время я разгуливал по парижским

* Игра слов: Feige — фи́га и feig — трусливый.

бульварам, целый и невредимый и более бессмертный, чем когда-либо. Бедный милый Руге! Он сам впоследствии не мог удержаться от чистосердечного хохота, когда я в этом самом Париже признался ему, что в глаза не видал этих ужасающих смертоубийственных страниц «Галльского ежегодника», и как мои полные румяные щеки, так и превосходный аппетит, с которым я глотал устриц, убедили его в том, как мало подходило мне название трупа. В самом деле, я был тогда здоров и дороден, я находился на зените моей упитанности и был надменен, как царь Навуходоносор перед падением.

Ах, несколько лет спустя произошла телесная и духовная перемена! Как часто с той поры возвращаюсь я мыслью к истории этого вавилонского царя, который возомнил себя господом богом, но позорно пал с вершины своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву — полагаю, это был салат. В великолепно-грандиозной книге пророка Даниила рассказано это сказание, и я рекомендую его для назидательного размышления не только милейшему Руге, но и моему еще более закоренелому другу Марксу, а также господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Генгстенбергу и как они там еще зовутся, все эти безбожные человекобоги. В Библии вообще есть множество прекрасных и достопримечательных рассказов, заслуживающих их внимания, как, например, в самом ее начале сказание о запретном древе в раю и о змее, маленькой приват-доцентке, за шесть тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей всю Гегелеву философию. Этот безногий синий чулок с чрезвычайным остроумием показывает, каким образом абсолют заключается в тождестве бытия и знания, как путем познания человек становится богом, или, что то же, как бог в человеке доходит до самопознания. Эта формула не так ясна, как первоначальные слова: «Если вкусите от древа познания, то будете, как бог». Из всего рассуждения госпожа Ева поняла только одно, — что плод запрещен, а раз он запрещен, то она и вкусила от него, эта милая женщина. Но едва вкусив от соблазни-



Г. ГЕЙНЕ

*С портрета карандашом, сделанного с натуры
Э.-Б. Китцем*

тельного яблока, она потеряла свою невинность, свою наивную непосредственность, она нашла себя слишком обнаженной для особы ее ранга, для родоначальницы стольких будущих царей и королей, и она потребовала платья. Правда, речь шла только о платье из фиговых листьев, ибо в те времена еще не было лионских шелковых фабрикантов, да к тому же в раю еще не было портных и модисток — о рай! Удивительное дело, — едва женщина дошла до мыслящего самопознания, ее первой мыслью было «новое платье»! И этот библейский рассказ, особенно речь змия, не выходит у меня из головы, и я склонен поставить ее эпиграфом к этой книге, подобно тому, как над садами знатных особ часто высится предостерегающая надпись: «Здесь расставлены западни и капканы».

За местом, процитированным здесь, следуют признания, касающиеся влияния, произведенного чтением Библии на мое позднейшее духовное развитие. Воскрешением моего религиозного чувства я обязан этой священной книге, и она была для меня в столь же великой степени источником благодати, сколь предметом самого набожного умиления. Удивительное дело! После того как я всю жизнь пропалтался по всевозможным танц-классам философии, предавался всем умственным оргиям, состоял в любовном сожительстве со всевозможными системами, — не испытывая, как Мессалина после распутной ночи, удовлетворения, — я вдруг оказываюсь на той самой точке зрения, на которой стоит и дядя Том, на точке зрения Библии, и преклоняю колени рядом с черным собратом в том же благоговении...

Какое унижение! Со всей моей наукой я не ушел дальше бедного невежественного негра, едва умеющего читать по складам! Конечно, бедный Том как будто видит в священной книге еще более глубокие вещи, чем я, которому не вполне уяснилось кой-что, особенно последняя часть. Том, быть может, понимает ее лучше, чем я, потому что в ней встречается больше истязаний, особенно же нескончаемых наказаний кнутом.

которые не раз при чтении «Евангелий» и «Деяний апостолов» отталкивали меня своей неэстетичностью. Этаким жалкий негритянский раб читает одновременно своей спиной и потому понимает гораздо лучше, чем мы. Я в свою очередь хочу польстить себя уверенностью, что лучше уяснил себе характер Моисея в первой половине священной книги. Этот великий образ внушил мне немалое почтение. Какой исполин! Не могу себе представить, чтобы Ок, царь базанский, был выше. Каким маленьким кажется Синай, когда на нем стоит Моисей! Эта гора — только пьедестал, на котором стоят ноги этого человека, а голова его высится в небесах, где он разговаривает с богом. Да простит мне господь мое преступление, но мне иногда казалось, что этот Моисеев бог — только отраженный отблеск самого Моисея, с которым он так схож, схож в гневе и в любви. Это было бы великим грехом, это был бы антропоморфизм — принимать такое тожество бога и его пророка, — но сходство поразительно.

Прежде я недолюбливал Моисея, вероятно, потому, что эллинский дух преобладал во мне и я не мог простить еврейскому законодателю его ненависти ко всякой образности, к пластике. Я не понимал, что, несмотря на враждебное отношение к искусству, Моисей все же сам был великим художником и обладал подлинным художественным духом. Но этот художественный дух был у него, как и у его египетских соотечественников, обращен лишь на исполинское и несокрушимое. Только он творил свои художественные создания не из кирпича и гранита, как египтяне, — он воздвигал пирамиды из людей, он высекал человеческие обелиски, он взял бедное пастушеское племя и создал из него народ, которому дано было преодолеть столетия, великий, вечный, священный народ, божий народ, который мог служить всем прочим народам образцом и даже всему человечеству прототипом: он создал Израиль! С большим правом, чем римский поэт, может этот художник, сын Авраама и повитухи Иохебет, похвалиться тем,

что воздвиг себе памятник, который переживет все бронзовые монументы.

Как о создателе, так и о его создании, евреях, я никогда не говорил с подобающим благоговением, и тоже, конечно, из-за моей эллинской натуры, которую отталкивал еврейский аскетизм. С той поры уменьшилось мое пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, могучими, непреклонными мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше ценить их, и если бы всякая гордость происхождением не была дурацкой несообразностью в борце за революцию и ее демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он — отпрыск тех мучеников, которые дали миру бога и нравственность и боролись и страдали на всех боевых полях мысли.

История средних веков и даже нового времени редко заносила имена таких рыцарей святого духа в свои религии, ибо они сражались обычно с опущенным забралом. Подвиги евреев столь же мало известны миру, как и их подлинное существо. Люди думают, что знают их, потому что видели их бороды, но ничего больше им не открылось, и, как в средние века, евреи и в новое время остаются бродячей тайной. Она раскроется, вероятно, в тот день, о котором сказано пророком, что будет тогда единый пастырь и единое стадо, и праведный, пострадавший за спасение человечества, получит возвышенную награду.

Итак, я, прежде имевший обыкновение цитировать Гомера, теперь, как видите, цитирую Библию, как дядя Том. В самом деле, я многим ей обязан. Она, как я сказал уже, вновь пробудила во мне религиозное чувство; и этого возрождения религиозного чувства было достаточно поэту, который, быть может, гораздо легче прочих смертных обходится без положительных догматов

веры. На нем лежит благодать, и духу его раскрывается символика неба и земли; ему для этого не нужен никакой церковный ключ. Глупейшие и противоречивейшие слухи распространились на этот счет обо мне. Очень благочестивые, но не очень разумные люди протестантской Германии докучали мне настойчивыми вопросами, не обратился ли я, с тех пор как заболел и стал верующим, с большим чем раньше сочувствием к евангелически-лютеранскому исповеданию, которого до сих пор держался лишь официально и равнодушно? Нет, друзья любезные, в этом отношении со мной не произошло никакой перемены, и если я вообще продолжаю числиться протестантом, то лишь потому, что это и теперь меня не стесняет, как и раньше никогда сверх меры не стесняло. Правда, откровенно признаюсь, проживая в Пруссии и даже в Берлине, я охотно, подобно многим моим друзьям, прямо разорвал бы всякие церковные узы, если бы тамошнее начальство не отказывало в праве жительства в Пруссии, особенно в Берлине, всякому, не принадлежащему к одной из положительных, государством признанных, религий. Подобно Генриху IV, однажды со смехом сказавшему: «Paris vaut bien une messe»*, я имел бы право сказать «Berlin vaut bien une prêche»**, и мог бы, как и раньше, услаждаться весьма просвещенным, профильтрованным и очищенным от всякого суеверия христианством без Христа — вроде черепашьего супа без черепахи, — какое в ту пору можно было получить в берлинских церквях. В то время я сам еще был богом и ни одна из положительных религий не представлялась мне более ценной, чем другая; из вежливости я мог носить их мундиры, как, например, русский император одевается прусским гвардейским офицером, когда оказывает королю Пруссии честь присутствовать на смотре в Потсдаме.

* «Париж стоит обедни»

** «Берлин стоит проповеди»

Теперь, когда, вследствие возрождения религиозного чувства, равно как вследствие физических страданий, во мне произошли различные перемены, — соответствует ли теперь хоть сколько-нибудь лютерански-вероисповедный мундир моим сокровеннейшим помышлениям? В какой мере официальное исповедание сделалось истиной? Обойдусь без прямого ответа на этот вопрос; он должен только дать мне возможность осветить заслуги, которые протестантизм, согласно моему нынешнему взгляду, оказал спасению мира, и по этому можно судить, в какой мере усилилась моя симпатия к нему.

Раньше, когда философия представляла для меня преимущественный интерес, я ценил протестантизм только за то, что он завоевал свободу мысли, являющуюся той почвой, на которой впоследствии могли двигаться Лейбниц, Кант и Гегель; Лютер, могучий муж с топором в руке, должен был предшествовать этим бойцам и прорубить для них дорогу. В этом отношении я и оценивал реформацию как начало немецкой философии, и этим оправдывал мое боевое пристрастие к протестантизму. Теперь, в годы поздней зрелости, когда религиозное чувство вновь с захватывающей силой подымается во мне и потерпевший крушение метафизик цепляется за Библию, — теперь я особенно ценю протестантизм за его заслуги в деле открытия и распространения священной книги. Я говорю «открытия», потому что евреи, спасшие ее из великого пожара второго храма и в течение всех средних веков таскавшие ее в изгнании с собою в виде портативного отечества, тщательно скрывали это сокровище в своем гетто, куда немецкие ученые, предшественники и зачинатели реформации, прокрадывались для того, чтобы учиться древнееврейскому языку, чтобы добыть ключ к ларцу, где хранилось сокровище. Таким ученым был славный Рейхлин, и противники его — Гохстратен и К^о в Кельне, изображаемые в виде тупоголовых обскурантов, — совсем не были такими болванами, а, наоборот, это были дальновидные инквизиторы,

конечно, предвидевшие ту беду, которой грозило церкви знакомство со священным писанием: отсюда то рвение, с каким они преследовали все еврейские книги, советуя сжечь их все без исключения и стремясь, путем науськивания черни, истребить переводчиков этих священных книг, евреев. Теперь, когда мотивы их действий вскрыты, ясно, что каждый по существу был прав. Кельнские обскуранты считали, что спасению души во всем мире угрожает опасность, и все средства, начиная от лжи и кончая убийством, казались им позволительными, в особенности по отношению к евреям. Обездоленные народные низы, порождение наследственной нищеты, ненавидели евреев уже за накопленные теми богатства, и то, что теперь называется ненавистью пролетариев к богатым вообще, некогда называлось ненавистью к евреям. И в самом деле, так как этим последним прегражден был доступ к земельной собственности и ко всякому ремесленному заработку и не оставалось ничего, кроме торговли и денежных операций, воспрещенных церковью благоверным, то они, евреи, самим законом обрекались на то, чтобы быть проклятыми, богатыми, ненавидимыми и убиваемыми. Такие убийства, правда, еще прикрывались в те времена религиозным покровом, и считалось, что убивать должно тех, кто некогда убил нашего спасителя. Удивительное дело! Тот самый народ, который подарил миру бога и вся жизнь которого была проникнута исключительно благоговением пред господом, ославлен как богоубийца! Кровавую пародию на такого рода безумие видели мы в начале революции и в Сан-Доминго, когда во главе толпы негров, предававших плантаторов огню и мечу, шествовал черный фанатик, который нес огромное распятие в руках и кровавадно кричал: «Белые убили Христа, перебьем всех белых!»

Да, евреям, которым мир обязан богом, обязан он также его словом, Библией; они спасли ее, когда обанкротилась Римская империя, и в погромную, безумную эпоху переселения народов хранили они бесценную

книгу, пока протестантизм не отыскал ее у них, перевел найденную книгу на местные языки и распространил по всему свету. Это распространение принесло благодатнейшие плоды и продолжается до наших дней, когда пропаганда Библейского общества исполняет провиденциальную миссию, гораздо более значительную и, во всяком случае, имеющую в будущем совсем иные последствия, чем те, которых ожидают благочестивые джентльмены этой британской компании экспорта христианства. Они надеются установить господство маленькой ограниченной догматики и вслед за морем монополизировать также и небо, сделать его владением британской церкви, и вот, сами того не зная, они способствуют гибели всех протестантских сект, которые все черпают жизнь в Библии и растворяются во всеобщем проникновении библейским духом. Они способствуют возникновению великой демократии, в которой каждому человеку предстоит стать не только царем, но и епископом в крепости своего дома; распространяя Библию по всей земле посредством торгашеских уловок, контрабанды и обмана, так сказать, навязывая ее и предоставляя ее толкование индивидуальному разуму, они устанавливают великое царство духа, царство религиозного чувства, любви к ближнему, чистоты и истинной нравственности, которой возможно научить не догматическими рассудочными формулами, но образом и примером, какие содержатся в прекрасной священной педагогической книге для малых и больших детей — в Библии.

Удивительное зрелище разворачивается пред вдумчивым мыслителем при взгляде на страны, на население которых Библия оказывала уже со времен реформации воспитательное влияние, наложив на их нравы, образ мыслей и чувства отпечаток палестинского духа, выраженного как в Ветхом, так и в Новом заветах. На севере Европы и Америки, особенно в скандинавских и англосаксонских, вообще в германских и отчасти также в кельтских странах, палестинский отпечаток так силен, что чувствуешь себя как бы перенесенным в еврейскую

среду. Разве, например, не евреи эти протестанты-шотландцы, у которых имена сплошь библейские, *cant* * которых отдает совершенно иерусалимским фарисейством и религия которых есть еврейство, только жрущее свинину? То же и в некоторых областях северной Германии и в Дании, не говоря уже о большинстве новых общин в Соединенных штатах, где педантично копируют ветхозаветный быт. Последний словно воспроизведен здесь на дагерротипе, контуры рабски верны, но все изображено серым по серому, и нет солнечной красочности обетованной земли. Однако когда-нибудь исчезнет карикатура, подлинное, непреходящее и истинное, а именно нравственность древнего еврейства расцветет в этих странах, столь же угодных богу, как некогда на берегах Иордана и на высотах Ливанских. Для того чтобы быть хорошим, не нужно ни пальм, ни верблюдов, и доброта лучше красоты.

Быть может, не только восприимчивостью упомянутых народов к культуре объясняется та легкость, с которой они усвоили нравы и воззрения еврейской жизни. Причины этого явления следует искать, быть может, также и в характере еврейского народа, всегда отличавшемся большим внутренним сродством с характером германской и отчасти также кельтской расы. Иудея всегда представлялась мне куском Запада, затерявшимся на Востоке. Всамом деле, своей спиритуалистической верой, своими строгими, целомудренными, даже аскетическими нравами, словом, своей отвлеченной глубиной эта страна и ее народ всегда самым удивительным образом противоречили соседним странам и соседним народам, которые, исповедуя яркое и чувственное поклонение природе, проводили жизнь в вакхическом ликовании плоти. Израиль благочестиво сидел в тени своей смоковницы, вознося хваления незримому богу, являя добродетель и справедливость, в то время как в храмах Вавилона, Ниневии, Сидона и Тира свершались те оргии

* ханжество

крови и распутства, при рассказе о которых еще и теперь у нас волосы встают дыбом! Когда вспоминаешь об этом окружении, не можешь надивиться раннему величию Израиля. О свободолюбии Израиля в эпоху, когда не только вокруг него, но у всех народов древности, даже у философских греков, оправдывалось и процветало рабство, не стану и говорить, чтобы не скомпрометировать Библию пред нынешними владыками. Право, самым страшным среди социалистов был господь наш и спаситель, и уже Моисей был таким социалистом, хотя, как человек практический, он старался только преобразовать существующие порядки, особенно в отношении права собственности. Да, вместо того чтобы бороться с невозможным, вместо того чтобы сумасбродно декретировать отмену собственности, Моисей стремился лишь морализовать ее, он старался согласовать собственность с нравственностью, с истинно разумным правом, и этого он достиг установлением юбилейного года, в который всякая отчужденная наследственная собственность, каковая у народа земледельческого есть всегда собственность земельная, переходит к первоначальному собственнику независимо от того, каким образом она передана другому. Этот институт представляет собою разительную противоположность римской «давности», в силу которой фактический владелец имущества по истечении известного срока не может быть принужден к ее возвращению законному собственнику, если тот не в состоянии доказать, что в продолжение этого срока по установленной форме ходатайствовал о восстановлении своего права. Это условие открывало широкое поле всякому кляузничеству, тем более в таком государстве, где процветали деспотизм и юриспруденция и где к услугам неправомерного владельца имелись всевозможные средства устрашения, в особенности по отношению к бедняку, которому не под силу были расходы на суд. Римлянин был солдатом и адвокатом одновременно, и чужое добро, добытое силой меча, он умел отстаивать посредством

словесной изворотливости. Только народ разбойников и казуистов мог изобрести проскрипцию, закон давности, и освятить его в мерзостнейшей книге, заслуживающей название «библии дьявола», — в кодексе римского гражданского права, господствующем, увы, и ныне.

Я говорил выше о родстве между евреями и германцами, которых я некогда назвал «двумя народами нравственности», и в этой связи напомним как черту замечательную то этическое негодование, с каким древнее германское право клеймит давность; в устах нижнесаксонского мужика до сих пор живет трогательно прекрасное словечко: «сто лет неправды не делают года правды». Моисеево законодательство установлением юбилейного года еще более решительно восстает против давности. Моисей не хотел уничтожить собственность; он, напротив, хотел, чтобы она была у всякого и чтобы таким образом бедность никого не вынуждала быть рабом с рабскими помышлениями. Свобода была всегда основной мыслью великого эмансипатора, и эта мысль горит и дышит во всех его законах, касающихся пауперизма. Самое рабство он ненавидел сверх всякой меры, ненавидел чуть ли не бешено, но и эту бесчеловечность он не мог уничтожить целиком, она слишком глубоко коренилась в жизни этого первобытного времени, и поэтому он вынужден был ограничиться законодательным смягчением участи рабов, облегчением выкупа и ограничением срока службы. Если, однако, раб, освобожденный, наконец, законом, ни за что все-таки не хочет покинуть дом своего господина, то Моисей повелел такого неисправимого раболепного негодяя прибить за ухо к косяку господского дома и, опозоренного таким образом, держать в рабах пожизненно. О Моисей, учитель наш, Моше Рабену, величавый борец против рабства, подай мне молоток и гвозди, чтобы я мог наших благодущных рабов в черно-красно-золотой ливрее пригвоздить за их длинные уши к Бранденбургским воротам!

Расстаюсь с океаном общих религиозно-морально-исторических размышлений и скромно направляю вновь

корабль моих мыслей в тихие внутренние воды, в которых автор с такой верностью отражает свой собственный образ.

Я упомянул выше о протестантских голосах с родины, в крайне нескромных вопросах выражавших предположение, не усилилась ли во мне, при пробуждении моего религиозного чувства, также приверженность к церкви. Не знаю, в какой степени я дал понять, что не испытываю чрезмерного влечения ни к догме, ни к какому-либо культу и что в этом отношении остался тем же, каким был всегда. Делаю теперь это признание также для того, чтобы вывести некоторых друзей, с чрезвычайной ревностью преданных римско-католической церкви, из заблуждения относительно нынешних моих воззрений, в которое впали также и они. Удивительное дело! В то самое время, когда в Германии протестантизм оказал мне незаслуженную честь предположить в душе моей евангелическое просветление, распространился также слух, будто я перешел в католичество; некоторые милые люди утверждали даже, что переход этот совершился уж много лет тому назад, и они подкрепляли свое утверждение самыми точными подробностями; они обозначали время и место, они указывали день и число, они называли ту церковь, в которой я клятвенно отрекся от протестантской ереси и принял единоспасающую римско-католическо-апостольскую веру; недо-ставало только указания, сколькими ударами колокола и звяканьями колокольчика почтил причетник это торжество.

До какой степени слух этот укрепился, я усматриваю из газет и писем, получаемых мной, и прихожу чуть ли не в горестное смущение, видя неподдельную любовную радость, так трогательно выражаемую в некоторых из этих обращений. Приезжие рассказывали мне, что спасение моей души послужило даже предметом церковного красноречия. Молодые католические священники поручают свои первые проповеднические опыты моему покровительству. Во мне видят будущее све-

тило церкви. Не могу смеяться над этим, — ибо набожные бредни столь благожелательны, — и в чем бы ни обличали католических фанатиков, одно несомненно: они не эгоисты, они озабочены ближними, — увы, подчас слишком сильно. Не могу приписать эти ложные слухи злой воле, — но лишь ошибке; конечно, только случайность извратила здесь невиннейшие факты. Совершенно, например, правильно указание на время и место; в указанный день я действительно был в указанной церкви, некогда бывшей даже иезуитской церковью; это была церковь св. Сульпиция, и я подвергся там некоему религиозному акту. Но акт этот был не каким-либо злостным отречением, а весьма невинным соединением; дело в том, что, сочетавшись с моей супругой гражданским браком, я обвенчался с нею и в церкви, так как супруга моя, происходящая из коренной католической семьи, без такого обряда не считала бы свое замужество достаточно богоугодным. А я ни за что не хотел внести какое-либо волнение или замешательство во врожденные религиозные взгляды этого дорогого существа.

Да и вообще очень хорошо, когда женщины привержены какой-нибудь положительной религии. Не стану обсуждать вопрос, более ли верны своим мужьям жены евангелического вероисповедания. Во всяком случае, католичество жен весьма благодетельно для мужей. Согрешив, женщины не слишком долго сокрушаются в глубине души и, получив от священника отпущение, вновь весело расппевают и не портят мужу ни хорошего настроения, ни супа унылыми размышлениями о грехе, искупить который они стараются до конца своих дней посредством злой чопорности и сварливой архидобротели. Еще и в другом отношении полезна здесь исповедь: грешница не так долго носит с гнетущей мыслью о своей ужасной тайне, и так как женщины должны в конце концов все выболтать, то лучше, чтобы они в некоторых вещах признавались своему духовнику, чем подвергаться опасности внезапно в порыве нежности

или словоохотливости, или угрызений совести сделать роковое признание злополучному мужу!

Неверие, во всяком случае, опасно в супружестве, и как ни был я сам свободомыслящ, в моем доме никогда не разрешалось кощунственное слово. Подобно почтенному обывателю, проживал я в центре Парижа, и поэтому, когда я женился, я пожелал обвенчаться также церковно, несмотря на то, что установленный законом гражданский брак в достаточной степени признан здесь обществом. Мои либеральные друзья негодовали на меня за это и осыпали меня упреками, будто я сделал слишком великую уступку поповству. Их воркотня по поводу моей слабости еще возросла бы, если бы они знали, насколько большие уступки я сделал в ту пору ненавистному им духовенству. В качестве протестанта, вступающего в брак с католичкой, я должен был для того, чтобы венчаться церковно у католического священника, получить от архиепископа особое разрешение, которое, однако, в таких случаях дается лишь под условием, что супруг письменно обязуется воспитывать рожденных им детей в религии их матери. Об этом составляется особая запись, и сколько бы протестантский мир ни вопил против такого насилия, мне сдается, католическое духовенство совершенно право, ибо кто добивается его благословенных гарантий, тот должен подчиняться его требованиям. Я подчинился им совершенно *de bonne foi** и, разумеется, честно исполнил бы свое обязательство. Но, между нами говоря, так как я отлично знал, что рождение детей не моя специальность, то я с совершенно спокойной совестью мог подписать это обязательство, и, когда я положил перо, в моей памяти звучали насмешливые слова прекрасной Нинон де-Ланкло: «*O, le beau billet qu'a Lachastrel*»**.

Для достаточного увенчания моих признаний должен открыть, что для того, чтобы получить разрешение архи-

* добросовестно

** «О, какую отличную записку получил Лашатр!»

епископа, я тогда готов был предать католической церкви не только своих детей, но и самого себя. Но *ogre de Rome**, подобно чудовищу в детских сказках, требующий за свои услуги будущих детей, удовольствовался бедными малютками, которые, конечно, не родились, и таким образом я остался протестантом, каким был прежде, протестующим протестантом, и я протестую против слухов, которые, не будучи позорящими, все же могут быть использованы в ущерб моему доброму имени.

Да, я, который всегда беззаботно сносил бессмысленнейшую болтовню на свой счет, я считал себя вынужденным сделать указанную поправку, чтобы не подать партии благородного Атта Троля, все еще продолжающей свою возню в Германии, повода скорбеть в своей неуклюжей предательской манере о моей неустойчивости и при этом вновь указывать на ее собственную непоколебимость, обшитую толстейшей медвежьей шкурой. Таким образом, не против бедного *ogre de Rome*, не против римской церкви направлено это опровержение. Давным давно отказался я от всяких нападений на нее, и давно покоится в ножнах меч, некогда обнаженный мною во имя идеи, а не во имя личной страсти. Да, в этой борьбе я был, так сказать, *officier de fortune***, который храбро дерется; но после битвы или схватки не сохраняет в сердце ни капли злобы ни против враждебного дела, ни против его приверженцев. О фанатической враждебности моей к римской церкви не может быть и речи, так как мне всегда нехватало ограниченности, необходимой для такого озлобления. Мне слишком хорошо известен мой собственный масштаб, чтобы понимать, как мало вреда могли бы причинить самые яростные мои наскоки такому колоссу, как церковь св. Петра; лишь скромным чернорабочим мог бы я быть при медленной разборке ее плит, а это, конечно,

* римский людоед

** офицер из рядовых

было бы делом еще многих столетий. Я слишком хорошо разбираюсь в истории, чтобы не сознавать грандиозности этого гранитного сооружения; называйте его сколько угодно Бастилией духа, уверяйте сколько угодно, что его защищают теперь только инвалиды, — бесспорным, однако, остается, что и эту Бастилию не так-то легко было бы взять и что еще не один юный воин сломает себе шею под ее стенами. Как мыслитель, как метафизик, я всегда принужден был отдавать дань восхищения последовательности римско-католической догматики; могу также похвалиться, что никогда не нападал остротами или насмешкой ни на догматы, ни на культ, и мне оказывают одновременно слишком много чести и слишком много бесчестия, называя меня духовным родичем Вольтера. Я всегда был поэтом, и потому мне гораздо глубже, чем другим людям, раскрывается поэзия, цветущая и пламенеющая в символике католической догмы и культа; бесконечная сладость этой поэзии, ее блаженная и таинственная чрезмерность, ее жуткое упоение смертью в годы моей юности оказывали на меня непреодолимое влияние. И я мечтал когда-то о благодатной царице небесной; легенды о кротости ее и милосердии и я перелагал изящными рифмами; в первом собрании моих стихотворений можно найти следы этого прекрасного периода поклонения Мадонне — следы, в более поздних собраниях уничтоженные мною со смешной ревностью.

Минуло время тщеславия, и я разрешаю всякому смеяться над этими признаниями.

Вероятно, мне незачем прибавлять, что точно так же, как не было во мне слепой ненависти к римской церкви, не могла гнездиться в душе моей и мелочная злоба против ее пастырей; кому известно мое сатирическое дарование и моя потребность в пародийном озорстве, тот несомненно удостоверит, что я всегда щадил человеческие слабости духовенства, хотя за последние годы святошествующие, однако очень ядовитые крысы, снующие по баварским и австрийским ризницам, это гнусное

поповское отребье не раз вынуждало меня к самообороне. Но и в самом гневном отвращении я все же сохранял почтение к истинному священству, ибо, обращаясь воспоминанием к прошлому, не мог забыть о былых его заслугах предо мной. Потому что именно католическим священникам обязан я в детстве начальным образованием; они направляли первые шаги моей мысли. Также и в дюссельдорфской высшей школе, которая при французской власти называлась лицеем, учителя почти сплошь были католические священники, и все они серьезно и с добротой занимались моим духовным развитием; со времен прусского вторжения, когда и это училище получило прусско-греческое название гимназии, священники были постепенно заменены светскими учителями. Вместе с ними были устранены и их учебники, краткие по-латыни составленные руководства и хрестоматии, ведшие свое начало еще от иезуитских школ; и они также были заменены новыми грамматиками и компендиями, написанными на чахоточном, педантическом берлинском наречии, на абстрактном научном жаргоне, менее доступном юным умам, чем удобопонятная, естественная и здоровая латынь иезуитов. Как ни судить о иезуитах, нельзя не признаться, что они всегда сохраняли практический здравый смысл в учебном деле, и хотя при их методе знание древности сообщалось в весьма искаженном виде, они все же очень широко распространили, так сказать, демократизировали это знакомство с древностью, оно перешло в массы, тогда как при нынешней системе отдельный ученый, духовный аристократ, научается лучше понимать древность и древних, но в голове у широкой народной массы лишь изредка застревают какие-нибудь классические крохи, какой-нибудь отрывок Геродота, или Эзопова басня, или стих Горация, как в былые времена, когда бедным людям приходилось долго еще впоследствии грызть старую школьную корку своей юности. «Маленький кусочек латыни, и тот красит человека», говорил мне когда-то один старик-сапожник,

сохранивший в памяти несколько красивых Цицероновских периодов из речей против Катилины, сохранивший их еще с того времени, когда он в черной накидочке ходил в иезуитскую коллегию; эти отрывки он часто и весьма впопад цитировал против нынешних демагогов. Педагогика была специальностью иезуитов, и хотя они хотели заниматься ею в интересах своего ордена, однако не раз страсть к самой педагогике, единственная человеческая страсть, сохранившаяся в них, все же брала верх, они забывали свою цель — подавление разума в пользу веры — и, вместо того чтобы, согласно своему намерению, делать людей снова детьми, они, наоборот, вопреки собственной воле, своим обучением делали детей людьми. Величайшие люди революции вышли из иезуитских школ, и, не будь дисциплины последних, великое умственное движение пришло бы, быть может, лишь столетием позже.

Бедные отцы Иисусова ордена! Вы сделались пугалом и козлом отпущения для либеральной партии; однако при этом поняты были не ваши заслуги, а только грозящая от вас опасность. Что касается меня, то я никогда не мог присоединиться к отчаянным крикам моих единомышленников, всегда приходивших при имени Лойолы в неистовство, подобно быкам, которых подражали красным лоскутом. И затем, неуклонно оставаясь на страже интересов моей партии, я не мог иногда, рассуждая, в глубине души не сознаться себе, как часто от мельчайших случайностей зависело то, что мы попали в ряды той, а не другой партии и не оказываемся теперь в совершенно противоположном лагере. В связи с этим предметом мне часто вспоминается один разговор с моей престарелой матерью, лет восемь тому назад, когда я навестил в Гамбурге старушку, которой уже тогда было восемьдесят лет. Удивительное словечко вырвалось у нее, когда мы говорили о школах, где я учился мальчиком, и о моих католических учителях, среди которых, как я узнал теперь, было немало бывших членов иезуитского ордена. Мы много говорили о нашем милом

старом Шальмейере, руководившем при французах в должности ректора дюссельдорфским лицеем, читавшем в старшем классе лекции по философии, в которых он без стеснения разбирал самые вольнодумные греческие системы, сколь резко ни отличались они от ортодоксального догмата, служителем которого он выступал не раз пред алтарем в духовном облачении. Конечно, знаменательно и, быть может, будет мне некогда зачтено судом присяжных в Иосафатовой долине как *circonstance atténuante* * то, что мне, тогда еще мальчику, разрешалось присутствовать на этих лекциях. Это опасное снисхождение было оказано мне главным образом потому, что ректор Шальмейер в качестве друга нашей семьи особенно интересовался мною. Один из моих дядюшек, учившийся с ним вместе в Боннском университете, был там его школьным Пиладом, а дед мой однажды спас ему жизнь от смертельной болезни. Поэтому старик очень часто беседовал с моей матушкой о моем воспитании и будущей карьере, и вот в такой беседе, как рассказала мне впоследствии в Гамбурге мать, — он посоветовал ей посвятить меня церковному служению и отправить в Рим для изучения католического богословия в одной из тамошних семинарий; благодаря влиятельным друзьям среди римских прелатов высшего разряда ректор Шальмейер — так уверял он — имел возможность продвинуть меня на значительный церковный пост. Рассказав мне это, моя мать выразила сожаление, что не последовала совету умного старика, рано прозревшего мою натуру и тогда уже правильно понявшего, какой духовный и физический климат был бы самым подходящим и самым живительным для нее. Старушка очень сожалела теперь, что отклонила столь разумное предложение; но в те времена она мечтала об очень высоких светских званиях для меня; к тому же она была ученицей Руссо, строгой деисткой, и, кроме того, ей не хотелось напаялить на своего старшего сына

* смягчающее обстоятельство

ту самую сутану, которую немецкие священники носили на ее глазах с такой тяжеловесной неуклюжестью. Она не знала, как совсем иначе, с каким изящным шиком носит ту же сутану какой-нибудь римский *abbate*, как кокетливо он драпируется своей черной шелковой накидочкой, которая есть церковный мундир галантности и остроумия в вечно прекрасном Риме.

О, какой счастливый смертный такой римский аббат, служащий не только церкви Христовой, но и Аполлону и музам! Он сам их любимец, и три божественные грации держат пред ним чернильницу, когда он сочиняет свои сонеты, которые, изысканно скандируя, декламирует в Академии аркадийцев. Он — знаток искусства, и ему достаточно только пощупать шею молодой певицы, чтобы предсказать, будет ли она когда-нибудь *celeberima cantatrice**, дивой, мировой примадонной. Он знает толк в древностях и по поводу извлеченного из земли торса греческой вакханки пишет на изящнейшей Цицероновской латыни рассуждения, которые благоговейно посвящает главе христианства, *pontifex maximus***, как он его называет. И какой знаток живописи этот *signor abbate*, посещающий художников в их мастерских и сообщаящий им самые утонченные анатомические наблюдения об их натурщицах! Пишущий эти строки имел большие задатки для того, чтобы сделаться таким *abbate* и в сладостнейшем *dolce far niente* шататься по библиотекам, галлереям, церквам и руинам вечного города, изучая с наслаждением и наслаждаясь изучением; и я служил бы обедню пред самой изысканной паствой и на страстной неделе выступал бы на церковной кафедре строгим проповедником нравственности, — и здесь, разумеется, никогда не доходя до аскетической грубости; я наставлял бы в благочестии, главным образом, римских дам, и, быть может, благодаря такому покровительству и заслугам, я достиг

* знаменитая певица

** верховному жрецу

*

бы высших почестей в церковной иерархии, я сделался бы *monsignore*, фиолетовым чулком, даже красная шапка могла бы упасть мне на голову и, как говорится в пословице,

Такого попики мир не видал,
Который бы папой стать не мечтал.

В конце концов, чего доброго, и я добрался бы даже до одного высочайшего почетного сана, — ибо хотя я от природы не честолюбив, но все же не отказался бы стать папой, если бы на меня пал выбор конклава. Это, во всяком случае, весьма приличная и притом связанная с хорошими доходами должность, которую я, наверное, мог бы исправлять с достаточным искусством. Я спокойно уселся бы в Петрово кресло, протягивая для поцелуя ногу всем набожным христианам, как духовенству, так и мирянам. С соответственным душевным спокойствием я также дал бы во славе носить себя по колоннадам большой базилики и лишь в случае очень большой неустойчивости чуточку цеплялся бы за поручни золотого кресла, несомого на плечах шестью рослыми ярко-красными камеръерами, между тем как рядом шествуют плешивые капуцины с горящими свечами и ливрейные лакеи, вздымающие безмерно огромные опахала из павлиньих перьев, обвеивая ими голову владыки церкви, — как премило изображено на картине Ораса Верне. С такой же нерушимой жреческой серьезностью — ибо ведь я могу, когда это совершенно необходимо, быть очень серьезным — я ниспосылал бы с высоты Латерана всему христианскому миру мое ежегодное благословение; *in Pontificalibus*, с тройственной короной на голове, окруженное генеральным штабом красных шляп и епископских шапок, парчевых облачений и ряс всевозможных цветов, предстало бы на высоком балконе мое святейшество народу, который, склонив голову и преклонив колени, необозримой толпой расположился бы глубоко внизу, — и я спокойно простер бы руки и благословил бы город и весь мир.

Но, как тебе известно, благосклонный читатель, я не сделался ни папой, ни кардиналом, ни даже римским нунцием и не добыл ни должностей, ни сана как в светской, так и в духовной иерархии. Я, что называется, ничего на этой прекрасной земле не достиг. Ничего из меня не вышло, ничего — только поэт.

Нет, поддавшись лицемерному смирению, не стану принижать это имя. Ты нечто большое, раз ты поэт, да еще крупный лирический поэт в Германии, у народа, превзошедшего все прочие нации в двух вещах: в философии и в песне. Я не стану с ложной скромностью, изобретенной ничтожествами, отречься от моей поэтической славы. Ни одному из моих соотечественников не достались лавры в столь раннем возрасте, и если мой коллега Вольфганг Гете самодовольно поет о том, что

...рисует китаец

Вертера с Лоттой вдвоем робкой рукой на стекле,

то, раз уж дело пошло на хвостовство, я могу противопоставить китайской славе еще гораздо более баснословную, а именно японскую. Когда лет двенадцать тому назад я был здесь в Hôtel des Princes у моего друга Г. Вермана из Риги, он представил мне одного голландца, только что, после тридцатилетнего пребывания в Нагасаки, приехавшего из Японии и горячо желавшего познакомиться со мной. Это был д-р Бюргер, издающий теперь в Лейдене вместе с ученым Зейбольдом обширный труд о Японии. Голландец рассказал мне, что он давал уроки немецкого языка одному молодому японцу, который впоследствии напечатал мои стихотворения в японском переводе, и что это первая европейская книга, появившаяся на японском языке, — впрочем, я мог бы найти обстоятельную статью об этом любопытном переводе в калькуттской английской Review. Я не замедлил послать в разные cabinets de lecture*, но ни одна из ученых заведующих не могла достать мне этой

* кабинеты для чтения

калькуттской Review, и тщетно обращался я также к Жюльену и Потье.

С тех пор я не производил дальнейших изысканий насчет моей японской славы. В настоящую минуту она занимает меня не больше, скажем, моей финляндской славы. Ах, слава вообще, эта столь сладостная мишура, сладкая, как ананасы и ледь давно уже опротивела мне; теперь она мне кажется горькой, как полынь. Могу сказать, как Ромео: «Я шут счастья». Я стою теперь перед большой миской каши, но у меня нет ложки. Что мне в том, что на торжественных банкетах пьют за мое здоровье лучшие вина из золотых бокалов, между тем как в это время я сам, отрезанный от всякого людского веселья, смею увлажнить губы только в пресном отваре! Что мне в том, что восторженные юноши и девушки венчают мое мраморное изображение лаврами, если в это самое время увядшие руки старой сиделки прилепляют шпанскую мушку к моему живому затылку! Что мне в том, что все розы Шираз так нежно горят и благоухают для меня, — ах, две тысячи миль отделяют Шираз от rue d'Amsterdam, где в тоскливом одиночестве моей комнаты я не обоняю ничего, кроме разве аромата подогретых полотенец! Ах, тяжело гнетет меня насмешка господ бога! Великий автор вселенной, этот Аристофан неба, захотел достаточно ярко показать маленькому земному, так называемому немецкому Аристофану, что остроумнейшие сарказмы последнего были лишь жалкими островами в сравнении с его издевательством, показать, как позорно далеко мне до его юмора, до его исполинской буффонады.

Да, чудовищно едка щелочь презрения, изливаемая на меня творцом, и ужасающе жестока его шутка. В смиреннии признаю я его превосходство и склоняюсь пред ним во прахе. Но если и нет у меня такой высшей творческой силы, то все же сверкает в моей мысли молния вечного разума, к суду которого смею призвать даже божью шутку и подвергнуть ее почтительной критике,

И тут я делаю всепреданнейшее замечание, что, как я смею думать, немножко чересчур затягивается жестокая шутка, ниспосланная учителем на злосчастного ученика. Она длится уже более шести лет, что прямо-таки становится скучно. Затем я позволил бы себе также никого не обязывающее замечание, что шутка эта не нова, что великий Аристофан неба уже пускал ее в ход в другом случае и что он таким образом совершает плагиат у самого себя. В подтверждение этого указания приведу одно место из «Лимбургской хроники». Хроника эта очень интересна всякому, кто желал бы ознакомиться с нравами и обычаями немецкого средневековья. Подобно модному журналу, она описывает одежды, как мужские, так и женские, принятые в каждом периоде. Она дает также сведения о песнях, которые насвистывались и распевались в каждом году, причем не раз сообщаются начальные строки излюбленной песни того или иного времени. Так, о 1480 годе мы узнаем, что в этом году во всей Германии насвистывались и распевались песни, более сладостные и восхитительные, чем все напевы, дотоле известные в землях немецких, и стар и млад, особенно женщины, совсем одурели от них, так что распевали их с утра до вечера; сочинил же эти песни — прибавляет хроника — молодой клирик, который страдал проказой и, скрываясь от света, жил в пустыне. Ты, конечно, знаешь, любезный читатель, каким ужасающим недугом была в средние века проказа и как несчастные, пораженные этой неизлечимой болезнью, изгонялись из всякого гражданского общества и не смели приблизиться ни к какому человеческому существу. Живыми трупами скитались они, укутанные с головы до ног, в накиннутом на лицо капюшоне, с трещоткой — так называемой трещоткой св. Лазаря — в руке, предупреждая стуком о своем приближении, дабы всякий мог во-время уйти с их пути. Бедный клирик, о славе которого как сочинителя песен рассказывала упомянутая «Лимбургская хроника», был таким прокаженным, и вот он скорбно

сидел в пустыне своего страдания, в то время как вся Германия, торжествуя и ликуя, распевала и насвистывала его песни! О, эта слава была хорошо известное нам издевательство, свирепая шутка бога, который и здесь остается все тем же, хотя на этот раз он является в романтическом наряде средневековья. Правильно сказал пресыщенный царь Иудейский: ничего нет нового под солнцем. Быть может, само солнце это есть лишь старая, подогретая шутка, которая, заштопанная теперь новыми лучами, сверкает столь величаво.

Иногда среди моих мрачных ночных видений как будто мелькает предо мною бедный клирик «Лимбургской хроники», мой брат во Аполлоне, и его страдальческие глаза с странной неподвижностью устремляются на меня из-под его капюшона; но в тот же миг он исчезает, и, замирая, отголоском сновидения доносится до меня резкое дребезжание трещотки св. Лазаря.

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ



I. ЛИЧНОЕ

Над моей колыбелью играли последние лунные лучи восемнадцатого и первая утренняя заря девятнадцатого столетия.

Мать рассказывает, что во время своей беременности она увидела в чужом саду на дереве яблоко, но ей не захотелось срывать его, чтобы ее дитя не стало вором. В течение всей своей жизни сохранял я тайную страсть к красивым яблокам, связанную, однако, с уважением к чужой собственности и с отвращением к воровству.

Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, молоко и масло, перед окном очень свежие цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев, и, если господь захочет вполне осчастливить меня, он пошлет мне радость — на этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов. Сердечно растроганный, я прощу им перед их смертью все обиды, которые они мне нанесли при жизни. Да, надо прощать врагам своим, но только тогда, когда их повесят.

Я не мстителен — я очень хотел бы любить своих врагов; но я не могу их любить, пока не отомщу им, — только тогда открывается для них мое сердце. Пока

человек не отомстил, в сердце его все еще сохраняется горечь.

В том, что я стал христианином, повинны те саксонцы, которые под Лейпцигом внезапно перебежали к противнику, или Наполеон, которому вовсе ведь не следовало ходить в Россию, или его учитель, который преподавал ему в Бриенне географию и не сказал, что в Москве зимою очень холодно.

Если бы Монталамбер стал министром и ему захотелось бы выгнать меня из Парижа, я бы принял католичество. «Paris vaut bien une messe».

Я отказался натурализоваться из боязни, что стану тогда чего доброго меньше любить Францию, как становисься холоднее к любобнице, законно сочетавшись с нею в мэрии. Я буду и дальше жить с Францией в незаконном браке.

Мой дух чувствует себя во Франции изгнанником, сосланным в чужой язык.

Бог простит мне глупости, которые я наговорил про него, как я моим противникам прощаю глупости, которые они писали против меня, хотя духовно они стояли настолько же ниже меня, насколько я стою ниже тебя, о господи!

II. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Земля — большая скала, к которой приковано человечество, этот подлинный Прометей, терзаемый коршунном сомнения. Оно украдо свет и ныне терпит муки за это.

Искусство и философия, образ и понятие были разобщены впервые греками. Слитность их в религии предшествовала им обоим.

Мысль о личном бытии бога, как духа, так же абсурдна, как грубый антропоморфизм: ибо духовные атрибуты не имеют никакого значения и смешны без телесных.

Бог лучших спиритуалистов — это своего рода безвоздушное пространство в царстве мысли, озаренное любовью, которая есть снова отблеск чувственности.

Ангел, рисующий карикатуры, — таков образ пантеиста, который носит своего бога в груди.

Необходимость деизма

Господь бог и Луи-Филипп — оба необходимы: господь — это Луи-Филипп неба.

Мысль — это невидимая природа, природа — это видимая мысль.

В древности не существовало веры в призраки. Труп сжигался, человек исчезал в вышине в виде дыма, он растворялся в самой чистой, самой духовной стихии, в огне. Христиане (в насмешку или в знак презрения?) возвращают тело земле, — оно подобно зерну и прорастает снова в качестве призрака (сеется физическое тело, прорастает духовное), сохраняя ужас тления.

Бог не открыл ничего, что бы указывало на продолжение существования после смерти; и Моисей тоже не говорит об этом. Быть может, богу и не очень нравится,

что благочестивые так твердо уверены в продолжении существования. — В своей отеческой благодати он, быть может, не прочь сделать нам сюрприз.

Ни у одного народа вера в бессмертие не была так велика, как у кельтов; у них можно было брать в долг деньги, с тем, чтобы возвратить их в ином мире. Богобоязненным христианским ростовщикам следовало бы взять с них пример.

Земные блага давало и сулило язычество, и поэтому счастливые, для которых осуществление желания и удача в делах были свидетельством господства милосердных богов и их милости, — оказывались более набожными слугами, чем несчастные. Ср. Аристотель, Риторика, кн. II, гл. 17, стр. 240, том IV, изд. Бипон.

Отчаянным состоянием человечества во времена цезарей объясняется успех христианства. Самоубийство гордых римлян, которые разом отрекались от мира, стало столь частым в это время. У кого недоставало мужества разом распрощаться с миром, тот хватался за медленное самоубийство религии отречения (страсти Христовы тоже ведь были своего рода самоубийством). Рабы и несчастный народ были первыми христианами; благодаря своей многочисленности и новому фанатизму они стали силой, что и понял Константин, и воля Рима к мировому господству вскоре подчинила себе эту силу и дисциплинировала ее с помощью догмы и культа.

Во время полемики между христианами и языческими философами противники в пылу сражения нередко обменивались оружием: здесь видим мы шлем христианского провидения на голове у грека, там — меч грече-

ских богов в руке христианина. Возникают ереси. Герои веры впадают в заблуждение и сомнение.

Апологетам христианства пришлось в борьбе с язычеством тем скорее осмелиться выйти на поле философов, что философия в то время (от Марка Аврелия до Юлиана) восседала на троне, — через полемику вырабатывается догмат.

Разница между язычеством (индусов, персов) и иудаизмом: всем им свойственна мысль о бесконечной, вечной исконной сущности, но у первых она пребывает в мире, которому идентична и вместе с которым развивается из закона необходимости, — бог же иудеев пребывает вне мира и творит его актом свободной воли.

Еврейство — аристократия: единый бог сотворил мир и правит им; все люди — его дети, но евреи — его любимцы, и их страна — его избранное владение. Он — монарх, евреи — его дворянство и Палестина — экзархат божий.

Христианство — демократия: единый бог, который все сотворил и правит, но который всех людей любит равно и все страны равно охраняет. Это уже не национальный бог, а всемирный.

Христианство выступает с утешениями: те, кто в сей жизни насладились обильным счастьем, в будущем поплачутся за него несварением желудка; тех же, кто слишком мало ел, ждет в завершение всего превосходнейший пиршественный стол; и ангелы будут заглаживать синяки от земных побоев.

Те, кто здесь, на земле, пил чашу радости, расплатятся там, наверху, похмельем.

В христианстве человек приходит к духовному самознанию через страдание — болезнь одухотворяет даже животных.

Христианство ухитрилось омрачить даже голубой воздух Прованса и наполнило его своим колокольным трезвоном.

П р и в и д е с о б о р а

Шестьсот лет строили его, а ты в течение одного мгновения наслаждаешься покоем после шестисотлетней работы. Подобно морским волнам, мимо него пронеслись поколения, и ни один камень до сих пор не был тронут. Этот мавзолей католичества, который оно заставило построить себе еще при жизни, камнем облекает угасшее чувство (ироничны вверху часы). Внутри в этом каменном доме некогда расцветало живое слово; он теперь мертв внутри и живет лишь своей наружной каменной корой (душистое дерево).

В ц е р к в и

Унылые звуки органа, последние вздохи умирающего христианства.

П о ч и т а н и е Р и м а

Сколь многие начинали с намерения опозорить церковь, восстать против нее, и внезапно изменяли свои взгляды, и падали на колени, и поклонялись. Со многими случилось то же, что с Балаамом, сыном Боевым, который выступил, чтобы проклясть Израиля, и вопреки своим намерениям благословил его. Отчего? Ведь услышал он всего-навсего ослиный рев.

Глупцы полагают, будто для того, чтобы завладеть Капитолием, необходимо сначала сразиться с гусями.

Католические писатели обладают хорошим оружием, но не умеют им пользоваться. У них, как у китайцев, есть хорошие пушки и даже порох и ядра, но стрелять — это другое дело. Они дети с большими саблями, которые они не в силах поднять, в шлемах, которые гнетут их головы. А с пушками им и подавно не справиться.

Римская церковь не доверяет своим новым сеидам — она боится, как бы один из таких ревнителей, вместо того чтобы облобызать ее туфлю, в увлечении не укусил ее за ногу.

Римская церковь умирает от той болезни, от которой никто не излечивается: она истощена могуществом времени. В мудрости своей она отказывается от всяких врачей: за свою долгую практику она перевидала немало старцев, раньше, чем следовало, испустивших свой дух оттого, что за лечение их принимался энергичный врач. Но ее агония затянется надолго. Она переживет нас всех: автора этой статьи, наборщика, набирающего ее, и даже того маленького ученика, который подает отпечатанные листы.

Евреи были единственными, кто отстаивал свободу своей религии, когда Европа становилась христианскою.

Иудея, этот протестантский Египет.

Германцы избрали христианство по родству с иудейским моральным принципом, вообще с иудаизмом. Евреи были немцами Востока, и теперь протестанты

в германских странах (в Шотландии, Америке, Германии, Голландии) представляют собою не что иное, как древневосточных евреев.

Ненависть к евреям начинается лишь с романтической школы, с ее любованием средними веками, с ее католицизмом и дворянством, усиленными тевтономанией (Рюйс).

История еврейства прекрасна; но молодые евреи вредят старым, которых можно было бы поставить гораздо выше греков и римлян. Мне думается: если бы евреев больше не было и если бы кто-нибудь узнал, что где-нибудь находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку — а теперь нас избегают!

История современных евреев трагична, но вздумай кто-нибудь написать об этом трагическом — его еще осмеют. Это — трагичнее всего.

Характерно для гамбургского еврейского погрома (в сентябре 1830), что эти революционеры сначала закончили свои текущие дела, а затем устроили свою вечернюю революцию.

Во время мятежа я был у ван-Акена: лев был спокойнее всех и величаво негодовал, обезьяны ликовали, змеи извивались, гиена проявляла беспокойную жадность, белый медведь удобно растянулся в ожидании, хамелеон ежеминутно менял свою окраску — красную, синюю, белую, наконец даже трехцветную — у животных был человечески разумный вид, в противоположность людям, которые неистовствовали по-скотски дико.

Один еврей сказал другому: «Я был слишком слаб». Эти слова рекомендуются в качестве эпитафии к истории еврейства.

Некая Фрина, стоявшая у Даммтор в Гамбурге, сказала: «Если сегодня оскорбляют евреев, то скоро доберутся до Сената, а там и до нас». Кассандра городских окраин, как скоро исполнились твои слова!

Будьте до конца терпимы или, совсем наоборот, ступайте путем добра или зла; стоять, спокойно выжидая, у перекрестка — для этого вы слишком слабы, — этого не снес и Геркулес, и даже ему пришлось вскоре избрать тот или иной путь.

Бумажка о крещении служит входным билетом к европейской культуре.

Никогда не говорить о делах еврейства! Испанец, которому каждую ночь снится божья мать, из деликатности никогда не касается ее отношений к богу-отцу: беспорочное зачатие все-таки остается зачатием.

В моей любви к ним (к евреям) есть что-то личное.

Б. — Если бы я происходил от племени, от которого произошел наш спаситель, я бы скорее гордился этим, чем стыдился.

А. — Ах, и я также, если бы наш спаситель был единственным, кто произошел от этого племени, — но ведь от этого племени произошло столько еще всяких проходимцев, что признаваться в этом родстве — весьма сомнительное дело.

Евреи, если они хороши, то они лучше христиан; если же они плохи, то хуже.

За фарфор, который евреи вынуждены были когда-то покупать в Саксонии, те из них, кто его сохранил, получают теперь стократную стоимость — в конце концов

Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием всего мира, славой и величием.

Еврей — этот народ-призрак, неустанно стороживший Библию, свое сокровище! Напрасны были все закликания и изгнания дьявола — немцы разрушили его.

Окончена ли миссия евреев? Я полагаю: когда придет земной спаситель — индустрия, труд, радость. Земной спаситель прибудет по железной дороге, Михаил продолжит ему путь, который будет усеян розами.

Сколь много совершил уже господь, чтобы излечить мир от зла! В моисеевы времена он творил чудо за чудом, позже он допустил, чтобы его самого бичевали и распяли во образе Христа, наконец в образе Анфантена он ради спасения мира сделал невероятное: он выставил себя в смешном виде, — но тщетно! В конце концов им, быть может, овладеет безумие отчаяния, и он разобьет свою голову об мирозданье, и тогда он и мироздание — оба обратятся в прах.

Язычеству наступит конец как только философы реабилитируют богов с помощью мифов. Христианство достигло того же пункта. Штраус — это Порфирий нашего времени.

В Германии именно богословы приканчивают господа бога — *on n'est jamais trahi que par les siens**.

В Германии христианство разрушается одновременно и в теории и в действительности: развитие индустрии и благосостояния.

* предают всегда только свои

Философы в своей борьбе против религии разрушили язычество, но тогда возникла новая — христианство. С последнею тоже будет скоро покончено, но тогда, верно, явится еще новая, и философам будет задана новая работа, и опять-таки бесплодно: мир — огромная конюшня, очистить которую совсем не так легко, как конюшню Авгия, ибо в то время, как ее метут, быки остаются в ней и наваливают новые кучи навоза.

В темные времена народами лучше всего руководила религия, подобно тому как в полной темноте слепой является лучшим проводником по дороге, и тропы он знает лучше зрячего. Однако поистине глупо, когда уже наступил день, все еще пользоваться в качестве проводников старыми слепцами.

Подобно тому как люди науки в средневековый период христианства пытались извлечь научные истины из Библии, так теперь служители религии пытаются извлечь богословские истины из науки, из истории, из философии, из физики: триединство в индусской мифологии, учение о воплощении — в логике, потоп — в геологии и т. п.

В прежних религиях дух времени возвещался немногими и подтверждался чудесами. В современных религиях дух времени возвещается многими и подтверждается разумом. Чудес нынче больше не бывает, с тех пор как развилась физика: Океан поглядывает на руки господа бога, и последнему вовсе не хочется состязаться с Боско.

Всякая религия по-своему утешает в несчастьи. У евреев надежда: «Мы в плену, Иегова сердится на нас, но он пришлет спасителя». У магометан — фатализм: «Никому не уйти от своей судьбы, все расписано

там, наверху, на каменных скрижалях, снесем же покорно предписанное роком. Алла иль Алла!» У христиан — спиритуалистическое презрение к тому, что приятно, и к радости, болезненное стремление к небу, на земле искушение зла, там наверху — награда. — Что же предложит новая религия?..

Величие мира всегда адекватно величию духа, который созерцает его. Добрый находит в нем рай для себя, злой уже здесь вкушает свой ад.

Наши моральные понятия ни в коем случае не висят в воздухе: поднятие человека на более благородную ступень, право и бессмертие реальны в природе. То, что мы называем священным, имеет реальность, не есть пустая мечта.

Святые, подобные столпникам, в наше время невозможны, ибо филантропия тотчас же упрятала бы их в сумасшедший дом.

Существуют ли и в истории день и ночь, как в природе? С третьим веком христианства начинаются сумерки, тоскливая вечерняя заря неоплатоников, средневековье было темною ночью, сейчас восходит утреннее светило, — я приветствую тебя, Феб-Аполлон! Какие сны снились той ночью, какие призраки, какие ночные бродяги, какой на улицах шум, как там убивают друг друга, — я расскажу обо всем этом.

Мне ясно видны чудеса прошлого. Покров лежит на будущем, но он отликает розовым, и сквозь него мерцают золотые колонны и какие-то драгоценности, и что-то сладостно звучит.

III. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

Книге необходимы сроки, как ребенку. Все наскоро, в несколько недель написанные книги возбуждают во мне известное предубеждение против автора. Порядочная женщина не производит ребенка на свет до истечения девятого месяца.

Предаваясь творчеству, поэт чувствует себя так, как будто он, согласно Пифагорову учению о скитаниях души, прожил предыдущую жизнь в самых различных образах — его интуиция подобна воспоминанию.

В древности философия истории была невозможна. Лишь современность обладает материалами для нее: Гердер, Боссюэт и др. Думается мне, что философам придется ждать еще тысячу лет, прежде чем им удастся определить организм истории; до тех пор, думается мне, может быть принято только следующее. За основу я принимаю: человеческую природу и условия (почва, климат, переданное предками законодательство, война, непредусмотренные и неучтенные потребности); и та и другая в их столкновении или согласии создают фон истории, они же всегда находят в сознании свое отражение, и идея, которую они делают своей представительницей, вновь оказывает на них влияние в качестве третьей силы; последнее происходит главным образом в наши дни, так же как в средние века. Шекспир показывает нам в истории только взаимодействие человеческой природы и внешних условий, — идея, третье, никогда не выступает в его трагедиях; вследствие этого его образность гораздо более отчетлива, и есть нечто вечное, неизменное в развитии действия у него, ибо ведь человеческое остается одним и тем же во все времена. Так же точно обстоит дело и у Гомера. Творения обоих поэтов непре-

ходящи. Я не думаю, чтобы они оказались столь же удачными, если бы им пришлось изображать время, когда преобладающей оказалась какая-нибудь идея, например в начале возникновения христианства, во время реформации, во время революции.

У греков господствовало тождество жизни и поэзии. Поэтому у них не было таких великих поэтов, каких имеем мы, у которых жизнь часто является противоположностью поэзии. В большом пальце Шекспира больше поэзии, чем у всех греческих поэтов, за исключением Аристофана. Греки были великими художниками, не поэтами; у них было больше художественного чутья, чем поэзии. В пластике они добились столь многого именно потому, что здесь им приходилось только копировать действительность, которая была поэзией и предоставляла им лучшие свои образцы.

Если греки изображали жизнь цветущей и радостной и ее завершением считали печальный призрачный мир смерти, то, вразрез с ними, по христианским представлениям, земное бытие печально и призрачно, и только после смерти наступает радостная и цветущая жизнь. Это может утешить в несчастьи, но ничего не дает пластическому поэту. Вот почему все так радостно ликует в «Илиаде»; жизнь воспринимается тем более радостно, чем ближе наше отбытие в иной мир теней, — например у Ахиллеса.

Греки дали христианству искусство: искусство слова (догматику и мифологию) и искусство чувственное (живопись и зодчество). Готика есть не что иное, как больное искусство. Когда у меня в Тулузском соборе (Сен-Серкин) двоилось в глазах, я увидел, что центр переломлен посередине, и понял происхождение готической стрельчатой арки из римской полукруглой,

Художественное произведение

Видимое произведение гармонически выражает невидимую мысль; поэтому искусство жизни также является гармонией между поступками и нашим образом мысли.

Художественное произведение прекрасно, когда божественное ласково склоняется к человеческому — Диана целует Эндимиона; оно возвышенно, когда человеческое мощно воздымается к божественному — Прометей противится Юпитеру, Агамемнон приносит в жертву свое дитя. Христианский миф и прекрасен и высок в одно и то же время.

В искусстве форма все, содержание ничего не значит. Штауб берет за фрак, сшитый из собственного сукна, столько же, сколько за фрак, сшитый из доставленного ему сукна. Он требует плату за фасон, а материю отдает даром.

По вопросу о врожденных идеях, пожалуй, правильно следующее решение: существуют люди, к которым все приходит извне, так называемые таланты, подобные Лессингу, напоминающие обезьян, у которых преобладает внешняя подражательность, — в их сознании нет ничего, что бы они не восприняли через органы чувств. Но существуют также люди, у которых все исходит из души, гении, подобные Рафаэлю, Моцарту, Шекспиру, которым, однако, рожать труднее, чем так называемому таланту. У тех ремесленная работа, без жизни, без интимности, механизм, — у этих органическое возникновение.

Гений носит в душе отображение природы и благодаря ее напоминаниям производит на свет это отображение; талант подражает природе и творит аналити-

чески то, что гений творит синтетически. Но встречаются еще характеры, колеблющиеся между тем и другим.

Дагерротипия служит опровержением ложного воззрения, будто искусство есть подражание природе — природа сама доставила доказательство того, как мало она понимает в искусстве, каким жалким получается все у нас, когда она начинает заниматься искусством.

Филарет Шаль, как историк литературы, группирует писателей не по внешним признакам (национальность, эпоха, род произведений — эпос, драма, лирика), а по внутреннему, духовному принципу, по избирательному сродству. Так, Парацельс намеревается классифицировать цветы по запаху — насколько это глубокомысленнее, чем у Линнея по тычинкам. Неужели было бы слишком странно классифицировать и писателей по их запаху? Те, что пахнут табаком, те, что луком и т. п.

Легенда о ваятеле, которому выкололи глаза, чтобы он не изваял еще одну подобную же статую, покоится на той же основе, что и обычай бить стакан, из которого пили за здоровье высокой персоны.

Скульптор, занятый одновременно ваянием Наполеона и Веллингтона, представляется мне чем-то вроде священника, который собирается в десять часов отправлять мессу, а в двенадцать петь в синагоге. — Почему бы и нет? Он в состоянии это сделать; однако там, где подобное происходит, скоро никто не станет посещать ни мессу, ни синагогу.

Поэтам еще труднее говорить на двух языках — ах! большинство едва в состоянии говорить на одном,

Принято прославлять драматурга, умеющего извлекать слезы. — Этим талантом обладает и самая жалкая луковица, с нею делит он свою славу.

Театр оказывает дурное влияние на поэтов.

Новый период наступил для искусства: в природе открыты те же законы, что управляют нашим человеческим духом, их очеловечивают (Новалис), в человеческом духе открывают законы природы, магнетизм, электричество, положительный и отрицательный полюсы (Генрих фон-Клейст). Гете показывает взаимоотношения между природой и человеком; Шиллер вполне спиритуалист, он абстрагирует от природы, он соблюдает верность Кантовой эстетики.

Отвращение Гете к энтузиазму столь же неприятно, сколь и ребячливо. Такая сдержанность является в большей или меньшей степени самоубийством; она походит на пламя, которое не хочет разгораться из страха погаснуть от истощения. Благородное пламя, душа Шиллера, пылало жертвенно, — всякое пламя жертвует собою; чем прекраснее оно горит, тем ближе оно к уничтожению, к угасанию. Я не завидую тихим ночным лилиям, столь скромно влачащим свое существование.

У Шиллера мысль справляет свои оргии — трезвые понятия, увенчанные виноградной лозой, размахивают тирсами, пляшут, подобно вакханкам, — допьяна упившиеся рефлексии.

Якоби, этот плаксивый, брюзжащий характер, эта липкая душа, этот религиозный червяк, источивший плод познания, чтобы отбить у нас охоту к нему.

Унылое, приниженное время, которому запрещено было все громкое и которое само страшилось громкого, приглушенно чувствовало, мыслило и шептало, находя в этой приглушенной поэзии свою приглушенную радость. Оно уныло разглядывало старые, разрушенные башни и улыбалось сверчку, который меланхолически поскрипывал внутри.

В древнедатских романах все могилы любви — героические могилы, громады скал навалены над ними неистовою от боли исполинскою рукою. В стихотворениях Уланда могилы любви убраны красивыми цветочками, бессмертниками и крестиками, точно руками чувствительных пасторских дочек.

Герои датских воинских песен — норманны, герои Уланда — всегда швабы и притом желтоногие.

Сонетное бешенство настолько свирепствует в Германии, что следовало бы установить сонетный налог.

Клаурен стал нынче столь знаменит в Германии, что вас не впустят ни в один публичный дом, если вы его не читали.

Ауффенберга я не читал, — думается, он напоминает Арленкура, которого я тоже не читал.

Мы искали физическую Индию и нашли Америку; теперь мы ищем духовную Индию — что же мы найдем?

Желательно, чтобы изучением санскрита занялся гений; когда это делает заурядный комментатор, мы получаем в результате всего-навсего хороший компендиум.

Эпические поэмы индусов — это их история; однако мы получим возможность пользоваться ими, как историей, лишь тогда, когда откроем законы, согласно которым индусы превращали подлинные события в фантастически-поэтические. Мы этого еще не добились по отношению к мифологии греков; но возможно, что у последних это труднее, ибо они превращали события в вымысел, отличавшийся все более определенной пластичностью. У индусов, напротив, фантастическая обработка все же остается символом, обозначающим бесконечное, и не принимает более определенно изваянных форм по произволу поэта.

«Махабхараты», «Рамайяны» и подобные исполинские фрагменты — это духовные мамонтовы кости, уцелевшие на Гималаях.

Индус мог создавать только чудовищно огромные поэмы, ибо он не был в состоянии вынуть что-либо из целого мироздания, как вообще человек созерцательного склада. Весь мир для него это единая поэма, «Махабхарата» же только одна из глав ее. Сравнение индусской и нашей мистики: последняя изощряется в дроблении и сочетании материи, но неспособна свести все к понятию, — идеи, вытекающие из созерцания — вот то, чего мы совсем не знаем. Индусская муза — это погруженная в сны сказочная принцесса.

Гете в начале «Фауста» использовал «Сакунталу».

Подобно тому как каждый по-иному видит данный предмет в чувственном мире, так же каждый видит в данной книге нечто иное, чем другой. Следовательно, и переводчик должен быть духовно одаренным чело-

веком, ибо, чтобы воссоздать книгу, он должен увидеть в ней самое значительное и самое лучшее. Буквальный смысл, телесную сущность способен передать каждый, кто прочитал грамматику и приобрел словарь. Но духа не передаст первый встречный. Пусть об этом поразмыслит тот трезвый прозаический переводчик романов Скотта, что так похвалялся своей переводческой точностью. От чего зависит передача духа, показывает прежде всего Форстеровский повторный перевод «Сакунталы».

В эпоху романтиков в цветке любили только аромат, — в наше время в нем любят прорастающий плод. Отсюда склонность к практическому, к прозе, к тривиальному.

Основная черта нынешних поэтов — здоровье, вестфальское, австрийское, даже венгерское здоровье.

Прекраснейшие цветы немецкого духа — философия и песня. Эта цветущая пора миновала, она требовала идиллического спокойствия; Германия нынче вовлечена в движение, мысль перестала быть бескорыстной, в ее абстрактный мир вторгается грубый факт, железнодорожный паровоз вызывает в нас иное суетливое душевное потрясение, на основе которого не расцвести песне, угольный дым отпугивает певчих птиц, и вонь от газового освещения отравляет ароматную лунную ночь.

Наша лирика — продукт спиритуализма, хотя материал ее сенсуалистичен; страстное стремление обособленного духа к слиянию с миром явлений, *to mingle with nature* *. С победой сенсуализма эта лирика

* жить одной жизнью с природой

должна умолкнуть, возникает тоска по духовному: сентиментальность, расплывающаяся все больше в водянистом сумраке, нигилистическая мелкотравчатость. Туман пустопорожних фраз, промежуточная станция между былым и становлением, тенденциозная поэзия.

Безобидный поэт, который внезапно становится политическим, напоминает мне ребенка в колыбели: «Папа, не ешь того, что мама сварила».

Как только демократия действительно достигает власти, всякой поэзии наступает конец. Переходом к этому концу является тенденциозная поэзия. Вот почему — не только потому, что она служит ее тенденции — демократия покровительствует тенденциозной поэзии. Они знают, что после Гофмана фон-Фаллерслебена — или, лучше сказать, вместе с ним — поэзии наступает конец.

В поэтическом мире *tiers état* * — не полезно, а вредно.

Демократия влечет за собою гибель литературы: свободу и равенство стиля. Всякому дозволяется писать все, что угодно и как угодно скверно, и все же никто не имеет права превзойти его стилистически и посметь писать лучше него.

Демократическая ненависть к поэзии — Парнас следует скрыть до основания, нивелировать его, проложить везде Мак-Адамово шоссе, и на тех местах, где некогда карабкался досужий поэт и подслушивал соловьев, вскоре окажется плоская столбовая дорога,

* третье сословие

железнодорожные рельсы, на которых будет ржать паровой котел и торопливо сновать мимо озабоченной толпы.

Демократическая ярость против воспевания любви — к чему воспевать розу, аристократ? Воспой демократический картофель, которым кормится народ!

В политическое по преимуществу время редко возникает чисто художественное произведение. Поэт в такое время напоминает шкипера среди бушующего моря, который видит у дальнего берега монастырь, возвышающийся на утесе; белые монахини стоят там и поют, но буря заглушает их пение.

Произведения некоторых излюбленных писателей современности — это сыскная грамота природы, никак не описание.

Вовсе не бедный венгерец Нимбш и не приказчик из Липпе-Детмольда создают превосходные стихотворения *, а мировой дух. Только последнему принадлежит слава, и поэтому достойно смеха, когда на этот счет что-нибудь о себе воображают, подобно отцу Рашели, гордящемуся успехами дочери, — вот в партере французского театра стоит какой-то старый еврей и воображает, будто это он — Ифигения или Андромаха, будто это его декламацией тронуты все сердца, и когда начинают аплодировать, он раскланивается краснея.

Савиньи — римлянин? Нет, он прислужник римского духа, *un valet du romanisme* **.

* Имеются в виду Н. Ленау (Нимбш-Штреленау) и Ф. Фрейлиграт.

** лакей римско-католической церкви.

Элегантный стиль Савиньи напоминает липкую серебряную слизь, которую насекомые, ползая, оставляют после себя на земле.

С произведениями Иоганна фон-Мюллера происходит то же, что с Клопштоком, — никто его не читает, всякий почтительно отзывается о нем. Он наш великий историк, как тот был нашим великим эпическим поэтом, которого мы с гордостью противопоставляли чужим странам. Он непроходимо скучен, — Альпы и над ними ни единой идеи. Мы воображали, будто у нас имеется и свой эпос и свой историк.

Ренке — резонер, переплетенный в кожу, — литературный мальчишка на побегушках в Брокгаузовской книготорговле; когда он подрастет, то станет при магазине сторожем.

История литературы Гервинуса

Условие задачи таково: то, что Г. Гейне дал в маленькой книжке с большим остроумием, дать теперь в большой книге без всякого остроумия, — задача решена правильно.

Историки, которые хотят сами делать историю, похожи на немецких актеров, одержимых страстью самим сочинять пьесы. Галлер замечает, что актеры играют тем лучше, чем хуже пьеса, — уж не писали ли они скверно для того, чтобы показать свое актерское искусство? Или, быть может, они играли плохо, чтобы произвести впечатление хороших писателей? Такие же точно вопросы можно было бы задать нашим историкам.

Берегитесь Генгстенберга — он только притворяется таким дураком, на самом деле это Брут, который когда-нибудь сбросит личину, покажет себя правдивым рационалистом и разрушит ваше царство.

Руге — это тот филистер, который однажды беспристрастно взглянул на себя в зеркало и признал, что Аполлон Бельведерский все же красивее его. В душе своей он уже носит свободу, но она никак не хочет войти в его тело, и, сколько бы он ни вздыхал по эллинской наготе, он все же не может решиться скинуть варварские современные штаны или тем более христианско-германские подштанники нравственности. Грации с улыбкой следят за этой внутренней борьбой.

Я к о б В е н е д е й

Природа создала тебя чистильщиком отхожих мест, — не стыдись же этого, немецкий патриот! Ибо ты чистишь отхожие места твоего немецкого отечества.

Я помолчу о нем, я не могу его использовать в качестве комической фигуры, как Масмана. Забавнее всего было то, что последний знал латынь, — Венедей же ее не знает; в скуке нет ничего комического.

Король Людвиг не принимает Лютера в свою Валгаллу. Не следует на него за это сердиться: он чувствует сердцем, что если бы Лютер построил Валгаллу, он бы не принял его туда как поэта.

Эсте, Медичи, Гонзага, Скала знамениты как меценаты. У наших князей несомненно столь же прекрасные намерения, однако им недостает образованности

для того, чтобы произвести отбор подлинных талантов и гениев — ибо последние не просят объявить о себе через их камердинеров. — Они покровительствуют лишь тем, кто стоит с ними на одной ступени развития, и как мы оцениваем итальянских князей по именам тех, кому они покровительствовали, так же когда-нибудь будут сразу узнавать наших князей по именам лиц, которых они награждали табакерками, кубками, пенсиями и орденами. Говорят, будто неумно поступают великие писатели, сохраняя имена безвестных людей для потомства, — даже если они делают это в сатирических произведениях, — но мы делаем это, чтоб опозорить их покровителей.

Этих людей надо бить палками при жизни: ведь после смерти их нельзя наказать, нельзя опозорить их имена, заклеить, обесчестить, — ибо от них не остается даже имени.

Вольфганг Менцель обладает весьма острым умом — интересно и важно для науки произвести современем френологическое исследование его черепа. Я хочу, чтобы во время побоев падали его голову, дабы не принять новые шишки за шишки остроумия или поэзии.

И этот невежественный заяц ведет себя, как чемпион немецкого народа, самого храброго и самого ученого народа, который доказал свое мужество на тысяче полей сражения и свое глубокомыслие в сотне тысяч книг, народа, широкая грудь которого покрыта славными рубцами и под челом которого пронеслись все великие мысли мира, оставив после себя достойные глубочайшего уважения морщины.

Г у ц к о в

Природа была очень скромна, когда создавала его, его, самого нескромного.

Он хотел подражать Гейне, но он был чужд всякой поэзии, и он дошел только до подражания Бёрне. В манере изображения и в языке его есть нечто полицейское. Он вечно настороже, выслеживая очередные слабости публики, чтобы затем использовать их в своих личных интересах. Потворствуя и лстя этим слабостям, он может обойтись без таланта, знаний и характера, он это знает. Публика не получает от него никаких импульсов, наоборот, он заимствует их у нее; он напяливает ливрею ходовой истины, он ее лакей и ее канцелярский служитель, он по-кошачьи изгибает спину и требует причитающиеся ему чаевые.

Жиске в третьей части своих мемуаров рассказывает о полицейском агенте, который распознал вора, укравшего медали, по тонкости его преступной работы: хорошо сплетенная веревка, кусок восковой свечи вместо сала в фонаре вора, — точно так же угадываю я господина ** по анонимной статье.

Зачем мне теперь противоречить? Пройдет немного летия умру, и тогда мне все-таки придется сносить всю эту ложь. NN нечего бояться, что после его смерти о нем скажут ложь.

«Г о т л а н д» Г р а б б е

Порою вереница страшных и отвратительных художественных образов, точно шествие галерных рабов, и на каждом из них клеймо... Автор ведет их на цепи на каторгу поэзии!

Ф р е й л и г р а т

Сущность новейшей поэзии сказывается прежде всего в ее параболическом характере. Предчувствие и воспоминание составляют ее главное содержание. Этим чувствам соответствует рифма, музыкальное значение которой особенно важно. Необычайные, до яркости неожиданные рифмы подобны более богатой инструментовке, которая в убаюкивающем напеве призвана особенно выделять то или другое чувство, подобно тому как нежные тона валторны внезапно прерываются трубными звуками. Гете, например, умело пользуется необычными рифмами для резких и причудливых эффектов; то же Шлегель и Байрон, — у последнего намечается уже переход к комической рифме. Сравните с этим злоупотребление непривычно звучащими рифмами у Фрейлиграта, варварство непрерывной янычарской музыки, проистекающее от профессиональной ошибки. Его красивые рифмы нередко являются костылями для хромых мыслей. Фрейлиграт не принадлежит к посвященным в таинство, звуки природы ему не даны, выражение и мысль возникают у него не одновременно. Он пользуется молотком и резцом и обрабатывает язык, точно камень; мысль при этом служит материалом и не всегда материал этот из каменоломень собственного духа, — так, например, это нередко плагиат у Граббе и у Гейне. Он все способен сделать, только не песню, а песня есть критерий самобытности. Собственно стихотворение (то, что мы обычно так называем: полуэпическое, полупоэтическое) всегда в той или иной степени берет свои свойства от песни, даже при самых широких ритмах, — только не у Фрейлиграта: его благозвучие главным образом риторического порядка.

Существует некоторое сходство между Фрейлигратом и Платеном. Последний более тонко слышит мелодию слов, удачнее избегает жесткости, звучит музыкальнее, но не владеет цезурой, в чем Фрейлиграт

сильнее, так как чувствует здоровее; цезура — это биение сердца творящего духа, она не допускает подражания, как благозвучие.

Фрейлиграт подражает Виктору Гюго. Он жанровый художник, он дает жанровые картины моря, не исторические образы живого океана. Его восточные жанровые картины — это турецкая голландщина.

Для него характерно стремление к Востоку и мечтательное проникновение в быт и природу юга. Но Восток не расцветает в его поэзии, как у других поэтов, перед которыми постоянно маячит тот сказочный, причудливый Восток, какой мы воссоздали в наших снах, следуя традиции крестовых походов и «Тысячи и одной ночи», в реальности ложный, но по идее своей истинный Восток поэзии. Нет, он точен, как Бургардт и Нибур, его стихотворения служат приложением к «Чужим странам» Котты, и эта издательская фирма восхваляет его значительные познания в географии и науке о народностях. Отсюда его ценность для широкой массы, требующей реалистического питания; признание его — печальный знак усиления прозы.

Немецкий язык в сущности богат, но в немецкой разговорной речи мы пользуемся только десятой долей этого богатства; таким образом, мы фактически бедны словом.

Французский язык в сущности беден, но французы умеют использовать все, что в нем имеется, в интересах разговорной речи, и поэтому они на деле богаты словом.

Только в литературе обнаруживают немцы весь свой языковый клад, и французы, ослепленные им, воображают, будто мы бог весть как блещем у себя дома, — они и понятия не имеют о том, как мало мыслей имеется у нас дома. У французов как раз наоборот: больше идей в обществе, чем в книгах, а самые одаренные из них вовсе не пишут или же пишут только случайно.

Вольтер смело поднимается ввысь, благородный орел, глядящий прямо на солнце; Руссо — благородная звезда, глядящая вниз с вышины; он любит людей свысока.

Вольтер признает папу (прочтите его посвящение к «Магомету») иронически и добровольно.

Руссо не удалось убедить представиться королю, — им руководил правильный инстинкт; это был энтузиаст, не способный на сделки.

Старшие французские писатели имели определенную точку зрения: свет и тени всегда правильны, по законам точки зрения. Более молодые писатели перепрыгивают с одной точки зрения на другую, и на их картинах господствует отвратительная путаница света и теней, — здесь замечание, причастное к пантеистическому мировоззрению, там чувство, выросшее из материализма, сомнение и вера попеременно — наряд арлекина.

Во французской литературе господствует в настоящее время вполне выработанное плагиаторство. Здесь один гений запускает руку в карман другого, и таким образом между ними образуется известное соотношение. При подобном таланте мыслекрадства, где один стащил у другого мысль, прежде, чем тот ее додумал до конца, дух становится всеобщим достоянием. В *république des lettres* * существует общность умственных достояний.

Современная французская литература подобна ресторанам Пале-Рояля. Стоит только узнать секреты кухни, ингредиенты кушаний и способ их приготовления, как

* республике литературы

аппетит сразу же пропадает. Но грязный повар надевает перчатки, подавая на сверкающих блюдах свою пачкотню.

Французские писатели современности напоминают рестораны, в которых обедают за два франка. По началу кушанья в них кажутся вкусными, впоследствии делаешь открытие, что они приобрели материалы из вторых и третьих рук, к тому же несвежие или гнилые.

Новофранцузские романтики — дилетанты христианства; они страстно вздыхают по церкви, не подчиняясь с покорностью ее символу, они — *catholiques marrons* *.

Может ли быть, что Франция тянется назад к христианству? Неужели Франция настолько больна? Иногда ведь рассказывают такой вздор... Неужели это — покаяние на смертном одре?.. Или она жаждет причастия?.. Непостоянство, имя тебе — человек.

Шатобриан собирается проповедывать христианство в противовес блестящему неверию, перед которым преклоняется мир. Его случай обратен случаю с тем неаполитанским капуцином, который поднимает перед людьми крест: «Ессо il vero policinello!» **.

Шатобриан — это полишинель ***, поднимающий перед людьми свою погремушку «Ессо il vero cruce!» ****

* Католики, исповедующие католицизм домашним образом.

** «Вот истинный полишинель!» Здесь полишинель — кукла, марионетка, любимое развлечение народа.

*** Здесь полишинель — шут, развлекатель.

**** «Вот истинный крест!»

Шатобриан — пустомеля, реалист по принципу, республиканец по склонности, рыцарь, ломающий копья за девственность любой лилии, а вместо шлема Мамбрина носит красный колпак с белой кокардой.

Бюффон утверждает, что стиль — это сам человек. Вильмен — живое опровержение этой аксиомы: стиль его красив, строен и опрятен.

Кого, как Шарля Нодье, в молодости многократно гильотинировали, тому весьма естественно к старости совсем потерять голову.

Блез-де-Бюри разглядывает мелких писателей в увеличительное стекло, а великих в уменьшительное.

Амори — патрон писательниц, он помогает страждущим, он их *petit manteau blanc* *, их духовник; его статьи — маленькая ризница, куда они прокрадываются под вуалями; даже мертвые исповедуются ему в своих грехах. Ева признается ему в том, что ей поведал змей и о чем мы ничего не знаем, так как она скрыла это от Адама.

Он критик не для больших, а для мелких писателей, — под его лупой не помещаются киты, но зато помещаются интересные блохи.

У Леона Гозлана убивает не буква, а дух.

Мишель Шевалье — консерватор и прогрессист одновременно: одною рукою он поддерживает ветхое зда-

* Короткая белая накидка, которую носили аббаты XVIII века.

ние, дабы оно не рухнуло людям на голову, а другою рисует план нового, более просторного, общественного здания будущего.

Тьерри можно было бы сравнить с Мерлином: он лежит, точно погребенный заживо, тело уже не существует, только голос остался. Историк это всегда некий Мерлин, он — голос погребенной эпохи; его вопрошают, и он дает ответ, этот пророк, обращенный к прошлому.

Французское искусство есть воспроизведение реальности. Но так как французам пришлось за пятьдесят лет так много пережить и увидеть, то их художественные произведения благодаря воспроизведению пережитого и виденного оказались гораздо значительнее, чем произведения немецких художников, обретающих свои воззрения лишь в сновидениях души.

Только в архитектуре, где природу нельзя воспроизводить, французы отстали.

В музыке они дают тон своей национальности: рассудочность и сентиментальность, ум и грацию; в драме — страсть. Эклектизм в музыке был введен Мейербером.

Мейербер — музыкальный *maitre de plaisir* * аристократии.

Мейербер сделался настоящим евреем. Если он намерен снова возвратиться в Берлин к прежнему своему положению, ему придется сначала принять крещение.

«Отелло» Россини — Везувий, выбрасывающий лучистые цветы.

* министр развлечений

Пезарский лебедь не мог долее выносить гусиное гоготание.

Поэзия иссякает в художнике — венок падает у него с головы.

В его пастиччио есть что-то прямо жуткое для меня, напоминающее святого Иеронима в испанской галлерее, — уже мертвый, он записывает псалмы. Дрожь начинает пробирать, как будто прикасаешься к статуе.

Все картины Ари Шеффера показывают мечтательное стремление уйти от посюстороннего мира, без подлинной веры в потустороннее... Туманный скептицизм.

Лессинг говорит: «Если бы Рафаэлю отрезать руки, он все же остался бы живописцем». Точно так же могли бы мы сказать: «Если господину ** отрезать голову, он все же остался бы живописцем, он бы продолжал писать и без головы, и никто бы не заметил, что головы у него и нет вовсе».

Шекспир получил драматическую форму от современников; отличие этой формы по сравнению с французской.

Содержание своих трагедий он всегда до деталей заимствовал; даже грубые очертания он сохранял, словно первые удары резца ваятеля.

Приносит ли пользу распределение труда также и в умственной работе? Наивысшее достигается только таким путем.

Как Гомер не один сложил «Илиаду», так и Шекспир не один изготовил свои трагедии — он придал им лишь дух, ожививший работу предшественников.

У Гете мы видим нечто подобное — его плагиаты.

Юний * — это рыцарь свободы, боровшийся с опущенным забралом.

Данте — общественный обвинитель в поэзии.

IV. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Общество всегда есть республика — одиночки всегда стремятся вверх, а общая масса оттесняет их обратно.

В древности патриоты не скрывали своего величия, таков был, например, Цицерон. Люди нового времени, достигнув наивысшей свободы, поступали точно так же, например Робеспьер, Камилл Демулен и др. Если и для нас настанет такая пора, то и мы будем величаться подобным же образом. Люди, ничем не замечательные, конечно, правы, когда они проповедуют скромность. Им будет так легко осуществить эту добродетель, она им ничего не стоит, им нечего преодолевать, и благодаря тому, что они не возвышаются над всеобщим уровнем, никто не заметит, что они ничего не свершили.

Нужно знать всю Германию, отдельные частности опасны. Это — история о дереве, листья и плоды которого служат противоядиями друг против друга.

Лютер всколыхнул Германию — однако Франц Дрек вновь успокоил ее: он дал нам картофель.

* Под псевдонимом Юния появились в Англии в 1769—1772 гг. знаменитые «Письма», жестоко разоблачавшие тогдашний общественный строй.

Елей, что проливается на головы королей, успокаивает ли он возмущение умов?

Не существует немецкого народа: дворянство, бюргерство, крестьяне более разобщены, чем у французов до революции.

Прусское дворянство есть нечто абстрактное, его определяет исключительно момент происхождения, а не собственность. У прусских юнкеров нет денег.

Ганноверские юнкеры — ослы, вечно твердящие о лошадях.

Слуги, не имеющие господина, не становятся от этого свободными людьми, лакейство в душе у них.

Немец подобен рабу, который повинуетя своему господину без воздействия оков, без кнута, по первому его слову, даже по первому взгляду. Рабство — в нем самом, в его душе; низменнее, чем материальное рабство, — рабство, перешедшее в сознание. Немцев нужно освободить внутренне, внешнее освобождение бесполезно.

Собака, на которую надет намордник, лает задом. — Мышление на окольных путях проявляется еще более зловонно — лживостью выражения.

Немцы хлопочут сейчас над выработкой своей национальности; однако они запоздали с этим делом. Когда все у них будет окончательно готово, национальное начало в мире перестанет существовать, и им придется

тотчас же отказаться и от своей национальности, не сумев извлечь, в отличие от французов или британцев, никакой пользы из этого.

Я всегда воспринимал здание собора, как игрушку; я думал: такому исполину-ребенку, как немецкий народ, нужна соответствующая гигантская игрушка, какою является Кельнский собор, — но теперь я думаю иначе. Я больше не верю в то, что немецкий народ — это ребенок-исполин; во всяком случае, он уже не ребенок, он большой парень с богатыми природными данными, из которого, однако же, не выйдет ничего путного, если он не использует по-серьезному настоящее и не будет иметь в виду будущее. У нас уже не остается времени ни для игры, ни для того, чтобы воплощать сновидения прошлого.

Политические флаги

Они заклинают бури и полагаются на собственную гибкость: они забывают о том, что гибкость им не поможет, если ураган когда-нибудь опрокинет башню, на которой они стоят.

Демагогия, священный союз народов.

Когда я говорю о черни, я не включаю в нее, во-первых, всех тех, кто значится в адрескалендаре, и, во-вторых, всех тех, кто в нем не значится.

Современное буржуазное общество торопится в вихре наслаждений осушить последний кубок, подобно старому дворянству накануне 1789 года, и оно также слышит уже в коридоре мраморную поступь новых богов, которые не постучавшись войдут в зал и опрокинут столы.

Юный свинопас хочет, разбогатев, пасти своих свиней верхом. — Эти банкиры уселись на высоких коней и попрежнему предаются старому грязному ремеслу.

** не любит евреев. Когда я его спросил об этом, он сказал: «Они подлы без всякой грации, поэтому всякая подлость становится из-за них неприемлемой, и вреда мне от них больше, чем пользы».

И Ротшильд также мог бы построить Валгаллу — Пантеон для всех князей, бравших у него в долг.

Основную армию врагов Ротшильда составляют те, кто ничего не имеет; все они думают: то, чего нет у нас, есть у Ротшильда. К ним присоединяется толпа тех, кто утратил свое состояние; вместо того чтобы отнести потерю за счет собственной глупости, они обвиняют в пронырливости тех, кому в руки перешло их состояние. Чуть у кого-нибудь кончились деньги, он становится врагом Ротшильду.

Коммунист, который хочет, чтобы Ротшильд роздал свои триста миллионов; Ротшильд посылает ему его долю, составляющую девять су. — «А теперь оставь меня в покое».

Коммунисты полны какого-то равнодушного пренебрежения к патриотизму, славе и войне.

За тучными коровами следуют тощие, за тощими — полное отсутствие говядины.

Мне хочется пророчествовать: вам придется когда-нибудь в зимнюю пору пережить революцию, более

ужасную, чем все бывшие до сего дня. Когда кровь потечет по снегу...

Народный поток подобен возмущенному морю: тучи над ним дают ему только окраску, белые волны мелькают кое-где; писатели с помощью слова дают расцветку стихиям возмущения, уже вызванным к жизни.

Ассоциация идей, в том же смысле, в каком мы говорили об ассоциации в промышленности, например связь философских идей с политико-экономическими, дала бы поразительные, небывалые результаты.

Старая сказка о трех братьях осуществляется. Один пробегает за несколько часов сто миль, другой видит на расстоянии ста миль, третий палит на то же расстояние, четвертый дуновением сметает армии — железная дорога, зрительная труба, пушки, порох или пресса.

Place de la Concorde*

Хотелось бы знать, если посеять на этом месте, прорастет ли зерно?

Публичные казни на Гревской площади и на площади Людовика XV были своего рода *argumentum ad hominem*: всякий мог убедиться здесь в том, что дворянская кровь не лучше крови представителей буржуазии. Обезумевший гражданин наблюдает каждую казнь, точно практический опыт, доказывающий идеальную теорию.

* Площадь Согласия

В и д е н и е

Площадь Людовика XVI. — Труп, голова подле, — врач пробует воссоединить их, качает головой: «Невозможно» и, вздыхая, уходит. — Придворные пытаются привязать мертвую голову, но она все отпадает.

Если король лишился головы, ему уже не поможешь.

Сумасшедший отказывается гулять в Тюильри; деревья, правда, представляются ему чудесно зелеными, но корни в земле красны как кровь.

Чем ближе к Наполеону стояли люди, тем больше преклонялись они перед ним — с другими героями происходит обратное.

Наполеон не был из того дерева, из которого делают королей, — он был из того мрамора, из которого делают богов.

Наполеон ненавидел лавочников и адвокатов — он расстреливал первых из митральез, а вторых гнал из храма. Они подчинялись, но ненавидели его (они полагали, что совершили революцию для себя, Наполеон же воспользовался ею для себя и для народа). Они с удовольствием встретили реставрацию.

Император был целомудрен как железо.

Его враги — туманные призраки, пляшущие по ночам вокруг Вандомской колонны и вгрызающиеся в нее.

Они поносят его, но все же всегда с известной почтительностью: в то время как правою рукою они кидают в него дерьмо, левая тянется к шляпе.

Составители Наполеонова кодекса (Code Napoléon) жили, к счастью, в революционные времена и выучились тогда сочувствовать страстям и высшим жизненным целям.

Нацию нельзя возродить, если ее правительство не проявляет высокой нравственной силы. Эта сила возрождает. Потому-то было необходимо пятнадцатилетнее правление Наполеона — он целил огнем и железом больную нацию, правление его было курортным сезоном. Он был Моисеем французов; как тот водил свой народ взад и вперед по пустыне, чтобы вылечить его за этот курортный сезон, так же гонял он французов по Европе... Этой власти противостояла в качестве оппозиции партия «гнилых», и к ней принадлежала госпожа фон-Сталь. Ее партия блистала умом, была остроумна, любезна, но гнила: Талейран — мастер разложения, Нестор лжи, клятвопреступник двух веков; Шатобриан — мы почитали, мы любим его, но он был великий путаник, бессмертный простофиля (Дире), поэт, пилигрим со склянкой воды из Иордана, бродячая элегия, но вовсе не мужчина. Остальные ее друзья, несколько дворян из аристократических предместий, рыцарственные призраки, милые, но болезненные, страждущие, бессильные. Бенжамен Констан был самый лучший из них, но и он даже на смертном одре брал деньги у Луи-Филиппа!

«Le style c'est l'homme — c'est aussi la femme!» *
Фальшь госпожи фон-Сталь: целая цепь фальшивых мыслей и цветов красноречия, подобных дурным иславлениям. Она восхваляет Веллингтона, ce heros de cuir, avec un cœur de bois et un cerveau de papier-maché **.

* «Стиль — это человек, это также женщина».

** этого героя из кожи, с деревянным сердцем и мозгом из папье-маше

Госпожа фон-Сталь была швейцарка. Швейцарцы обладают чувствами столь же возвышенными, как их горы, но взгляды их на общество столь же узки, как их долины.

Ее отношение к Наполеону: она хотела отдать кесарю кесарево, но когда тот отказался от последнего, она стала его фрондировать, она отдала богу вдвое больше.

Она не обладала остроумием, она совершила нелепость, назвав Наполеона Робеспьером на коне. Робеспьер был всего навсего активным Руссо, подобно тому как госпожа фон-Сталь была пассивным Руссо, и скорее ее самое можно было бы назвать Робеспьером в юбке.

Всюду твердит она о религии и морали — но нигде не объясняет, что разумеет под ними.

Она говорит о нашей честности, и о наших добродетелях, и о нашей образованности, — она упустила из виду наши тюрьмы, наши публичные дома, наши казармы, она не видела наших торговцев книгами, наших Клауруенов, наших лейтенантов.

Поццо-ди-Борго и Штейн — вот это называется герои! Один — ренегат, за несколько рублей продавший родину, друзей и собственное свое сердце, другой — задирающий нос негодяй, юнкер, скрывавший под плащом патриотизма гербовый кафтан минувшего — предательство и ненависть.

Никто не знает, почему наши князья доживают до такой старости, — но ведь они боятся умереть, они боятся в ином мире снова повстречаться с Наполеоном.

Как у Гомера герои обменивались на поле битвы своими доспехами, так народы обменяли свои шкуры: французы натянули на себя нашу медвежью шкуру, мы же — их обезьянью. Те начали важничать, мы же

карабкаемся на деревья. Те бранят нас вольтерьянцами — будьте спокойны, на нас ведь только ваша шкура, сердцем мы все те же медведи.

Чего только не случается в наше сказочное время! Даже Бурбоны становятся завоевателями!

Парижский народ освободил мир и даже не взял за это на водку.

Да, Париж снова стяжал себе величайшую славу. Но боги, завистливые к величию людей, пытаются их унижить, смирить, — хотя бы с помощью ничтожных происшествий.

Печать подобна некоему мифическому дереву: вкусивший от его плода заболевает; поев листьев — выздоравливает от этой болезни, и обратно. То же самое происходит при чтении легитимистских и республиканских листков во Франции.

Французские журналы все до одного окрашены в цвета партии: они возвратят любую статью, если она не посвящена последним интересам дня, так называемым актуальным темам. — В Германии — совсем наоборот, и если я подчас и улыбаюсь тому; что немецкие листки так основательно обсуждают множество событий, не имеющих даже отдаленнейшего касательства к отечественным проблемам данного времени, как, например, вопросы китайской или остиндской культуры, — то меня все же радует этот космополитизм немецкой прессы, интересующейся самыми фантастическими нуждами сего мира и так гостеприимно допускающей все общечеловеческие рассуждения!

Л а ф а й е т

Мир изумлен тем, что некогда существовал честный человек, — место остается вакантным...

Англичанин, путешествующий вместе с ван-Амбургом, присутствующий на всех его представлениях, убежденный, что лев все же в конце концов растерзает его, и желающий во что бы то ни стало созерцать это зрелище, подобен историку, который дожидается в Париже момента, когда французский народ наконец растерзает Луи-Филиппа, и который поэтому покамест изо дня в день наблюдает за этим львом.

Если бы для королей была установлена Монтионовская премия, то Луи-Филипп оказался бы лучшим кандидатом. При нем господствовали счастье и свобода, — это был настоящий Король д'Ивето (roi d'Ivetot) свободы.

Гизо вовсе не англичанин, а шотландец; сам по себе он пуританин, но потому, что такова его природа. Но так как он способен еще постигать самые противоположные натуры, то он проявляет терпимость даже к фривольности.

Наиболее выдающееся его свойство — гордость. Когда он попадет к господам богам на небо, он сделает ему комплимент за то, что тот так удачно его создал.

Благодаря железным дорогам происходят внезапные перемещения состояний. Последнее во Франции опаснее, чем в Германии. Поэтому правительство боязливо подходит к железным дорогам.

Не благодаря превосходству их учения, а в силу его вульгарности, а также потому, что широкие массы не

способны воспринять более высокую доктрину, думается мне, республиканцы прежде всего во Франции по-немногу одержат верх и на некоторое время утвердят свою власть. Я говорю: на некоторое время, ибо те плебейские республики, о которых мечтают наши радикалы, долго продержаться не могут. Предвидя с уверенностью кратковременность их существования, мы готовы утешиться самим прогрессом республиканизма. Возможно, что он — необходимая переходная форма, и мы с готовностью простим ему это раздражающее состояние гусеницы, превратившейся в куколку, в надежде, что бабочка, которая в один прекрасный день выпорхнет из нее, тем богаче и ярче развернет свои крылья и отдастся игре со всеми цветами жизни в радостном сиянии солнца. Собственно говоря, нам следовало бы отнестись к вам, как к сварливым отцам, чей педантический, чопорный характер, правда, не представляет удобства для жизнерадостных сыновей, но зато пригодится им в их будущем жизнеустройстве. Поэтому — если не по соображениям политики, то хотя бы из уважения — мы должны были бы до известной степени сдержанно критиковать мрачных чудаков. Мы готовы даже почитать вас, если не поддерживать, только не требуйте слишком многого и не становитесь по отношению к нам Брутами, когда ваша чрезмерно грубая стряпня не лезет вам в рот и когда мы подчас страстно мечтаем об оставшейся в прошлом кухне Тарквиния.

Странно! Мы убаюкиваем себя и утешаем этой гипотезой кратковременности республиканского правления, точь в точь так же, как те седые, отчаявшиеся в современности приверженцы старого режима, которые ждут спасения только от победы республиканцев и, чтобы возвести на трон Генриха V, с презрением к смерти вторят Марсельезе:

Où allez-vous, monsieur l'Abbé?
Vous allez vous casser le nez *.

* Куда вы идете, господин аббат? Вы сейчас разобьете себе нос.

В пользу высоких качеств республики можно бы привести то самое доказательство, которое Боккаччо приводит в пользу религии: она держится вопреки своим чиновникам.

Тайная ненависть высших республиканских чиновников к республике подобна тайной ненависти знатных римлян, которым пришлось продолжать нести свою старую власть под видом епископов и прелатов.

Французы более выдержаны в обращении именно потому, что они позитивны и не мечтательны, — какой-нибудь мечтательный немец скорчит тебе в одно прекрасное утро мрачную физиономию, потому что ему приснилось, что ты его обидел или что его дедушка когда-то получил пинок ногой от твоего дедушки.

Французы настолько противоположны всяким сновидениям, что даже их самих никогда не увидишь во сне, — снятся одни только немцы.

Немцы за границей становятся не лучше, чем экспортированное пиво.

Среди живущих здесь маленьких пророков мало немцев, — большинство является во Францию, чтобы показать, что они не пророки даже на чужбине.

Молодая девушка сказала: «Это, должно быть, очень богатый господин, потому что он очень безобразен». Публика рассуждает так же: «Это, должно быть, очень ученый человек, потому что он очень скучный». Отсюда успех многих немцев в Париже.

Повидимому, миссия немцев в Париже — предохранить меня от тоски по родине.

Точно в игре теней проходят передо мною проезжие немцы, и ни один не воплощается в живую плоть.

Немцы опасны! Вдруг они извлекают из кармана стихи или же заводят разговор о философии.

Немецкие и французские женщины

Немецкие печи греют лучше, чем французские камины, но в последних приятнее то, что видишь пылающие огня; радостное зрелище, но в то же время за спиною мороз; немецкая печь, как преданно и скромно ты греешь!

В союзе между Францией и Россией не было бы, при сродстве обеих стран, ничего особенно неестественного. В обеих странах господствует дух революции: тут — в массе, там — сконцентрированный в одной личности; тут — в республиканских, там — в абсолютистских формах; здесь — имея в виду свободу, там — цивилизацию; здесь — во имя идеальных принципов, там — во имя практической необходимости; но в обеих странах — выступая революционно против прошлого, которое они презирают, даже ненавидят. Те самые ножницы, которые в Польше стригут бороды у евреев, остригли волосы Людовика Капета в Консьержери, — это ножницы революции, ножницы ее цензуры, с помощью которых она вырезает из книги бытия не отдельные фразы или статьи, а целых людей, целые условия, даже целые народы. Николай был против Франции, так как она представляла собой пропагандистскую опасность для формы его власти, для

абсолютизма, а не для принципов его власти; в Луи-Филиппе ему не понравилось ограниченно-буржуазно-королевское, представившееся ему пародией на подлинное королевское величие, но это недовольство в случае войны уступает место необходимости, наивысшему для него закону, — цари ему подчиняются неизменно, пускай им приходится при этом принести в жертву и личные свои симпатии. В этом их мощь, оттого-то они всегда так сильны; если же один из них оказывается слабым, то вскоре умирает от фамильной болезни и уступает место более сильному.

Правильно подметил Кюстин их равнодушие к прошедшему, к старине. Он правильно также отметил склонность знатных к насмешке; последняя должна достигнуть особой остроты у царя: со своей высоты он видит контраст между мелочными отношениями и громкими фразами, и в сознании своего колоссального могущества он должен издевательски презирать всякую фразеологию. (Маркиз этого не понимал.) Какими жалкими должны были показаться ему поляки, с манерами шевалье, эти мертвецы средневековья с современными фразами на устах, которых они сами же не понимают; он хочет сделать их русскими, как-то оживить их; и евреев, этих мумий, он тоже хочет оживить; а что же такое эти рядовые русские, как не двуногая скотина, которую он хлещет кнутом, чтобы поднять до человека? Его воля благородна, так же как неизменно ужасны его средства.

В России проявляется тенденция — подкрепить единство власти с помощью политического, национального и даже религиозного равенства. Власть, осуществляемая высоким разумом, применяет к самой себе террористические методы, устраняя у себя всякую слабость: умирает Петр III, умирает Павел, отрекается Константин, и после Петра I появляется целый ряд превосходных правителей — как Екатерина II,

Александр, Николай. Революция здесь носит корону и так беспощадна по отношению к себе самой, как едва ли когда-нибудь был Комитет общественного спасения (Comité de Salut public).

Николай, так сказать, наследственный диктатор. Он проявляет совершеннейшее безразличие к старинным обычаям, к предрассудкам, к историческому.

Жестоко было со стороны русских отнять у польских евреев лапсердак — под ним можно было не носить сорочку, так удобно было почесываться! — и еще бороду — это было главное: он сам следовал за ней — и еще пейсы, священные локоны на висках, единственную гордость!

Нам предлагают нынче опереться на Россию, на ту самую палку, которою нас когда-то поколотили!

V. ЖЕНЩИНА, ЛЮБОВЬ И БРАК

Где кончается женщина, там начинается дурной мужчина.

Когда я читаю мировую историю и меня поражает какой-нибудь подвиг или событие, мне хочется увидеть женщину, являющуюся тайной пружиной этих событий (их непосредственной или косвенной двигательной силой).

— Правят женщины, несмотря на то, что «Moniteur» публикует одни только мужские имена, — они творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Геродот начал гениально.

При объяснении любви следует исходить из физического феномена или из исторического факта. Симпатия ли это, подобно тому как глупый магнит притягивает к себе грубое железо? Или существует действительно предистория, смутное сознание которой сохранилось в нас, проявляясь в необъяснимых отталкиваниях и притяжениях?

В молодости любовь проявляется более бурно, но она не так сильна, не так всемогуща, как впоследствии. И в молодости она не так прочна, так как тело тоже любит, жаждет плотских откровений в любви и отдает в долг душе все неистовство своей крови, весь избыток своего вожделения. Позже, когда оно проходит, когда кровь медленнее сочится в жилах, когда тело уже не влюбляется, любит одна душа, бессмертная душа, и так как к ее услугам вечность, так как она не такая хрупкая, как тело, она не скупится временем и любит уже не так бурно, но прочнее, еще бездоннее, еще сверхчеловечнее.

Странно, что супруг Ксантиппы мог стать таким великим философом. Во время всех этих дразг — еще думать! Однако *писать* он не мог, это было невозможно: после Сократа не осталось ни одной книги.

Насколько выше положение женщины у Моисея по сравнению с положением ее у других восточных народов или, еще вплоть до сегодняшнего дня, у магометан! Последние определенно говорят, что женщина даже в рай не попадет; Магомет изъясил ее оттуда. Уж не полагал ли он, что рай не будет раем, если каждый найдет там собственную жену?

Всякий, кто женится, подобен дожу, сочетавшемуся браком с Адриатическим морем: он не знает, что он

берет в жены — сокровища, жемчуга, чудовища, неизведанные бури.

Музыка свадебного марша всегда напоминает мне военный марш перед битвой.

Немецкие женщины опасны своими дневниками, которые может найти муж.

Немецкий брак не есть подлинный брак. Супруг приобретает не супругу, а служанку и продолжает свою изолированную духовную жизнь холостяка даже в кругу семьи. Я не хочу этим сказать, что он — господин, напротив: он иной раз всего только слуга своей служанки, и даже дома он не отрекается от навыков рабства, от раболепства.

VI. НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Мудрецы придумывают новые мысли, а глупцы распространяют их.

Рядом с мыслителем — прозаический человек, спокойно занимающийся своими делами; рядом с каждым яслями, в которых рождается на свет спаситель, искупающая мир идея, стоит свой бык, спокойно жующий жвачку.

Кадм приносит финикийскую азбуку, искусство письма, в Грецию — это те драконовы зубы, которые он посеял; возникшие из них закованные в латы люди взаимно уничтожают друг друга.

Есть на свете благородные души, которые возвышаются над всяким материальным величием и

воспринимают трон всего навсего как стул, покрытый красным бархатом. Есть души помельче, которым все идеальное представляется не имеющим значения и для которых позорный столб — это всего только железная петля на шее: они не испытывают страха перед железным галстуком, если только им хоть таким путем удастся собрать вокруг себя публику; ей импонируют они своею наглостью, приобретенною в результате привычки к бесчестию.

Время имеет смягчающее влияние на наш образ мысли, благодаря постоянному столкновению с противоположным. Муниципальный гвардеец, наблюдающий за благопристойностью канкана, в конце концов перестает находить его столь бесстыдным и не прочь даже присоединиться к пляске. Протестант после долгой полемики с католицизмом перестает воспринимать его как нечто столь отвратительное и, быть может, без особого неудовольствия прослушал бы мессу.

Мы понимаем развалины не ранее, чем сами становимся развалинами.

De mortuis nil nisi bene *, но о живых следует говорить только дурное.

П р и д в о р н а я в е ж л и в о с т ь

Когда вы дубасите какого-нибудь короля, кричите изо всех сил: «Да здравствует король!»

Существуют люди, воображающие, будто они совершенно точно знают птицу, если видали яйцо, из которого она вылупилась.

* О мертвых следует говорить только хорошее

Изготовитель яда должен надевать стеклянные перчатки.

Талант мы угадываем по одному единственному проявлению, но чтобы угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное общение. «Покамест человек живет, остерегайтесь называть его счастливым», говорит Солон. И мы в праве также сказать: покамест человек живет, не восхваляйте его характера. Господин ** еще молод, и ему остается достаточно времени для будущих гадостей — обождите несколько годков, он окрестится в ** церкви, он станет адвокатом мошеннических проделок, — быть может, он уже занимался этим в свободные минуты, и мы только не знаем о его делах в виду его низменного положения в свете.

Почему случается так, что богатство приносит своему обладателю скорее несчастье, чем счастье, если не самую ужасную гибель? Древние мифы о золотом руне и сокровище Нибелунгов полны значения. Золото — талисман, в нем гнездятся демоны; они исполняют все наши желания, и тем не менее ненавидят нас за рабскую покорность, с которой им приходится нам служить; они отомщают нам, прибегая к тайным козням; именно исполнение наших желаний они обращают нам на погибель и так готовят нам всевозможные беды.

Как театры сгорают по несколько раз, прежде чем, точно феникс из пепла, вознестись в роскошной постройке, так же и некоторые банкиры: нынче дом ** после трех или четырех банкротств блистает наиболее блистательно. После каждого пожара он подымался во все большем великолепии — кредиторы не были застрахованы.

Воздайте богу — богово, кесарю — кесарево. Но это имеет силу только в отношении дающих, но не берущих.

Как разумные люди часто бывают очень глупы, так глупцы подчас отличаются смышленностью.

Я читал скучную книгу, заснул над нею, мне при-
снилось, что я продолжаю читать, проснулся от скуки,
и так три раза подряд.

Фрейлейн ** находит, что начало в книгах всегда
такое скучное, только с середины становится интересно;
хорошо бы иметь кого-нибудь, кто бы читал за нас с на-
чала, подобно тому как вышивальщицы за плату начи-
нают вышивку на коврах.

Красивая, юная ** выходит замуж за старого А. Го-
лод заставил ее так поступить — ей предстоит выбор
между ним и смертью, которая еще костлявее и отвра-
тительнее. А., гордись тем, что она предпочла твой
скелет!

Когда порок столь грандиозен, он меньше возмущает.
Англичанка, стеснявшаяся голых статуй, была менее
шокирована при виде огромного Геркулеса: «При таких
размерах вещи не кажутся мне уже такими неприлич-
ными».

В Гамбурге были повышены налоги в связи со срытием
укреплений и променадами, которые очень хороши, да
и вообще Гамбург стремится приобрести красивую
внешность и устраивает променады так, чтобы всякий,
кому стало нечего есть во внутренних кварталах города,
мог прогуляться в обеденные часы вокруг города;
тут же скамейки, — чтобы почитать, например, пова-
ренную книгу, — и элегические плакучие ивы.

Филология в торговых городах

Быть нужно либо ремесленником, либо филологом, — ведь штаны нужны будут людям во все времена, и всегда будут существовать школьники, употребляющие склонения и спряжения.

Британки танцуют, точно скачут верхом на ослах.

Обезьяны глядят на людей свысока, как на вырождение своей расы, подобно тому как голландцы считают немецкий язык испорченным голландским.

Э. больше друг идей, чем людей. В нем есть нечто от Абеляра — нашел ли он свою Элоизу?

** принадлежит к числу тех ангелов, которых Яков видел во сне и которым понадобилась лестница, чтобы спуститься с небес на землю, — их крылья недостаточно сильны.

Прежде чем стать мистиком, ** был просто разумным человеком.

Как Магомет был всего-навсего погонщиком верблюдов, пока ангел не посвятил его в пророки, так и ** был, правда, не погонщиком верблюдов, но просто верблюдом, пока не зажегся перед ним новый свет.

Автор трусливо держится в кругу церковного верования, ему знакомы ужасы, которые овладевают самыми одаренными умами за пределами последнего. Он напоминает волшебника, не дерзающего переступить за круг, в который он добровольно себя заточил и внутри которого он чувствует себя в безопасности.

NN называют вторым Дюпре, но скоро господина Дюпре назовут вторым NN — так дурно стал он петь.

Была ли она добродетельна, я не знаю; однако она была всегда безобразна, а безобразие у женщины — добрая половина пути к добродетели.

В деревне был бык, такой старый, что он в конце концов впал в детство, и когда его убили, мясо его отдавало старой телятиной.

Солнце и луна — скамеечки бога, с помощью их он согревает свои дряхлеющие ноги. Небо — его шерстяная куртка, расшитая звездами.

Мосье Колумб, откройте нам еще один Новый свет!
Мадемуазель Таис, сожгите еще один Персеполис!
Мосье Иисус Христос, устройте так, чтоб вас еще раз распяли!

О п а с н а я м ы с л ь

Она явилась мне out-side of the stage-coach — на крыше пассажирской кареты.

Тогда-то и тогда-то у меня была великая мысль, но я не упомянул ее. Что бы это могло быть? Теряюсь в догадках.

Алмаз мог бы возгордиться, если бы какой-нибудь поэт сравнил его с человеческим сердцем.

После рассказа о каком-нибудь благородном поступке, восклицание: человеческое сердце больше, чем все пирамиды, чем Гималаи, чем все леса и моря, — оно прекраснее, чем солнце, и луна, и все звезды, оно лучезарнее и пышнее, оно бесконечно в своей любви, бесконечно, как божество, оно само есть божество!

VII. КАРТИНЫ И МАЗКИ КИСТЬЮ

Старая арфа лежит в высокой траве. Арфист умер. Талантливые обезьяны спускаются с деревьев и бречат на ней, сова сидит, ворчливо критикуя, соловей напевает розе ее песню; когда становится совсем темно, им овладевает любовь, и он кидается на розовый куст и исходит кровью, истерзанный шипами. — Месяц восходит — ночной ветер касается струн арфы, — обезьянам кажется, что это мертвый арфист, и они спасаются бегством.

Сон Меттерниха: он видит себя в гробу, на голове у него красный яacobинский колпак.

Сон Ротшильда: ему снится, что он роздал 100 000 франков нищим и заболевает от этого.

К а р т и н а

Домашний быт Иосифа и Марии. Он сидит возле колыбели младенца и качает ее, причем напевает баюшки-баю — проза. Мария сидит у окна среди цветов и ласкает свою голубку.

К «Вознесению»

Директор показывает мне свой кабинет редкостей, например первый зуб Агасфера.

Маленькие ангелы, которые курят.

Слепой шарлатан на рынке продает воду, предохраняющую от слепоты. Он сам не верил в нее и ослеп. Трагическое изображение слепоты.

Безумная еврейка баюкает лампадку, зажженную в память об умершем ребенке.

Впечатление при возвращении
в Германию

Первое — белые волосы; белое всегда вызывает представление о сказочном, призрачном, потустороннем: белые тени, пудра, саван.

Дородность — толстые привидения много страшнее, чем худые.

Кладбище, где милые могилы.

При первом же: «Кто идет?» я восклицаю: «Все чистые души восхваляют господа!»

В бутылках я вижу ужасы, которые будут порождены их содержимым: мне представляется, что передо мною склянки с уродцами, змеями и эмбрионами в естественно-научном музее.

Англичанин, который вечно бродит со своей мисс по пляжу, чтобы вид голых мужчин притупил ее чувственность.

Парабола об актере. Собака, осел: «Изволь лаять, жри солому!»

Бедняга **, он уже лает!

Кальмонius

Его страсть к орденским ленточкам — грызущий червь его души. Солитер, от которого страдает его тело, не так смешон.

Если ** возвратится, гризетки растерзают его, как фракийские женщины его коллегу, Орфея.

Фанни Эльслер, танцовщица обоих миров.

Критика трагедии, предполагающая, будто герой желает совсем иного, чем говорит. Изображение скрытности.

Надежда — прекрасная дева с детским лицом, но с увядшими грудями, у которых...

Я нахожу в уединенном садике розу, которая будит всякого рода воспоминания — ее рот en cœur *, все ее грациозное существо, ее легкомыслие, ее искренность.

Ее улыбка — точно лучезарная сеть; она раскинула ее, и моя душа запуталась в ней, и уже годы бьется в нежных силках, точно рыба.

Полный чувства светлый взгляд, спокойные, умные губы — красивый, улыбающийся цветок — глубокая мысль в голосе.

Приторно расплывшееся, точно фрукты в варенье, лицо с боязливymi крохотными глазками...

Улыбающаяся походка.

Из него ключом била глупость.

Лицо — точно зародыш в спирту.

Дама, уже начавшая быть немолодой.

* сердечном

Она щурила глаза, как часовой, которому солнце светит в лицо.

Она писала анонимные письма, подписываясь: «Прекрасная душа».

Он прославляет себя так настойчиво, что курительные свечи растут в цене.

Наибольшего он достиг в невежестве.

Что касается **, то о нем принято говорить, будто он происходит от многих евреев.

Жирный, точно разъевшаяся мачта, бритт.

Тщательно причесанные, подвитые мысли.

Нисходит просторная ночь со своими смелыми звездами.

Я видел волка, он лизал желтую звезду, пока на языке у него не показалась кровь.

Луну, отливавшую бледным мертвенным блеском, обступила груда желтоватых облаков, подобно свинцовому венчику, который окружает глаза, обильно орошаемые слезами.

Утесы, такие жесткие, как человеческие сердца, к которым я взывал тщетно, раскрываются, и из них струится утешающий боль родник,

МЕМУАРЫ



Я действительно, сударыня, сделал попытку с возможною откровенностью и правдивостью описать достопамятные события моего времени, поскольку собственная моя особа соприкасалась с ними в качестве зрителя или жертвы.

Однако мне пришлось почти наполовину уничтожить эти записки, с самоуверенностью названные «Мемуарами», по досадным соображениям отчасти семейного, отчасти религиозного характера.

Впоследствии я пытался сколько-нибудь восполнить возникшие пробелы, но боюсь, что посмертные обязанности или же болезненная страсть к самоистязанию вынудят меня перед смертью предать мои мемуары новому ауто-да-фе, а то, что уцелеет от огня, все же, быть может, никогда не увидит дневного света.

Я, конечно, остерегусь назвать имена друзей, которым завещаю сохранение моей рукописи и исполнение последней воли по отношению к ней; я не хочу их подвергать после моей кончины навязчивости праздной публики, что могло бы привести к нарушению полученных ими полномочий.

Такого рода неверность всегда казалась мне непростительной; это недопустимый и безнравственный поступок — опубликовать хотя бы одну строчку писателя, не предназначенную им для широкой публики. В особенности это относится к письмам, адресованным частным лицам. Тот, кто отдает их в печать или издает, совершает предательство, достойное презрения.

После этих признаний, сударыня, вы без труда

убедитесь в том, что я не могу исполнить ваше желание и дать вам прочесть мои мемуары и переписку.

Однако, оставаясь поклонником вашей прелести, каким был всегда, я в конце концов не в силах отказать вам ни в единой просьбе и, чтобы доказать мою добрую волю, готов иным способом удовлетворить ваше милое любопытство, порожденное сердечным участием к моей судьбе.

Такова была цель, ради которой я написал нижеследующие страницы, и вы найдете в них достаточно много интересующих вас биографических данных. Здесь правдиво передано все наиболее значительное и характерное, а из взаимодействия внешних событий и внутренних движений души вам раскроется шифр моего бытия и моей сущности. Оболочка ниспадет с души, и ты можешь созерцать ее в ее прекрасной наготе. Здесь нет пятен, одни только раны. Ах, и только раны, нанесенные рукою друзей, а не врагов.

Ночь нема. Только на дворе хлещет по крышам дождь, и жалобно стонет осенний ветер.

Печальная комната больного в эту пору уютна почти до сладострастия, и я сижу в большом кресле, не чувствуя болей.

Тогда входит ко мне твой милый образ, и хотя ручка двери даже не дрогнула, ты устраиваешься на подушке у моих ног. Положи свою прекрасную голую ко мне на колени и слушай, не подымая глаз.

Я расскажу тебе сказку моей жизни.

Если порою на твои кудри упадут крупные капли, оставаясь все же спокойной: это не дождь просочился сквозь крышу. Не плачь, а только молчаливо пожми мою руку.

.....*

Какое возвышенное чувство должно воодушевлять такого князя церкви, когда он глядит вниз на кишачую людьми торговую площадь, где тысячи, обнажив

* Начало уничтожено братом Г. Гейне, Максимилианом Гейне.

головы и благоговейно преклонив пред ним колени, ожидают его благословения!

Когда-то я прочитал в итальянских путешествиях гофрата Морица описание сцены, во время которой произошел случай, вспомнившийся мне и сейчас.

Мориц рассказывает, что среди коленопреклоненных поселян, виденных им там, особое его внимание привлек один из тех странствующих по горам торговцев четками, которые вырезают превосходнейшие четки из какого-то коричневого дерева и продают их повсюду в Романье по особо дорогой цене, так как ведь сам папа благословил их в вышеупомянутый праздничный день.

С величайшим благоговением этот человек простерся на земле, однако свою широкополую войлочную шляпу с находившимся в ней товаром — четками — он все время воздымал вверх, и, когда папа с протянутою рукою произносил благословения, тот встряхивал свою шляпу и что-то пошевеливал в ней, как это обычно делают продавцы каштанов, поджаривающие каштаны на жаровне; казалось, он честно заботился о том, чтобы четкам, лежавшим на дне шляпы, тоже кое-что перепало от папского благословения и чтобы все они были освящены поровну.

Я не мог не упомянуть здесь об этой трогательной черте благочестивой наивности и снова возвращаюсь к нити моих признаний, связанных до единой с тем духовным процессом, который мне пришлось пережить впоследствии.

Последующие явления находят себе объяснение в самых ранних начатках. Конечно, существенно, что уже на тринадцатом году жизни я усвоил все системы свободных мыслителей, и к тому же при посредстве почтенного духовного лица, которое ни в малейшей степени не пренебрегало религиозными обязанностями своего сана, так что я уже рано увидел, что религия и сомнение могут спокойно шествовать рядом, ничуть не лицемеря, в результате чего во мне возникло не только неверие, но и самое терпимое равнодушие,

Время и место также важные моменты: я родился в конце скептического восемнадцатого столетия и в городе, где в эпоху моего детства господствовали не только французы, но и французский дух.

Те французы, которых я знал, познакомили меня, я должен в этом сознаться, с книгами, в которых было немало грязи и которые внушили мне предубеждение против всей французской литературы.

Я и впоследствии никогда не любил ее так, как она того заслуживает, и всего несправедливее продолжал относиться к французской поэзии, которая была мне противна еще в юности.

В этом повинен прежде всего, конечно, проклятый аббат Донуа, преподававший в дюссельдорфском лицее французский язык и во что бы то ни стало пытавшийся заставить меня слагать французские стихи.

Еще немного, и он внушил бы мне отвращение не только к французской поэзии, но и к поэзии вообще.

Аббат Донуа, священник-эмигрант, был престарелый человечек с весьма подвижными лицевыми мускулами и в коричневом парике, съезжавшем набок всякий раз, когда он сердился.

Он сочинил для различных своих классов множество французских грамматик, а также хрестоматии для переводов, с выдержками из немецких и французских классиков; для старшего класса он издал также «Art oratoire» * и «Art poétique» ** — две книжонки, из коих первая содержала рецепты красноречия по Квинтилиану, приспособленные к примерам из проповедей Флешье, Массильона, Бурдалу, Боссюэта, которые не казались мне слишком скучными.

Но зато другая книга, заключавшая в себе определение поэзии как *l'art de peindre par les images* *** — эти безвкусные объедки старой школы Батте, а также

* «Ораторское искусство»

** «Поэтическое искусство»

*** искусство живописать с помощью образов

французскую просодию и вообще всю метрику французов, — какой это был ужасный кошмар!

Я и до сих пор не знаю ничего безвкуснее метрической системы французской поэзии, этого «*art de peindre par les images*», по определению французов, каковое ложное понятие, быть может, и содействует тому, что они неизменно впадают в картинную парафразу.

Их метрику несомненно изобрел Прокруст; это подлинная смирительная рубашка для мыслей, которые в силу своей кротости несомненно в таковой не нуждаются. Утверждение, будто прелесть стихотворения заключается в преодолении метрических трудностей — смехотворный принцип, вытекающий из того же нелепого источника. Французский гекзаметр, эта рифмованная отрывка, мне поистине отвратителен. Французы всегда сами чувствовали его гадкую противостоительность, гораздо более безнравственную, чем мерзости Содомы и Гоморры, и их прекрасным артистам приходится произносить стихи так отрывисто, как будто это проза, — к чему же, в таком случае, этот ничемный труд версификации?

Так думаю я нынче, и то же самое уже ощущал я, будучи мальчиком, и легко себе представить, что между мною и старым коричневым париком должны были начаться открытые военные действия, когда я заявил ему, что совершенно не в состоянии сочинять французские стихи. Он отказал мне во всяком понимании поэзии и назвал варваром из Тевтобургского леса.

Я еще до сих пор с ужасом вспоминаю, что мне приходилось переводить по хрестоматии этого профессора речь Кайафы к синедриону в гекзаметрах клопштоковой «Мессиады» французским александрийским стихом! Это была утонченнейшая пытка, которая превзошла все страстные муки самого Мессии и которую даже он не вынес бы спокойно. Да простит мне господь, я проклял мир и чужеземных угнетателей, пытавшихся наложить на нас иго своей метрики, и я был близок к тому, чтобы стать французом.

За Францию я готов был умереть, но сочинять французские стихи — никогда!

Благодаря ректору и моей матери этим раздорам был положен конец. Последняя вообще была недовольна тем, что я учился сочинять стихи, хотя бы даже французские. Именно тогда она страшно боялась, как бы я не стал поэтом; это было бы, всегда говорила она, худшее из всего, что может со мною случиться.

Представления, которые в те времена сочетались со званием стихотворца, были не слишком лестны, и поэт — это был жалкий бедняк в лохмотьях, изготавливающий за пару талеров стихи на все случаи жизни и в конце концов умирающий в больнице.

Но мать мысленно связывала со мною всякие великие, высокого полета затеи, и все воспитательные планы стремились к этой цели. Мать играла главную роль в истории моего развития, она составляла программы всех моих учебных занятий, и ее воспитательные планы возникли еще до моего рождения. Я послушно исполнял ее пожелания, но, сказать по правде, именно она была повинна в бесплодности большинства моих попыток и стремлений на поприще гражданской службы, ибо служба никогда не соответствовала моей натуре. Последнее обстоятельство, в гораздо большей степени чем мировые события, обусловило мою будущность.

В нас самих светят звезды нашего счастья.

Вначале мать соблазнилась блеском империи, и так как дочь одного фабриканта-металлурга из наших мест, очень дружившая с матерью, сделалась герцогиней и поведала ей, что муж ее выиграл очень много сражений и скоро будет произведен в короли, — ах! тогда моя мать стала мечтать о самых золотых эпохах для меня и о самых ослепительных должностях при дворе императора, служению коему она предполагала посвятить меня всецело.

Поэтому я вынужден был в то время заниматься главным образом науками, способствующими карьере этого рода, и несмотря на то, что в лице посвящалось

достаточно много внимания математическим наукам и что меня совершенно обкармливали геометрией, гидростатикой, гидравликой и им подобными и я утопал в логарифмах и алгебре у любезного профессора Бревера, — все же мне пришлось брать еще частные уроки по дисциплинам, которые должны были сделать из меня великого стратега или, в случае необходимости, администратора завоеванных провинций.

После падения империи моей матери также пришлось отказаться от мечтаний о блестящей карьере для меня; учению, имевшему в виду эту цель, наступил конец, и странно! в сознании моем не осталось от него ни малейшего следа, до такой степени было оно ему чуждо. Это были всего-навсего механические достижения, отброшенные мною, точно никчемный хлам.

Моя мать стала теперь по-иному представлять себе мою блестящую будущность.

В то время уже начался баснословный расцвет Ротшильдова дома, с главою которого был дружен мой отец; поднялись по соседству от нас еще и другие князья банков и индустрии, и мать утверждала, что нынче пробил час, когда человек с хорошей головой может достигнуть на поприще торговли самых невероятных результатов и взвиться до высочайших вершин мирового могущества. Поэтому она теперь порешила, что я должен стать денежным королем, и мне пришлось отныне штудировать иностранные языки, в особенности английский, географию, бухгалтерию, короче говоря, все науки, имеющие отношение к сухопутной и морской торговле и к промышленности.

Чтобы несколько ознакомиться с вексельным делом и с колониальными товарами, мне пришлось впоследствии посещать контору банкира моего отца и подвалы одного крупного торговца пряностями; первое продоллось самое большее три недели, последнее — четыре недели, и тем не менее, благодаря этим обстоятельствам я узнал, как пишутся векселя и какой вид имеют мускатные орехи.

Знаменитый коммерсант, к которому я хотел поступить в качестве *apprenti millionnaire* *, заявил, что у меня нет таланта к наживе, и я смеясь признал, что он, пожалуй, прав.

Так как вскоре после этого начался серьезный торговый кризис и отец, подобно многим нашим друзьям, лишился состояния, то мыльный пузырь меркантилизма лопнул еще быстрее и плачевнее, чем мыльный пузырь имперского величия, и матери, естественно, пришлось предаться мечтаньям о какой-либо другой карьере для меня.

Теперь она решила, что я должен во что бы то ни стало изучать юриспруденцию.

Она, очевидно, подметила, что законоведы с давних пор всемогущи не только в Англии, но и во Франции и в конституционной Германии и что в особенности адвокаты, благодаря привычке к публичным выступлениям, играют главные роли болтунов и добиваются таким образом до высших государственных должностей. Мать подметила это совершенно правильно.

Так как тогда был только что учрежден Боннский университет, юридические кафедры которого заняли знаменитейшие профессора, то мать незамедлительно отправила меня в Бонн, где я вскоре сидел у ног Мекельдея и Валькера и вкушал манну их знаний.

Из семи лет, проведенных мною в немецких университетах, три прекрасных цветущих года жизни я загубил на изучение римской казуистики, юриспруденции, этой бездушнейшей из наук.

Какая ужасная книга *Corpus Juris* — эта библия эгоизма!

Навсегда остались мне ненавистными как сами римляне, так и их правовой кодекс. Эти разбойники хотели обеспечить за собою с помощью законов то, чем завладели мечом; вот почему римлянин был одновре-

* изучающего искусство стать миллионером

менно и солдатом и адвокатом, что дало смесь самого отвратительного свойства.

Поистине, этим римским грабителям обязаны мы теорией собственности, сначала существовавшей только как факт; развитие же этого учения в его омерзительнейших выводах и есть то прославленное римское право, которое положено в основу всех наших нынешних узаконений, — более того, всех современных государственных институтов, хотя оно и находится в самом резком противоречии с религией, моралью, чувством человечности и разумом.

Я довел до конца изучение этих богом проклятых наук, но никогда не решился использовать это приобретение и, быть может, еще и в силу предчувствия, что другие с легкостью превзойдут меня в адвокатской болтовне и крючкотворстве, — повесил на гвоздь шляпу доктора юридических наук!

Лицо матери стало еще серьезнее, чем обычно. Но я был уже очень взрослым человеком, достигшим того возраста, когда уже обходишься без материнского надзора.

Добрая женщина в свою очередь постарела и, отказавшись после стольких фиаско от верховного руководства моей жизнью, раскаивалась, как мы видели выше, что не посвятила меня духовному званию.

Теперь она — матрона восьмидесяти семи лет, и ум ее несколько не пострадал от старости. Она никогда не посягала на подлинный мой образ мыслей и была для меня всегда — воплощенная снисходительность и любовь.

Ее верою был строгий деизм, вполне соответствующий основному направлению ее ума. Она была ученицей Руссо, читала его «Эмилия», детей своих кормила собственной грудью, и все относящееся к воспитанию было ее коньком. Сама она получила серьезное образование и была товарищем по занятиям своего брата, который стал превосходным врачом, но рано умер. Когда она была еще совсем юной девушкой, ей при-

ходилось читать своему отцу латинские диссертации и всякого рода ученые сочинения, причем своими вопросами она нередко приводила старика в изумление.

Ее разум и чувства были чрезвычайно здравы, и не от нее унаследовал я склонность к фантастическому и к романтике. В ней, как я уже упоминал, жил страх перед поэзией; если она видела у меня в руках роман, то вырывала его, не разрешала мне посещать зрелища, запретила всякое участие в народных играх, следила за моими знакомствами, бранила служанок, если они рассказывали в моем присутствии истории о привидениях, одним словом, делала все возможное, чтобы отдалить от меня суеверие и поэзию.

Она была бережлива, но только в отношении собственной особы: ради удовольствия других она могла стать расточительной и, так как денег не любила, хотя и знала им цену, то охотно делала подарки и часто приводила меня в изумление своей добротой и щедростью.

Какое самопожертвование проявила она по отношению к сыну, снабдив его в самое трудное время не только программой научных занятий, но и средствами для них! Когда я поступил в университет, дела моего отца находились в очень плачевном состоянии, и мать продала свои драгоценности, ожерелье и дорогие серьги, чтобы обеспечить мне содержание в течение первых четырех университетских лет.

Впрочем, я был не первым в нашей семье, съевшим во время университетского учения драгоценные камни и проглотившим жемчуга. Отец матери, как она сама мне как-то рассказывала, проделал тот же фокус. Драгоценными камнями, украшавшими молитвенник его покойной матери, были покрыты расходы по его пребыванию в университете, когда отец его, старый Лазарь де-Гельдерн, впал в большую бедность в результате тяжбы из-за наследства с одной из замужних сестер; он унаследовал от своего отца богатство, о размерах которого старая бабушка рассказывала мне так много необычайных вещей.

Мальчику всегда казалось, будто он слышит что-то вроде сказок из «Тысячи и одной ночи», когда старуха рассказывала о больших дворцах, о персидских тканях на стенах и о массивной золотой и серебряной посуде, которые столь плачевным образом потерял этот хороший человек, пользовавшийся таким почетом при дворе курфюрста и курфюрстины. Его городской дом был самым большим среди дворцов Рейнштрассе; нынешняя больница в Нейштадте так же принадлежала ему, как и замок близ Гравенберга, а в конце концов он дошел до того, что ему негде было приклонить голову.

Мне хочется присоединить сюда одну историю, подставить рассказанной выше, так как она даст возможность реабилитировать в общественном мнении оклеветанную мать одного из моих коллег. Дело в том, что я однажды прочитал в биографии бедного Дитриха Граббе, что загубивший его порок пьянства был с малолетства привит ему собственной матерью, которая будто бы давала водку мальчику, чуть ли не ребенку. Обвинение это, услышанное составителем биографии из уст враждебно настроенных родственников, представляется совершенно ложным, когда я вспоминаю выражения, в которых покойный Граббе многократно говорил о своей матери, часто самым убедительным образом предостерегавшей его против «dot suppen» *.

Это была дурно воспитанная женщина, жена тюремного надзирателя, и, лаская юного своего Вольфа Дитриха, она, вероятно, иной раз слегка царапала его своими лапами волчицы. Однако у нее было подлинно материнское сердце, и она доказала это, когда сын ее отправился учиться в Берлин.

На прощание, рассказывал мне Граббе, она сунула ему в руку сверток, в котором находились мягко укутанные ватой полдюжины серебряных ложек и еще шесть подобных же (dito) маленьких кофейных ложечек и такая же суповая ложка — гордость семьи, сокровище,

* пьянства

которое женщины из народа уступают только с кровью своего сердца, так как они являются одновременно серебряною декорацией, отличающей их от заурадной оловянной черни. Когда я познакомился с Граббе, он уже успел съесть суповую ложку Голиафа, как он ее называл. Если я, бывало, спрашивал его, как ему живется, он лаконически, с омраченным челом отвечал: «Я принялся за третью ложку» или: «Я принялся за четвертую ложку». «Большие кончаются, — вздохнул он однажды, — и, когда очередь дойдет до маленьких, до кофейных ложечек, — придется подтянуть живот! Когда же и их не станет, тогда уж нечем будет и червяка заморить!»

Он был, к сожалению, прав, и чем хуже приходилось ему питаться, тем больше налегал он на питье, и сделался пьяницей. Вначале нужда, а затем семейное горе побуждали несчастного искать бодрости или забвения во хмелю, и в конце концов он, вероятно, ухватился за бутылку, как другие хватаются за пистолет, чтобы положить конец своему злополучному существованию.

— Верьте мне, — сказал мне однажды один наивный вестфальский земляк Граббе, — он мог многое вынести и не умер бы от того, что пил, а наоборот, — он пил, потому что хотел умереть; он убил себя самоопьянением.

Подобная забота о восстановлении материнской чести, конечно, никак не может быть признана неуместной; я до сих пор избегал говорить о ней вслух, так как хотел внести ее в характеристику Граббе; последняя никогда не была написана, и в своей книге «De l'Allemagne» я тоже мог только бегло упомянуть о Граббе.

Вышеизложенные замечания обращены больше к немецкому, нежели к французскому читателю; что же касается последнего, то для него я хотел бы здесь только отметить, что упомянутый Дитрих Граббе был одним из величайших немецких поэтов и среди всех наших драматических поэтов является одним из наиболее родственных Шекспиру. Пускай на его лире струн меньше,

чем у других, быть может, и превосходящих его в этом отношении, но струны, которыми он обладает, звучат тем звуком, какой можно найти только у великого бритта. У него те же неожиданности, тот же голос природы, которым Шекспир нас устрашает, потрясает, восхищает.

Однако все эти достоинства омрачены безвкусицей, цинизмом и разнузданностью, превосходящими все самое дикое и отвратительное, что когда-либо порождал человеческий мозг. Однако это была не болезнь вроде лихорадки или слабоумия, вызывающих подобного рода явления, а духовная интоксикация гения. Подобно тому как Платон очень метко назвал Диогена сумасшедшим Сократом, так и нашего Граббе, к сожалению, можно было бы с удвоенным правом назвать пьяным Шекспиром.

В издании его драм эти уродства очень смягчены, но они были ужасающе резки в рукописи его «Готланда», трагедии, которую он однажды, когда я его совсем еще не знал, передал мне, или, вернее, бросил мне под ноги, со словами: «Я хотел знать, чего я стою, и потому отнес эту рукопись профессору Губицу, который покачал над нею головою и, чтобы отделаться от меня, послал к вам, так как в вашем мозгу будто бы бродят такие же дикие фантазии, как и у меня, и поэтому вы меня лучше поймете, — ну, вот вам эта мазня!»

После этих слов чудак, не ожидая ответа, удалился, а так как я в ту минуту собирался идти к госпоже фон-Фарнгаген, то и взял манускрипт с собою, чтобы поднести ей первенца, рожденного поэтом; ибо по прочитанным отрывкам я сразу понял, что это был поэт.

Мы узнаем поэтическую дичь уже по запаху. Но на этот раз запах оказался слишком сильным для женских нервов. И уже совсем поздно, около полуночи, госпожа фон-Фарнгаген позвала меня, заклиная во имя господ бога убрать ужасный манускрипт, так как она ни за что не уснет, пока последний останется в ее

доме. Такое впечатление производили произведения Граббе в первоначальном своем виде.

Предыдущее отступление оправдано самою темою его.

Спасение материнской чести своевременно всегда и повсюду, и чувствительный читатель, конечно, не сочтет за досужее отступление приведенные выше отзывы Граббе о бедной, незаслуженно оклеветанной женщине, произведшей его на свет.

А теперь, исполнив долг пизетта по отношению к несчастному поэту, я возвращусь к собственной матери и к ее родне, продолжив обсуждение того влияния, которое было оказано с этой стороны на мое умственное развитие.

После матери моим духовным воспитанием особенно много занимался ее брат и мой дядя, Симон де-Гельдерн. Он умер двадцать лет тому назад. Это был оригинал с невзрачной, даже смешной внешностью. Маленькая и толстенная фигурка с бледноватым строгим лицом, на котором, правда, помещался греческий прямой нос, бывший, однако, не менее чем на треть длиннее тех носов, которые обычно носят греки.

Говорят, будто в юности нос его был обыкновенных размеров и вытянулся столь непристойным образом только вследствие дурной привычки постоянно его дергать. Когда мы, дети, спрашивали дядюшку, правда ли это, он в великом гневе запрещал нам столь непочтительные речи и затем снова дергал себя за нос.

Он одевался совсем по-старофранкски, носил короткие панталоны, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками и, по старинной моде, довольно длинную косу, которая, когда этот крохотный человечек семеня по улицам, перепрыгивала с плеча на плечо, выделявая всяческие каприоли, и, казалось, исподтишка посмеивалась за спиной своего собственного господина.

Часто, когда добрый дядя сидел, погружаясь в размышления, или читал газету, меня охватывало преступное желание схватить его исподтишка за косичку

и подергать, точно звонок у подъезда, что также чрезвычайно сердило дядюшку; причем он горестно ломал руки, сокрушаясь над молодым поколением, которое ни к чему уже больше не питает уважения, не считается ни с божеским, ни с человеческим авторитетом и в конце концов готово посягнуть на святейшую из святынь.

Но если этот человек не мог внушить почтения своей внешностью, то тем почтеннее были его внутренние качества, его сердце, и это было честнейшее и благороднейшее сердце из всех, какие я познал на этой земле. Человек этот обладал честностью, ригоризм которой напоминал честь в староиспанских драмах, и верностью своею он также равнялся героям последних. Он никогда не имел повода стать «врачом своей чести», а будучи «стойким принцем», он проявлял подобное же рыцарское величие, хотя и не декламировал четырехстопными трохеями, отнюдь не томился жаждою по надгробным пальмам и вместо блестящего рыцарского плаща носил невзрачный сюртучок с фалдами, точь в точь хвост у трясогузки.

Он вовсе не был аскетом, ненавидящим все чувственное, любил ярмарки по престольным праздникам, винный погребок трактирщика Разия, где с особым удовольствием ел серых дроздов под можжевеловым соусом, но готов был с гордою решимостью пожертвовать всеми дроздами мира сего и всеми его житейскими радостями, если дело касалось идеи, которую он признавал истинной и справедливой. И он совершал это с такой непритязательностью, даже со смущением, что никто не замечал, что под этой шутилой оболочкой, собственно говоря, скрывается тайный мученик.

По светским понятиям он был неудачником в жизни. Симон де-Гельдерн прошел в иезуитском коллегіуме курс так называемых гуманистических наук, humaniora. Однако, когда после смерти родителей у него явилась возможность вполне свободно выбрать жизненную карьеру, он не выбрал ничего, отказался от так называемых «Brotstudien», учения ради хлеба

насущенного в заграничных университетах, и предпочел остаться у себя дома, в Дюссельдорфе, в «Ноевом ковчеге», как назывался небольшой, оставленный ему отцом домик, над дверью которого виднелось изображение очень красиво вырезанного и пестро раскрашенного Ноева ковчега.

Со свойственным ему неутомимым прилежанием он отдался здесь полностью своим научным увлечениям и чудачествам, библиомании и в особенности графомании, которой давал выход главным образом в политических листках и темных периодических изданиях.

Кстати сказать, не только писать, но даже думать стоило ему величайших усилий.

Не развила ли эта графомания в результате стремления быть общественно полезным? Он интересовался всеми текущими вопросами, и чтение газет и брошюр доходило в нем до болезненной страсти. Соседи величали его доктором, но, собственно говоря, не за ученость, а потому, что и отец его и брат были докторами медицины. И старых женщин никак нельзя было убедить в том, что старый доктор, столь часто лечивший их, не передал по наследству сыну свои исцеляющие способности, и, заболев, они бежали к нему со своими склянками мочи, с рыданиями и просьбами все же исследовать ее, открыть им, чем же они больны. Когда таким образом бедного дядю отрывали от научных занятий, он способен был впасть в гнев и с проклятиями отправить старых баб к чорту вместе с их склянками и мочою.

Вот этот-то дядя и оказал большое влияние на мое умственное развитие, и я ему бесконечно многим в этом отношении обязан.

Как ни расходились мы с ним во взглядах и как бы жалки ни были его литературные устремления, все же, пожалуй, именно они разбудили во мне охоту к литературным опытам.

Дядюшка писал тем старинным, неуклюжим канцелярским слогом, которому учат в иезуитских школах,

где главное — латынь, и ему нелегко было примириться с моей манерой выражения, представлявшейся ему слишком легковесной, слишком игривой, слишком непочтительной. Но горячность, с какою он указывал мне на вспомогательные средства, способствовавшие моему умственному развитию, принесла мне величайшую пользу.

Он дарил мне, еще мальчику, самые лучшие, самые дорогие произведения, он предоставил мне в пользование собственную свою библиотеку, столь богатую классическими книгами и наиболее значительными брошюрами на современные темы, и даже позволил мне рыться на чердаке Ноева ковчега в сундуках, в которых хранились старые книги и рукописи покойного деда.

Каким тайным восторгом наполнилось сердце мальчика, когда ему позволили целые дни проводить на этом чердаке, или, вернее, в просторной комнате под самой крышей.

Убежище это было, впрочем, не так уж прекрасно, а его единственная обитательница, толстая ангорская кошка, не придавала особого значения опрятности и только изредка легонько сметала хвостом своим пыль и паутину со старого нагроможденного тамхлама.

Но сердце мое было таким цветуще-юным, и солнце так весело светило в маленькое слуховое оконце, что все мне казалось залитым каким-то фантастическим светом, и старая кошка представлялась мне заколдованною принцессою, которая, разумеется, предстанет когда-нибудь во всей своей былой красе, во всем своем блеске, освобожденная от звериного образа, а чердачная комната превратится в роскошный дворец, как это обычно случается в такого рода волшебных историях.

Но старые добрые сказочные времена миновали, кошки остаются кошками, и комната на чердаке Ноева ковчега оставалась пыльным чуланом, госпиталем для неизлечимо больного домашнего скарба, Саль-петриером старой мебели, которая достигла предела дряхлости и

которую все же никто не решался выкинуть за дверь из-за сентиментальной привычки или в силу связанных с нею благочестивых воспоминаний.

Там стояла развалившаяся от ветхости люлька, в которой когда-то укачивали мою мать; теперь в ней покоился парадный парик деда, истлевший до последнего волоска и от старости как бы обратившийся в детство.

На стене висела ржавая модная шпажонка деда, каминные щипцы с одною клешнею и прочая отслужившая свой век металлическая дребедень. Рядом на шатучей доске стояло чучело попугая моей покойной бабушки, все облезлое и не зеленого уже, а пепельно-серого цвета, с единственным уцелевшим глазом, придававшим ему жуткий вид.

Тут же стоял и большой зеленый фарфоровый моппс, пустой внутри; у него был отбит кусок зада, и кошка, казалось, питала великое почтение к этому произведению китайского или японского искусства; она набожно на все лады изгибала перед ним спину и, вероятно, считала его божеством, — кошки так суеверны.

В одном углу лежала старая флейта, некогда принадлежавшая моей матери; она играла на ней еще юною девушкой, и именно эту чердачную комнату она избрала в качестве своего концертного зала, чтобы музыка не мешала занятиям старого господина, ее отца, или чтобы он не сердился за сентиментальную трату времени, которую позволяла себе его дочь. Теперь флейта стала самой любимой игрушкой кошки, катавшей ее по полу за прикрепленный к ней поблекший розовый бант.

К числу древностей чердачной комнаты относились также глобусы, странные изображения планет и колбы и реторты, свидетельствовавшие о занятиях астрологией и алхимией.

В сундуках, среди дедушкиных книг, находилось также множество сочинений, посвященных этим тайным наукам. Празда, большая часть этих книг была просто напросто медицинским старьем. Не было недостатка и в философских произведениях; однако рядом

с архиздравым Картезием лежали фантасты, как Парацельс, ван-Гельмонт и даже Агриппа Неттесгеймский, «*Philosophia occulta*» *, которого я впервые увидел воочию. Уже мальчиком меня забавляла эпистола, посвященная аббату Тритему, и приведенный тут же ответ его, в котором этот проходимец с процентами преподносит другому шарлатану его же высокопарные комплименты.

Однако самую приятную и ценную находкою, которую я сделал в пыльных сундуках, была записная книжка, исписанная рукою одного из братьев моего деда, которого называли шевалье или «восточным человеком» и про которого у старых моих тетюшек было всегда так много рассказов и анекдотов.

Этот двоюродный дед, также носивший имя Симона де-Гельдерн, был, очевидно, своеобразным чудаком. Прозвище «восточного человека» он получил оттого, что много путешествовал по Востоку и по своем возвращении всегда носил восточную одежду.

Дольше всего он пробыл, повидимому, в приморских городах северной Африки, особенно в странах Марокко, где перенял у какого-то португальца ремесло оружейника и удачно занимался последним.

Он совершил паломничество в Иерусалим, где ему было видение во время молитвенного экстаза на горе Мориа. Что ему привиделось? Этого он не открыл никогда.

Одно независимое племя бедуинов, исповедывавшее не ислам, а нечто вроде мозаизма и имевшее нечто вроде постоянного двора среди неизвестного оазиса в северо-африканской пустыне, избрало его предводителем или шейхом. Этот воинственный народец враждовал со всеми соседними племенами и был грозой караванов. Говоря языком европейцев: мой блаженной памяти двоюродный дедушка, благочестивый визионер со священной горы Мориа, стал разбойничьим атаманом. В этой прекрасной стране он приобрел еще и знание

* «Оккультную философию».

коневодства и мастерство в верховой езде, которые возбуждали столько изумления после его возвращения на Запад.

Он подолгу оставался при различных дворах, блистая красотой и статностью, пышностью восточной одежды, производившей, в особенности на женщин, чарующее впечатление. Но больше всего он, конечно, импонировал своими тайными знаниями, и никто не дерзал колебать авторитет всемогущего некроманта пред его высокими покровителями. Дух интриги испытывал страх перед духами Кабалы.

Погубить его могла только собственная заносчивость, и старые тетки покачивали так странно и таинственно седыми головами, рассказывая шопотком о галантной связи, в которой «восточный человек» состоял с одной чрезвычайно сиятельной дамой и обнаружение которой заставило его самым поспешным образом покинуть двор и страну. Только благодаря бегству, причем он бросил все свое имущество, удалось ему ускользнуть от верной смерти, и спасением он был обязан как раз своему испытанному искусству верховой езды.

После этого приключения он, повидимому, обрел в Англии спокойное, но печальное убежище. Я сужу об этом по изданной в Лондоне двоюродным дедом брошюре, которую случайно открыл в дюссельдорфской библиотеке, забравшись на самые верхние книжные полки. Это была французская оратория в стихах, она носила название «Моисей на Хориве» и была, быть может, связана с упомянутым выше видением; предисловие, однако, было написано на английском языке и помечено Лондоном; стихи, как все французские стихи, — рифмованная тепленькая водица, но в английской прозе предисловия прорывалось негодование гордого человека, впавшего в нужду.

Из записной книжки двоюродного деда я узнал не много достоверного. Записи в ней, возможно из осторожности, были начертаны большею частью арабскими,

сирийскими и коптскими буквами, среди которых попадались достаточно странно звучащие французские цитаты; например, очень часто повторялся стих:

Où l'innocence périt, c'est un crime de vivre *.

Меня поразили еще и некоторые рассуждения, также написанные по-французски; автор, видимо, обычно пользовался этим языком.

Этот двоюродный дед был загадочным, трудно поддающимся пониманию явлением. Он вел одно из тех странных существований, какие были возможны лишь в начале и в середине восемнадцатого столетия; это был наполовину мечтатель, проповедник космополитических утопий, суливших миру счастье, наполовину авантюрист, в сознании своей индивидуальной мощи опрокидывающий гнилые барьеры гнилого общества или перепрыгивающий через них. Во всяком случае, он был человеком в полном смысле слова.

Его шарлатанство, которое мы не станем ставить под сомнение, не было низкопробным. Это не был заурядный шарлатан, вырывающий крестьянам зубы на базаре, напротив, он смело пробивался во дворцы сильных мира сего, чтобы вырвать у них самый крепкий коренной зуб, как некогда рыцарь Гюон из Бордо у султана вавилонского.

«Ремесла без шума не справить!» — говорится в поговорке, а жизнь — такое же ремесло, как и всякое другое.

И в каком выдающемся человеке не скрывается немножечко шарлатана? Самые ужасные это шарлатаны скромности с их смирением паче гордости. Тот, кто хочет влиять на толпу, нуждается в шарлатанской правде.

Цель оправдывает средства. Ведь даже сам господь бог, издавая свой закон на горе Синайской, не упустил случая основательно посверкать молниями и погро-

* Когда невинность погибла, жить — преступление.

хотать, хотя закон этот был так превосходен, так божественно хорош, что мог отлично обойтись без приправы из вспыхивающего колофонииума и оглушительных звуков бубна. Но господь знал свою публику, которая разинув рты стояла со своими быками и овцами у подножия горы и которой, несомненно, физический фокус мог внушить больше благоговения, чем все знамения вечной мысли.

Как бы там ни было, этот двоюродный дедушка чрезвычайно занимал воображение мальчика. Все рассказы о нем производили неизгладимое впечатление на мою юную душу, и я так глубоко погружался в его блуждания и превратности его судьбы, что иной раз среди бела дня меня охватывало жуткое чувство и мне представлялось, будто покойный дед — это я сам, и будто жизнь моя всего навсего продолжение жизни этого давно умершего человека!

По ночам все это отражалось ретроспективно в моих снах. Жизнь моя походила в то время на большой журнал, в верхнем разделе которого помещалась современность, день с его текущими новостями и текущими дебатами, в то время как в нижнем разделе в сплошном потоке ночных сновидений, точно в серии романов с продолжением, фантастически всплывало поэтическое прошлое.

В этих снах я полностью отождествлял себя с дедом и в то же время с ужасом чувствовал, что я — кто-то другой и принадлежу другой эпохе. Там были местности, которых я никогда раньше не видел, там существовали отношения, о которых я не имел раньше ни малейшего представления, и все-таки я бродил там твердыми стопами и с непоколебимой уверенностью.

Мне встречались там люди в огненно-пестрых, странных одеждах, со сказочно порочными физиономиями, и все-таки я пожимал им руки, как старым знакомым; их до дикости чуждый, никогда не слыханный язык казался мне понятным, к изумлению моему, я даже отвечал им на том же языке, причем жестикулировал с

никогда не свойственной мне стремительностью, и даже высказывал вещи, до неприятия контрастировавшие с моим обычным образом мыслей.

Это странное состояние длилось около года, и хотя я затем снова восстановил единство самосознания, в моей душе все же остались тайные следы. Иные идиосинкразии, кое-какие роковые симпатии и антипатии, совсем не соответствующие моему характеру, и даже некоторые поступки, стоящие в противоречии с моим образом мыслей, я объясняю себе как следствие той мечтательной поры, когда я был моим собственным двоюродным дедом.

Когда я совершаю ошибки, происхождение которых мне представляется непонятным, я с удовольствием отношу их за счет моего восточного двойника. Когда я однажды, желая загладить незначительный промах, сообщил отцу об этой гипотезе, он лукаво заметил, что, как он надеется, мой двоюродный дед не подписывал векселей, которые когда-нибудь могут быть представлены мне для оплаты.

Такого рода восточные векселя мне никогда не были предъявлены, однако у меня достаточно возни с моими собственными векселями западного происхождения.

Но существуют, несомненно, долги похуже денежных, доставшиеся нам для погашения от наших предков. Каждое поколение есть продолжение других и ответственно за их дела. В писании сказано: отцы ели незрелый виноград, внукам же придется страдать от оскомины.

Существует круговая порука у сменяющих друг друга поколений: даже народы, вступающие друг после друга на арену, признают такого рода преемственность, и человечество в целом ликвидирует в конце концов великую задолженность прошлого. Великая долговая книга будет уничтожена в Иосафатовой долине, или, быть может, даже раньше, вследствие универсального банкротства.

Законодатель евреев глубоко проник в эту преемственность и особо санкционировал ее в своем праве наследования; он, повидимому, совсем не признавал индивидуального посмертного бытия, он верил только в бессмертие рода; всякое имущество было собственностью рода, и никто не имел права настолько его отчуждать, чтобы оно через определенное время не возвратилось обратно к членам рода.

Резкою противоположностью этой гуманной идее Моисеева закона является римский закон, даже в наследственном праве выявляющий эгоизм римлян.

Я не стану пускаться в исследования по этому поводу и, продолжая личные мои признания, воспользуюсь лучше представившимся здесь случаем еще раз показать на примере, как враги мои использовали нейнейшие факты для самых злобных инсинуаций. Они утверждали, будто им удалось установить по моим биографическим заметкам, что я очень много говорю о родне со стороны матери и ни единого слова о собственныхниках и кровных родственниках с отцовской стороны, причем они объясняли это сознательным подчеркиванием и замалчиванием и обвинили меня в тех же суетных задних мыслях, в коих упрекали также моего покойного коллегу Вольфганга Гете.

Без сомнения, правильно то, что он в своих мемуарах очень часто и с особой приятностью заводит речь о деде с отцовской стороны, председательствовавшем в качестве его высокородия господина старшины во франкфуртской ратуше, между тем как дед с материнской стороны, вечно корпевший на рабочем столе в Бокенгеймском переулке в качестве почтенного заплаточника-портнишки и починявший старые штаны республики, — не упоминается ни единым словом.

Мне не приходится выступать вместо Гете в связи с этим замалчиванием, но что касается меня самого, то я хотел бы доложить в ответ на все эти злостные и столь часто повторявшиеся разъяснения и инсинуации, что это не моя вина, если в моих писаниях ничего не гово-

рится о деде с отцовской стороны. Причина очень проста: мне вообще нечего было о нем сказать. Покойный отец совсем чужим человеком приехал в мой родной город Дюссельдорф и не имел здесь никаких родственников, ни одной из тех старых теток и двоюродных сестриц, этих бардов женского пола, изо дня в день с эпической монотонностью напевающих юному поколению древние фамильные предания, причем обязательный у шотландских бардов аккомпанемент волынки они возмещают сопением собственных носов. Только ранние впечатления о великих бойцах материнского клана могла воспринять с этой стороны моя юная душа, и я благоговейно внимал рассказам старой Бройнле или Брунгильды.

Сам отец был очень молчалив по натуре, говорил неохотно, и однажды, когда я был еще маленьким мальчиком и проводил будни в унылой школе при францисканском монастыре, а воскресения дома, я как-то воспользовался удобным случаем и спросил отца, кто был мой дедушка. На этот вопрос он ответил мне полусмеясь-полусердито: «Твой дед был маленький еврей с большой бородой».

Войдя на следующий день в класс, где к тому времени уже собрались мои юные товарищи, я тотчас же потопился рассказать им важную новость: что мой дедушка был маленький еврей с большой бородой.

Едва я поделился этим сообщением, как оно понеслось из уст в уста, его повторяли на различные лады, подражая при этом крику различных животных. Мальчишки начали прыгать по столам и скамейкам, срывали со стен классные доски, падавшие на пол рядом с чернильницами, и при этом хохотали, блеяли, хрюкали, лаяли, каркали — адский спектакль, неизменным рефреном к которому служил дедушка, оказавшийся маленьким евреем с большой бородою.

Учитель, в ведении которого был класс, услышав гам, появился в зале с пылающим от гнева лицом и тотчас же спросил, кто зачинщик этого безобразия. Как всегда бывает в таких случаях, каждый малодушно пытался

свалить с себя вину, и в конце следствия я, несчастный, был изобличен в том, что своим сообщением о дедушке дал повод для всей этой кутерьмы, и искупил свою вину значительным количеством палочных ударов.

То были первые побои, воспринятые мною на этой земле и уже в данном случае я сделал философическое наблюдение, что господь бог, сотворивший побои, в своей благостной мудрости позаботился также и о том, чтобы тот, кто их наносит, в конце концов утомлялся, ибо иначе побои стали бы в конце концов невыносимы.

Орудие, которым меня избивали, была трость желтого цвета, однако полосы, которые она оставила на моей спине, были темносиние. Я их запомнил.

Запомнил я также имя учителя, избившего меня столь немилосердно: это был патер Дикершейт; вскоре его удалили из школы, по причинам, которые тоже не забыты мною, но которых я не хочу разглашать.

Либерализм достаточно часто и без основания вводил напраслину на духовенство, но ему следовало бы оказывать некоторое снисхождение, если один из недостойных его членов совершает преступления, которые следует в сущности отнести на счет человеческой природы, или, вернее, ее уродливого искажения.

Наряду с именем человека, наградившего меня первыми ударами палки, в памяти моей сохранился также и повод, а именно мое злополучное генеалогическое сообщение, и следы этих ранних впечатлений детства настолько сильны, что каждый раз, когда речь заходила о маленьких евреях с большими бородами, у меня по спине пробегал холодок жутких воспоминаний.

«Обжегшись на молоке, дуют на воду», — говорит пословица, и всякий легко поймет, что я с тех пор не чувствовал особой склонности ни к тому, чтобы приобретать более точные сведения об этом сомнительном дедушке и его родословном дереве, ни к тому, чтобы делать сообщения о нем взрослой публике, как я некогда делал их маленькой.

Я не могу все же не упомянуть о моей бабушке с отцовской стороны, о которой знаю также очень немного. Это была необыкновенно красивая женщина и единственная дочь гамбургского банкира, широко известного своим богатством. Обстоятельства эти заставляют меня предполагать, что маленький еврей, взявший прекрасную особу из дома состоятельнейших родителей и водворивший ее на место своего жительства, в Ганновер, сверх большой бороды обладал еще некоторыми весьма почтенными качествами и был, очевидно, очень респектабелен.

Он рано умер, оставив после себя молодую вдову с шестью детьми, — все мальчики самого нежного возраста. Она возвратилась в Гамбург и там умерла также в не слишком преклонных годах.

В спальне дяди моего Соломона Гейне, в Гамбурге, я как-то видел портрет бабушки. Художник, в погоне за эффектами светотени в рембрандтовской манере, изобразил на картине черный монашеский головной убор, почти такую же строгую, темную робу на совершенно темном, смолистого оттенка, фоне, так что круглое, с двойным подбородком лицо мерцало неясным блеском, точно полная луна из-за ночных облаков.

Черты ее еще носили следы большой красоты, они были одновременно и кротки и серьезны, и особенно «*morbidezza*» * оттенков кожи придавала всему лицу выражение своеобразного благородства; если бы на груди у дамы художник выписал большой бриллиантовый крест, то можно было бы, без сомнения, подумать, что видишь перед собою портрет какой-нибудь сиятельной аббатиссы протестантского дворянского монастыря.

Из детей моей бабушки только двое, насколько я знаю, унаследовали ее необычайную красоту, а именно мой отец и дядя Соломон Гейне, покойный глава гамбургского банкирского дома, носившего его имя.

* нежность, мягкость

В красоте отца моего было нечто чересчур мягкое, бесхарактерное, почти женственное. Его брат, напротив, отличался мужественной красотой и был вообще человеком, сила характера которого сказывалась импонирующим, а иногда даже подавляющим образом в благородно-правильных чертах.

Его дети, все без исключения, расцвели очаровательнейшей красотой, но смерть похитила их в расцвете, и из всего этого прекрасного букета человеческих образов в живых доселе только двое — нынешний глава банкирского дома и его сестра, редкое явление... *

Я очень любил всех этих детей и любил их мать, которая тоже была так красива и рано скончалась, и все они стоили мне много слез. Право, мне придется в это мгновение встряхнуть моим дурацким колпаком, чтобы заглушить бубенцами мысли, от которых хочется плакать.

Я сказал выше, что в красоте моего отца было нечто женственное. Я ни в коем случае не хочу этим намекнуть на недостаток мужественности: последнее он доказывал не однажды, особенно в молодости, и сам я в конце концов живое ее свидетельство. В сказанном не следует видеть ничего неуважительного; я имел в виду лишь формы его телесного существа, которые были не упругими и напряженными, а скорее мягкими и нежно-округлыми. Контурам его облика недоставало отчетливости, и они расплывались в неопределенности. В позднейшие свои годы он стал тучным, но и в юности, видимо, вовсе не был худым.

Это предположение подтверждается портретом, который впоследствии погиб у матери во время пожара и на котором отец изображен молодым человеком лет восемнадцати или девятнадцати, в красном мундире, с напудренной головою и с кошельком для волос.

* Далее ряд строк или страниц уничтожены Максимилианом Гейне.

Этот портрет был, к счастью, написан пастелью. Я говорю «к счастью», так как последняя обладает свойством гораздо лучше, чем масляная краска с добавлением лака, передавать ту цветную пыль, которую мы замечаем на лицах людей, употребляющих пудру, и которая выгодно скрашивает неопределенность черт.

Благодаря тому что художник на упомянутом портрете оправил чуть розовое лицо рамой из белых, как мел, напудренных волос и такого же белого галстука — он придал ему с помощью контраста более сильный колорит, и оно выступает с большею силою.

И пурпурово-красный цвет сюртука, столь отвратительно ухмыляющийся нам на картинах, писанных маслом, здесь, напротив, дает хороший эффект, поскольку благодаря ему розовый цвет лица приятно смягчен.

Тип красоты, сказавшийся в его чертах, не напоминал ни строгой целомудренной идеальности греческих произведений искусства, ни спиритуалистически-мечтательного, но оплодотворенного языческим здоровьем стиля ренессанса; нет, напротив, упомянутый портрет был полностью выдержан в характере эпохи, как раз не имевшей никакого характера и любившей красоту меньше, чем красоту, миловидность, кокетливость и нарядность, — эпохи, возводившей пошлость до степени поэзии, — той слащавой, вычурной эпохи рококо, которую называли также эпохою «кошелев для волос» и которая в самом деле поместила свой знак отличия — кошелек для волос — не на лбу, а на затылке. Если бы изображение отца на упомянутом выше портрете больше бы походило на миниатюру, можно было бы подумать, что его написал чудесный Ватто, чтобы, обрамленный фантастическими арабесками из разноцветных камней и золотых блесток, он красовался на каком-нибудь веере госпожи де-Помпадур.

Достоин, пожалуй, упоминания то обстоятельство, что отец даже в позднейшие годы сохранил верность старофранкской моде пудриться и заставлял себя пуд-

рить ежедневно, вплоть до блаженной своей кончины, хотя у него были самые замечательные волосы, какие только можно себе представить. Они были у него светлые, почти золотистые, и такой мягкости, какой по-моему отличается только китайский невыделанный шелк.

Он, наверное, с удовольствием сохранил бы также кошелек для волос, однако прогрессивный дух эпохи был неумолим. Отец нашел следующий утешительный исход из затруднительного положения. Он пожертвовал только формой, черным мешочком, кошельком; длинные же локоны стал с этих пор носить, заплетая их в широкий шиньон, который укреплялся на голове маленькими гребешочками. Этот узел, благодаря мягкости волос и пудре, оставался почти незаметным, и, таким образом, отец по существу все-таки не отрекся от древнего кошелька для волос, а, подобно иным крипто-ортодоксам *, лишь внешне покорился жестокому духу времени.

Красный мундир, в котором отец изображен на упомянутом портрете, указывает на его ганноверские служебные отношения. В начале французской революции отец находился в свите принца Эрнста Кумберландского и проделал вместе с ним поход во Фландрию и Брабант в качестве провиантмейстера, или комиссара, или, как это называют французы, *officier de bouche*; пруссаки называют это «мучной червь».

Подлинной же должностью этого юнца была должность фаворита при принце, некоего Бреммеля ** *au petit pied* *** и без туго накрахмаленного галстука, и в конце концов он также разделил участь такого рода игрушек княжеского благоволения. Правда, отец всю свою жизнь был твердо уверен в том, что принц, став-

* Криптоортодокс — тайно принадлежащий к ортодоксальной церкви.

** Джордж-Брайан Бреммель (1778—1840) — известен своим изысканным вкусом, был другом и фаворитом принца Уэльского, впоследствии английского короля Георга IV.

*** более мелкого масштаба

ший потом ганноверским королем, никогда его не забыл, однако он никак не мог объяснить себе, почему принц ни разу не позвал его, ни разу не приказал о нем справиться, так как он ведь никак не мог знать, не оказался ли его бывший фаворит в положении, в котором принц мог быть ему полезен.

Во время этого похода зародились некоторые сомнительные пристрастия отца, отучить от которых моей матери удалось его только постепенно. Например, он легко соблазнялся крупной игрой, протезировал драматическому искусству, или, вернее, его жрицам, и сверх того его страстью были лошади и собаки.

Отправляясь в Дюссельдорф, где он из любви к матери сделался купцом, он взял с собою двенадцать прекраснейших лошадей. Однако он отказался от них вследствие настойчивого желанія юной супруги, доказавшей ему, что этот четвероногий капитал пожирает слишком много овса и не приносит никакого дохода.

Труднее было матери удалить еще и шталмейстера, дюжего олуха, который вечно валялся на конюшню с каким-нибудь бог знает где прихваченным оборванцем и играл в карты. В конце концов он ушел добровольно, унеся с собою отцовские золотые часы с репетицией и еще кое-какие крупные драгоценности.

Отделавшись от негодяя, мать уволила в отставку также охотничьих псов отца, за исключением одного единственного, который назывался Жоли *, но был архибезобразен. Он снискал ее благоволение именно потому, что ничем решительно не походил на охотничью собаку, и потому, что мог стать бюргерски-порядочным и добродетельным дворовым псом. Он поселился среди пустой конюшни в старой карете отца, и когда последний встречался с ним там, они обменивались многозначительными взглядами. «Так-то, Жоли», вздыхал при этом отец, а Жоли грустно вилял хвостом.

* Joli (франц.) — красивый.

Я думаю, что пес был лицемерен, и однажды, когда любилец его слишком горестно визжал, получив пинок ногою, отец, будучи в дурном настроении, признал, что каналья притворяется. В конце концов Жоли совсем опаршивел и поскольку он превратился в передвижную блошиную казарму, его пришлось утопить, что не вызвало возражений со стороны отца. — Люди жертвуют четвероногими фаворитами с таким же точно равнодушием, как князя — двуногими.

Очевидно, в походную эпоху отца зародилось и его безграничное пристрастие к солдатчине, или, вернее, к игре в солдаты, готовность радоваться той радостной праздной жизни, где золотая мишура и пунцовая тряпка скрывают внутреннюю пустоту, а пьяное тщеславие может сойти за мужество.

В среде окружавшего его юнкерства не было ни серьезности воинского духа, ни подлинного стремления к славе; о героизме не могло быть и речи. Самым главным для него были вахтпарады, звон оружия, плотно облегающий мундир, столь нарядный на красивых мужчинах.

Как счастлив был поэтому отец, когда в Дюссельдорфе учредили гражданскую гвардию и когда он в качестве офицера последней получил возможность носить прекрасный темносиний мундир с небесноглубыми бархатными отворотами и дефилировать мимо нашего дома во главе своих колонн. Он салютовал с очаровательнейшей любовью моею матери, которая, краснея, стояла у окна; при этом султан на его треугольной шляпе развевался так гордо, и эполеты радостно блистали при солнечном свете.

Еще более счастлив бывал отец, когда до него доходила очередь дежурить в качестве начальника на гауптвахте и блюсти безопасность города. В такие дни на гауптвахте лились рюдесгеймеры и асманнсгейзеры самых удачных урожаев, полностью за счет командира, щедрость которого неустанно прославляли его гражданские гвардейцы, все эти его друзья-приятели.

И отец пользовался среди них популярностью, на-верное не уступавшей тому воодушевлению, с которым старая гвардия приветствовала императора Наполеона. Правда, последний умел воодушевлять своих солдат другими способами. Гвардейцы моего отца до известной степени не были лишены храбрости, в особенности когда приходилось брать штурмом батарею винных бутылок с жерлами самого крупного калибра. Однако героизм их был все же совсем иного сорта, чем тот, которым отличалась старая императорская гвардия. Последняя умирала, но не сдавалась, а отцовские гвардейцы всегда оставались в живых, но частенько сдавали.

Что же касается безопасности города Дюссельдорфа, то в те ночи, когда отец начальствовал на гауптвахте, положение бывало весьма сомнительным. Отец, правда, заботился о рассылке патрулей, которые с пением и грохотом обходили в различных направлениях город. Однажды случилось, что два таких патруля столкнулись и попытались в темноте арестовать друг друга как пьяниц и буянов. К счастью, соотечественники мои — народец беззаботный и веселый, к тому же «добродушный во хмелю», *ils ont le vin bon*, и беды никакой не произошло: они сдались друг другу.

Основной чертой в характере отца была безграничная жизнерадостность, он жадно стремился к наслаждениям, был весел, никогда не терял розового настроения духа. В душе его была вечная ярмарка, и если музыка, призывавшая к танцу, звучала порою не слишком увлекательно, зато для нее постоянно настраивались скрипки. Вечная небесноголубая жизнерадостность и фанфары легкомыслия. Беззаботность, не помнившая о минувшем дне и не желавшая подумать о наступающем утре.

Этот характер самым причудливым образом противоречил важности, разлитой в его строго-спокойном лице и проявлявшейся в осанке и в каждом движении тела. Тот, кто не знал его и впервые видел эту серьезную напудренную фигуру, мог в самом деле подумать, что узрел одного из семи греческих мудрецов. Однако уже

при более близком знакомстве нельзя было не заметить, что он не Фалес и не Лампсак *, мудрствующий над космогоническими проблемами. Правда, эта важность не была у него напускной, но все же она напоминала те античные барельефы, на которых изображен жизнерадостный ребенок, прикрывающий лицо большою трагической маской.

Он был, действительно, большим ребенком, с ребяческой наивностью, которая у плоских виртуозов рассудочности могла весьма легко сойти за глупость, но которая подчас, благодаря какому-нибудь глубокомысленному изречению, обнаруживала значительную способность к созерцанию.

Он улавливал своими духовными щупальцами то, до чего умники доходили лишь медленно путем размышлений. Он думал не столько головою, сколько сердцем, и обладал самым приветливым и ласковым сердцем, какое только можно себе представить. Улыбка, игравшая иногда на его устах и весьма забавно и мило контрастировавшая с упомянутой выше важностью, была сладостным отражением его сердечной доброты.

И в голосе его, хотя и мужественном, полнозвучном, было тоже что-то ребяческое, я сказал бы даже что-то напоминающее лесные звуки, вроде звуков, издаваемых красношейкой; когда он говорил, его голос проникал прямо в сердце, как будто он был освобожден от необходимости направлять свой путь через уши.

Он говорил на диалекте Ганновера, где, как и пожнее, по соседству с этим городом, всего лучше говорят по-немецки. Это была большая удача для меня, ибо таким образом, благодаря отцу, я был уже с детства приучен к хорошему немецкому произношению, между тем как у нас в городе говорят на том сквернейшем нижнерейнском тарабарском наречии, которое до известной степени еще выносимо в Дюссельдорфе, но в со-

* Ф а л е с — знаменитый греческий философ 640—543 до н. э.; Л а м п с а к — название города (а не имя философа), приведенное Гейне либо ошибочно, либо из озорства.

седнем Кельне становится поистине отвратительным. Кельн — это Тоскана классически дурного немецкого произношения *, и Кобес изъясняется с Мариццебиль ** на наречии, которое не то что звучит, а даже почти что пахнет тухлыми яйцами.

В говоре дюссельдорфцев наблюдается уже некий переход к лягушинуму кваканью голландских болот. Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать своеобразные красоты голландского языка, но признаю, что для моего слуха они недоступны. Быть может, справедливо даже и то, что наш немецкий язык, как это утверждали патристические лингвисты в Нидерландах, есть всего-навсего испорченный голландский. Возможно. Это напоминает мне утверждение одного космополита-зоолога, провозгласившего обезьяну родоначальницей человеческого рода; люди, по его мнению, всего только ученые, даже переученные обезьяны. Если бы обезьяны обладали даром речи, они бы, вероятно, утверждали, что люди всего навсего выродившиеся обезьяны, что человечество — это испорченное обезьянье начало, подобно тому как, по мнению голландцев, немецкий язык — это испорченный голландский.

Я говорю: если бы обезьяны обладали даром речи, хотя на самом деле далеко не уверен в их неспособности к речи. Сенегальские негры упорно настаивают на том, будто обезьяны совсем такие же люди, как и мы, только умнее, потому что они воздерживаются от речи, чтобы их не признали за людей и не принудили работать; их забавные обезьяньи проделки не что иное, как хитрость, с помощью которой они хотят добиться, чтобы земные владыки признали их негодными для той эксплуатации, которой подвергаемся мы все, прочие люди.

Подобный отказ от всякого тщеславия мог бы внушить мне самое высокое представление об этих людях,

* Тосканское наречие считается в Италии образцовым.

** К о б е с — Я к о б у с - Я к о в, М а р и ц ц е б и л ь — Мария-Сивилла — традиционные персонажи кельнского кукольного театра.

сохраняющих молчаливое инкогнито и даже может быть потешающихся над нашим скудоумием. Они остаются свободными в своих лесах, никогда не выходя из первобытного состояния. Поистине они в праве были бы утверждать, что человек — выродившаяся обезьяна.

Быть может, наши предки в восемнадцатом столетии уже догадывались об этом и, чувствуя инстинктивно, что наша лощенная сверхцивилизация — это всего только лакированная гниль и что нам до последней степени необходим возврат к природе, они попытались приблизиться снова к нашему прототипу, к естественному обезьяньему бытию. Они сделали все, что было в их силах, и когда им, наконец, не доставало только хвоста, чтобы быть законченной обезьяной, они возместили этот недостаток косою. Таким образом, мода на косы является знаменательным симптомом серьезнейшей потребности, а вовсе не фривольной прихоти, — но напрасно трясу я бубенцами своего колпака, чтобы заглушить их звоном тоску, охватывающую меня всякий раз, когда я думаю о покойном отце.

Его я любил больше всех на свете. Прошло уже более двадцати пяти лет, с тех пор как он умер. Я никогда не думал, что могу потерять его, и даже сейчас лишь с трудом верю тому, что в самом деле его потерял. Трудно верится в смерть людей, которых мы любили так горячо. Но они ведь и не умерли, они продолжают жить в нас и обитают в нашей душе.

С тех пор не проходило ни одной ночи без того, чтобы я не думал о покойном отце, и когда я просыпаюсь утром, мне часто чудится, будто я еще слышу звук его голоса, точно эхо сна. Тогда у меня появляется такое чувство, будто я должен поскорее одеться и поспешно сбегать к отцу в большую комнату, как я это делал мальчиком.

Отец имел привычку вставать всегда очень рано и тотчас же приниматься за дела, зимою так же как и летом, и я заставлял его чаще всего уже за письменным столом, причем он, не поднимая глаз, протягивал мне

руку для поцелуя. Прекрасная, тонко выточенная, благородная рука, которую он неизменно мыл миндальными отрубями. Я еще вижу ее перед собою, я еще вижу каждую голубую жилку, струйкой извивающуюся по этой ослепительно белой, мраморной руке. Мне чудится, будто запах миндаля забирается, щекоча, мне в нос, и глаза становятся влажными.

Иногда дело не ограничивалось одним целованием руки, и отец ставил меня между своих колен и целовал в лоб. В одно утро он обнял меня с совершенно необычайною нежностью и сказал: «В прошлую ночь мне приснилось кое-что хорошее о тебе, и я очень тобою доволен, милый мой Гарри». Когда он произносил эти наивные слова, у него на губах мелькнула улыбка, которая, казалось, говорила: пускай Гарри шалит в действительности, сколько ему вздумается, все же, чтобы любовь моя оставалась неомраченной, мне всегда будет сниться о нем что-нибудь хорошее.

Гарри — у англичан фамильярная кличка для носящих имя Генри, и оно вполне соответствует данному мне при крещении немецкому Генрих. Уменьшительные от последнего крайне неблагозвучны на языке моей родины и отдают чем-то шутовским, например Гейнц, Гейнцхен, Гинц. Гейнцхен часто называют еще маленьких домашних кобальдов, а кот в сапогах на кукольном театре и вообще кот народной сказки называется Гинце.

Однако отец англазировал мое имя не для того, чтобы избегнуть этой неловкости, а для того, чтобы оказать внимание одному из лучших своих английских друзей. Мистер Гарри был поверенным отца по торговым делам в Ливерпуле; он знал там лучшие фабрики, производящие вельветин — товар, которым очень интересовался отец, скорее из амбиции, чем из корысти, ибо, хотя он и утверждал, что зарабатывает на этом товаре много денег, это оставалось все же весьма проблематичным, и возможно, что отец приплачивал еще свои деньги, если это давало ему возможность продавать вельветин лучшего качества и в больших коли-

чествах, чем это делали его конкуренты. Да и вообще отцу моему, собственно говоря, чужд был дух купеческой расчетливости, хотя он всегда и занимался расчетами, и торговля была для него скорее игрою, подобно тому как у детей существует игра в солдатики или в кухонную страпню.

Деятельность его, собственно говоря, состояла только в непрерывной суете. Вельветин стал его коньком, и он бывал счастлив, когда разгружались большие фургоны и когда, еще раньше чем кончится распаковка, переднюю заполняли все окрестные еврей-торговцы; ведь они были лучшими его клиентами, и у них его вельветин находил не только широкий сбыт, но и почтительное признание.

Так как ты, дорогой читатель, может быть, не знаешь, что такое «вельветин», то я позволю себе разъяснить тебе, что это — английское слово, означающее «схожий с бархатом», и что так называется вид бумажного бархата, из которого изготавлиются очень хорошие брюки, жилеты, даже камзолы. Этот материал, идущий на одежду, носит еще название «манчестер», от имени фабричного города, в котором его впервые начали изготавливать.

И вот именно потому, что друг моего отца, обладавший даром покупать вельветины лучше всех, носил имя Гарри, мне тоже было дано это имя, и домашние и близкие друзья и соседи стали называть меня Гарри.

Мне и сейчас еще очень приятно слышать, когда меня называют этим именем, хоть я и обязан ему большою обидой, быть может самую чувствительной обидой моего детства. И только теперь, когда я уже не живу среди живых и, следовательно, в душе моей утасает всякая светская суетность — я в состоянии без стеснения говорить об этом.

Здесь, во Франции, мое немецкое имя «Генрих» («Heinrich») перевели тотчас же после моего прибытия в Париж как «Henri», и мне пришлось приспособляться к этому и в конце концов, называть себя этим именем, оттого что французскому слуху неприятно слово «Heinrich» и оттого что французы вообще устраивают все на свете

так, чтоб им было поудобнее. Имя «Henri Heine» они тоже никак не могли произнести правильно, и у большинства из них я называюсь «М-г Enri Enn», многие сливают это в «Enrienne», а кое-кто прозвал меня «Un rien» *.

Это вредит мне в разного рода литературных отношениях, но приносит также и кое-какую пользу. Так, например, многие из моих благородных соотечественников, приезжающих в Париж, очень хотели бы позлословить на мой счет, но так как они обычно произносят мое имя по-немецки, то французы даже не подозревают, что злодей и отравитель колодцев невинности, поносимый столь ужасным образом, есть не кто иной, как их друг Monsieur Enrienne, и те благородные души тщетно давали волю своему добродетельному рвению — французы не знали, что речь идет обо мне, и зарейнская добродетель даром расстреляла все свои клеветнические стрелы.

Но, как уже сказано, почему-то становится неприятно, когда наше имя произносят дурно. Есть люди, обнаруживающие в подобных случаях большую чувствительность. Я как-то шутя спросил старого Керубини, правда ли, что император Наполеон обычно называл его Шерубини, а не Керубини, хотя император был достаточно силен в итальянском языке, чтобы знать, где итальянское «ch» произносится как «que» или «к». В ответ на этот вопрос старый маэстро приходил в состояние весьма комической ярости.

Я ничего подобного никогда не ощущал.

Генрих, Гарри, Анри — все эти имена звучат прекрасно, когда их произносят прекрасные уста.

Лучше всего звучит, несомненно, «signor Enrico». Так назывался я в те светлосиние, летние, затканые большими серебряными звездами ночи той благородной и несчастной страны, которая и есть отчизна красоты и которая создала Рафаэля Санцио из Урбино, Джа-

* «Ничто».

комо Россини и принципессу Христину Бельджой-озо.

Так как мое физическое состояние отнимает у меня всякую надежду когда бы то ни было снова жить в обществе, и последнее в самом деле перестало для меня существовать, то я заодно снял с себя оковы того личного тщеславия, которым заражается всякий, кому приходится возвращаться среди людей, в так называемом свете.

Я могу поэтому теперь без внутреннего стеснения говорить о злоключениях, связанных с моим именем Гарри, и напоивших желчью и ядом прекраснейшие весенние годы моей жизни.

Дело было в следующем. В родном моем городе жил человек, которого прозвали Дрекмихель *, так как он каждое утро обвезжал с тележкой, запряженной ослом, городские улицы и останавливался возле каждого дома, чтобы забрать мусор, который горничные сгребали в изящные кучки, и вывезти его за город на свалочное поле. По виду этого человека можно было судить о его ремесле, и осел, в свою очередь похожий на своего хозяина, останавливался возле домов или пускался рысью, в зависимости от интонации, с какой Михель, обращаясь к нему, выкрикивал слово:

— Га-аррю!

Была ли то его настоящая кличка или только окрик, я не знаю, несомненно только то, что благодаря сходству между этим словом и моим именем Гарри мне пришлось вытерпеть чрезвычайно много обид от школьных товарищей и соседских детей. Чтобы задеть меня, они произносили его точь в точь так, как Дрекмихель звал своего осла, и когда я злился на это, плуты с самым невинным видом требовали, чтобы во избежание всяких ошибок я показал, как надо произносить наши имена — мое и ослиное, но при этом притворялись очень непонятливыми, утверждали, что Михель всегда очень медленно протягивает первый слог, второй же слог всегда

* мусорный Михель

очень быстро проглатывает; иногда он будто бы проделывает все это наоборот, отчего его окрик звучит опять совсем так, как мое собственное имя, и при этом мальчишки так бессмысленно путали все понятия, — то меня с ослом, то опять осла со мною, — что получалась дикая *soq à l'âne* *, заставлявшая других смеяться, а меня плакать.

Когда я жаловался матери, она советовала мне только получше учиться и быть умницей, и тогда меня никто не спутает с ослом.

Однако созвучность моего имени с именем паршивого длинноухого осталась для меня кошмаром. Большие мальчики проходили и здоровались: «Гаарю». Те, что были поменьше, приветствовали меня тем же криком, но в некотором отдалении. В школе та же тема разрабатывалась с рафинированной жестокостью: если заходила речь о каком-нибудь осле, все начинали коситься в мою сторону, я же неизменно краснел; и просто невероятно, как ловко умеют школьники найти удобный случай или избрести его.

Например, один спрашивал другого: «Чем зебра отличается от ослицы Валаама, сына Боэрова?» Ответ гласил: «Первая говорит по-зебрейски, вторая говорила по-еврейски». Затем следовал вопрос: «А чем осел Дрекмихеля отличается от его тезки?» На что следовал дерзкий ответ: «Разницы мы не знаем». Тогда я лез в драку, но меня укрощали, а мой друг Дитрих, изготовлявший чрезвычайно красивые образки и действительно ставший впоследствии знаменитым художником, попытался как-то меня в подобном случае утешить, посулив мне картинку. Он нарисовал мне святого Михаила, — но злодей мерзко насмеялся надо мной. Архангел всеми чертами походил на Дрекмихеля, конь был точь в точь, как тот осел, а копьём он пронзал не дракона, а дохлую кошку.

* нелепость. (Гейне играет на дословном смысле этого речения: «петух — осел»).

Даже белокурый, кудрявый, тихий, похожий на девочку Франц, которого я так любил, предал меня однажды: он заключил меня в объятия, нежно прижался щекой к моей щеке, долго сентиментально лежал на моей груди — и вдруг с хохотом заорал мне в ухо: «Гаарю», бесконечно модулируя на бегу это оскорбительное слово, так что оно далеким эхом раскатилось по переходам монастыря.

Еще грубее обходились со мной некоторые соседские дети, уличные мальчишки низшего сорта, которых мы в Дюссельдорфе называли Haluten — галютами, слово, происхождение которого какой-нибудь любитель этимологии наверное вывел бы от спартанских «илотов».

Таким «галютом» был маленький Юпп, вернее говоря, Иосиф, которого я буду называть также по фамилии Фладер, чтобы его ни в коем случае не спутали с Юппом Рерш, очень благонаправленным соседским мальчиком, проживающим теперь, как я случайно узнал, в Бонне, в качестве почтового чиновника. Этот Юпп Фладер всегда носил при себе длинное рыбачье удилище, которым любил ударять меня при встречах; кроме того, он с удовольствием запускал мне в голову «лошадиными яблоками», которые подбирал на улице горяченькими, какими они выходили из естественной своей пекарни. При этом он никогда не упускал случая выкрикнуть еще и проклятое «Гаарю!» конечно, модулируя его на все лады.

Злой мальчишка был внук старой ффрау Фладер, принадлежавшей к числу клиентов отца. Насколько дурен был мальчишка, настолько добросердечна была бедная бабушка, олицетворение нищеты и несчастья, но не отталкивающих, а надрывающих сердце. Ей было, вероятно, больше восьмидесяти лет; громоздкая, нетвердо стоящая на ногах фигура, белое сухое лицо с выцветшими скорбными глазами, мягкий, хриплый, плаксивый голос, вымаливающий милостыню без всяких фраз, что всегда звучит ужасно.

Отец всегда подавал ей стул, когда она приходила за своей ежемесячной пенсией в дни, которые он назначал для приемов как попечитель о бедных.

Из этих приемов у отца как попечителя о бедных в моей памяти сохранились только те, что происходили ранним утром, зимою, когда бывало еще темно. Отец садился тогда за большой стол, покрытый разнокалиберными пакетиками с деньгами; вместо серебряных подсвечников с восковыми свечами, которыми отец обычно пользовался и которыми он, обладавший таким большим сердечным тактом, не хотел чваниться перед нищею, на столе стояли теперь два медных подсвечника с сальными свечами, весьма уныло озарявшими присутствующих красноватым пламенем толстых, до черна нагоревших фитилей.

Это были бедняки всех возрастов, стоявшие чередой до самой передней. Они подходили один за другим за своими пакетиками, а иной получал сразу два: в большом свертке была милостыня лично от моего отца, в маленьких — деньги кассы для бедных.

Я сидел на высоком стуле рядом с отцом и подавал ему пакетики. Ибо отец мой хотел, чтобы я выучился, как надо подавать, а по этой части у отца было чему научиться.

У многих людей сердце находится там, где ему полагается быть, но они не умеют давать, и проходит много времени, прежде чем веления сердца проложат дорогу к карману; время между добрым намерением и осуществлением тянется медленно, точно езда в почтовом дилижансе. Между сердцем отца и его карманом была как бы уже выстроена железная дорога. Само собой разумеется, на акциях этой железной дороги он не разбогател. Северная или Лионская дорога давали более крупные барыши.

Большинство клиентов отца состояло из женщин, и притом старых, и он очень долго, даже тогда, когда его обстоятельства стали складываться весьма неблестяще, сохранял эту клиентуру, состоявшую из пожилых особ

женского пола, которым он выдавал маленькие пенсии. Они подкарауливали его всюду, по какой бы дороге ни приходилось ему идти, и у него была таким образом тайная гвардия из старух, как некогда у покойного Робеспьера.

Среди этой убеленной сединами гвардии было несколько старых ведьм, бегавших за ним вовсе не по бедности, а от искреннего восхищения его особой, его приветливой и неизменно сердечной манерой.

Он был ведь воплощенною вежливостью не только по отношению к молодым, но и по отношению к старым женщинам, а старые бабы, столь ожесточенные, когда их задевают, оказываются самой благодарной нацией на свете, когда им оказывают некоторое внимание и предупредительность, и тот, кто рассчитывает на вознаграждение в виде лести, убедится в их щедрости, тогда как молоденькие дерзкие девчонки едва удастаивают нас кивком головы в ответ на всю нашу предупредительность.

А так как лезть является настоящей потребностью красивых мужчин, специальность которых в том и заключается, что они красивые мужчины, и так как им при этом безразлично, исходит ли фимиам из розовых или увядших уст, лишь бы он струился бурно и обильно, то всякому понятно, что мой дорогой отец, не спекулируя на этом непосредственно, все же наживал капитал на этом общении со старыми дамами.

Трудно себе представить, как подчас огромны бывали дозы фимиама, которым они ему кадили, и как хорошо он выносил самые сильные порции. В этом сказывался его счастливый темперамент, а вовсе не ограниченность. Он очень хорошо знал, что ему льстят, но знал также и то, что лезть всегда сладка как сахар, и был точно ребенок, который просит мать: похвали меня немножко — похвали меня даже немножко чересчур.

Однако отношения отца к упомянутым женщинам имели кроме того и более серьезные основания. А именно он был их советчиком, и удивительно, что

человек, так плохо справлявшийся с собственными делами, становился воплощением житейской мудрости, когда в затруднительных обстоятельствах к нему обращались за советом другие. Тогда он тотчас же разбирался в положении и, узнав от расстроенной клиентки, что дела ее идут все хуже, разрешался, наконец, изречением, которое я так часто слышал из его уст, когда все кругом не ладилось: «В этом случае надо бы почать новый бочонок».

Он этим как бы давал совет не цепляться упрямо за проигранное дело, а взяться за что-нибудь новое, избрать новое направление. Лучше сейчас же выбить дно у старой бочки, в которой осталось чуть-чуть кислого вина, да и то едва сочится, и «почать новый бочоночек». Но вместо этого люди обычно лениво укладываются, разинув рот, под пересохшим отверстием бочки и надеются, что из нее вдруг потечет что-нибудь послаще и погуще.

Когда старая Ганне пожаловалась отцу, что у нее поубавились заказчики и что ей нечего не только в тарелку покрошить, но — что гораздо чувствительнее — и в рот положить, — он дал ей сначала талер, а затем задумался. Старая Ганне была раньше одною из лучших повивальных бабок, но под старость стала немножко зашибать и нюхать табак, и так как в ее красном носу всегда стояла оттепель и от капли марались коричневым белые простыни родильниц, — женщину эту не стали никуда звать.

Итак, поразмыслив основательно, отец, в конце концов, сказал: «Надо бы почать новый бочонок, и на этот раз это будет бочонок с водкой; советую вам открыть маленькую ликерную-кабачок где-нибудь поближе к гавани, в более или менее приличной улице, где бывают матросы».

Экс-повивальная бабка последовала этому совету, обзавелась кабачком невдалеке от гавани, дела ее пошли хорошо, и она наверняка разбогатела бы, если бы, по несчастию, сама же не стала лучшей своей клиенткой.

Она продавала также и табак, и я часто видел, как она стояла перед лавкой с красным, раздувшимся от табаку носом, — живая реклама, привлекавшая немало чувствительных моряков.

Одним из основных превосходных качеств отца была его замечательная вежливость, которую он как по-длинно благородный человек проявлял одинаково и к бедным и к богатым. Я замечал это особенно во время упомянутых выше приемов, когда он, вручая бедным пакетики с деньгами, всегда говорил им несколько любезных слов.

Здесь я мог кое-чему выучиться, да и многие из прославленных благотворителей, тех, кто привыкли бросать свертки прямо в головы бедных людей, так что, получая талер, человек получал и дыру в голове, — могли в самом деле кое-чему научиться здесь у моего благовоспитанного отца. Он расспрашивал большую часть бедных женщин об их здоровье и так привык пользоваться оборотом «имею честь», что прибегал к нему, даже указывая на дверь какой-нибудь слишком требовательной или наглой ведьмы.

Учтивее всего он был по отношению к старой Фладер и всегда предлагал ей стул. И в самом деле, она так плохо держалась на ногах и едва ковыляла, уходя со своим костылем.

Когда она в последний раз пришла к отцу за месячной получкой, она была так слаба, что внуку Юппу пришлось ее вести. Он кинул странный взгляд, увидав меня за столом, рядом с отцом. Старуха получила, кроме маленького пакетика, еще очень основательный пакет лично от отца и разлилась потоком благословений и слез.

Странно, когда такая дряхлая бабушка плачет так горько. Я сам чуть не заплакал, и старуха, вероятно, это заметила. Она бесконечно твердила, какое я красивое дитя, и сказала, что непременно попросит божью мать позаботиться о том, чтобы мне никогда в жизни не пришлось терпеть голод и побираваться по людям.

Отца эти слова слегка раздосадовали, но старуха ведь руководилась самыми лучшими намерениями; во взгляде ее было что-то жуткое и в то же время смиренное и нежное; и напоследок она сказала внуку: «Ступай, Юпп, и поцелуй руку милому мальчику». Юпп скроил кислую гримасу, но послушался приказания бабушки. Я почувствовал, как к моей руке прикоснулись его горячие губы — точно жало гадюки. Сам не знаю почему, но я извлек из кармана все мои «феттменхены» и отдал их Юппу, который с грубым и идиотским видом пересчитал их один за другим и, наконец, совершенно равнодушно сунул в карман штанов.

В поучение читателю замечу, что «феттменхен» — название толстенной медной монеты, ценою около одного су.

Старая Фладер вскоре потом умерла, но Юпп, наверное, еще жив, если только его не успели повесить. Злой мальчишка нисколько не переменился. На следующий же день после нашего свидания у отца я повстречался с ним на улице. При нем был столь знакомый мне длинный рыбачий шест. Он ударил меня снова этой жердью, и снова кинул в меня несколько лошадиных яблок, и снова крикнул проклятое «Гаарю», и притом так звонко и так точно подражая голосу Дрекмихеля, что осел последнего, оказавшийся случайно с тележкой в одном из соседних переулков, принял его за оклик хозяина и издал радостное и-а.

Как я уже сказал, бабушка Юппа вскоре затем умерла, и притом с репутацией колдуньи, каковою она вовсе и не была, несмотря на то, что наша Циппель слепо и упорно утверждала обратное.

«Циппель» было прозвище одной еще не очень старой особы, которая собственно называлась Сивиллой, была моей первой няней и потом осталась у нас в доме. Она случайно находилась в комнате во время упомянутой утренней сцены, когда старая Фладер столь щедро осыпала меня похвалами и восхищалась моей

красотой. Когда Циппель услышала эти слова, ей припомнилось старинное народное поверье, будто детям вредят такие неумеренные похвалы и будто они от этого могут заболеть или их может постигнуть какая-нибудь беда, и, чтобы отвести эту угрожавшую мне, по ее мнению, беду, она прибегла к надежному, по народному поверью, средству, согласно которому надо трижды плюнуть в испорченного похвалами ребенка. Она немедленно же подскочила ко мне и стремительно плюнула мне трижды в голову.

Однако это оплевывание было только предварительным, ибо опытные люди утверждают, что если опасная похвала исходит от колдуньи, то разрушить злые чары может только другая колдунья. Циппель решила в тот же день отправиться к женщине, которую она почитала за колдунью и которая, как я позже узнал, оказывала также и ей кое-какие услуги с помощью своего таинственного и запретного искусства. Эта колдунья, послунив большой палец, помазала мне макушку, потом срезала тут же несколько волосков; потом она помазала пальцем и другие места, бормоча при этом нелепейшую абракадабру, и так я, может быть, уже в детстве был посвящен в служители дьявола.

Во всяком случае, женщина эта, знакомство с которой у меня продолжалось и позже, приобщила меня, когда я стал взрослым, к тайному знанию.

Правда, я не стал колдуном, но я знал, как колдуют, и особенно хорошо знаю, что колдовство вообще не существует.

Эту женщину называли мейстерин или еще гохенкой, так как она была родом из Гоха, где проживал также ее покойный супруг, занимавшийся презренным ремеслом палача, и откуда его вызывали то по соседству, то подальше для исполнения служебных обязанностей. Известно было, что он оставил вдове своей всякого рода тайные средства, и она умела извлекать пользу из этой молвы. Лучшими ее клиентами были содер-

жатели пивных, которым она продавала пальцы мертвецов, уверяя, будто они достались ей по наследству еще от мужа. Вот пальцы повешенного вора, а употребляются они для того, чтобы пиво в бочке было вкуснее и чтобы его стало больше. Ведь если опустить в бочку привязанный к бичевке палец повешенного, в особенности невинно повешенного, то пиво от этого не только станет вкуснее, но его можно выкачать из упомянутой бочки вдвое или даже вчетверо больше, чем из обыкновенной бочки того же объема. Просвещенные содержатели пивных пользуются обычно более рациональным средством, чтобы увеличить количество пива; но оно теряет благодаря этому долю своей крепости.

Очень часто посещали мейстерин также влюбленные молодые люди, и она снабжала их любовным напитком, который называла *philtrarium*, так как, страдая латиноманией шарлатанов, она стремилась к тому, чтобы латынь звучала еще более по-латински; мужчину, который подносил такой напиток своей возлюбленной, она называла *philtrarius*, дама же называлась в таких случаях *philtrariata*.

Иногда случалось, что *philtrarium* не производил нужного действия или даже производил противоположное. Так, например, некий бурш, неудачник в любви, уговорив свою неприступную красавицу распить с ним бутылку вина, незаметным образом влил ей в стакан *philtrarium*, и чуть только она его выпила, как он тотчас же заметил в поведении своей *philtrariata* какую-то странную перемену, как бы некоторую тревогу, которую он принял за вспышку любовного пламени и вообразил, что близка великая минута. Но ах! — когда он силою обнял раскрасневшуюся девушку и в нос ему ударил некий аромат, не имеющий ничего общего с парфюмерией Амура, он сообразил, что *philtrarium* подействовал скорее как *laxarium*, в результате чего страсть его была охлаждена чрезвычайно противным образом.

Мейстерин спасла репутацию своего искусства, заявив, будто она неправильно поняла злополучного *philtrarius'a* и думала, что он искал исцеления от любви.

Надежнее, чем любовные напитки, были советы, которыми мейстерин напутствовала своих фильтрариев; а именно она советовала всегда иметь в кармане немного золота, так как золото очень полезно для здоровья и, главное, приносит счастье любящему. Кто не вспомнит здесь слова, которые честный Яго в «Отелло» говорит влюбленному Родриго: «Take money in your pocket» — «Побольше денег в карман»?

С этою-то великою мастерицею поддерживала интимное знакомство наша Цишпель, и хотя она не приобретала у нее больше никаких любовных напитков, но все же обращалась иногда к искусству гохенки, если нужно было отомстить счастливой сопернице, вышедшей за бывшего ее любовника, причем требовала, чтобы на соперницу было напущено бесплодие, а на неверного позорнейшее мужское бессилие. Бесплодие достигалось путем нарушения свадебного чина. Это очень легко: надо отправиться в церковь, в которой венчаются молодые, и в ту минуту, когда священник произносит над ними формулу венчания, быстро защелкнуть железный замок, заранее припрятанный под передником; подобно этому замку, отныне замкнутся и недра новобрачных.

Обряды, соблюдаемые при лишении мужественности, до того грязны и умопомрачительно страшны, что я не считая возможным сообщить о них. Коротко говоря, пациент становится импотентом не так, как это обычно понимают, а в буквальном значении слова лишается признаков пола, колдунья же, завладев добычей, следующим образом сохраняет этот *corpus delicti* *, этот предмет без названия, именуемый попросту предметом; помешанная на латыни гохенка называла его

* вещественное доказательство

чаще всего Numen Pompilus, — должно быть, в память даря Нумы, мудрого законодателя, питомца нимфы Эгерии, который, конечно, никак не предполагал, сколь мерзко будут некогда злоупотреблять его честным именем.

Колдунья поступает нижеследующим образом. Завладев предметом, она укладывает его в опустевшее птичье гнездо и пристраивает последнее к какому-нибудь дереву, как можно выше, среди зеленых ветвей; в это же гнездо она укладывает так же те предметы, которые ей удалось похитить у владельцев лишь позднее, однако с таким расчетом, чтобы их ни в коем случае не набралось в нем больше полудюжины. Вначале предметы очень болезненны и жалки, должно быть от волнения и тоски по родине, но свежий воздух укрепляет их, и они начинают издавать звуки наподобие стрекотанья кузнечиков. Птицы, порхающие вокруг дерева, впадают в заблуждение, воображая, будто это еще неоперившиеся птенцы, и сострадательно приносят в своих клювиках пищу, чтобы накормить покинутых матерью сирот, что последние приемлют с полным удовольствием и от чего они укрепляются, становятся изрядно жирными и здоровыми и уже не стрекочут потихоньку, но чирикают вслух. Колдунья тому очень радуется, и в прохладные летние ночи, когда месяц столь по-немецки сентиментально озаряет землю, колдунья садится под деревом, внимая пению предметов, и называет их тогда своими «милыми соловьями».

Шпренгер также упоминает в своем «Молоте ведьм» о кощунственных деяниях этих чудищ в связи с вышеуказанным колдовством, а один древний автор, которого Шейбле цитирует в своем «Монастыре» и имя которого я позабыл, рассказывает о том, что колдуньи часто бывают вынуждены возвращать оскопленным свою добычу.

Однако в большинстве случаев колдуньи похищают мужественность с целью вымогательства у оскоплен-

ных под видом реституции (приведения в прежнее состояние) так называемого вознаграждения за понесенные издержки. При возвращении похищенного предмета происходят иной раз забавные ошибки и недоразумения, и мне известна история одного каноника, коему был возвращен чужой Numa Pompilius, принадлежавший, по словам экономки этой духовной особы, его нимфы Эгерии, скорее турку, чем человеку христианской веры.

Когда однажды такой скопец потребовал реституции, колдунья приказала ему взять лестницу, следовать за нею в сад, взобраться на четвертое дерево и разыскать утраченное сокровище в пристроенном к дереву гнезде. Несчастный занялся точным выполнением инструкции, но ведьма кинула ему, смеясь: «Вы слишком высокого мнения о себе. Вы ошиблись, то, что вы там извлекли, принадлежит очень высокой духовной особе, и если оно пропадет, я не оберусь хлопот».

Но, поистине, не колдовство влекло меня время от времени к гоженке. Я поддерживал знакомство с гоженкой, и мне было уже, верно, шестнадцать лет, когда я стал чаще чем прежде бывать в ее жилище, привлекаемый колдовством более могучим, чем все ее высокопарные латинские *philtrarium*'ы. Дело в том, что у нее была племянница, которой тоже едва исполнилось шестнадцать лет, но которая вдруг развилась в высокую стройную девушку, казавшуюся гораздо старше своих лет. Это внезапное развитие было причиной также ее необычайной худобы. Талия у нее была такая же тонкая, как у квартеронок Вест-Индии, и так как она не носила ни корсета, ни доброй дюжины юбок, то ее тесно облегающее платье походило на влажное одеяние статуи. Но, конечно, ни одна мраморная статуя не могла соперничать с нею в красоте, так как она была сама жизнь и так как каждое ее движение выявляло ритмы ее тела, я сказал бы даже, музыку ее души. Ни одна из дочерей Ниобеи не обладала столь благородно изваянным лицом; цвет его, как и вообще

ее кожа, отличались слегка изменчивой бледностью. Ее большие, чрезвычайно темные глаза глядели так, как будто они только что задали какую-то загадку и спокойно ждут разрешения, а рот, с тонкими, круто изогнутыми губами и белыми-белыми, чуть продолговатыми зубами, казалось, говорил: ты слишком глуп и тебе не разгадать ее.

Волосы у нее были красные, совсем кровавокрасные, и падали длинными локонами на плечи, так что она могла завязывать их у подбородка. И тогда получалось, как будто ей перерезали горло и из него хлещет красными потоками кровь.

Голос у Иозефы, или красной Зефхен, как называли красивую племянницу гоженки, был не особенно благозвучный, и иногда речь ее тускнела, становясь почти беззвучной; но внезапно, когда ее охватывала страсть, у нее прорывался богатейший металлический звук, производивший на меня особенно сильное впечатление еще оттого, что голос Иозефы случайно имел большое сходство с моим.

Когда она говорила, мне становилось страшно и казалось, будто я слышу собственный голос, а пение ее напоминало мне те сны, когда мне слышалось, что я пою так же точно, как она.

Она знала много старинных народных песен и, быть может, пробудила во мне чутье к этому роду песен, как и вообще, несомненно, имела величайшее влияние на пробуждающегося поэта, так что первые мои стихотворения из «Сновидений», написанные вскоре после этого, носят такой же мрачный и жестокий колорит, как и любовная связь, бросавшая в то время свои кровавые тени на жизнь и сознание юноши.

Среди песен, которые пела Иозефа, была одна народная песня, которой она выучилась у Циппель и которую последняя часто напевала и мне в пору моего детства, так что в моей памяти сохранились две строфы, и я приведу их тем охотнее, что этого стихотворения я не нашел ни в одном из существующих сборников

народной поэзии. Вот как поется в них. Сначала говорит злой Трагиг:

Отилия милая, Отилия моя,
Ты будешь, верно, не последней, —
Скажи, хочешь ты висеть на высоком дереве?
Или хочешь ты плавать в синем озере?
Или хочешь ты целовать блестящий меч,
Который господь бог судил?

На это Отилия отвечает:

Я не хочу висеть на высоком дереве,
Я не хочу плавать в синем озере,
Я хочу целовать блестящий меч,
Который господь бог судил.

Однажды, когда рыжая Зефхен, напевая эту песню, дошла до конца последней строфы и я подметил, какое душевное волнение овладело ею, — я был тоже до того потрясен, что неожиданно разразился слезами, и мы, рыдая, упали друг другу в объятия и не промолвили ни слова в течение доброго часа, в то время как слезы все текли из наших глаз и мы глядели друг на друга точно сквозь покрывало из слез.

Я попросил Зефхен записать для меня эти строфы, и она исполнила это, но написала их не чернилами, а кровью; красный автограф впоследствии затерялся, но строфы неизгладимо остались в памяти.

Муж гохенки приходился братом отцу Зефхен, который тоже был палачом, но он рано умер, и гохенка взяла малое дитя к себе. Когда же вслед затем умер ее муж и она переселилась в Дюссельдорф, ребенка пришлось передать деду, который тоже был палачом и жил в Вестфалии.

Здесь, в «вольном доме», как обычно называют усадьбу палача, Зефхен оставалась до четырнадцати лет, когда дед ее тоже умер и гохенка снова взяла к себе совсем осиротевшую девочку.

Так как считалось, что Зефхен принадлежит к бесчестному роду, то ей пришлось с детских лет и до девичества жить уединенною жизнью, и даже «в вольном

доме» своего деда она была лишена какого бы то ни было общения с людьми. Отсюда — ее нелюдимость, ее преувеличенная чувствительность при всяком соприкосновении с чужими, таинственная мечтательность, сочетавшаяся с самым своевольным упрямством, с вызывающе строптивостью и дикостью.

Удивительно! Даже в сновидениях своих, как она мне однажды призналась, она не жила с людьми, и ей снились только животные.

В уединенной усадьбе палача ее могли занять только старые книги деда, который, правда, сам выучил ее по ним читать и писать, но был чрезвычайно скуп на слова.

Иногда он надолго отлучался вместе со своими слугами; тогда ребенок оставался один в «вольном доме», расположенном очень уединенно среди лесистого края, недалеке от того места, где совершались казни. Дома оставались только три старухи с седыми трясущимися головами, которые жужжали на своих прялках, кричали, ссорились и пили много водки.

Особенно в зимние ночи, когда ветер качал старые дубы и что-то странно завывало в огромном пылающем камине, бедной Зефхен становилось очень жутко в уединенном доме; в ту пору ведь приходилось опасаться посещения воров, не живых, а мертвых, тех, что были повешены, что срывались с виселицы и стучались в низкие окна дома и требовали, чтобы их выпустили и дали им немножко погреться. Они так жалобно гримасничают от холода. Прогнать их можно только, если взять из железной кладовой меч правосудия и погрозить этим мечом; тогда они вихрем кидаются прочь.

Иногда их привлекают не только огонь очага, но им хочется отобрать украденные у них палачом пальцы. Если дверь не заперта как следует на засов, — их даже в смерти гонит былая страсть к воровству, и они крадут простыни из шкапов и с кроватей. Одна из старух, во-время как-то заметившая

такую покражу, кинулась вслед за мертвым воров, у которого на ветру развевалась простыня, и, ухватившись за уголок ее, выхватила у него добычу в то самое мгновение, когда он добрался до виселицы и хотел спастись на перекладинах.

Только в те дни, когда дед готовился к какой-нибудь важной казни, к нему из соседних мест сходились товарищи по ремеслу, и тогда без устали варили, пекли, обедались, бражничали, мало разговаривали и совсем не пели. Пили из серебряных кубков, и не было того, как бывает в харчевнях, куда они иной раз заворачивали и где бесчестному вольному мастеру и его бесчестным подручным подают кружки с деревянной крышкой, между тем как все остальные гости пьют из кружек с оловянными крышками. Во многих местах принято разбивать стакан, из которого пил палач; никто с ним не разговаривает, всякий избегает малейшего соприкосновения с ним. Позор этот тяготеет над всем его родом, оттого дети палача женятся и выходят замуж только за детей палача.

Зефхен, как она мне рассказывала, было уже восемь лет, когда в один погожий осенний день в усадьбе деда собралось необычайное количество людей, хотя в тот раз и не предстояло ни совершения казней, ни каких-либо иных тяжких служебных дел. Было их, вероятно, больше дюжины, все почти древние старички с седыми или лысыми головками, а под длинными красными плащами они держали мечи, и одеты они были в самые праздничные, хотя и сплошь старофранкские, одеяния. Прибыли они, по их выражению, на съезд, и за обедом им подавали все, что было самого дорогого на кухне и в погребе.

Это были старейшие палачи из самых отдаленных местностей; они давно не виделись друг с другом, непрестанно трясли друг другу руки, мало говорили, прибегая часто к какому-то таинственному языку знаков, и веселились по-своему, что называется

«mault tristement»*, как выразился Фруассар об англичанах, пировавших после битвы при Пуатье.

Когда настала ночь, хозяин отослал слуг из дому, приказал старой ключнице принести из погреба три дюжины бутылок лучшего, что у него было, рейнвейна и поставил их на каменный стол, который находился на дворе перед большими, полукругом расположенными дубами; туда же приказал он отнести еще железные шандалы для смоляных факелов, а затем под каким-то предлогом удалил из дому старуху и двух других ведьм. Даже отверстие, проделанное в досках небольшой собачьей конуры, от заткнул попоною; собаку заботливо посадили на цепь.

Рыжую Зефхен дед оставил дома и поручил ей вымыть большой бокал с изображением морских богов, дельфинов и раковин, в которые они трубят, точно в трубы, и поставить его на упомянутый уже стол, а потом, прибавил он нетвердо, пускай она немедленно отправляется спать в свою спаленку.

Бокал с Нептуном рыжая Зефхен сполоснула с видом полной покорности и поставила его на каменный стол рядом с винными бутылками, но спать не пошла и, влекомая любопытством, спряталась за каким-то кустом, поближе к дубам, и хотя здесь было плохо слышно, но видеть она могла все приходящее.

Чужие люди, с дедом во главе, приблизились торжественным шагом попарно и расселись на высоких деревянных обрубках вокруг каменного стола, на котором горели смоляные факелы, так жутко озарявшие их сосредоточенные, жесткие, точно каменные, лица.

Долго сидели они молча, или, вернее, что-то бормоча про себя, быть может молясь. Затем дед наполнил бокал вином, и каждый выпивал его и, наполнив снова вином, ставил перед своим соседом; опо-

* Mault — часто употребляемое на старофранцузском языке слово, возникло из латинского multum — много.

рожив бокал, они снова с суровым видом трясли друг другу руки.

Напоследок дед держал речь, из которой Зефхен мало что расслышала и совсем ничего не поняла и которая, видимо, касалась очень печальных предметов, так как из глаз старика закапали крупные слезы и другие старики тоже принялись горестно плакать; и это было ужасно, так как обычно эти люди казались такими суровыми и источенными временем, подобно серым каменным изваяниям какого-нибудь церковного портала; сейчас из их окаменевших глаз лились слезы, и они всхлипывали как дети.

Луна при этом так меланхолически глядела с беззвездного неба, сквозь туманное свое покрывало, что у подслушивавшей Зефхен сердце чуть не разорвалось от жалости. Особенно тронула ее скорбь одного маленького старичка, плакавшего горестнее других и так громко выкрикивавшего свои жалобы, что она совсем явственно разбирала некоторые его слова; он непрестанно зывал: «О господи! о господи! И когда же кончится эта мука, не снести этого дольше душе человеческой! О господи, несправедлив ты, да, несправедлив». Его товарищам удалось, видимо, лишь с большим трудом его успокоить.

В конце концов собравшиеся снова встали с мест, скинули красные плащи и, каждый со своим мечом подмышкой, двинулись попарно к дереву, возле которого стоял заранее приготовленный железный заступ, и один из них в несколько мгновений вырыл этим заступом глубокую яму. Тогда к ней подошел дед Зефхен, не снявший в отличие от других красного плаща, и извлек из-под него очень узкий, белый, завернутый в простыню предмет длиною, вероятно, выше одного брабантского локтя; он бережно уложил его в открытую яму и с чрезвычайною поспешностью засыпал ее.

Бедная Зефхен не могла дольше усидеть в своем убежище; при виде этого таинственного погребения

волосы встали у нее дыбом; в глубоком страхе кинулась бедная девочка прочь, юркнула в спальню, забилась под одеяло и заснула.

На другое утро все происшедшее представилось Зеффен сном, но, увидав за знакомым деревом свежескопанную землю, она сообразила, что все это было явью. Долго ломала она голову над тем, что же там могло быть зарыто: ребенок? животное? клад? — но она никому не проронила ни словечка о ночном происшествии, и, так как годы уходили, оно отодвинулось в ее памяти на задний план.

Только пять лет спустя, когда умер дед и гоженка приехала за девочкой, чтобы взять ее в Дюссельдорф, решила она раскрыть свое сердце. Последняя, однако, не была ни удивлена, ни обеспокоена этой своеобразной историей, а, напротив, крайне обрадовалась и сказала, что не ребенок, не кошка и не клад зарыты в яме, а старый дедов меч, которым он отсекал головы ста злосчастным грешникам. И вот, — сказала она, — у палачей существует обычай, в силу которого они не хранят у себя, и тем более не употребляют, меча, с помощью которого совершено было сто казней, потому что такой меч правосудия непохож на другие мечи: он приобретает с течением времени тайное сознание и нуждается в конце концов, подобно человеку, в могильном покое.

К тому же, такие мечи, как утверждают многие, становятся жестокими от обильного пролития крови и порою томятся по крови, и не раз около полуночи можно явственно расслышать, как они страстно звенят и бьются, висая в шкапу; да, иные из них становятся такими коварными и свирепыми, совсем как наш брат, человек, и так оплетают несчастного, который прикоснется к ним, что тот способен изранить ближайших своих друзей. Так, будто бы однажды в собственной семье гоженки брат заколол таким мечом собственного брата.

Гоженка, однако, признала, что с помощью такого стократного убийцы-меча возможно творить совершенно

неоценимые чудеса, и еще в ту же ночь она с величайшей поспешностью выкопала захороненный возле указанного дерева меч и с той поры хранила его в чулане вместе с другими колдовскими орудиями. Когда ее как-то не было дома, я попросил Зефхен показать мне эту достопримечательность. Она не заставила себя долго просить, пошла в упомянутый чулан и тотчас же предстала предо мною с огромным мечом, которым, несмотря на то, что у нее были такие слабые руки, взмахнула с большою силою и, шутливо угрожая, пропела при этом слова:

Хочешь ты целовать блестящий меч,
Который господь бог судил?

Я ответил ей в том же тоне: «Не хочу я целовать блестящий меч — хочу целовать рыжую Зефхен», и так как она, остерегаясь ранить меня проклятым клинком, не могла перейти к обороне, ей пришлось примириться с тем, что я с великим мужеством обвил ее тонкий стан и поцеловал в непокорные губы. Да, наперекор мечу правосудия, уже обезглавившему сотню злополучных мошенников, и несмотря на позор, который угрожает за всякое соприкосновение с бесчестным родом, поцеловал я прекрасную дочь палача.

Я поцеловал ее не только потому, что нежно любил ее, но еще из презрения к старому обществу и ко всем его темным предрассудкам, и в это мгновение во мне вспыхнули огни тех двух страстей, которым я посвятил и всю мою последующую жизнь: любовь к прекрасным женщинам и любовь к французской революции, к тому *fugor francese* * нашего времени, которым охвачен был и я в борьбе с ландскнехтами средневековья.

Мне не хочется подробнее говорить о моей любви к Иозефе. Сознаюсь только в одном — в том, что любовь эта все же была только прелюдией, предше-

* французскому энтузиазму

ствовавшей великим трагедиям более зрелого моего периода. Как Ромео, и я бредил Розалиной до тех пор, пока не встретил свою Юлию.

В любви, как в римско-католической религии, существует предварительное чистилище, в котором сначала привыкаешь к поджариванию, прежде чем попасть в подлинный вечный ад.

Ад? Допустимы ли по отношению к любви столь неучтивые выражения? Что же, если вам угодно, я сравню ее также и с раем. К сожалению, никогда нельзя точно установить, когда именно любовь приобретает наибольшее сходство с адом и когда с раем, подобно тому как не знаешь, ангелы ли встречают тебя там, переряженные чертями, или, пожалуй, черти могут иной раз оказаться переряженными ангелами.

Откровенно говоря, какая ужасная болезнь — любовь к женщине! Тут, как мы, к сожалению, видели, не поможет никакая прививка. Очень разумные и опытные врачи рекомендуют перемену места и полагают, что с удалением от чародейки рассеиваются и чары. Гомеопатический принцип, согласно которому от женщины нас излечивает женщина, пожалуй, более всего подтверждается опытом.

Во всяком случае, ты, вероятно, заметил, дорогой читатель, что прививка любви, которую в детстве попыталась мне сделать мать, не дала благоприятного результата. Было предопределено, что я сильнее, чем другие смертные, буду поражен великим недугом, этой оспью сердца, и у меня на сердце такое великое множество дурно зарубцевавшихся следов, что оно напоминает видом своим гипсовую маску Мирабо, или фасад палатцо Мазарини после славных июльских дней, или даже репутацию величайшей трагической актрисы.

Но неужели же нет каких-либо целебных средств против этой роковой болезни? Недавно один психолог заявил, что ее возможно преодолеть, применяя надлежащие средства в самом начале вспышки. Однако же,

этот рецепт напоминает старый наивный молитвенник, в котором содержатся молитвы против всех бедствий, угрожающих человеку, и среди других — длинная, растянутая на много страниц молитва, которую полагается произносить кровельщику, как только он ощутит головокружение и ему начнет угрожать падение с крыши.

Столь же нелеп совет больному любовью бежать от лица прекрасной и искать исцеления в одиночестве на груди у природы. Ах, у этой зеленой груди его ждет только скука, и если в нем угасла не вся энергия, ему гораздо полезнее поискать, если не покоя, то целительной тревоги совсем у иных и белых грудей; ибо самое действительное противоядие против женщин — женщины; правда, это означает заклинять Сатану Вельзевулом, и к тому же такое лекарство часто пагубнее болезни. Но это все же шанс, и, несомненно, лучшее, что можно посоветовать, когда любовные дела обстоят безнадежно, — это переменить возлюбленную; и отец мой даже здесь имел бы основание сказать: теперь следовало бы почать новый бочонок.

Да, давайте возвратимся к милому моему отцу, которому какая-то сострадательная женская душа несомненно донесла о моих частых визитах к гохенке и о моей склонности к рыжей Зефхен. Доносы эти, однако, не имели других последствий, кроме того, что дали отцу повод проявить милую свою учтивость. Поэтому что Зефхен вскоре мне рассказала, что с нею повстречался на прогулке очень важный с виду и напудренный господин, которого провожал другой, и когда его спутник шепнул ему несколько слов, тот ласково взглянул на нее и, поравнявшись, снял перед нею в знак приветствия шляпу.

По более подробному описанию я узнал в господине, который ей поклонился, моего милого, ласкового отца.

Совсем не столь снисходительным оказался он, когда ему сообщили о нескольких допущенных мною антирелигиозных выходках. Меня обвинили в отрицании

бога, и отец произнес по этому случаю речь, несомненно самую длинную из когда-либо произнесенных им и гласившую следующее: «Дорогой сын! Мать твоя посылает тебя к ректору Шальмейеру изучать философию. Это — ее дело. Лично я не люблю философии, так как она — сплошное суеверие, а я купец и мне нужна моя голова, чтобы торговать. Философствуй, сколько тебе вздумается, но прошу тебя, не говори публично о том, что ты думаешь, так как если бы мои покупатели узнали, что мой сын отрицает бога, моя торговля пострадала бы из-за тебя; в особенности евреи перестанут покупать у меня вельветин, а они порядочные люди, платят исправно и имеют все основания держаться религии. Я твой отец, и, значит, старше тебя, а следовательно и опытнее; поэтому ты должен верить мне на слово, если я позволяю себе заявить, что атеизм есть великий грех».

ЛЕВЕ-ВЕЙМАРС



Пользуясь при переводе разного рода произведений талантом покойного Леве-Веймарса, я всегда отмечал с удовлетворением то обстоятельство, что он в течение всего нашего сотрудничества не дал мне ни разу почувствовать ни мое незнание особенностей французского языка, ни собственное лингвистическое превосходство. Когда после долгих часов совместной работы мы нанесли, наконец, на бумагу то или другое произведение, он так серьезно, с таким явным изумлением превозносил мою интимную близость духу французского языка, что я в конце концов начинал и сам верить в самостоятельность всех этих переводов, тем более, что этот тонкий льстец очень часто уверял, будто лишь очень мало знает по-немецки.

В самом деле, это было своеобразным чудачеством Леве-Веймарса — знать немецкий язык так же хорошо, как знаю его я, и уверять, будто он не понимает по-немецки. В только что вышедших в свет «*Mémoires d'un bourgeois de Paris*» — «Мемуарах парижского буржуа» — имеется на этот счет очень забавный анекдот.

С великим прискорбием узнал я о том, что посвященные недавно умершему Леве-Веймарсу газетные некрологи оказались очень несправедливыми к нему и что даже его старый товарищ, в течение долгого времени блестяще соперничавший с ним каждый понедельник, усеял его могилу не столько цветами, сколько крапивой. Какие же у него были основания для упреков? Он рассказал о том, какой ужасающий переполох

подняла на мостовой идиллически тихой rue des Prêtres подкатившая с грохотом карета барона Леве-Веймарса, когда тот, возвратясь из Багдада, отправился с визитом в редакцию «Journal des débats». К тому же карета была на славу разукрашена гербами, кони — gris-roumélé * в богатой упряжке. Егерь, долговязый парень, соскочив с запяток, до наглости сильно дернул звонок у подъезда, — егерь был наряжен в светлозеленый камзол с золотыми галунами, на перевязи у него висел охотничий нож, на голове торчала форменная шляпа, а на ней дерзко и горделиво развевались тоже зеленые петушинные перья.

Да, приходится признать, этот егерь был великолепен. Его звали Готлиб, он пил много пива, от него изрядно несло табаком, он старался иметь возможно более глупый вид и уверял, что совсем не смыслит по-французски, в противоположность своему господину, который, как было указано, всегда притворялся, будто он ни слова не понимает по-немецки. Между прочим, вопреки катастрофическому французскому языку и пошлым манерам Monsieur Готлиба, желавшего во что бы то ни стало прослыть немцем, я все же подзревал его в том, что он никогда в жизни не ел подлинных швабских клецек и был родом из Мо, департамент Сены и Уазы.

Я, столь редко льстящий живым, не считаю себя также призванным льстить мертвецам, почитать которых мы можем лучше всего тем, что будем говорить правду. И, поистине, нашему бедному Леве не приходится ее бояться. Нужно еще добавить, что его добрые поступки всегда подтверждаются достоверными свидетельствами, между тем как всякие злокозненные слухи, ходившие на его счет, всегда оставались недоказанными, да и были недоказуемы и противоречили его натуре. Самым худшим из того, что предъявлялось ему, было всего навсего тщеславное желание выдавать себя за барона,

* серые в яблоках

но кому могло это повредить? Я не вижу ничего особо преступного во всем этом дворянском тщеславии, и мне непонятно, каким образом это могло вызвать такой злобный припадок пуританского фанатизма у старого товарища, отличавшегося вообще из ряда вон выходящею доброжелательно-человечной интеллигентностью. Блистательный биограф Дебюро и мертвого осла, видимо, позабыл о том, что он сам обладал собственной каретой, что он точно так же содержал на конюшнях пару лошадей, что и на его шее сидел обшитый галунами кучер, пожиравший очень много овса, что и он платил жалованье полудюжине ливрейных бездельников-слуг, что ему, однако, не мешало выскакивать к дверям и отворять их каждый раз, когда кто-нибудь звонился к нему. Притом он носил на голове лилейно-белый ночной колпак — гнездо, свитое из бумажных ниток, в котором весело щебетали безудержные остроты великого французского юмориста.

В самом деле, ему следовало предоставить более ничтожным умам посмертные выпады против Леве-Веймарса. Иные из них, видевшие величайшее его преступление в баронизации, были, пожалуй, и сами непрочь, подобно ему, украсить каким-нибудь средневековым титулом, если бы они только обладали смелостью его тщеславия. А Леве-Веймарс обладал этой смелостью, и если втихомолку над ним посмеивались, то откровенным насмешникам он все же внушал страх, и современные Гозье * не дерзали особенно порочить его родословное дерево, ибо он всегда держал наготове стальные грамоты, извлеченные из архивов Лепажя.

Да, нашему Леве, во всяком случае, никак нельзя отказать в рыцарской отваге, и если он, действительно, не был барон — о чем я никогда не наводил справок, — то, по моему мнению, он все же заслуживал быть бароном. У него были все хорошие качества *grand' seigneur*.

* Французский генеалог.

gneur *. Он обладал, например, в высшей степени развитою щедростью. Он доходил в ней до эксцесса и в этом отношении напоминал мне иной раз арабских рыцарей пустыни, которые, быть может, имелись в ряду его предков и среди которых щедрость считалась высшей добродетелью. Такова ли она на самом деле? Никогда не забуду, с каким восторгом прочитал я в арабских сказках, переведенных для нас Галландом, историю о молодом человеке, который расточил, в результате щедрости своей, огромное завещанное отцом богатство; так что в конце концов от всех сокровищ у него уцелела только рабыня необыкновенной красоты. Он был смертельно влюблен в нее; однако, когда какой-то незнакомый бедуин, увидав ее, стал восторгаться ее красотой, молодым человеком овладело врожденное великодушие, и он учтиво сказал: «Если эта дама так необычайно нравится тебе, прими ее в дар». Несмотря на великую страсть к рабыне, которая к тому же разразилась слезами, он приказал ей следовать за незнакомцем, но последний оказался знаменитым калифом Гарун-аль-Рашидом, который, переодевшись бедуином, бродил ночи напролет по Багдаду для того, чтобы, сохраняя инкогнито, собственными глазами разузнавать все о людях и предметах; и великодушие щедрого молодого человека так восхитило калифа, что он не только возвратил ему возлюбленную, но и назначил его своим великим визирем и одарил наново богатствами и великолепным дворцом, лучше которого не было в Багдаде.

Багдад, место действия большинства сказок Шехрезады, столица «Тысячи и одной ночи», город, одно имя которого обладает фантастическим очарованием, был долгое время резиденцией нашего Леве-Веймарса, прожившего в нем с 1838 по 1848 г. в качестве французского консула. Он представлял там Францию и защищал ее честь с непревзойденными умом и достоин-

* большого барина

ством, а его естественная страсть к показной роскоши оказалась как нельзя более кстати среди жителей Востока, и он импонировал им своей расточительностью и пышностью. Когда он следовал на носилках или в закрытом, богато украшенном паланкине по улицам Багдада, его окружали слуги в самых фантастических костюмах, несколько дюжин разноцветных и разноплеменных рабов, телохранители в самых странных доспехах; музыканты с литаврами, трубами и там-тамами ехали на верблюдах и богато убранных мулах, производя неистовый шум; впереди всей процессии шествовал долговязый парень, наряженный в кафтан из золотой парчи, в индийском тюрбане, украшенном жемчужными шнурами, драгоценными камнями и перьями марабу, а в руке у него был длинный золотой жезл, которым он разгонял напиравшую толпу и при этом выкрикивал по-арабски: «Дорогу всемогущему, мудрому и великолепному наместнику великого султана Луи-Филиппа». Однако предводительствовал этой процессией не кто иной, как наш Monsieur Готлиб, который на этот раз изображал уже не немца, а египтянина или эфиопа и притворялся на этот раз, будто не понимает ни слова ни на одном из европейских языков, и который подымал на улицах Багдада еще большую суматоху, чем на мирной rue des Prêtres в Париже по случаю визита, вызвавшего столь ворчливые отклики старого товарища в понедельникного его фельетоне.

Действительно, своим внешним обликом Леве-Веймарс импонировал восточным жителям гораздо меньше, поскольку они склонны думать, что достоинство высокого сана выражается в почтенной корпулентности и даже тучности. Однако этих преимуществ был лишен французский консул, обладавший очень сухощавой и отнюдь не рослой фигурой, хотя внешность его вовсе не опровергала его барственности. Да, подобно тому как характер давал ему право называться бароном, даже если он и не был бароном, так же и физический

его облик отличался до малейшей черты благородством манер и поведения. Во внешности его было также нечто, свойственное людям высокого происхождения: тонкая, гибкая, как угорь, изящная фигура, аристократические белые руки с прозрачными, очень тщательно отполированными ногтями, нежное, почти женственное личико с острыми голубыми глазами, с розовыми щеками, цвет которых был скорее произведением искусства, чем природы, и светлые волосы, весьма скудно прикрывавшие лысину, но очень бережно сохраняемые с помощью всевозможных притираний, гребешков и щеток. Леве с радостным самодовольством показывал иногда своим друзьям шкатулку, в которой сохранялась вся эта косметика, бесчисленные гребни и щетки всех размеров и имевшие то же назначение губки и губочки. То была радость ребенка, производящего смотр своим игрушкам, — но разве это повод для столь озлобленных нападков на него? Он не надевал на себя личину Катона, и наши Катоны не имели никакого права требовать от него добродетелей, которыми сами они столь республикански драпируются в своих журналах. Леве-Веймарс не был аристократ, его образ мыслей был скорее демократический, но чувства у него были, как сказано выше, джентльменские.

ВАРИАНТЫ И ДОПОЛНЕНИЯ



БОГИ В ИЗГНАНИИ

В журнале «Blätter für literarische Unterhaltung» статья эта появилась в 1853 г. под заглавием «Die Götter im Elend» («Боги в злосчастии») одновременно с французским текстом; она сопровождается следующей «предварительной заметкой»:

Под названием «Les Dieux en exil» («Боги в изгнании»), в достаточной мере соответствующим нашему заглавию, появилась в новой книжке «Revue des deux mondes» статья, принадлежащая к последним произведениям моего пера; лишь немногие страницы в начале заимствованы из третьей части моего «Салона»; ссылаясь на эту книгу, я исключаю теперь из немецкого текста указанные страницы, а также избавляю отечественного читателя от некоторых экстатических рассуждений, так как в этом предмете никогда не чувствовалось недостатка за Рейном. Введение, открывающее французский текст, посвящено теме, которой я уже касался не раз, а именно превращению, которому подверглись греко-римские боги, когда в мире воцарилось христианство и не только народное верование, но даже церковная религия приписывали им действительное, но проклятием заклеянное существование. К этой теме — превращения богов в нечистую силу — примыкают нижеследующие сообщения, в которых можно видеть как бы иллюстрацию к ней, как бы более или менее удачно исполненные офорты и ксилографии.

Генрих Гейне.

В предисловии к французскому журнальному тексту указание на заимствование нескольких страниц из прежней работы автора опять объясняется необходимостью отме-

жесаться от позаимствовавших здесь свои сюжеты авторов, среди которых виднейшим, как известно, был Рихард Вагнер:

Я должен сделать это указание во избежание впечатления, будто я иду по стопам некоторых либреттистов, не раз умело пользовавшихся моими мифологическими изысканиями. Охотно обещал бы скорее продолжение этой работы, материалы для которой накоплены в моей памяти; но нынешнее состояние моего здоровья не позволяет мне принимать на себя обязательство на завтрашний день.

Стр. 68, *после сл.: народного стиля в рукописи следовало:* Столь смелая мысль вызвала немало неудовольствия так называемых цеховых ученых. Однако от этого я пострадал не так сильно, как от раздражения отечественных властей, жертвой которого я стал, когда выступал с моей некромантией также в области политических или церковных учений. Не опасные идеи, выдвинутые «молодой Германией», а популярная форма, в которую были облечены эти идеи, явилась причиной знаменитой анафемы, декретированной против этого злого отродья, особенно же против его коновода, мастера языка, в лице которого преследовали, собственно, не мыслителя, но только стилиста. Нет, скромно признаю, преступлением моим была не мысль, но моя манера, мой стиль.

Мой друг Генрих Лаубе как-то назвал этот стиль литературным порохом. Это действительно было отличное изобретение, и следующее поколение, которое пороха не выдумало, умело пользовалось им хоть для холостых выстрелов.

Стр. 69. *Рассказ о судьбе Марса имел в рукописи продолжение:* Рассказывали также, что он долго проживал в Падуге, где служил палачом. Сообщу вкратце относящееся сюда предание.

Один молодой вестфалец, по имени Ганс Вернер, приехавший в Падугу учиться в университете, вскоре после приезда засиделся с земляками за вином до поздней ночи. Возвращаясь из трактира к себе домой, он так разбушевался, что, проходя по Рыночной площади, выхватил из ножен меч и, точа его о камень, закричал: «Кто хочет со мной биться, выходи!» Безлюдная площадь тихо светилась в сиянии месяца, и на колокольне пробило пол-

ночь. Ганс Вернер продолжал с лязгом и звяканием точить меч и еще раз возгласил свой вызов. Когда он в третий раз прокричал дерзновенные слова, приблизился высокий человек и, обнажив из-под красного плаща широкий блестящий меч, молча бросился с ним на бойкого вестфальца. Тот немедленно стал в оборонительное положение, отбивая свои наилучшие кварталы и еще лучшие квинты, но тщетно: он не мог ни ранить, ни обезоружить противника. Устав, наконец, от бесплодного боя, Ганс Вернер остановился и сказал: «Ты не живой человек, потому что моя мать так заворожила мой меч, что живой человек не может устоять предо мной; ты, стало быть, или дьявол, или мертвец». — «Я ни то, ни другое, — ответил тот, — я бог Марс и состою палачом на службе у Венецианской республики. Это мой меч для совершения казни. Мне очень удобно, что суеверный ужас не позволяет людям коснуться меня и надоедливая толпа не докучает мне. Однако знакомые у меня есть, и как раз этой ночью я председательствую на банкете, который почтят своим присутствием красивейшие дамы. Пойдем, если не боишься!» — «Ничего я не боюсь, — ответил тот, — и с удовольствием принимаю приглашение».

Рука об руку пошли они по безлюдным улицам и за городскими воротами, отойдя еще некоторое расстояние, приблизились к освещенному саду. Войдя туда, Ганс Вернер увидел перед собой группы нарядных людей, прогуливающихся и шопотом ведущих беседу. У некоторых была очень странная походка, особенно у одного долговязого, ноги которого беспрерывно подергивались, словно у него подагра, и голова сидела криво на шее. «Это шутка или болезнь?» спросил у спутника вестфалец, указав на долговязого. «Это повешенный», коротко ответил последний. «А что же случилось, — продолжал Ганс Вернер, — с этими двумя, что они тащатся с таким трудом, словно у них ноги перебиты?» — «Ничего с ними не случилось, — услышал он в ответ. — Кого колесуют, тот и после смерти несколько неустойчив в движениях». И у дам был необычайный вид. Они были в чрезвычайно дорогих нарядах, очень пестрых, согласно модам того времени, но как-то эксцентрически утрированных, и во всех их украшениях и всем существе проявлялась наглая, дерзновенная похотливость. Многие из них были необыкновенно

красивы, лица больше или меньше нарумянены. Однако некоторые были белы, как мел, а на губах играла улыбка, одновременно болезненная и презрительная. Сердце молодого вестфальца упивалось видом этих красавиц, и, когда направились к столу, он предложил руку одной юной блондинке, которая особенно пришлась ему по вкусу. Ужинали на террасе, или, вернее, на четырехугольном возвышении, окаймленном гирляндами фонарей и цветов; было здесь человек около полусотни, и распоряжался пиршеством спутник молодого немца, сидевший за столом на почетном месте, как бы в качестве хозяина. Сам Ганс Вернер сидел рядом с молодой блондинкой, которая оказалась очень шутливой и совсем не чопорной, несмотря на то, что его любезности были далеко не сдержанны. И здесь мы также встречаемся с тем жутким обстоятельством, что соли на столе не было. Некоторые другие странные обстоятельства тоже бросились в глаза молодому немцу. Так, например, вокруг носилось множество черных птиц, ворон и галок, которые даже спускались к головам гостей и теребили их прическу; лишь с большим трудом удавалось их отогнать. У многих дам, у которых откинулся воротник, заметил молодой вестфалец широкую багровую полосу вокруг шеи. «Что это такое?» — спросил он у своей соседки. Она расстегнула крючки корсажа, и на ее шее обнаружилась такая же багровая полоса, и она ответила: «Это когда голову отрубают». Опускаю жутко-сладострастный эпизод, закончивший празднество, и кровавое развлечение, которым языческий бог угостил напоследок своих гостей. Рассказ кончается приблизительно так же, как и приведенный выше: уснув в объятиях своей красоты, герой утром просыпается на эшафоте.

С т р. 74, *после сл.*: «Эвоз, Вакх!» — *во французском тексте следует*: Как я сказал уже, вы, любезный читатель, человек образованный и просвещенный, и вас такого рода ночное наваждение испугало бы не больше, чем если бы это была фантазмагория в Императорской музыкальной академии, воплощенная поэтическим гением г. Эжена Скриба при участии музыкальной гениальности знаменитого маэстро Джакомо Мейербера.

С т р. 74. *Финал вакханалии с прославлением фаллуса изображен во французском тексте подробнее*: Испуганный молодой

человек совсем остолбенел при появлении толпы пьяных леших, фавнов и сатиров, во главе которых выступала раздетая молодая женщина в похотливом исступлении; на высоком шесте она несла известный вам пресловутый египетский символ; этот символ, или, точнее, эта гипербола, был украшен цветами, и юная распутница потрясала им с бесстыдными жестами, бешено распевая мерзостный хорал, к которому с диким хохотом и нелепыми прыжками присоединились ее мохнатые спутники. В то же время звуки музыки торжественного шествия, одновременно нежно-мягкие и мучительно-безнадежные, ворвались в душу бедного парня, словно тысячи зажженных факелов; ему показалось, что он уже горит в адском огне.

Стр. 75. *К словам о том, что рыбак не может выдержать Бахуса в большом количестве, настоящий в французском тексте прибавляет:* Но различные дары, ниспосылаемые божественной благодатью смертным: много званых, но мало избранных. Есть люди, которых и дюжина бутылок не может свалить с ног. Со всем христианским смирением признаюсь, что принадлежу к этим избранным, и благодарю за это создателя. Есть также натуры несовершенные и слабые, валяющиеся от одной кружки, и мне сдается, любезное чадо во Христе, что вы из их числа.

Стр. 81. *Замечания о двух промыслах, между которыми мог колебаться Меркурий, получают большее развитие во французском тексте:* Ему предстояло лишь рассчитать, какой из этих промыслов, различающихся только оттенками, представлял больше возможностей преуспеть. Он говорил себе, что воровство благодаря вековым предрассудкам заклеено в общественном мнении, что философам пока не удалось еще оправдать его посредством отождествления его с собственностью, что на него косо смотрят полиция и жандармы и что в награду за всю свою смелость и ловкость вор попадает иногда на галеры, а то и на виселицу, между тем как торговля пользуется величайшей безнаказанностью, уважением публики и покровительством законов, коммерсанты получают ордена, бывают при дворе и даже становятся председателями совета министров.

Стр. 83. *Характеристика Юпитера*, который правил вселенной с Олимпа, *восполнена во французском тексте*: который в продолжение ряда веков царил с вершины Олимпа, окруженный веселым двором из высоких и высочайших богов и полубогов, равно как высоких и высочайших богинь и нимф, их небесных статс-дам и фрейлин, которые вели блаженную жизнь, услаждаясь амброзией и нектаром, презирая простонародье, прикрепленное там, внизу, к земле, и не имея нужды заботиться о завтрашнем дне.

Стр. 84. *О деревяшке Нильса Андерсена во французском тексте говорится*: искусственная нога, которая была сделана из норвежской ели и которую он прославлял как высокий образец норвежского плотничьего искусства.

Стр. 86. *По поводу отсутствия у кита религиозного чувства во французском тексте говорится*: лишь у животных средних размеров бывает религия; очень крупные, исполинские создания, вроде кита, лишены этого достоинства. По какой причине? Не потому ли, что церковь представляется им слишком узенькой, чтобы они могли войти в ее лоно?

ПРИЗНАНИЯ

Вместо авторского предисловия французскому тексту в журнале «La Revue des deux mondes» 1854 г. была предпослана редакционная заметка:

Много лет тому назад в книге «О Германии» г. Гейне сделал уже попытку познакомить французского читателя с любопытной борьбой систем и школ на его родине. Пламенное прославление германского пантеизма, живейшие симпатии к Франции, тяготение к греческой красоте, оппозиция романтизму — все смешивалось в этом своеобразном произведении; но больше всего общая картина оживлялась личностью поэта, этим контрастом между насмешкой и скорбью, между жесткой иронией и чувствительностью, все более и более характерным для автора «Атта Тролля». Через какие испытания прошел этот тонкий ум? Откуда возникло в нем сразу столько горечи и столько энтузиазма? Наряду с воинственными замашками, как будто сви-

детельствовавшими об определенных убеждениях, что означали эти непрестанные уклоны в область шутки и скептицизма? Только сам г. Гейне мог бы ответить на этот вопрос. Изучение души поэта и юмориста — дело особенное и деликатное. Распознавать, какие разнообразные влияния сменяются, а подчас и сочетаются здесь, — задача затруднительная; поэтому живейший интерес встречает всякое произведение, где поэт старается уяснить читателям развитие идей и чувств, нашедших выражение в его сочинениях. В таких «Признаниях», даже неполных, всегда есть некоторое количество данных, достаточных для объяснения основных перемен в литературной судьбе. Так, например, теперь, располагая страницами, законченными г-ном Гейне и охватывающими, как увидит читатель, основные моменты его внутреннего развития, всякий легко сможет уяснить себе движущие силы, под последовательным воздействием которых складывался писатель. Его можно будет наблюдать в его первых восторгах и первых разочарованиях. Раскрыта будет тайна его антипатий и симпатий, его веселости и его гнева. Изображая состояние своей мысли в две эпохи, — когда он писал «De l'Allemagne» и когда под ударами страданий он сосредоточился и подверг себя допросу, — г. Гейне в известном смысле рассказал нам всю свою жизнь, и если он когда-нибудь, как обещает, напишет «Мемуары», эта глава «Признания» может наперед рассматриваться как сжатый итог их основного содержания.

В психологическом рассказе г. Гейне должно, как мы только что указали, различать две главные части: одна относится к возникновению его книги «De l'Allemagne», другая повествует о движениях и преобразованиях, испытанных мыслью поэта после появления этой книги. Этой именно части, ныне лежащей перед нами, и предстоит, на наш взгляд, привлечь внимание; но, прежде чем перейти к ней, следует на миг остановиться вместе с г. Гейне среди воспоминаний его молодости. Надо выслушать его объяснения насчет того, как он понимает обязанности поэта в области автобиографии.

Стр. 114, после сл.: Вы кантианец или фихтеанец? во французском тексте следовало; Что вы думаете о монадах Лейбница?

С т р. 116—117. В связи со строками о женщинах находится длинный черновой отрывок, отчасти послуживший материалом для этого эпизода и напечатанный лишь в посмертном издании 1869 г. («Последние стихотворения и мысли»). Этот отрывок, озаглавленный там редактором Штротманом «Письма из Германии», был набросан в Гамбурге в 1843 г., чтобы послужить началом «освещения изменений, происшедших в литературном, политическом и общественном состоянии родины»; «Письма» предполагалось опубликовать одновременно на немецком и французском языках, но Гейне, очевидно, не пошел далее нижеприводимых страниц:

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

... Недавно бы, милостивый государь, в связи с критическим отзывом, направленным против вашей франкфуртской землячки Беттины Арним, указали в «Revue des deux mondes» на автора «Коринны», с восторгом, продиктованным, несомненно, искренними чувствами; ибо вы хотели показать, насколько она стоит выше нынешних писательниц, особенно Mères d'Eglise и Mères de compagnons. Я не разделяю ваших взглядов на этот предмет, с которыми, однако, не стану здесь спорить и к которым всегда отнесусь с уважением, поскольку ими не создается во Франции ложное понятие о Германии, о ее состоянии и ее представителях. Лишь с этой целью я еще двенадцать лет тому назад выступил против книги г-жи Сталь «De l'Allemagne» с моей собственной книгой под тем же заглавием. К этой книге я присоединяю теперь ряд писем, из коих первое должно быть посвящено вам...

Да, женщина существо опасное. Об этом я могу спеть целую песню. И других не обходит этот горький опыт, и лишь вчера пришлось мне услышать от одного приятеля ужасную историю, имеющую к этому отношение. Он встретил в церкви Сен-Мери одного молодого немецкого художника, который таинственно сказал ему: «В одной немецкой статье вы задели графиню де***. Она узнала об этом, и вы осуждены на смерть, если это еще раз повторится. Elle a quatre hommes qui ne demandent pas mieux

que d'obéir à ses ordres» *. Не жутко ли это? Не отдает ли это ужасным, черным романом Анны Радклиф? Не является ли собою эта женщина своего рода Tour de Nesle? ** По одному ее мановению четыре головореза бросаются на тебя и приканчивают тебя, если не физически, то, во всяком случае, морально. Но как достигла эта дама столь мрачного могущества? Что же она — так красива, так богата, так знатна, так добродетельна, так талантлива, что оказывает столь непреодолимое влияние на своих сеидов, которые слепо ей повинуются? Нет, этими дарами природы и счастья она располагает не в слишком высокой степени. Не скажу, чтобы она была уродлива; уродливых женщин нет. Но я могу положительно утверждать, что если бы у Елены Прекрасной была такая наружность, как у этой дамы, то не было бы вовсе Троянской войны, град Приама не пал бы добычей пламени, и Гомер не воспел бы гнев Ахиллеса, Пелеева сына. Она и совсем не так знатна, и яйцо, из которого она появилась, не оплодотворено богом и не высижено царской дочерью; и по части происхождения она также не выдерживает сравнения с Еленой: она родом из бюргерского дома во Франкфурте. И сокровища ее не так велики, как те, что захватила с собою царица Спарты, когда ее похитил оттуда Парис, так хорошо игравший на цитре (фортепиано еще не было тогда изобретено); наоборот, поставщики почтенной дамы жалуются, что она еще не заплатила им за свою последнюю вставную челюсть. Лишь в вопросе добродетели она может быть поставлена рядом со знаменитой мадам Менелай.

Да, женщины опасны; но я должен все же заметить, что красивые далеко не так опасны, как уродливые. Ибо те привыкли, чтобы за ними ухаживали, а эти ухаживают за всяким мужчиной и таким образом завоевывают себе огромную свиту. Особенно это часто бывает в литературе. Должен тут же заметить, что французские писательницы, выдвинувшиеся в наше время, все сплошь красивы. Так, Жорж Санд, автор «Опыта о развитии католической догматики», Дельфина Жиарден, г-жа Мерлен, Луиза Коле — сплошь дамы, которые опровер-

* В ее распоряжении четыре человека, исполненных одного желания; подчиниться ее приказам.

** «Нельская башня» — романтическая драма А. Дюма-отца,

гают всякие насмешки над неграциозностью так называемых синих чулков и которым мы, читая вечером в постели их сочинения, охотно принесли бы лично свидетельство нашего почтения. Как хороша собою Жорж Санд и как безопасна даже для злобных котов, которые одной лапой ее поглаживали, а другой царапали, даже для собак, всего яростнее лаявших на нее; величаво и снисходительно взирает она на них, словно месяц с высоты! И княгиню Бельджойозо, эту красавицу, жаждущую истины, можно оскорблять безнаказанно; всякому вольно забросать навозом Мадонну Рафаэля, она не станет защищаться. Г-жу Мерлен, с неизменной доброжелательностью отзывающуюся не только о своих врагах, но даже о своих друзьях, тоже можно безопасно обидеть; привыкшая к поклонению, она едва ли понимает язык грубости и только смотрит на тебя с недоумением. Попробуй обидеть прекрасную музу Дельфину, — она берется за свою лиру, и гнев ее изливается в сверкающем потоке александрийских стихов. Скажи что-нибудь неприятное о г-же Коле, — она хватается за кухонный нож и готова воткнуть его в тебя. И это тоже неопасно. Но не вздумай обидеть графиню ***! Ты обречен на смерть. Четверо замаскированных субъектов бросаются на тебя — четыре литературных сутенера. Это настоящая Tour de Nesle, ты заколот, удушен, утоплен — на утро твой труп находят в газетной статейке.

Возвращаясь к г-же Сталь, которая не была красива и причинила много неприятностей великому императору. Она не ограничивалась тем, что писала против него книги, но старалась нападать на него и нелитературными средствами; она одно время была душой дипломатических интриг, предшествовавших коалиции против Наполеона; и ей также удалось натравить на своего врага нескольких наемных убийц, которые, правда, не были лакеями, как палadini вышеупомянутой дамы, но были королями. Наполеон пал, и г-жа Сталь победоносно въехала в Париж со своей книгой «De l'Allemagne» и несколькими сотнями тысяч немцев, которых она привела в Париж как бы в виде живой иллюстрации к этой книге... С тех пор французы сделались и христианами, и романтиками, и бургграфами *. В конце

* «Бургграфы» — название драмы В. Гюго,

концов мне бы до этого не было никакого дела, и народ имеет, конечно, право быть скучным и вялым сколько ему угодно, тем более, что до сих пор он был самым остроумным и самым храбрым из всех когда-либо оборонявшихся и воевавших на этой земле. Но я все же несколько заинтересован в этом преображении, ибо, когда французы отrekliсь от сатаны и царствия его, они потеряли также рейнские провинции, и при этой okazji я сделался пруссаком. Да, как ни ужасно звучит это слово, я пруссак — пруссак по праву завоевания. Лишь с трудом, когда уже больше стало неможугу, удалось мне снять с себя заклятие, и с тех пор я проживаю в качестве *Prussien libéré* * здесь, в Париже, где с самого моего приезда одним из важнейших моих занятий была борьба с авторитетной книгой г-жи Сталь.

Этой борьбе я посвятил ряд статей, которые вскоре затем объединил в книге, вышедшей под заглавием «*De l'Allemagne*». Мне не приходит в голову выражать этим заглавием желание вступить в какое-то литературное соперничество с прославленной писательницей. Я один из величайших почитателей ее умственных дарований, она гениальна, но, к сожалению, гений этот имеет пол, и притом пол женский. Моим мужским долгом было воспротивиться этой блистательной болтовне, тем более опасной, что в своих рассказах о Германии г-жа Сталь сообщала множество неизвестных во Франции вещей, пленяя умы прелестью новизны. Я прошел мимо отдельных ошибок и подтасовок и ограничился прежде всего попыткой уяснить французам, что собственно представляла собою эта романтическая школа, столь восхваляемая и прославляемая г-жою Сталь. Я показал, что она состояла всего лишь из скопища червей, которыми чрезвычайно умело пользуется святейший рыбарь в Риме, чтобы уловлять души на эту наживку. С тех пор открылись на этот счет глаза и у многих французов, и даже христианнейшие души уразумели, насколько я был прав, показав им в немецком зеркале те происки, которые проявились также и во Франции и теперь смелее, чем когда-либо, поднимают свою бритую голову.

Кроме того, я хотел дать правильное представление о немецкой философии и полагаю, что выполнил это. Я без стеснения

* освобожденного пруссака

выболтал тайну школы, известную лишь ученикам старшего класса, и здесь немало поражены были этим откровением. Вспоминаю, как Пьер Леру при встрече со мною чистосердечно признался, что до сих пор тоже считал немецкую философию неким мистическим туманом, а немецких философов — родом благочестивых духовидцев, только и дышащих, что страхом божьим. Я, правда, не мог представить французам подробное изложение наших различных систем, к тому же я слишком любил французов, чтобы подвергать их такой скуке, — но я раскрыл им главную мысль, лежащую в основе всех этих систем и представляющую собой полную противоположность всему, что мы до сих пор называли страхом божьим. Философия вела в Германии ту же войну против христианства, которую некогда вела в греческом мире против древней мифологии, и здесь она вновь одержала победу. В теории нынешняя религия также разбита наголову, она убита в идее и живет лишь механической жизнью, вроде мухи, которой оторвали головку, а она, как будто и не замечая этого, попрежнему бойко кружится в воздухе. Сколько веков жития осталось в запасе (выражаясь словами Кузена) у великой мухи — католичества, — не знаю, но о нем больше и говорить не приходится. Речь идет скорее о нашем злополучном протестантизме, который для продления своего существования пошел на всевозможные уступки и все же обречен на смерть: ему нисколько не помогло ни то, что он очистил своего бога от всякого антропоморфизма, ни то, что повторными кровопусканиями он выпустил из этого бога всю чувственную кровь, что он как бы отфильтровал его до степени чистого духа, состоящего исключительно из любви, справедливости, мудрости и добродетели. Ничто не помогло, и некий немецкий Порфирий, по прозванию Фейербах, немало издевается над этими атрибутами «бога — чистого духа», любовь которого не заслуживает никакой особенной хвалы, так как у него ведь нет и человеческой желчи; которому и справедливость тоже недорого обходится, так как у него нет желудка, требующего жратвы *per fas et nefas* *, которому и мудрость не приходится ставить в особенную заслугу, так как никакой насморк не мешает ему предаваться размышле-

* правдой и неправдой

ниям; которому вообще было бы трудно не быть добродетельным, ибо он бесплотен! Да, не только протестантские рационалисты, но и просто деисты разбиты в Германии, так как философия все свои катапульты, как я показал в моей книге «De l'Allemagne», направила именно против понятия «бог».

Кой-кто гневался на меня за то, что я сорвал завесу с немецкого неба и показал всякому, что оттуда исчезли все божества старой веры и что там восседает лишь старая дева со свинцовыми руками и скорбным сердцем — Необходимость. — Ах, я всего только заранее предупредил о том, что должно было всякому стать ясным впоследствии; и то, что тогда звучало так странно, проповедуется теперь со всех крыш по ту сторону Рейна. И в каком фанатическом тоне произносятся подчас эти антирелигиозные проповеди! У нас завелись теперь монахи атеизма, которые живьем изжарили бы г. Вольтера за то, что он закоренелый деист. Должен признаться, эта музыка мне не по душе, но она и не пугает меня, ибо я стоял подле маэстро, когда он сочинял ее, правда в чертах очень неразборчивых и запутанных, чтобы не всякий мог ее разобрать; я видел иногда, как он боязливо осматривается из страха, не понял ли его кто-нибудь. Он очень любил меня, так как был уверен, что я не выдам его; мне он представлялся в те времена даже раболопным. Когда однажды я возмутился положением «все действительное — разумно», он странно улыбнулся и заметил: «Можно бы сказать также: все разумное должно быть действительным». Он быстро оглянулся, но тут же успокоился, так как никто, кроме Генриха Бера, его не слышал. Лишь позднее я понял эти извороты. Так, лишь впоследствии понял я также, почему он утверждал в своей философии истории: христианство уже потому есть шаг вперед, что оно проповедует бога, который умер, в то время как языческие боги ничего не знали о смерти. Следовательно, каким прогрессом будет, если мы признаем, что бога вообще никогда не было!..

С ниспровержением старых религиозных доктрин потеряла почву под ногами и старая мораль. Все же немцы долго еще будут держаться ее. С ними происходит то же, что с некоторыми дамами, которые сохраняли добродетель до сорока лет, а потом уже считали нестоящим труда предаваться приятному пороку,

хотя их принципы и стали менее суровыми. Искоренение веры в небеса имеет не только моральное, но и политическое значение; массы перестают сносить с христианским терпением свою тяжелую земную долю и стремятся к счастью на земле. Коммунизм — естественное следствие этого изменившегося мировоззрения, и он распространяется по всей Германии. Столь же естественно то, что пролетарии в борьбе против существующего строя имеют вождей в лице прогрессивнейших умов, философов великой школы. Последние переходят от учения к действию, конечной цели всякого мышления, и облачают программу в формулы. Как же она формулируется? Я давно уже думал об этом и высказал в словах: «Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни умеренными бюргерами, ни дешевыми президентами; мы основываем демократию равно прекрасных, равно священных, равно блаженных богов. Вы требуете простой одежды, воздержанных нравов и лишенных остроты наслаждений; мы, наоборот, требуем нектара и амброзии, пурпурных одеяний, драгоценных благоуханий, сладострастия и пышности, смеющейся пляски нимф, музыки и комедий». Эти слова сказаны в моей книге «De l'Allemagne», где я со всею определенностью предсказал, что политическая революция в Германии произойдет из той самой философии, системы которой так часто обзывались пустой схоластикой. Мне легко было пророчествовать. Я ведь видел, как сеялись драконовы зубы, из которых вырастают теперь закованные в доспехи воины, наполняющие мир бряцанием оружия, но, увы, готовые передуть друг друга!

С тех пор как появилась эта не раз упомянутая мною книга, я не напечатал ни слова о Германии. Прерывая теперь долгое молчание, я делаю это не столько для удовлетворения потребностей моего сердца, сколько в ответ на настоятельные просьбы моих друзей. Они часто бывают гораздо более меня возмущены блистательным невежеством относительно истории немецкой мысли, царящим здесь, невежеством, которым с величайшим успехом пользуются наши враги. Говоря: наши враги, — я имею в виду не тех жалких субъектов, которые бродят из редакции в редакцию, предлагая по дешевой цене грубейшие, нелепейшие клеветы, и таскают за собою в качестве поджигателей нескольких так называемых патриотов: эти люди не могут по-

вредить надолго, они слишком глупы и добьются еще того, что в конце концов французы начнут сомневаться, действительно ли мы, немцы, изобрели порох. Нет, подлинно опасные наши враги— это те клеветы европейской аристократии, которые под разного рода масками, даже в женских юбках, повсюду крадутся за нами, чтобы в сумраке порочить наше доброе имя. Поборников свободы, счастливо избежавших на родине тюрьмы, тайной казни или мелких приказов об аресте и делающих путешествие столь небезопасным и неудобным, надо лишить покоя здесь, во Франции, и кого не удастся подвергнуть физическому воздействию, те должны по крайней мере видеть, как изо дня в день треплют и забрасывают грязью их имя.

Стр. 118. *О Блюхере во французском тексте еще гораздо резче:* Этот завсегдатай игорных притонов, вечно с картами в руках и трубкой в зубах, навозное вдохновение которого услаждалось пародированием возвышенных слов наполеоновских речей! В одном из своих суточных приказов этот скот заявлял, что, в случае если император попадет живым в его руки, он отдерет его плетью или палками. «Выпороть» — таково употребленное им выражение, и во имя чести моего отечества мне приходится предположить, что отец Блюхер был пьян, когда подписывал этот гнусный приказ.

Стр. 119. *О чете Шлегелей во французском тексте подробнее:* Среди немцев, прибывших тогда в Париж, был также Фридрих Шлегель со своей возлюбленной Доротеей, дочерью знаменитого Моисея Мендельсона, этой Еленой Уродливой, которую толстый немецкий Парис только что похитил у бедного доктора Фейта; этот обманутый муж оказался более снисходительным, чем царь Менелай, о котором Гомер не сообщает, что он уплачивал пожизненную ренту своей сбежавшей супруге.

Стр. 119. *К характеристике барона Экштейна во французском тексте прибавлено:* Ученость его была очень двусмысленна; но он был очень скупен, а это всегда ослепляет французов.

Стр. 125. *За упоминанием о сражении при Ватерлоо в рукописи, отправленной издателю Кампе, был еще ряд страниц,*

в печатный текст «Признаний» не вошедших (см. комментарий к ст. «Февральская революция»).

Не только французы и император были разбиты под Ватерлоо: правда, французы бились там за свой родной очаг, но в то же время они представляли собой священные когорты, отстаивавшие дело революции, и их император боролся не только за свою корону, но и за знамя революции, которое нес; он был гонфалоньером демократии, как Веллингтон был знаменщиком аристократии, когда армии обоих столкнулись на равнине Ватерлоо. И оно победило, злое дело отживших привилегий, пресмыкающееся рабство и ложь восторжествовали, и в битве под Ватерлоо потерпели поражение интересы свободы, равенства, братства, правды и разума, человечество было разбито в этом бою. Нас в Германии не одурачили самовластные Тартюфы, которые, соединяя с грубым насилием трусливое лицемерие, заявляли в своих прокламациях, что ведут войну исключительно против одного-единственного человека, имя которому Наполеон Бонапарт: мы знали очень хорошо, что, как говорится в пословице, «бьют по вьюку, а колотят осла», что в лице этого единственного человека колотят и нас и над нами ругаются, и нас распинают, мы знали, что «Беллерофон» и нас транспортирует за океан, что Гудсон Лоу и нас пытается, что мученическая скала Святой Елены есть наша Голгофа и первый этап наших страданий называется Ватерлоо.

Ватерлоо! Роковое имя! Многие годы прошли, и при каждом звуке этого имени все змеи бессильного гнева начинали шипеть в нашей груди, и в ушах словно звенел насмешливый хохот наших врагов. Их плевки ощущали мы на побагровевших щеках. Слава богу, сгнуло теперь это гнусное наваждение, и отзвучало душу раздирающее, исполняющее отчаянием значение этого имени.

Известно, какому чудесному событию обязаны мы освобождением от кошмара Ватерлоо. Уже Июльская революция дала нам великое удовлетворение; но оно было неполно; это был лишь бальзам, пролитый на старую рану, которая, однако, еще не зарубцевалась. Правда, французы выгнали Бурбонов старшей линии, на которых тяготело двойное несчастье, они были навязаны побежденному народу иноземными победителями после того,

как эта старая, отжившая королевская династия предварительно подверглась во Франции ужаснейшему оскорблению. Позорную казнь добродушного и человеколюбивого Людовика XVI, эту чудовищную вину, могли еще простить оскорбленные, но никак не оскорбители; ибо оскорбитель не прощает никогда. И 21 января действительно было слишком незабываемой датой, чтобы хоть один француз мог спать спокойно, пока кто-либо из Бурбонов старшей линии сидит на французском престоле; эти старшие Бурбоны сделались невозможными, и, подобно злокачественной опухоли, она рано или поздно должна была быть вырезана из французского государственного тела, совершенно так же, как было сделано со Стюартами в Англии, когда там появились сходные причины для стыда и недоверия. Луи-Филипп и его династия были возможны потому, что его отец был соучастником национального преступления и сам он некогда принадлежал к бойцам революции. Луи-Филипп был великим и благородным королем. Он обладал всеми гражданскими добродетелями буржуа и не имел ни одного порока большого аристократа. Он хорошо ездил верхом и сражался при Жемаппе и Вальми. Г-жа Жанлис руководила его воспитанием, и он был научно образован, как настоящий ученый; в случае нужды он мог зарабатывать на жизнь уроками математики или пустить кровь слуге, пораженному ударом, и потому всегда носил при себе фельдшерский футляр с набором инструментов. Он был вежлив, великодушен и миловал как своих легитимистских клеветников, так и покушавшихся на его жизнь республиканцев; он не боялся стрелять в народ, бывшее филантропическое мягкосердие вдруг захватило его, и он сбросил корону, схватил шляпу, взял подмышку свой старый дождевой зонтик, подхватил под руку свою жену и распрощался. Он был человек. Баснословно велико было его богатство, но он оставался трудолюбивым, как беднейший ремесленник. Он привил себе оспу и ни разу не болел этой болезнью. Он был справедлив и ни разу не нарушил присяги, принесенной законам. Он дал французам восемнадцать лет мира и свободы. Он был невзыскателен, целомудрен и имел всего одну возлюбленную, которую звали Мария-Амалия. Он был веротерпим и не любил иезуитов. Это был образцовый король, Марк-

Аврелий новейшего пошиба, коронованный мудрец, честный человек. И все же французы не могли долго держать его, потому что он был не национального происхождения, был не избранником народа, а маленькой кучки денежных людей, посадивших его на вакантный престол потому, что он казался им лучшей гарантией для их капиталов, и потому, что этому воцарению не грозили возражения со стороны европейской аристократии, некогда устроившей реставрацию не столько из любви к Людовику XVIII, сколько из ненависти к Наполеону, против которого она — так она утверждала — только и вела войну. Правда, не особенно понравилось северным государям то, что их протеже были без всяких церемоний изгнаны, но они их никогда и не любили по-настоящему; квазилегитимность Луи-Филиппа, его высокое происхождение и его мягкая покорность судьбе смягчили в конце концов недовольство высокопоставленных особ, и они примирились с галльским петухом, — потому что он не был орлом.

Хотя мы не спорим, что с королем Луи-Филиппом обошлись очень несправедливо, что с ним поступили с недостойнейшей неблагодарностью, что он был подлинным мучеником и что Февральская революция вообще оказалась прискорбнейшим событием, принесшим миру невероятно много зла, тем не менее мы должны признать, что для французов, национальное чувство которых она подняла, равно как вообще для демократии, идеальное сознание которой в результате ее усилилось, она была великим удовлетворением. Но полным это удовлетворение все же не было, и оно не замедлило перейти в жалкое унижение. В этом были виноваты негодные избранники, которые по своей неумелости или трусости, или двуличию свели к нулю великую хартию самодержавия народа, наделившую их неограниченной властью. Я не хочу сказать, что это были дурные люди; наоборот, было бы лучше, если бы мы попали в руки отъявленных злодеев, которые действовали бы энергично и последовательно, быть может, пролили бы много крови, но сделали бы для народа нечто великое. Чудовищное преступление совершили эти хорошие люди и плохие музыканты, которые в час ужаснейшей бури из одного только честолюбия протиснулись к кормилу правления и, не имея никакого понятия о политической навигации,

взяли на себя командование кораблем и правили им по единственному компасу — своему тщеславию. Крушение было неизбежно.

В первый же час существования временного правительства, именовавшего себя именно так, обнаружилась вся несостоятельность этих мелких людишек. Уже самое название «временное правительство» официально выражало их нерешительность и наперед сводило к нулю все дельное, что они могли бы сделать для доверившегося им народа, вручившего им высшую власть и охранявшего их трехсоттысячной лейб-гвардией. Никогда еще народ, великий сирота, не вытаскивал из лотерейной урны революции ббльших пустышек, чем особы, вошедшие в состав этого временного правительства. Среди них были жалкие комедианты, до мелочей, до цвета бороды сходные с теми героическими персонажами любительского театра, которых так забавно изобразил Шекспир в «Сне в летнюю ночь». Эти неповоротливые увальни, действительно, ничего на свете так не боялись, как того, что игра их будет принята за действительность, и столяр Снаг наперед уверял, что он не настоящий лев, а только временный лев, только столяр Снаг, что публика может не пугаться его рычания, так как это только временное рычание, — и при этом он из тщеславия соглашался исполнять любые роли, причем главное для него был цвет бороды, в которой предстоит играть роль, — будет ли это борода красная или трехцветная.

Право же, иностранные державы не имели никаких оснований бояться этих временных львов — по началу они, правда, пришли в некоторое замешательство, но вскоре, увидев, какие животные сидят в львиной шкуре, опомнились и отнюдь не имели нужды смотреть на Февральскую революцию как на политическое оскорбление, как на дерзкий вызов, — ибо они могли с полным основанием сказать: «Нам все равно, кто царствует во Франции. Правда, мы посадили в 1815 году на престол старших Бурбонов, но это было не из нежности к ним, а из ненависти к Наполеону Бонапарту, с которым мы тогда вели войну, которого убили под Ватерлоо и, слава богу, похоронили на Святой Елене. Пока он был жив, мы не имели ни часа покоя. Теперь, когда он умер, а среди правительственных временных львов нет никого, кто мог бы нарушить наш сон, нам все равно, кому принадлежит

власть во Франции. Нам совершенно безразлично, кто там царствует, будет ли это Луи Блан или генерал Том Пус, карлик обеих частей света, еще гораздо более знаменитый, чем первый, но, конечно, столь же мало, как и его сокарлик Луи Блан, по низкорослости своей способный выдержать сравнение только с покойным Богуславским, которого у курфюрста Саксонского запекли в пирог и подали на стол, — но храбрый поляк, прогрызаясь зубами и рубя своей маленькой сабелькой, выбрался из пирога и прогуливался победителем по курфюршескому столу, — подвиг, пожалуй, непосильный для вашего гомункула Луи Блана, который едва ли столь героически выкарабкается из февральского пирога».

Подчеркиваю, что это иностранные государи высказываются о Луи Блане столь пренебрежительно. Я лично с большей признательностью говорил бы об этом трибуне, правда, не отличавшемся во время своего эфемерного владычества умом, но зато проявившем почти что немецкую сентиментальность. Во всех своих речах он неизменно был обуреваем прекрасными порывами своего чувствительного сердца, он неустанно твердил в них, что растроган до слез, которые проливал при этом в таком изобилии, что его водянистая чувствительность завоевала ему известную популярность и за Рейном, где немецкие мамки и няньки называли своих непрестанно ревущих крикунов именем слезливого французского демагога. Многие шутили над его детской наружностью. Я же никогда не мог смотреть на его головку без некоторого изумления, — не потому, чтобы меня удивляла обширность познаний этого человечка, — наоборот, он совершенно свободен от всяких знаний: меня скорее изумляло, как это в такой маленькой головке может поместиться столько незнания; я никогда не мог понять, как этот ограниченный, крохотный череп может вместить те колоссальные запасы невежества, которые он при всяком случае вываливал в таком пышном, таком, скажу, расточительном изобилии, — се перст божий! Несмотря, однако, на полное отсутствие познаний и учености, г. Луи Блан проявляет подлинный талант в качестве историка. Прискорбно только, что он пытался изобразить как раз ту борьбу титанов, которую мы называем историей французской революции. Жаль, что он не выбрал предмета, который был бы

ему по плечу, более соответствовал бы его росту, например войны пигмеев с журавлями, о которых сообщает нам Геродот.

Однако как ни был мелок Луи Блан и по дарованию и по воззрениям, он был все же выше своих товарищей по временному правительству, внушавшему столь мало страха северным властителям. Все, что говорили эти государи, было чистой правдой. Среди членов временного правительства не было ни одного, который представлял бы малейшее сходство с этим безобразником, этим озорником, этим ужасным корсиканским негодяем, который колотил во всех столицах мира сторожей, повсюду выбивал стекла, разбивал фонари и обращался с нашими достопочтенными монархами, как со старыми швейцарами, будя их по ночам звонком и требуя их седин. Наши коронованные Pipelet * могли спокойно наслаждаться ночным сном в эпоху временного правительства во Франции...

Нет, среди героев этого Круглого стола никто не напоминал Наполеона, никто из них не был настолько невоспитан, чтобы выиграть сражение при Маренго, никто из них не имел наглости разбить пруссаков при Иене, никто из них не позволил себе какого-нибудь победного эксцесса при Аустерлице или при Ваграме, никто из них не одержал победы у пирамид. В чем бы ни упрекали флангового февральских героев г. де-Ламартина, его никак нельзя обвинить в том, что он перебил мамелюков под пирамидами. Правда, он предпринял путешествие на Восток и проезжал в Египте мимо пирамид, с высоты которых могли смотреть на него почти сорок веков, если им это было угодно, но на самые пирамиды вид его знаменитой особы не произвел особого впечатления, они оставались недвижимы, тем более, что они несколько пресыщены в отношении великих людей, величайших из коих они лицеизрели воочию, как, например, Моисей, Пифагора, Юлия Цезаря, Христа и Наполеона, причем последний из них ехал верхом на верблюде. Возможно, что и г. Ламартин тоже ехал по долине Нила верхом на верблюде, но, несомненно, он там не выиграл сражения и не слопал мамелюков. Нет, этот наездник на верблюдах был хамелеоном, но не Наполеоном, он был мамелюкоедом, он всегда был тих и покорен, и, когда в фе-

* Герой «Парижских тайн» Э. Сю, нарицательный тип консьержа, привратника.

врале 1848 года ему пришлось играть роль временного льва, он рычал так нежно, так слащаво, так томно, как обещал в шекспировской комедии рычать столяр Снаг, чтобы не испугать дам. И в самом деле, никто в канцеляриях северных держав не пугался при получении мелодических манифестов нового французского *ministre des affaires étrangères* *, которого правильно называли *ministre étranger aux affaires* **, и его дипломатические «медитации» и «гармонии» *** чрезвычайно увеселяли царей абсолютной прозы.

Действительно, последние были чрезвычайно успокоены относительно намерений льва, прочирикавшего тогда марсельезу мира, и вполне убедились, что он не Наполеон, не бог пушечных громов, не бог грома, не божий гром. Они, вероятно, задолго до нас заметили, что этот двусмысленный человек не только не гром, но прямая противоположность грому, а именно громоотвод, и они поняли, как он может быть им полезен в момент, когда чудовищный народный ураган грозит ниспровергнуть старое готическое общественное здание.

Не я назвал г. де-Ламартина громоотводом, — он сам заклеил себя этим прозвищем. Ибо, как это случается со всеми болтунами, словесная мельница которых никогда не останавливается, у него вырвалось как-то наивное словечко: его-де обвиняют в том, что он конспирировал с мятежными главарями республиканской партии против установленного порядка, — да, он конспирировал с ними, но так, как громоотвод конспирирует с молнией. Этот предатель при всем своем двоедушии был также сама бездарность, и так как он считался поэтом, то это давало прозаическим светским людям повод подшучивать над тем, что получается, когда поэту поручают государственные дела. Нет, вы ошибаетесь, большие поэты часто бывали и большими государственными людьми: музы совершенно невинны в государственном скудоумии этого двусмысленного человека, и еще вопрос, поэзия ли вообще то, чем восхищаются в нем французы. Его ораторское искусство, его блистательное красноречие говорит скорее о риторе, чем о поэте. Одно несомненно — *le chanteur*

* министра иностранных дел

** министр, чуждый делам

*** «Медитации» и «Гармонии» — названия стихотворных сборников Ламартина.

d'Eloah * не грешил избытком поэзии; он только лирический честолюбец, всегда наскучивавший нас своими стихами и одурячивавший нас своей прозой.

Я, очевидно, не имею необходимости особо останавливаться на том, что лишь 20 декабря 1852 года французский народ получил полное удовлетворение, могущее заживить старую рану оскорбления, нанесенную его национальному чувству. Я глубочайшим образом переживаю это торжество, как некогда болезненно переживал поражение. Я сам — ветеран, увечный воин с оскорбленным сердцем и понимаю ликование несчастных калек на деревяшках. К этому присоединяется еще злорадное чувство от того, что я читаю мысли на лицах наших старых врагов, которые притворяются довольными. Не новый человек сидит теперь на французском престоле, но это тот самый Наполеон Бонапарт, которого проклял Священный союз, против которого вел он войну, свержением и убийством которого похвалялся: он попрежнему жив, он попрежнему царствует, ибо как в старой Франции никогда не умирал король, так в новой Франции не умирает император — и именно, назвав себя теперь Наполеоном III, он протестует против видимости, будто он когда-либо переставал царствовать, и, признав нынешнего императора под этим именем, иностранные державы столь же разумно, сколь честно, берут обратно бывшее оскорбление и таким образом успокаивают национальное чувство французов.

Последствия такой реабилитации необозримы и, разумеется, будут благотворны для всех народов Европы, в особенности для немцев. Жаль только, что многие прежние герои Ватерлоо не дожили до этого времени. Их Ахилл, герцог Веллингтон, уже предчувствовал это и, говорят, на последнем торжественном обеде, которым он вместе со своими мирмидоньянами ежегодно знаменует годовщину Ватерлоо, имел более жалкий и пасмурный вид, чем когда-либо. Вскоре после того он действительно протянул ноги, и Джон Буль, стоя у его могилы и почесывая затылок, ворчит: «Понапрасну влез я в эти громадные долги, из-за которых приходится работать, как каторжнику, — что мне теперь до сражения при Ватерлоо?» Да, оно потеряло теперь свое преж-

* певец Элоа

нее подлое значение, и Ватерлоо сейчас только название потерянного сражения, ни больше, ни меньше, чем, скажем, Креси и Азенкур или, говоря по-немецки, чем Йена и Аустерлиц.

С т р. 126. *Характеристика Французской академии обстоятельнее во французском тексте:* Академия — ясли для престарелых литераторов, впавших в детство, учреждение поистине филантропическое, в идее встречаемое также у индусов, устраивающих богадельни для старых и дряхлых обезьян; крыша здания, прикрывающая достопочтенные головы членов этого учреждения, — я говорю о Французской академии, а не об индусской богадельне, — представляет собою обширный купол, напоминающий огромный мраморный парик. Я не мог смотреть на этот бедный старый парик, не вспоминая об эпиграммах стольких остроумных людей, насмехавшихся над Академией, которой это не помешало жить да поживать. Напрасно говорят, что смешное убивает во Франции...

С т р. 126. *О Балланише говорится еще во французском тексте:* эта сверхвесталка [г-жа Рекамье] повсюду таскала его за собой в качестве вещественного доказательства своей добродетели: добрейший и почтеннейший Балланиш, которого весь мир почитает и никто не читает, родился на свет божий с лицом, лишенным правой щеки, а затем вследствие операции потерял и левую.

С т р. 126, *вместо строк о Лагире, во французском тексте читаем:* Мне не пришлось также видеть г. Вильмена; его служанка ответила, что он не принимает, так как сегодня четверг, а он по четвергам моется. Спускаясь по лестнице и увидев надпись: «Обращайтесь к швейцару», я поспешил сказать несколько любезных слов сему почтенному мужу; я сделал ему комплимент насчет чистоплотности его знаменитого жильца, который моется каждый четверг. «Видите ли, — сказал я ему, — чистоплотность — вещь очень редкая у ученых, и, например, славный Казобонус мылся только раз в год, на масляницу, — может быть, для того, чтобы его не узнали». Ripelet отвесил мне глубокий поклон и томным голосом ответил: «Вы, сударь, человек очень порядочный, я должен вывести вас из заблуждения. Знаменитая особа, которую я имею честь считать моим жильцом, не потребляет воду Сены в чрезмерном количестве, не обогащает овернцев и в во-

просе чистоплотности она немножко Казобонус». При этих словах он засмеялся, и я ушел смеясь, тоже не зная почему. Чтобы казаться французом, я покачивался на ходу и напевал песенку: «Куда вы идете господин аббат? Вы сейчас разобьете себе нос», когда на пути моем встало громадное здание, которое оказалось Пантеоном. На нем тоже была надпись, но мраморная, и вместо «Обращайтесь к швейцару», здесь было сказано: «Великим людям — благодарное отечество». Когда я вошел, предо мною раскрылось громадное сооружение, заполненное пустотою, нечто вроде полости каменного воздушного шара, посреди которого в полном одиночестве прохаживался долговязый и тощий англичанин, держа свой «Путеводитель по Парижу» в зубах, а большие пальцы рук в вырезах жилета. Очень вежливо приблизившись, я сказал: «A very fine exhibition» *; я прибавил даже «very fine indeed» **, так как надеялся, что, отвечая, он выпустит изо рта «Путеводитель», как выпустила из клюва ворона кусочек сыра. Но «Путеводитель», которым я намерен был овладеть, чтобы получить там некоторые сведения, не выпал: английская ворона крепко стиснула зубы и, не обратив на меня ни малейшего внимания, удалилась. Я собирался сделать то же, следуя за ним по пятам до портика. Здесь, у самого перистилия я заметил толстощекую бабу с большими грудями, как изображали в ту пору богиню свободы. Это была, по всем вероятиям, швейцарша Пантеона. Вид сына Альбиона, очевидно, привел ее в очень хорошее настроение. Подмигивая мне маленькими глазками, которые сверкали на ее толстом лице, как светящиеся червячки, она насмехалась над бедным англичанином, и тут я впервые услышал этот здоровенный галльский смех, совершенно неизвестный у нас и одновременно очень добродушный и очень язвительный, как благодарное французское вино или глава Рабле. Нет ничего заразительнее такой веселости, и сам я расхохотался от души, как никогда не хохотал у себя на родине. Чтобы завязать разговор с этой бойкой и забавной особой, я вздумал спросить у нее, где же те великие люди, о которых говорит надпись на этом дворце народной благодарности. На этот вопрос добродушная хохотунья ответила взрывом еще

* Прекрасное зрелище

** Великолепно

более оглушительного хохота, слезы выступили у нее на глазах, она схватилась за живот, чтобы не задохнуться, и с передышками после каждого слова отвечала: «Ах, вы пришли в неподходящее время. Великие люди стали у нас теперь большой редкостью: в последний сбор не уродило; но мы надеемся, что новая жатва будет удачнее; наши подрастающие великие люди распускаются чудесно и обещают очень много. Если хотите познакомиться с этими будущими великими людьми, которые пока что бесконечно малы, зайдите в одно заведение тут, неподалеку, на бульваре Монпарнас, оно называется Гранд-Шомьер. Это танцевальный питомник этих маленьких великих людей, этих карапузиков славы, которые некогда будут гордостью Франции и радостью рода человеческого. Вы попадете как раз во-время, потому что сегодня четверг»... Неистовая хохотунья не могла продолжать, и, распрощавшись с нею и направляясь к указанному ею месту, я долго еще слышал отзвуки ее веселости.

Через несколько минут я приблизился к этому временному Пантеону будущих великих людей Франции, под названием Гранд-Шомьер. С этим названием республиканская мысль, вероятно, связывает некое тайное значение, так как Гранд-Шомьер — большая хижина — происходит от слова *chaume* — солома, эмблемы жизни умеренной и трудовой, и название это становится символом тех пролетариев, которые разрушат великолепные дворцы аристократического высокомерия и порока и воздвигнут на их месте очаг добрых нравов и добродетели, Великую Хижину народа. Я вошел в священное заведение, носящее символическое название, и не жалею десяти су, уплаченных за вход. Я в самом деле увидел здесь будущих великих людей Франции, этих маленьких великих людей, на челе которых уже занялась варя их славы, я увидел этих героев грядущего, жизнь и подвиги которых, более или менее изумительные, будут описаны Плутархом, каковой еще собирается родиться или сосет в эту минуту грудь матери, если, впрочем, его не вскармливают с рожка. Все эти господа были приверженцами республиканского дела и ходили в костюме, соответствующем их твердым убеждениям, то есть в мягкой шляпе с громадными полями и в жилете à la Робеспьер с беспредельно широкими отворотами и столь же белом, как совесть Неподкупного! При

каждом молодчике была его молодка, и юные якобинцы танцовали со своими юными якобинками. Здесь были Катоны от правоверения и Бруты от медицины; здесь были Семпронии от белошвейного мастерства и Порции, жилетницы или брючницы, — одним словом, цвет университетского квартала. Эти гражданки гризетки были очень хороши собой и добродетельны в той мере, какую допускает климат их латинской родины; все без исключения были яростные республиканки; говорят, они часто меняют любовников, но никогда не меняют взглядов. Я попал в удачный день, так как отец Лагир, директор заведения, так сказать, сельский стражник в этой Большой Хижине, «здорово остервенился», как говорили во времена отца Дюшеня. Этот субъект атлетической силы и вспыльчивый по натуре чрезвычайно позабавил меня наивной грубостью, с которой он водворял пристойность среди своей публики. Одна бедная девочка, косынка которой в пылу кадрили пришла в некоторый беспорядок, трепеща убежала от одного его грозного взгляда. Он с позором выгнал другую гражданочку, которая равным образом показала ему слишком декольтированной. Этот изверг не знал, что в Спарте молодые девушки танцовали нагие с лакедемонскими юношами и целомудрию не угрожала от этого опасность во граде Ликурга. Ибо стыдливость женщины есть лучший оплот ее добродетели, более надежный, чем все платья мира, как бы мал ни был их вырез над грудью. Отец Ла-Гир — воплощенный ужас для танцоров, переступающих границы пристойного канкана. Схватив за шиворот двух нео-Робеспьеров и подняв их своими длинными руками над землею, как некогда сделал Геркулес с Антеем, он вынес их таким образом за дверь, а вслед за ними вышвырнул маленького Сен-Жюста, пытавшегося что-то проворчать при виде этого тиранического образа действий. Поднявшись с пола, тот почистил на себе сюртук, перевязал свой высокий галстук и выразил протест против этого нарушения прав человека и гражданина, обзавав при этом отца Ла-Гира Полиньяком. Оркестр в это время исполнял марсельезу.

Этому инциденту я обязан знакомством со стоявшей подле меня юной особой, которую я охранял от напора толпы любопытных. Она была очень миниатюрна, губки у нее были сложены сердечком, черные глаза чуть не слишком велики, и что-то за-

дорное было в ее вздернутом носике, тонко вырезанные ноздри которого раздувались от восторга при каждой фанfare оркестра. Ее называли мадемуазель Жозефиной или просто Жозефиной, или еще проще — Фифиной. Узнав, что я немец, она выразила чрезвычайное удовольствие и попросила меня подарить ей медвежью шкуру, так как уже много лет, прибавила она, ей хочется иметь медвежью шкуру на полу у кровати — это ее мечта! Она считала меня северянином в большей степени, чем я был на самом деле, и, вероятно, эти дамы воображают, что на моей родине стоит протянуть руку, чтобы схватить за шиворот медведя и забрать его шкуру. Она была так беззаботна, улыбка ее так ласкова, словечки так милы, ее щебетанье так восхитительно откликалось в моем сердце, что, при всем моем патриотизме, я бы пожертвовал шкурами всех немецких медведей, чтобы понравиться этой французской чаровнице. Я поспешил занести ее просьбу в мою записную книжку и, узнав ее адрес, обещал, что скоро явлюсь к ней с моей немецкой медвежьей шкурой. В ожидании этого я просил ее сделать мне честь принять плод более южный, то есть апельсин. Она приняла, не чинясь, причем призналась, что после свиных ножек *à la sainte Menchould* она больше всего на свете любит апельсины. «Но свиные ножки, — прибавила она, — я обожаю, я боготворю, и из-за этого блюда я способна на подлость». Пока мадемуазель Жозефина поглощала и смаковала апельсин или, пользуясь ее выражением, пока она сливалась с ним, я старался занять ее разговором, столь же приятным, сколь поучительным. По поводу медвежьих шкур я повел речь о зоологии, я коснулся даже щекотливейшего вопроса сравнительной анатомии, вопроса о хвосте, а именно о том, был ли у первобытного человека хвост, как у обезьяны, и лишилась ли впоследствии человеческая раса этого допотопного украшения вследствие какой-либо более или менее пристойной болезни. Мадемуазель Жозефина, пораженная моей великой ученостью, несколько раз говорила мне: «Сударь, вы пойдете далеко!» Не сомневаюсь, что она порядком содействовала моим успехам, пропагандируя мои таланты во всем предместьи Сен-Жак и соседних улицах. Репутации в Париже создаются посредством женщин.

Какова бы ни была, однако, моя благодарность мадемуазель

Жозефине, я должен все же откровенно сознаться, что в беседе с нею заметил, как невежественна бедная девочка, не имевшая даже самых элементарных этнографических познаний. Так, например, она не знала, что город Гамбург — республика, как некогда Афины, и что он расположен рядом с Альтоной, где находится могила Клопштока. Она не знала также, какая разница между пруссаками и русскими, между шпицрутенами и кнутом. Она была уверена, что астрономия — изобретение г-на Араго, и, услышав от меня, что земля, шар, на котором мы живем, непрестанно вращается вокруг солнца, она воскликнула: «Какой ужас! При одной мысли об этом вращении у меня кружится голова!» Ее хрупкая и изящная фигурка задрожала, как осина, и она повторяла: «Да кто это вам сказал, что земля вертится вокруг солнца?» На мой ответ, что это был поляк, по имени Коперник, она пожала плечами и вскричала: «Поляк? Ну, тогда я не верю ни слову! Полякам нельзя верить; от них правды не жди. Вы, немцы, с вашей глубокой ученостью, — вы не в меру доверчивы. Неужто у вас женщины тоже верят в такую чушь, будто земля вертится? — От этого только голова кружится. Верно, они не так нервны, как мы, француженки, и оттого они, верно, и учиться могут больше; мне говорили, что немки в тысячу раз учение нас и знают все египетские мумии наизусть. Но это правда, нас, французских девушек, плохо воспитывают, ничему мы не учимся, и вот я, например, совсем не обучена: все, что знаю из естественной истории, сама узнала».

В качестве галантного льстеца я позволил себе назвать преувеличением эти признания в национальном невежестве и дошел даже до того, что чересчур преуменьшал образованность немецких барышень. Я утверждал, что она не так высока, как воображают за границей, что она слишком даже недостаточна и что мне, например, случалось встречать на родине девиц, которые считались хорошо воспитанными и которые не умели спеть игривую песенку Беранже! «Это невозможно!» воскликнула мадемуазель Жозефина.

Вспоминаю теперь по поводу этой премиллой особы слова Мефистофеля, который, напоив Фауста волшебным напитком, говорит ему:

Да, этим зельем я тебя поддену:
Любую бабу примешь за Елену!

Новизна типа — приворотное зелье, производящее то же волшебное действие на всякого немца, впервые попавшего в Париж. Он очарован мордочкой первой попавшейся гризетки, как восхищен и кухней худшей из палерояльских кухмистерских, где обедают за два франка. Но для него это новые блюда с необычайными соусами. Впоследствии тошнит при воспоминании о том, что глотал это сомнительное и весьма пряное вариво; ибо с тех пор мы обедали в хороших ресторанах, с дамами хорошего общества и научились там ценить эти блюда, одновременно острые и простые, изготовленные умело, поданные красиво, иногда с некоторым душком, — но всегда изысканно вкусные.

В тот же вечер, когда я посетил Grande Chaumière, где видел великих людей Франции в зачаточном состоянии, один из моих соотечественников, уже принятый в свете, ввел меня в одно учреждение, несколько схожее с вышеупомянутым. Женский пол был там в большинстве. Здесь я познакомился с великим человеком, достигшим в то время вершины своего величия. С тех пор его знаменитость понизилась; но нет ничего устойчивого во Франции, и великие люди исчезают там довольно быстро: они появляются, чтобы скрыться. Это был знаменитый Шикар, сапожник-хореограф.

С т. р. 129, *после сл.:* о Германии и ее умственном развитии, *во французском тексте следовало:* и я охотно принял предложение редактора «Revue des deux Mondes» написать для его журнала ряд статей об умственном развитии моей родины. Этот редактор был меньше всего веселым малым вроде Мессера Миллионе, напротив, он грешил скорее избытком серьезности. Впоследствии путем добросовестной, безупречной работы ему удалось сделать из своего журнала настоящее «обозрение двух стран света», то есть журнал, распространенный во всех культурных странах, где он является представителем гения и величия французской литературы. В этом журнале я и напечатал мои новые разглагольствования об умственной и социальной истории моего отечества; мадемуазель Жозефина была права, предсказывая мне, что я пойду далеко. Большой успех этих статей дал мне смелость собрать и дополнить их.

С т р. 132, *вместо сл.:* но мы не можем скрыть от себя... Один великий демократ, *во французском тексте говорится:* тем не менее в мире действительности меня отталкивает все, исходящее от толпы, и я не выношу ни малейшего ее прикосновения. Я люблю народ, но люблю его на расстоянии; я всегда боролся за освобождение народа: это было великим делом моей жизни; однако в самом разгаре моей борьбы я уклонялся от малейшего соприкосновения с массами. Я никогда не был щедр на рукопожатия с ними. Один завзятый немецкий демократ как-то сказал мне...

С т р. 136, *после сл.:* в безумии, толкающем их, есть, как сказал бы Полоний, система, *во французском тексте следует:* Английскими чартистами руководит голод, а отнюдь не идея. Насытившись ростбифом и плумпудингом, утолив жажду добрым элем, они отвалятся, как пьявки. Более или менее скрытые вожди немецких коммунистов — большие логики, сильнейшие из коих прошли школу Гегеля, и это, несомненно, способнейшие головы и энергичнейшие характеры Германии. Эти мастера революции и их беспощадно решительные ученики — единственные живые люди в Германии, и боюсь, что им принадлежит будущее. Все прочие немецкие партии и их представители мертвы, архимертвы и погребены под сводом церкви св. Павла во Франкфурте. Я не выражаю этим ни пожеланий, ни сожалений; я сообщаю факты и говорю правду.

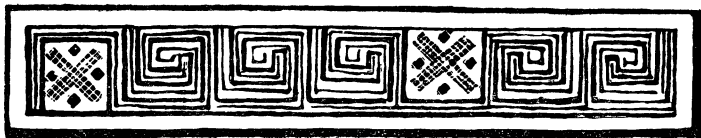
С т р. 139, *после сл.:* я сам... и есть этот господь-бог, *во французском тексте прибавлено:* Я никогда не хотел верить, что бог стал человеком; суеверием считал я этот возвышенный догмат и впоследствии на-слово поверил утверждению Гегеля, что человек есть бог. Мне пришлось по душе эта идея, я взял ее всерьез и исполнял мою божественную роль со всей возможной добросовестностью.

С т р. 141, *вместо сл.:* о ночной молитве и исповеди о том, о чем мы обыкновенно умалчиваем и пред собственной женой, *во французском тексте говорится:* Как ужасно быть больным и одиноким, не имея никого, пред кем бы излиться в жалобах! Как они глухи и жестоки, эти философы-атеисты, эти холодные

и здоровые диалектики, старающиеся отнять у страдающих людей божественное утешение, единственное успокоительное средство, оставшееся им! Говорят, человечество лежит в болезнях, и мир есть великий госпиталь; будет еще ужаснее, когда дойдут до утверждения, что мир есть великая богадельня без бога!

Стр. 166. *За именами Жюльена и Потье во французском тексте продолжение:* этим двум ученым противникам, обогатившим науку двумя великими открытиями: г. Жюльен, знаменитый синолог, открыл, что г. Потье не знает китайского языка, а г. Потье, знаменитый индианист, открыл, что г. Жюльен не знает санскрита; они опубликовали много книг об этом предмете, столь же важном, сколь интересном для читателей.

КОММЕНТАРИИ



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Это — статьи, написанные для «Аугсбургской всеобщей газеты». Первая из них была напечатана во «Всеобщей» в № 69, от 9 марта 1848, остальные появились по смерти Гейне (только в 1887 г.). В статьях этих Гейне откликается на события февраль—март 1848 г.

22—23—24 февраля происходили баррикадные бои, они закончились победой восставшего народа.

24 февраля народные массы провозгласили республику, которую буржуазные партии вынуждены были принять.

Было составлено временное правительство на основе компромисса между тремя группировками: от республиканской буржуазии туда вошли Дюпон-де-Лер, Араго, Кремье, Гарнье-Пажес, Мари, Марраст, от мелкобуржуазных демократов — Ледрю-Роллен, Флокон, от республиканцев-социалистов — Луи Блан и Альбер. Во главе правительства оказался Ламартин. Гейне отмечает этот неоднородный и неустойчивый характер всего правительства Ламартина.

Противоречия между правительством и революционным народом сказались и в таком как будто бы внешнем, но на деле симптоматическом вопросе, как вопрос о знамени республики. Бланки требовал, чтобы было признано красное знамя. Ламартин отстаивал трехцветное. «Трехцветное знамя, — декламировал Ламартин, — с республикой и с империей, с вашей свободой и с вашей славой обошло весь мир, а красное знамя, влачимое в крови народа, обошло лишь Марсово поле» (Ламартин напоминал о первом появлении красного знамени — 17 июля 1791 г.). Временным правительством и было принято именно трехцветное знамя.

Временное правительство подчеркивало свою временность для того, чтобы укрепить мысль о неправомерности всего происходившего в первые недели революции, — окончательные права решений оно предоставляло еще не избранному Учредительному собранию (оно было открыто 4 мая 1848 г.).

Буржуазные партии старались тем или иным способом опростестовать революционную инициативу февральских дней, на

Учредительное собрание возлагалась надежда, что оно низведет «результаты революции до буржуазного уровня» (Маркс, Соч., т. VIII, стр. 329).

В промежутке между третьей и четвертой статьями Гейне (14 марта — 22 марта) произошли чрезвычайно важные события.

В самом Париже начиналось явное обострение борьбы между буржуазией и трудящимися.

16 марта буржуазия устроила демонстрацию против Ледрю-Роллена, левого министра во временном правительстве. 17 марта пролетариат устроил ответную демонстрацию, в отпор демонстрации, происшедшей накануне.

Наконец, на те же сроки приходятся и первые взрывы революции в немецких государствах.

13 марта — революция в Вене, 18 марта — революция в Берлине («на тихих берегах Дуная и Шпре»).

В своей статье от 22 марта Гейне и ссылается главным образом на историю последней недели.

Отстальные немецкие страны сбросили, наконец, феодальный гнет — это Гейне и называет сказкой «Тысячи и одной ночи».

В своих статьях Гейне восхищается героизмом французских рабочих, борцов баррикад, — он видит в них носителей новой этики, перешагнувших через мелкий эгоизм собственнических классов. Но для Гейне — это только одна сторона дела. В то же время в статьях Гейне проглядывает плохо скрытое недоверие к энтузиазму «блужников» — революционных парижских пролетариев.

Гейне ни в марте 1848 г., ни после не сумел оценить положительное историческое содержание революционной борьбы пролетариата. Он рассматривал борьбу рабочих в ограниченной перспективе тогдашнего дня, их социальный идеал представлялся ему с точки зрения его непосредственных возможностей, осуществимых тотчас же, при данных обстоятельствах и данных условиях общественного развития. (Об отношении Гейне к пролетариату см. стр. 360—361.)

Поэтому Гейне относится с опасением даже к лозунгу республики, — февраль 1848 г. уже выдвинул требование *социальной республики*. Поэтому Гейне поддерживает и трехцветное знамя и правительство Ламартина. Ламартин является настоящим героем этих статей Гейне, — вернее, Гейне старается сделать Ламартина этим героем, сознавая при этом, насколько неблагоприятную задачу он берет на себя. Гейне отзывался с симпатией о книге Ламартина «История жирондистов», появившейся в 1847 г. Ламартин, историк первой революции, уже давал себе отчет, в чем состояла коллизия жирондистов. Ламартин писал о жирондистах: «Они совершили революцию, сами ее не желая, они ее направляли, ее не понимая. Революция должна была взбунтоваться против них и от них ускользнуть». «Жирондисты были только случайными демократами, Робеспьер и яко-

бинцы были демократами принципиальными. Первые, как Учредительное собрание и Мирабо, стремились только низвергнуть старые аристократии церкви, дворянства и двора, чтобы заменить их более новыми аристократиями ума, образованности и состояния. Социальный переворот, вызванный жирондистами, останавливался на первых слоях общества. Раз на вершине государства уничтожены трон, церковь и знать, они хотели сохранить все остальное». «Вся политика жирондистов была в перемене правления. Политикой демократов было изменить самое общество».

Все это Гейне должен был прочитать в книге Ламартина, который сам же тем не менее выступил в борьбе 1848 г. с позиций отжившей Жиронды. Гейне понимал, что буржуазия уже перестала играть революционную роль, и все же он пытался найти красивые слова для выродившихся потомков деятелей 1789 года, поборя в себе скептическое отношение к ним.

В прямой связи со статьями о Февральской революции следует рассматривать отрывок «Ватерлоо». Этот отрывок сначала предназначался для «Признаний» (1854 г.), потом был исключен оттуда и в печати появился только посмертно (в 1869 г.). Соответственно этому страницы «Ватерлоо» помещены у нас в «Добавлениях и вариантах» к «Признаниям» — см. стр. 321—330. Здесь у Гейне целые строки и тирады в точности перенесены из «Февральской революции», но общий смысл радикально изменился. Гейне высказал свое истинное мнение о Ламартине и его временном правительстве, мнение, только подтвержденное разворотом событий 1848—1852 гг. Он описывает во весь рост бесхарактерность, растерянность и трусливость этих «временных львов», как он их называет, этих буржуазных и мелкобуржуазных политиков, выступавших с высокопарной республиканской фразеологией перед лицом реальных требований народной массы.

Но, увы! Гейне сейчас не щадит ни Ламартина, ни Луи Блана вовсе не потому, что сам он окончательно принял сторону революционных рабочих, окончательно понял общественный размах и будущность их движения. Нет, Гейне иллюзию Ламартина и Луи Блана меняет на худшую иллюзию, — он оказывается обманутым демагогией Луи-Наполеона; в Луи-Наполеоне, в прокламируемых этим политическим проходимцем «наполеоновских идеях» Гейне готов увидеть выход из общественных противоречий.

День 2 декабря 1852 г. * — день, когда Луи-Наполеон Бонапарт, президент Французской республики, объявил себя императором французов, этот день Гейне называет днем величайшего удовлетворения для французской нации.

«Я сам ветеран, увечный воин с оскорбленным сердцем и принимаю ликование несчастных калек на деревяшках», — пишет

* У Гейне ошибочная датировка — 20 декабря.

Гейне. По этому поводу следует припомнить замечание Маркса о бонапартистах 50-х годов: «Это была помесь старых суеверных инвалидов и молодых неверующих авантюристов» (т. VIII, стр. 52). В тяготении Гейне к Наполеону III было нечто именно от предрассудков инвалидов первой империи, Гейне платился за культ Наполеона I, в котором Гейне был воспитан. На пример и традицию Наполеона I Наполеон III непрестанно ссылаясь, уверяя, что эти традиции нашли в его лице прямого и непосредственного продолжателя. Гейне, разочарованный в политической демократии буржуазии и не умеющий найти для себя путь к социальной революции пролетариата, временно оказался в среде хвалителей «маленького Наполеона».

Только небольшим эпизодом в творчестве Гейне 50-х годов оказалась и статья о «Ватерлоо». Вся совокупность этого творчества, включая «Романцero», позднюю лирику, говорит о том, что Гейне с величайшим отрицанием относится к реакционной эпохе, питавшейся поражением, которое испытал в революции 1848 г. рабочий класс.

Вторая империя в своей подлинной природе не могла найти союзника в авторе «Романцero», которого однажды соблазнили фальшивые слова и обещания основателя этой империи.

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВЕЛЛАМ А. ВЕЙЛЯ

Александр Вейль, книгу которого Гейне напутствовал, был плодовитым и заурядным литератором, писавшим на самые разнообразные темы. Книга его — «Очерки нравов из народной жизни Эльзаса» — вышла первым изданием в 1843 г. Ко второму ее изданию 1847 г. Гейне и написал свое предисловие.

Вейль находился в окружении Гейне. В 1883 г. он выпустил свои малодружелюбные воспоминания — «*Souvenirs intimes de Henri Heine*».

О жанре «деревенских повестей», в котором писал А. Вейль и который к тому времени достиг в Германии большого распространения (книги Иеремии Готтгельфа с конца 30-х по конец 40-х годов, шварцвальдские рассказы Бертольда Ауэрбаха в 1843 г. и т. д.), — об этом жанре Гейне был невысокого мнения, точно так же как и о самом Александре Вейле. Вот запись разговора с Людвигом Калишем — ноябрь 1849 г.:

«Разговор коснулся жанра деревенских повестей.

«Я очень мало знаю эту литературу, — сказал Гейне. — Я знаю только эльзасские деревенские повести Александра Вейля. Мне сказали, что он первый выступил перед немецкой публикой с подобного рода произведениями. Я дал к ним коротенькое рекомендательное предисловие, где высказался, что значение всей этой деревенской новеллистики слишком раздувают. Я бы вовсе не писал этого предисловия, если бы не был к тому особым

образом вынужден. Однажды Вейль пришел ко мне с сообщением, что он женится; мало того, он тут же заявил, что для этого благого дела ему необходимы пятьсот франков. Так как я молчал, то он прибавил, что мог бы легко получить эту сумму у одного книгоиздателя, если бы только я дал несколько строк предисловия к тому его нравоописательных очерков эльзасской народной жизни. Мне предстоял выбор — либо выдать сумму в пятьсот франков, либо написать две-три странички. Вы понимаете, что я недолго колебался». (Книга Калиша «*Pariser Lebensbilder und Skizzen*», 1880.)

ФАУСТ

«Фауст» был написан в феврале 1847 г. как либретто для балетного спектакля, по вызову лондонского театрального деятеля Бендж. Лемлея. 27 февраля Гейне уже отослал рукопись в Лондон. Лемлей оплатил труд Гейне, однако же «Фауст» так и не был поставлен на балетной сцене. Гейне не переставал надеяться, что «Фауст» будет все же принят театрами, — еще в 1852 г. он обращается снова к тому же Лемлею (письмо от 21 февраля 1852 г.). До того Гейне делал попытки заинтересовать своим «Фаустом» немецкий театрально-музыкальный мир. 22 июня 1850 г. он адресует письмо к композитору Веск-фон-Пюттлинген; в письме он просит его просмотреть рукопись «Фауста», хранящуюся у Густава Гейне, в Вене.

Побывала рукопись Гейне и в дирекции берлинского оперного театра. В 1854 г. в Берлине Тальони поставила балет под названием «Сатанелла». Гейне сразу же заподозрил, что «Сатанелла» является заимствованием из отвергнутого дирекцией «Фауста», в Сатанелле он предположил совпадение с героиней «Фауста», с женственным Мефистофелем своего либретто. Напрасно граф Пюклер-Мюскау, который смотрел берлинский спектакль, заверял Гейне, что «Сатанелла» несколько не связана с «Фаустом» (письмо от 26 апреля 1854 г.), — Гейне обвинял берлинскую дирекцию в плагиате. В письме к Кампе от 1 июля 1854 г. Гейне выражал свое негодование: «Пять лет тому назад через Лаубе я им доставил рукопись своего балета, и они не дали ему никакого хода, но они украли у меня идею этого балета, и моя Мефистофела с большим успехом танцевала под именем Сатанеллы». Во всем этом происшествии с «Фаустом» Гейне винил Мейербера, тогда директора Берлинской оперы. В том же 1854 г. Гейне пишет направленное против Мейербера сатирическое стихотворение «Пean». В 1852 г. в «*Revue des deux mondes*» (февральский номер) «Фауст» появился во французском переводе, сделанном Сен-Рене Тайандье. В 1851 г. Кампе издал «Фауста» по-немецки отдельной книжкой, — первоначальный проект соединить «Фауста» с «Романцero» был отброшен.

Тема «Фауста» занимала Гейне еще до того, как он приступил по инициативе Лемлея к балетному либретто. По письмам 1824—1826 гг. видно, что уже тогда Гейне носился с мыслью создать собственного «Фауста». О собственном «Фаусте», которым он занят, Гейне довольно неудачно оповестил Гете во время аудиенции, полученной у Гете в Веймаре в 1824 г.

Никаких следов ранней работы Гейне над «Фаустом» не сохранилось. В нашем распоряжении только воспоминания Эдуарда Ведекинда, по которым можно проследить, как развивались замыслы этого не дошедшего до нас произведения.

В своем дневнике от 20 июня 1824 г. Ведекинд записывал: «Разговор коснулся «Фауста» Гете. Он [Гейне] сказал: «Я тоже собираюсь писать Фауста, и не затем, чтобы соперничать с Гете — о, нет! — Каждый человек должен написать собственного «Фауста». — «Тогда бы я Вам посоветовал не выступать с этим произведением в печати, ведь иначе публика...» — «Ах, послушайте, — перебил он меня, — до публики мне и дела никакого нет, только через чужое посредство я всегда узнавал, что думает обо мне публика, и не придавал этому никакого значения». — «Разумеется, Вы правы, — не нужно позволять, чтобы публика сбивала нас с правильного пути и не нужно гоняться за ее благосклонностью. Однако не стоит, чтобы она заранее была предубеждена против нас, нужно, чтоб она судила о нас без предвзятости. А Вы, наверное, вызовете предубеждение публики, если станете после Гете работать над Фаустом. Публика будет Вас считать человеком самонадеянным, Вам припишут свойство, которым Вы не грешите». — «Ну, тогда я выберу другое название». — «Вот это хорошо! — Вам удастся таким образом избежать невыгодного положения. Клингеман и де-ла-Мотт-Фуке * тоже должны были по этому поводу призадуматься».

Запись от 16 июля 1824 г.: «Гейне хочет писать «Фауста». Мы много говорили с ним по этому поводу, и замысел его мне очень нравится. «Фауст» Гейне будет полной противоположностью гетевскому. У Гете Фауст все время находится в действии, — это он отдает Мефистофелю те или другие приказания. У Гейне совсем иначе: действие сосредоточено в руках у Мефистофеля, и это он совращает Фауста на всякую чертовщину. У Гете дьявол выведен как отрицательное начало, у Гейне он будет изображен как положительное. — Гейне хочет изобразить Фауста в качестве геттингенского профессора, который скучает своею ученостью. Дьявол записывается к нему на лекции, рассказывает ему, что творится на белом свете. Ему удастся прибрать к рукам профессора, и профессор становится распутником. Студенты начинают по этому поводу обмениваться шуточками. «Наш профессор раз-

* Фуке выпустил в 1824 г. трагедию «Дон-Карлос, инфант испанский», с посвящением Шиллеру.

вратничает» — говорят о нем все громче и громче, покамест профессор не оказывается вынужденным оставить город и отправиться вместе с дьяволом в путешествие.

А между тем над звездами ангелы устраивают литературно-художественные вечера, куда заглядывает и Мефистофель. Там они держат совещание о Фаусте. Господу-богу во всех этих происшествиях не уделено никакой роли. Дьявол идет с добрыми ангелами на пари по поводу Фауста. Мефистофель прекрасно относится к ангелам, особенно он любит архангела Гавриила, и эту любовь Гейне хочет изобразить как нечто среднее между дружбой и половой любовью, — у ангелов, как известно, нет пола. Литературно-художественные вечера у ангелов тянутся через всю гейневскую пьесу. Относительно развязки у Гейне еще нет каких-либо определенных идей. Быть может, Фауст будет повешен Мефистофелем, который превратится к концу пьесы в живодера; быть может, и то, что пьеса не будет иметь никакой развязки, — это даст ту выгоду, что можно будет ввести в пьесу мотивы, прямо к ней не относящиеся. — Мне кажется, что этот «Фауст» будет стоящей вещью. Только я, как и Гейне, опасаясь, что из-за этих литературно-художественных вечеров в пьесе будет мало действия. Будь я посвободнее, я бы мог записать еще много других остроумных и характерных подробностей, услышанных мною от Гейне, — почти каждый день я встречаюсь с ним, но дневник и так берет у меня много времени.

Наконец, последняя запись от 23 июля:

«Он очень неохотно делится своими планами. Но о своем «Фаусте» он очень много разговаривает со мной — быть может, из внутренней потребности, быть может, оттого, что он надеется и от меня кое-чему поучиться, а быть может, и потому, что у него нет серьезных намерений выполнить этот план, — ведь о своей новелле * и о трагедии **, которой он сейчас занят, он совсем ничего не говорит. Он собирался своего профессора в «Фаусте» сделать профессором теологии, но я советовал предпочесть философию — хотя бы потому, что тогда он будет располагать более широким попранием для своей пародии, и с этим он согласился».

Записи Ведекинда были опубликованы известным исследователем Гейне Штроттманом (*«Blumenthals Neue Monatshefte für Dichtkunst und Kritik»*, Bd. V). Литературоведы (Эльстер, Мюкке) относятся к свидетельствам Ведекинда довольно скептически. Эльстер даже полагает, что Гейне мистифицировал, рассказывая Ведекинду «Фауста». Из приведенных записей наглядно выступает сам Ведекинд — наивный бурш, восхищенный своим товарищем, хотя и старающийся в своих отношениях с ним сохранять и о самом себе достаточно хорошее мнение. Все это

* «Бахерахский раввин» (См. т. V Собр. соч. Гейне в изд. «Academia»)

** Очевидно, имеется в виду трагедия из венецианской жизни, которую Гейне задумал еще летом 1823 г.

так, но личность Ведекинда не дает достаточных поводов предполагать, что Гейне дурачил его своими сообщениями о «Фаусте»: в других дошедших до нас разговорах с Ведекиндом Гейне раскрывает перед ним принципы своей лирической поэтики и делает это самым серьезным и замечательным образом. Очевидно, первые замыслы «Фауста», действительно, были пародийными. Гейне в двадцатых годах был еще далек от того, чтобы оценить положительное и способное к дальнейшей жизни содержание и «Фауста» Гете и «Фауста» народной книги.

Более чем через два десятилетия эту задачу мог выполнить автор «Романтической школы» и «Религии и Философии в Германии». Гейне тогда уже располагал своими собственными ответами по всем большим вопросам, которые могла ему поставить немецкая литературная традиция; он знал, что делать с «Фаустом», как представить его в новой, живой и возвышенной, интерпретации.

В 1831 г. философ Карл Розенкранц дал первую в Германии пародийную версию «Фауста» — Фр.-Теод. Фишер в 1862 г. издает за подписью Дейтобольда Симболицетти Аллегорьевича Мисти-фицинского пародийную третью часть поэмы — третью часть, «верную по духу второй части гетевского «Фауста».

Немецкое бюргерство ликвидировало, таким образом, великую тему «Фауста», не зная, как всерьез справиться с этим символом героического периода своей социальной истории. Лишь Гейне сумел вернуться к теме Фауста, сохраняя полный ее живой объем, отказавшись от своих тоже ликвидаторских, вначале юношески неподготовленных истолкований ее.

«Фауст» Гейне возникает из того понимания первоисточника — народной книги 1587 г., которое Гейне предлагает в своем сопроводительном тексте к либретто. Догадки Гейне, комментатора народной книги, смелы и правильны. Недаром литературовед фашистской Германии Юлиус Петерсен в недавнем обзоре «Фаустианы» послегетевского времени выказывает полное пренебрежение к работе Гейне. «Разумеется, не Гейне было играть роль призванного хранителя самых священных достояний нации, хотя он и навязывался на эту роль...» — пишет Петерсен, бряцая только ему одному порученными ключами от арийского идейного имущества *. Петерсен имеет все основания отрицать интерпретацию народного мифа о Фаусте, созданную Гейне. Ведь именно Гейне обнаружил самую существенную силу немецкого национального фольклора — его плебейское мятежное содержание. Гейне отводит в сторону всю христианскую назидательную часть книги, изданной в 1587 г. у Шписа. Он совершенно прав. Для времени, которое следовало за разгромом крестьянского

* См. Julius Petersen, *Faustdichtungen nach Goethe*, «Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 1936, Heft 3.

восстания, предохранительная болтовня во имя спасения души была совершенно неизбежна. Без того книге не дали бы ни печататься, ни распространяться.

Доктор Фауст как историческое подлинное лицо был современником событий 1525 г. Вероятно, он скончался в 1540 г. С ним водился Франц фон-Зиккинген, который дал ему место школьного учителя у себя в Крейцнахе.

Гейне снимает с фольклорной книги набojную традицию, которой подчинился автор. Гейне старается через описанное в книге несправедливое житие добраться до живого героя, праведного в глазах народа.

Как историк немецкой философии, как историк немецкой поэзии, к тому времени Гейне утвердился в мысли, что высокая культура образованных классов и их исторические задачи составляют только часть великого народного движения к счастью и правильному строю. Гуманизм XVI столетия или философия XVIII не противоречат народным интересам, но как бы продолжают в формах более высокой культуры движение этих интересов. Высокая культура является как бы бессознательно народной. Свое назначение как критика, философа, филолога Гейне видел в том, чтобы подвергнуть сознательному анализу эти косвенные бессознательные отношения; в том, чтобы дать предметный урок истории своим передовым современникам, работавшим над демократизацией культуры.

Фауст, который творил свое дело на верхах культуры и знания, есть для Гейне герой народный.

Фауст для Гейне — явление, родственное Спинозе, Декарту, Канту, какими он их изобразил в «Истории религии и философии». Борьба Фауста с церковью, с авторитетами, с господом-богом, борьба за естественное право, за свободное знание, за вольную «языческую» жизнь — все это тенденции, далеко выходящие за границы эгоистических интересов господствующего класса, — размах этой борьбы соответствует народным масштабам освобождения.

Даже исторические сведения о д-ре Фаусте (Георг Сабеликус Фауст) подтверждают интерпретацию Гейне. О д-ре Фаусте дали отзывы современники-гуманисты. Это отзывы друзей по ремеслу и врагов по духу. В переписке, которую вели Иоганн Вирдунг из Гасфурта и Иоганн Тритемиус, сообщается о Фаусте, что человек он несерьезный, шарлатан и маг. Таково было мнение о нем и других коллег. Когда у Шписа было издано жизнеописание Фауста, то об этой книге очень неодобрительно отозвался один ученый современник: книга избрала недостойный предмет, выводы из нее опасны для молодежи, и не следует позорить искусство книгопечатания, воздвигая столь развратные образцы. Кроме того очень мужественно оспаривалась историческая достоверность книги. В книге сказано, что Фаусту была дана сте-

пень не только магистра, но даже доктора теологии. Все это ложь, таким, как Фауст, доктора не дают, — для сословия теологов это были бы позор и грязь (*«Lercheimerisches Buch»*, 3-е изд., 1597).

Если бы коллеги были правы и Фауст был бы 'заурядным шарлатаном, никогда бы о нем не сложилась народная легенда, и никогда бы жизнь его не превратилась в один из величайших литературных символов.

Очевидно, исторический Фауст хотя и был гуманистом, но гуманистом особым, не выражавшим среднюю типичность цеха; уже тогда мелкие ученые интересы, кропотливая, лишенная жизненного смысла, самодовольная работа отличала академическую корпорацию, куда входил и Фауст. Отзывы о Фаусте — это отзывы членов цеха, которые не хотят хвалить необычно даровитого коллегу с необычными общественными связями. Фауст народной книги — это не замкнутый эрудит, но деятель, — он ученость свою превращает в практику, в дело, он знанием пользуется как оружием то личным, то общественным. Ведет рассеянный образ жизни, посещает площади, бражничает со студентами, с которыми всюду держится как товарищ. Фауст занимается также и классической филологией. Но цель его — не грамматика, он извлекает из античных текстов прямую пользу — он женится на Елене Спартанской, он в жены добывает первую в мире красавицу, применяя знания классического филолога.

Практический пафос Фауста представлен в народной книге простодушно, как и в самой эпохе связь знания с практикой осуществлялась в формах наивных и магических. Фауст народной книги — наивный прототип широчайше освобожденной человеческой личности, самостоятельной, отбросившей авторитеты, подчиняющей себе материальную жизнь мыслью и словом — «*уменьем*» (*Kunst*), как сказано в самой книге.

Если тусклые грамматика и теологи шестнадцатого столетия отнеслись к этому человеку без всякого сочувствия, то в этом сказалась логика истории: лучшее, что могло выйти из их среды, принадлежало уже не им, но народу.

«Этот мятеж и его доктрина получили благодаря книгопечатанию столь волшебнo-могучий толчок, что с течением времени захватили не только отдельных высокообразованных людей, но и народные массы» — пишет Гейне.

Для Гейне из эпизодов народной книги оказался особо знаменательным эпизод с прекрасной Еленой. В народной книге удельный вес эпизода не слишком велик, — Гейне же в своем либретто сделал эпизод с Еленой решающим. К фольклору, к художественной традиции Гейне относится как воспитанник эстетики Гегеля. В художественной традиции для него форма и содержание не равны друг другу: содержание способно к историческому развитию, и данная форма его не имеет в себе ничего абсо-

лютного. Так, в книге о Фаусте пакт с дьяволом, антитезы земли и неба, греха и возмездия являются для Гейне только «символическим языком средневековья», от которого можно освободить реальный смысл, живущий и за чертою того столетия, когда впервые была закреплена легенда.

Фауст как символ всестороннего народноосвободительного движения — вот истинное содержание народной книги, сохраняющее свою действенность по сегодняшний день. Все комментарии Гейне сводятся к тому, чтобы добыть из мифа XVI столетия этот его направленный к будущему общий смысл.

И со смыслом Гейне поступает вполне самостоятельно, — он перемещает в нем отдельные моменты, изменяет общий рельеф смысла. Свои «эллинистические» идеи, свое учение о народном материализме, о мятежно-материалистических тенденциях народного развития Гейне совмещает с мифом о Фаусте, — при той интерпретации, которую Гейне дал Фаусту, такое совмещение естественно.

Нас должны бы удивлять упреки, сделанные Гейне по адресу Гете. Гейне считает, что Гете погрешил против «духа» народной поэзии, что Гете поступил неправильно, отвергнув «симметрию» народной книги — «симметрию», то есть противоположные соответствия в ней. В народной книге Фауст грешит и получает воздаяние, у Гете он грешит и спасается. Тем самым «набожную симметрию» фольклора Гете разрушил.

Критические замечания Гейне ничего общего не имеют с эстетикой гейдельбергских романтиков, которые тоже требовали, чтобы соблюдался «дух» фольклора. Гейдельбержцы опекали не дух, но форму, они были фетишистами раз навсегда данных деталей художественной традиции.

Гейне требует другого, когда он защищает «симметрию». Он требует: сколько бы ни проявлялся внутренний, неразвитый смысл художественной традиции, сколько бы современной точности и понимания мы ни вносили в этот смысл, позволяя ему развиваться вслед смутным в нем историческим тенденциям, — все равно, общие внешние очертания художественной традиции мы должны сохранить. Так, в своем «Фаусте» Гейне прежде всего сохраняет наиболее общий момент: именно эту симметрию религиозного преступления и религиозного наказания, на которой держится смысловая композиция. У Гейне остается и вся фольклорная чертовщина, все религиозные и антирелигиозные символы народной книги тоже остаются. В то же время изнутри все содержание переработано. У Гейне Фауста тоже черты уносят в эпилוגе. Но уносят они его тогда, когда он собирается вступить в церковь и обвенчаться с дочерью бургомистра. Смысловая развязка получается противоположная народной книге.

Фауст Гейне кончает тем, чем начал Фауст у Гете: «Гретхен» появляется только в пятом акте поэмы Гейне, и разочарованный

в приключениях с Еленой Фауст ищет утешения в мещанском счастье. И вот у Гейне адское наказание есть только дружеская услуга Фаусту — нечаянная услуга. Черти поступают очень мило: они разлучили Фауста с бургомистровой дочерью, с «Гретхен», они избавили его от бюргерско-прозаической судьбы, которая гораздо хуже и ада и всех его страшилищ.

Таким образом, сохранив нетронутыми формальные очертания традиции, Гейне вносит в свое произведение небывалое богатство коллизий, — на глазах у зрителя происходит вытеснение старых средневековых форм их содержанием, которое как бы осознало себя, приобрело полную волю и больше не уживается со своим недавним наивным обликом. Произведение Гейне наполнено чрезвычайным оживлением — внутри его как бы происходит историческая борьба, век спорит с веком, синтез спорящих сил, который был дан в произведении еще до того, как в него вступил сам Гейне со своим собственным пониманием дела, с пониманием, внушенным ему современностью, — этот синтез постепенно оказывается чем-то уже пройденным, чисто формальным и требующим замены. Гейне вносит историческую динамику и в художественную форму своего «Фауста», он реставрирует весь фольклорный уклад произведения, чтоб вести с ним борьбу в его собственных границах.

«Фауст» Гейне разрешается как трагедия.

Мечта о новой Элладе, о счастливом человеческом существовании в полную меру сил — эта мечта кажется Гейне погибшей. Гейне в своей танцевальной поэме впервые подходит к теме, которая определила весь эпилог его творчества. Современники Гейне либо превратили миф о Фаусте в тривиальную буржуазную идиллию, либо отнесли к нему нигилистически.

Эпоха «бидермейер», мещанский стиль 30-х и 40-х годов отразились самым удручающим образом на новых обработках темы «Фауста».

Уже наброски, сделанные Грильпарцером в 1811 г., ведут Фауста к пресловутому примирению. Мирили Фауста с наличным порядком вещей и Иоз. Нюрнбергер («Faust Junior», 1841), и Людвиг Бехштейн («Faustus», 1833), и Л. Вольфрам (драматическая поэма от 1839 г.), и Ферд. Штольте (выступивший с собственным «Фаустом» в шиллеровский юбилейный год — 1859). Церковь, семья, бюргерский полезный труд и пр. и пр. вещи предлагались Фаусту как лучший исход для его мрачной энергии.

Дюбуа-Реймон в своей речи от 1882 г. — «Гете, и без конца Гете» — подвел итоги филистерской Фаустиане, превзойдя по части пошлости всех предшественников. Вот что он предлагал как лучшую развязку «Фауста»: «Как бы это ни звучало прозаически, тем не менее верно, что не стоило Фаусту приближаться ко двору, разбрасывать необеспеченные ассигнации, спускаться в четвертое измерение, — лучше бы он женился на Гретхен,

узаконил бы своего ребенка, изобрел бы электрическую машину или воздушный насос; будь мы на месте магдебургского бургомистра, мы должным образом отблагодарили бы его *

Гейне в своей трагедии мог, разумеется, изобразить успокоение Фауста около бюргерской Гретхен только с совершенною иронией.

Гейне оправдывает все самые смелые притязания доктора Фауста. Гейне не собирался ни женить Фауста и прописывать его в современном бюргерском обществе, ни подвергать пафос Фауста нигилистической профанации. Оставался выход трагедии — пафос Фауста несоизмерим с реальным обществом, в котором Фауст действует.

Гейне приближался к полному разочарованию в буржуазной демократии. Современное буржуазное общество не способствует всестороннему развитию личности, — оно уродует ее и опошляет; оно неспособно «реабилитировать плоть», — материальная практика в этом обществе груба и порочна; оно уничтожает эстетику, мысль, личную свободу, профанирует любовь, наслаждение природой, социальные связи между людьми. Фауст с его эллинистическими требованиями морально сильнее современного общества. Зато у общества есть сила реального принуждения.

Гейне уверился, что сен-симонистский социальный идеал и бюргерский порядок вещей не могут придти к мирному соглашению друг с другом. Но та общественная эпоха, где «греческие идеи» не только нашли бы реальное применение, но были бы даже несравненно превзойдены, эта общественная эпоха отсутствовала в кругозоре Гейне. «Фауст» у него столь же грустен по мысли, по стилю, по развязке, как и родственная «Фаусту» элегия «Богов в изгнании».

Балетная форма вовсе не стесняла Гейне. Наоборот, она была ему нужна. Он даже подчеркивал балетный жанр в первом проекте заглавия и в окончательном заглавии: «Фауст, танцевальная трагедия» (письмо к Кампе от 13 сентября 1851 г.), «Доктор Иоганн Фауст, танцевальная поэма» (письмо к Кампе от 20 сентября 1851 г.). Балетный жанр — легкомысленный жанр. Развертывая трагедию как пантомиму, Гейне вносил в нее тот романтический юмор формы, которым он так дорожил обычно, — юмор, чья выразительность состояла в его недостаточной оправданности, в его постоянных столкновениях с трагической правдой самой фавулы. Трагедия получила еще более глубокие оттенки, совмещаясь с внешними условиями театрального жанра, наименее подобающего ей. Гейне высоко ценил своего «Фауста» и просил не смущаться его балетностью (письмо к тому же Кампе, 20 июня 1847 г.).

Гейне был прав. Написанный им текст — один из самых первостепенных в традиции Фаустианы.

* См. цитированную статью Петерсена. Даже Петерсен не хвалит Дюбуа-Реймона.

БОГИ В ИЗГНАНИИ

«Боги в изгнании» впервые были напечатаны по-французски в «Revue des deux mondes» за 1853 г., номер от 1 апреля. Тотчас же после того непрошенный переводчик перевел «Богов» с французского на немецкий (Берлин, 1853, изд. Гемпель). Гейне побуждал своего постоянного издателя Юлиуса Кампе начать процесс против литературных грабителей, но тот уклонился. Немецкий текст самого Гейне появился в «Разных сочинениях», т. I, 1854, Гамбург, Гофман и Кампе *. О том, когда и как писались «Боги в изгнании», точных сведений нет.

По содержанию и общей мысли «Боги в изгнании» относятся к произведениям Гейне, написанным в 30-х годах, — «Романтическая школа», «К истории религии и философии в Германии», «Духи стихий» **. Гейне здесь развивает одну из чрезвычайно важных для него идей — о существовании в средние века особой народной культуры, помимо культуры официальной, находившейся в ведении светских господ и римской церкви. Расхождение Гейне с романтиками по вопросу о культуре, о поэзии заключалось именно в этом. Романтики охраняли фольклор, народную поэзию, идущую из глубины средневековья, на том основании, что народ донес до наших дней правоверное религиозное сознание минувших столетий, идеалы отречения, церковного аскетизма, подчинения властям. Гейне свою собственную высокую оценку фольклора и народной культуры строил на соображениях прямо противоположных: для Гейне народная традиция была важна и стоила усвоения только в тех своих мотивах, где она боролась с идеологическим внушением господствовавших классов. Гейне изучал и связывал с собственной художественной деятельностью совершенно иные стороны народной культуры, нежели романтики Гейдельберга или поэты швабской школы.

Вместо народного христианства, народной преданности догмату «назарейя», восхищавшей Клеменса Брентано и других лжекрестянических романтиков, Гейне искал у народных масс «эллинских» мотивов в жизненном поведении, в практическом укладе и в идеологических представлениях. По этой причине столько живого внимания, ученых розысков и художественной работы Гейне посвятил особой теме — пережиткам античного язычества в народной массе средневековья. От «Духов стихий» (первый замысел их относится к 1830 г.) до поздних «Богов в изгнании» Гейне одинаково усерден к этой своей теме — одной из наиболее характерных тем во всем его поэтическом мировоззрении. Гейне с поэтическим сочувствием изображает «подземную Элладу» средневековья, античный культ, язычество, стихийный

* О состоявшейся до того публикации в немецкой периодической прессе — см. в «Дополнениях и вариантах».

** См. Собр. соч. Гейне в изд. «Academia», т. VII.

материализм народных масс, подавленных неограниченным господством католицизма, религии отречения, налагающей запреты на вольное развитие народной жизни. В современной Европе приходили в упадок традиции буржуазной демократии, буржуазия, которая либо уже пробилась к власти, либо пробивалась к ней, заключала союзы со своими недавними противниками — с феодальными классами и с церковью, союзы эти направлялись против народа, с этих пор продолжающего одиноко свою борьбу с «назарейским» обществом, откуда ему посылались советы смириться и нести свой крест. Из атмосферы конца 40-х — начала 50-х годов и возникают «Боги в изгнании», где языческая весна человечества изображена грустно и без веры. Свой собственный «эллинизм» Гейне связывал со стихийной тенденцией народных масс разумно устроить реальные отношения человеческого общества. Собственная позиция философа и поэта казалась Гейне навсегда разгромленной. Катастрофа буржуазной демократии представлялась Гейне, как и многим из его современников, катастрофой всей человеческой истории в целом.

В основе «Богов в изгнании» лежат факты, собранные романтиками-филологами, наконец, отдельные мысли и наблюдения предшественников, только у Гейне превратившиеся в знаменательную поэтическую концепцию*.

Еще Август Шлегель в своих берлинских чтениях отметил, что языческие боги в средневековом сознании продолжали существовать под псевдонимами нечистой силы**. Опять-таки аналогичные замечания были у Иммермана в его «Мюнхгаузене»; в отдельных деталях у Иммермана как бы просвечивают будущие описания античных богов, нелегально сохранившихся среди христианского мира, описания, сделанные Гейне. Иммерман говорит о средневековьи: «Эти времена, которые старались представить самыми наивными и религиозными, эти времена были самими чувственными и материальными...» — «Боги (античные) были хитры, и, перерядившись, они проникали во враждебный лагерь, чтобы вызывать там замешательство и толкать на заблуждения. По стенам катакомб священная птица Юноны распускает свой хвост и кричит о бессмертии, Вакх высылает своих тигров и бросает копье в виноградник господ нашего, Аполлон вспоминает, как он стерег овец у Адмета, и притворнется простодушным пастухом, даже фаллический культ дерева заявляет о себе в этом мире, который по слогам выучил слово отречения, самое трудное слово, все снова и снова забываемое устами человеческими» («Мюнхгаузен», кн. VI, гл. 17, — напечатан «Мюнх-

* О фактических источниках «Богов в изгнании» см. работу Georg M ü s k e, H. Heines Beziehungen zum Deutschen Mittelalter. — «Forsch. z. neueren Literaturgeschichte», B. XXXIV, Berlin, 1908.

** A.-W. Sch leg el, Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, Teil III, изд. Minor 1803—1804, стр. 159.

гаузен» впервые в 1838—1839 гг.). Наиболее полное развитие тема гонимых богов нашла в ученом сочинении Якоба Гримма — «Немецкая мифология» (первое издание — 1835 г., второе измененное — 1844 г.). Книгу знаменитого романтического филолога Гейне знал и заглядывал в нее довольно часто.

Привожу из введения в «Мифологию» Гримма те высказывания, которые должны были особенно впечатлеть Гейне:

«Христианство не было народным, оно пришло из чужбины, и оно намеревалось вытеснить окруженных преданиями туземных богов, которых страна чтит и любила. Эти боги и обряд служения им были связаны с народными традициями, учреждениями и обычаями. Имена их возникли из народного языка, истари были они почитаемы, короли и князья вели свое происхождение от иных из этих богов. Леса, горы, озера от живой их близости приобрели священное значение. От всего этого должен был народ отречься, и все, что прежде признавалось верностью и преданностью, сейчас все это возвестителями новой религии. изображалось как грех и преступление и преследовалось ими. Источник и начало святого учения были отнесены в дальние страны, и родные местности довольствовались только слабыми отблесками их славы».

«Эти миссионеры язычников должны были часто оскорблять национальное чувство, так как были сурово-набожны, умерщвляя плоть, отличались мелочностью и упрямством, рабски зависели от далекого Рима. Для них были отвратительны не только грубые кровавые жертвы язычников, но и языческое веселье, языческая чувственность. Чего они не могли добиться словом и творением чудес, того новообращенные христиане добивались огнем и мечом, в борьбе против упорных язычников».

«Хотя языческие боги и были объявлены бессильными по сравнению с истинным богом, но не всюду считали, что сами по себе они лишены власти, — их превратили во вражью злую силу, в чертей, кудесников и великанов, которые должны были низойти, на время все же сохраняя свое губительное влияние и способность к действию».

«После того как боги обратились в чертей, мудрые жены в ведьм, обряд богослужения в суеверные обычаи, после этого имена богов поминались еще в темных воззваниях, в клятвах, проклятиях и формулах заверения». «В поздние времена христиане, занимаясь колдовством и наговорами, призывали еще имена старых богов».

В описательной части «Мифологии» Гримма Гейне мог найти много подтверждений своим догадкам о тайном язычестве, о народном материализме («чувственности») средних веков. Но у Гримма проводится противоположная оценка: при известных оговорках Гримм считает христианскую церковь благодеянием,

и народное мировоззрение, по Гримму, заслуживало быть уничтоженным, — Гримм сожалеет о нем только как историк и археолог, который недосчитывается языческих памятников, разрушенных миссионерами.

«Боги в изгнании» отличаются от своих источников чрезвычайным мастерством Гейне-рассказчика. Произведение Гейне в сущности состоит из трех законченных новелл, написанных по лучшим правилам жанра (новелла о рыбаке и Вакхе, новелла о переселении душ, новелла о Зевсе на севере). Для первой из них — о рыбаке и Вакхе — можно указать близкий к Гейне источник. Сравнение покажет, какую работу художника приложил Гейне к примитивной и полуосмысленной фабуле, доставшейся ему по традиции. В «Немецких сказаниях» братьев Гримм («Deutsche Sagen», В. I, 1816) Гейне, близко знакомый с этой книгой, нашел рассказ «Монахи на переправе».

«Жил в городе Шпейере рыбак. Ночью он вышел на Рейн и хотел уже закинуть сети, как тут приблизился к нему человек, одетый в черное по-монашески, и, после того как рыбак почтительно приветствовал его, человек сказал: «Я послан издалека, и мне нужно переправиться через Рейн». — «Садись со мной в мою лодку, и я буду твоим перевозчиком», — ответил рыбак. Он переправил этого человека и вернулся, и вот уже другие монахи — их было пятеро — стояли на берегу и тоже просили о переправе.

Рыбак спросил у них скромно — зачем это они по ночам ездят. Один из монахов отвечал ему: «Нужда нас заставляет. Люди враждуют с нами, выручи нас, и бог тебя наградит». Рыбак хотел знать, что они дадут ему за работу. Они сказали: «Теперь у нас ничего нет, но когда станем богаче, то сможем отблагодарить тебя». Рыбак отчалил с ними, но едва лишь лодка оказалась на середине реки, как началась страшная буря. Волны захлестнули лодку, и рыбак весь побледнел. «Что такое, — думал он, — на закате небо было ясное и луна такая была приветливая, откуда же непогода?» И когда он поднял руки к небу, чтобы молиться, один из монахов сказал: «Не докучай богу молитвами, не упускай руля». И тут он вырвал у него руль из рук и стал колотить бедного рыбака. Полумертвый лежал рыбак в своей лодке, уже светало, и монахи исчезли. В небе опять прояснилось, рыбак ободрился, поехал обратно и не без труда нашел свое жилище. На другой день гонец, рано отбывший из Шпейера, встретил тех монахов, — ехали они на грохочущей, обитой в черное повозке о трех колесах, был у них длинноносый возница. Удивленный, гонец остановился, пропустил повозку и увидел, как она взвилась в воздух с шумом и пламенем, при этом слышен был стук мечей, как если бы сошлись два войска. Гонец вернулся в город и принес показания. Решили, что видение это — свидетельство о раздоре между немецкими князьями.

Тема богов в изгнании после Гейне получила распространение в литературе. Прямые ссылки на Гейне делает Уолтер Патер в книге «Ренессанс». Собственные новеллы У. Патера — «Денис из Оксерра», «Аполлон в Пикардии» (книга «Воображаемые портреты») — примыкают к «Богам в изгнании». Тематику Гейне можно проследить у французских поэтов: Леконт де Лилля, Эредиа, Т. Готье, Анри де Ренье.

БОГИНЯ ДИАНА

Балет «Диана», как и «Фауст», обязан своим возникновением знакомству Гейне с лондонским театральным деятелем Бендж-Лемлеем. Балет был, очевидно, написан в самом начале 1846 г. (см. письмо к Лассалю, 27 февраля 1846 г.). Поставлен он не был. По своему общему смыслу «Богиня Диана» является лишь дополнением к «Богам в изгнании». Многие подробности восходят к новелле Эйхендорфа «Мраморное изваяние» и к новелле Виллибальда Алексиса «Венера в Риме».

Маэстро Бартель, о котором упоминается в предисловии 1854 г., — Рихард Вагнер, поставивший в 1843 г. «Моряка-Скитальца» и в 1845 г. «Тангейзера», сюжет которых заимствован у Гейне («Моряк-Скиталец» — см. «Мемуары Шнабелевского»)*.

ПРИЗНАНИЯ

«Признания» писались в 1853 — конец года, в начале 1854 г. были закончены. Гейне рассматривал их как пролог к книге мемуаров и ждал, что они произведут впечатление. В сентябре 1854 г. «Признания» появились по-французски в «Revue des deux mondes» («Aveux d'un poète»). Во французской редакции текст был до того искалеченный, что Гейне пришел в неистовство. Однако чрезвычайный успех «Признаний» в Париже несколько успокоил Гейне. Дальнейшие тревожения были связаны с судьбой «Признаний» в Германии. Литературные предприниматели, не дожидаясь, пока сам Гейне выпустит немецкое издание «Признаний», спешно сделали перевод с французского текста и в таком виде пустили «Признания» в аугсбургской «Всеобщей газете» — 21—26 сентября 1854 г., приложения № 264—269. «Всеобщая газета» присоединила к похищенному тексту самые неуважительные отзывы: в приложении № 270 от 27 сентября писалось, что «Признания» имеют интерес только патологический, что Гейне безнадежно отстал от немецкой жизни и совершенно в ней не разбирается. Немецкая печать подхватила отзыв «Всеобщей» — на «Всеобщую» стала ссылаться и «Кельнская газета» и другие издания. Хотя ни барон Котта, издатель «Всеобщей», ни Кольб,

* См. Собр. соч. Гейне, т. V.

ее редактор, не были инициаторами этого выступления против Гейне, но номер от 27 сентября свое дело сделал. Немецкий текст «Признаний» самого Гейне появился только в издании Камне — «Vermischte Schriften» — «Разные сочинения», 1854, 3 тома.

«Признания» — одно из тех произведений, где Гейне дает себе отчет в недавних мировых событиях, в результатах событий 1848—1849 гг. Для него наступила потребность пересмотреть свое мировоззрение демократа, атеиста, сторонника социалистических учений, «эллина», верящего в счастливое материальное развитие человечества вопреки «назарейнам», проповедующим отречение, голодный паек для трудящихся масс и голую религию наживы для стяжателей.

«Признания» ни в коем случае не следует рассматривать как богословский трактат, как буквальную защиту иудаизма, как возвращение Гейне к Библии и к Иегове — в «дом своих отцов». Так понимали «Признания» недальновидные историки литературы, религиозные публицисты, наконец, литераторы с националистической еврейской тенденцией, которым очень хотелось видеть в умирающем Гейне старого еврея, принесшего, наконец, извинения перед Тору и «законом» после стольких лет самого яркого безверия. Гейне следует в «Признаниях» своей символической манере, отправляется от больших социально-философских символов «эллинства» и «иудаизма», им же самим созданных по намекам и указаниям Гегеля и гегельянцев, Сен-Симона и сен-симонистов. «Эллинство» и «назарейство» для Гейне являлись двумя возможными типами общественного развития: эллинство означало свободное социалистическое общество, повторяющее красоту и человеческое совершенство античных республик, назарейство было символической печатью для общества буржуазии, для феодально-буржуазного общества, где все определяется режимом угнетения, калечащим живого человека, его чувственную жизнь, его телесную и духовную природу, где господствует торгашеский утилитаризм, для которого все предметы живого мира измеряются их денежной ценностью и где материальная практика обесчещена «грязной еврейской формой», приданной ей эксплуататорами. Если держать в памяти все писания Гейне со времен его переселения в Париж, все сказанное им в 30-х и 40-х годах по вопросам исторического развития, философии культуры, эстетики, то именно в таком смысле представляются и все суждения за и против иудаизма, напечатанные им в «Признаниях». «Назарейское» общество — это общество эксплуататоров, в котором никакая земная практика не находит удовлетворения в самой себе, — оно нуждается в потустороннем мире и в потусторонних ценностях для того, чтобы прикрыть скудость и повор земного существования. Оно не может обойтись без бога и без морали, так как предоставить каждой индивидуальности полную волю в ее развитии это значило бы в условиях антагонизма

стического общественного устройства вызвать войну всех против всех, величайший развал и анархию. На деле буржуазное («назарейское») общество именно таково — режим наживы и всеобщей конкуренции, действительно, приводит к отъявленному цинизму, к окончательному распаду всех социальных отношений. Для собственного украшения, для того, чтобы управлять трудовой массой, общество эксплуататоров предпочитает не называть вещи своими именами, оно толкует о боге и о морали там, где совершаются ежедневные насилия и где слабость, незащищенность считается самым страшным из всех смертных грехов.

Когда Гейне допрашивает библейского бога, можно ли к нему вернуться, то это вовсе не есть «религиозное искание» как таковое. По существу Гейне размышляет о том, можно ли ему мириться с буржуазным обществом, как оно есть, с буржуазным обществом, которое, разгромив восстание рабочих, после июньских дней 1848 г., снова пустило в ход свою обычную машину, снова занялось своими прозаическими делами, отбросив в сторону демократическую идеологию и все старые свои революционные традиции. Антирелигиозные остроты, стилистические фигуры, в которые превращены у Гейне догматы писания и церкви, достаточно свидетельствуют, что Гейне как был, так и остался веселым атеистом. Он сам предупреждает верующих, что у него им не найти поживы. Спрашивается, если не с отвлеченной религиозной истиной, то с реальным обществом буржуазии вступил Гейне в соглашение или не вступил?

Ответ: соглашение с послемартовской, с бонапартистской буржуазией у Гейне не состоялось, хотя Гейне как будто от времени до времени и делал примерку на такое соглашение. Даже Гейне-раскаянного буржуазия отвергла, — его сочинения 50-х годов не вызывали никакого сочувствия в буржуазной критике, и это был правильный инстинкт: Гейне был слишком честным писателем для трусливых, изолгавшихся буржуа, искавших защиты у прусского короля или у Наполеона III, императора французов.

1848 год дал Гейне, как и всем его современникам, глубокие уроки. Он более не верит в буржуазную демократию, — эти иллюзии исчерпаны. Позади июньского разгрома Гейне в буржуазном обществе больше никакой «Эллады» не видит, осталось одно полуглауридное, полутрагическое «назарейство».

Но великим несчастьем для Гейне было то, что он не оценил будущности пролетариата. О рабочей массе он пишет в «Признаниях» как о грозной самостоятельной силе, — это Гейне усвоил из событий революционного года. Однако пролетариат для Гейне сила эгоистическая, нецивилизованная, пролетариат не кажется ему представителем революционных интересов всего общества в целом, способным создать более высокий и справедливый строй. Пролетариат для Гейне остается носителем своих особых частных интересов и целей, достаточно опасных, чтобы вызвать обще-

ственное потрясение, но слишком недостаточных для созидательной исторической работы. Эту точку зрения выражают многие вещи Гейне 50-х годов. Гейне для себя, человека связанного с буржуазными классами по происхождению, по воспитанию, не усматривает причин для перехода на позиции пролетариата, которые кажутся ему очень специальными, очень узкими, созданными только для тех, кто имеет в них свою групповую заинтересованность. Пролетариат не представляется ему «последним классом», отменяющим классовое общество. Пролетариат для Гейне это всего лишь один из классов общества, с такими же ограниченными целями, как господствующий класс буржуазии. Это была великая ошибка, и с нею Гейне сошел в могилу. Однако же в его сочинениях сохранилось чувство сделанной ошибки, — в «Признаниях» оно очень велико, и этим для нас все же оправданы «Признания», сочинение, где можно подобрать сколько угодно злой брани по адресу освободительных идей, по адресу революционного плебейства, — стоит хотя бы перечесть совершенно возмутительный эпизод о Вейтлинге.

Сколько бы Гейне ни бранился по адресу революции (после 1848 г., он, однако, писал ей и гимны), все равно он не мог стать адвокатом контрреволюционной буржуазии.

«Признания» поражают своей откровенностью. Гейне предупреждает, что исповедь его собственная не будет похожа на традицию исповедей, какой она известна из литературы. Облагораживающей лжи в «Признаниях» не будет. Гейне сдержал обещание. Он настолько близко подошел к реальным мотивам собственной новой идеологии, что она теряет свое значение идеологии. Его статья не содержит никакой мистификации, это на деле — «признание».

Гейне просто и ясно рассказывает, почему он хочет отказаться от атеизма и освободительных идей. Атеизм стал достоянием масс, атеизм стал неотъемлемым от коммунизма, следовательно, Гейне не желает быть атеистом. Еще недавно учение для избранных, сегодня атеизм господствует на улицах и площадях. Дело не в самих идеях, а в том, кому они служат. Атеизм вреден буржуазным классам и нужен неимущим. Отсюда делаются все выводы.

Когда Гейне пробует защищать буржуазный мир и его идеи, слишком четко он заявляет, что эта защита есть отказ от самых больших надежд человечества. Прославление «назарейских» идей — явление упадочное, оно происходит от «плохой жизни», от болезни, от болезненности, которым подвержено современное общество. Здоровье и деизм — две вещи несовместимые. Если приходится звать к моеяеву закону, к заgrabным утешениям, приводить в движение мораль, то это значит, что все очень скверно, что человечество стоит на бездорожье. С возвратом к «назарейству» у Гейне связан тягчайший пессимизм, самый откровенный и указывающий на свой собственный источник.

Такая защита, горькая, почти ироническая, саморазоблачительная, была не нужна буржуазии. Гейне, даже поворачиваясь спиной к революционному плебейству, мог предложить буржуазии только пустые руки.

В «Признаниях» откровенно сказано, что поражение народа и торжество имущих есть остановка истории, ее черный день, за которым никаких надежд не видно. Гейне, собственно, пишет о прекращении мировой истории как о выходе из затруднений сегодняшнего дня. И это показывает, насколько инстинкт пояснял Гейне, что ключ к дальнейшему поступательному движению человечества именно у мятежного народа, который, по словам того же Гейне, ни добр, ни красив, ни умен, — представляет собой голую стихию разрушения. Полная безотрадность, с какой Гейне рисует будущее человечество, если из него вычесть революционную энергию народных масс, эта безотрадность и есть отражение ошибки, сделанной Гейне в оценке исторической роли пролетариев. Гейне косвенно признал, что отныне только через «четвертое сословие» человечество может взойти на новую ступень. Прочное царство буржуа означает реакцию и состояние смерти, едва прикрытые тусклыми цитатами из церковных книг.

В «Признаниях» Гейне уделяет чрезвычайное место Гегелю и его школе. Диалектическая философия, знающая только конкретный мир истории и восходящее движение, сейчас представляется Гейне силой, абсолютно противоположной укладу и настроениям пореволюционной Европы. Гегель для Гейне патриарх современных разрушительных идей, заодно с прочими своими отречениями он отказывается и от Гегеля. Оценка Гегеля как «атеиста и антихриста» у Гейне совершенно совпадает с мнением левых учеников Гегеля, заявленным еще в начале 40-х годов. Сейчас, в 1854 г., когда перед Гейне был пример Фейербаха и больше того — пример Маркса, Гейне мог окончательно увериться в возможности революционных выводов из учения Гегеля.

Недаром имя Гегеля господствует в этом произведении Гейне, где антитеза назарейства и эллинизма играет основополагающую роль. Исследователи всегда считали, что эти понятия Гейне целиком заимствовал из сен-симонистских источников. Стоит только обратиться к литературе современников, чтоб узнать о других идейных наитиях, руководивших автором «Признаний». Бруно Бауэр через антитезу эллинизма и иудаизма старался раскрыть, к чему тайно тяготеет мысль учителя, в чем пафос Гегеля и в чем состоят его непоказанные убеждения. В памфлете от 1841 г. Бруно Бауэр писал: «Нет ничего, что Гегель ненавидел бы больше, чем иудаизм».

«Религия в глазах Гегеля является вообще чем-то специфически восточным, а для нас тоже чем-то сирийским. Долой этот плод Востока и Галилеи, идите в Грецию, станьте греками, станем снова людьми! — призывает он нас». «Ни одну религию он не

изображал и не хвалил с таким восторгом, как греческую. Естественно! В основе она и не является религией. Он называет ее религией красоты, искусства, свободы, человечности. Всегда он ставит ее выше религии откровения. В последней празднуется эгоизм раба». «Гегель бражничает с греками, чтобы забыть о религии и церкви. Он пьет олимпийский нектар, дабы в этом языческом упоении вознаградить себя за религиозные муки и умерщвление плоти». («Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом, — ультиматум») *.

Здесь не место подтверждать более детально гегельянское происхождение «эллинов и назареев». Но в «Признаниях» характерным образом отказ от эллинизма сопровождается нападением на Гегеля. Приведенные цитаты достаточно говорят, каков был смысл символических категорий эллинизма и назарейства, — гегелевский контекст прозрачней, чем у Гейне, ближе связывается с реальными значениями. По Гегелю, религия иудаизма — это «чистый ужасающий эгоизм», обожествленное право собственности и отмена человеческой личности как явления самодовлеющего. Иудаизм у Гегеля очерчен как отдаленный, смутный прототип сознания, регулирующего практику новейшего капиталистического общества. Конечно, ни идеи Гегеля, ни идеи Гейне ничего общего не имеют с фашистскими теориями, для которых капитализм есть еврейская общественная формация, назло арийцам созданная еврейскими руками.

Для Гегеля и Гейне речь шла об идейных связях между христианством и религией древней Иудеи, в особенности о связи между иудаизмом, Библией и протестантством в его зарождении и в его дальнейшем развитии; протестантство же есть типическая идеология общества капиталистов, созданная вместе с этим обществом, наравне с ним, и приспособленная к кругу его практики; в древнем иудаизме протестантство нашло для себя нужные элементы, как в других отношениях общество более ранней стадии капитализма в культуре Рима и Эллады разыскивало нужные ему мотивы идеологии, заимствуя их и перерабатывая по своим потребностям.

Сам Гейне в «Признаниях» говорит о протестантских странах как о своеобразной Палестине, — шотландцев-протестантов, датчан, население Севера Европы, Соединенных штатов он шутивно называет евреями, ритуал которых допускает свинину.

Как Гегель, Гейне свободно играл символами и терминами, отождествляя противоположные значения.

Религия отождествляется с родственными ей формами сознания, культурное сознание отождествляется с общественным строем, к которому оно относится, и, наконец, культурное сознание

* Цитаты — по русскому переводу Б. Чернышева, 1933, стр. 99, 102, 103.

отождествляется со своей исторической традицией. Так, иудаизм, имеющий только косвенную связь с буржуазным сознанием, становится равным этому сознанию, само же сознание в целом покрывает всю многообразную практику общественной эпохи. В результате понятие иудейства изображает у Гейне весь мир современной буржуазии снизу доверху. В основе лежит недостаточно расчлененное чувство соответствий между различными сторонами исторической жизни; идеалистическое мировоззрение, от которого Гейне не был до конца свободен, внушало ему ложную мысль, будто единство всех форм исторической жизни обусловлено культурным сознанием, господствующим над эпохой.

Игра отождествлениями затрагивает у Гейне также связь между простым буквальным смыслом символа и всеми дальнейшими смыслами, которые из этого первого смысла выводятся. В «Признаниях» умирающий Гейне совершенно драматически отождествляет иудаизм с элементарной религией синагоги, с библейским господом, на которого возлагает свои жалкие надежды человек, отвергнутый врачами, медициной, мирянами и мирскими интересами. Иудаизм как философско-историческую категорию Гейне приравнивает к бытовому, современному «иудейскому вероисповеданию». Но это только один из аспектов «Признаний», и напрасно еврейские религиозники торопятся приписать себе «Признания» вместе с их автором. Другие аспекты точно так же дают о себе знать, и Иегова «Признаний» возникает во всем множестве своих философско-символических значений. Юмористический тонус «Признаний» сильнее всего образом видоизменяет их содержание. Ирония всегда служила Гейне поправкой на действительность. Так и здесь: отождествляя неотожждествимое, превратно изображая отношения исторической действительности, Гейне отнюдь не становится рядовым педантом идеалистической философии: ирония, сопутствующая почти всем абзацам «Признаний», указывает, где мышление поэта находится на уровне действительного хода вещей и где оно отклоняется. Гейне как бы помещает читателя посредине между буквальным и не-буквальным содержанием понятий и образов, — эти содержания непрерывно переходят друг в друга.

Любопытно, что, вооруженный против Гегеля, Гейне тем не менее сплошь и рядом обращается со святым писанием в истинно гегелевском духе, хотя и пародируя метод Гегеля — как, например, в тех абзацах, где пародия вызвана самим фактом апелляции к «гегельянцам»: к Марксу, к Фейербаху, к Бруно Бауэру, Даумеру и другим (отсюда, между прочим, видно, что даже в 1854 г. Гейне недостаточно различал между левыми гегельянцами и Марксом; правда, Маркса он называет самым закоренелым из отрицателей). Гейне приводит, как пример высшей истины, эпизод из Библии, где рассказано о праматери Еве, о змие и о грехопадении. Он понимает библейский эпизод не реально, не

дословно, а как эмбрион общей мысли, скрывающейся в назидательной фавуле.

Именно так интерпретировали писание и сам Гегель и его левые ученики — в частности Ева и грехопадение разъяснялись у них в том же точно философско-дидактическом смысле, что и у Гейне. Из Гегеля можно взять такую параллель к тексту Гейне: «Состояние невинности — это райское состояние — есть животное состояние. Рай — парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди. Ведь зверь находится в единстве с богом. Грехопадение — вечный миф человечества» («Философия истории»). А Бруно Бауэр в своем «ультиматуме», притворно ужасаясь перед системой Гегеля, всю систему изображает на языке рассказа о Еве и райском яблоке. «Таково ужасное, вызывающее трепет, убивающее всякое благочестие и религиозность ядро системы. Кто вкусил его, тот умер для бога, ибо он считает бога за мертвеца. Кто ест его, тот пал ниже Евы, когда она ела яблоко и Адам был соблазнен ею. Ведь если Адам надеялся стать как бог, то приверженцу этой системы недостает даже этого высокомерия, пусть и греховного. Он вовсе не хочет стать как бог, он хочет быть лишь «я» — «я», овладеть и наслаждаться богохульственной безграничностью, свободой и самодовлением самосознания. Эта философия не хочет признавать никакого бога, никаких богов, как признавали язычники. Они хотят только людей, только самосознания; все для них является их суетным самосознанием» («Трубный глас», стр. 60—61).

Для гегельянцев Библия есть именно миф, иносказание, примитивный образ, еще не достигший степени «понятия» и находящийся в самом начале движения к нему. В этом библейском мифе только брезжит мысль, вполне развитая в общей своей форме у Гегеля, в его учении о свободе и самосознании.

Гейне делает вид, что он способен допускать текст Библии как в его философском, «гегельянском», так и в его наивном, буквальном смысле. Но от наивного реализма верующих и следа нет в «Признаниях» Гейне, только соприкасающихся с элементарным деизмом, чтоб тотчас же отодвинуться от него на неизмеримое расстояние.

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

Рукопись не сохранилась, впервые были изданы Штротдманом (1869 г.) в книге «*Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine. Aus dem Nachlasse des Dichters zum ersten Male veröffentlicht*», Hamburg, 1869.

Группировка высказываний, очевидно, была установлена Штротдманом. Штротдман не дал никаких указаний ни относительно общего состояния рукописи, ни о датировке отдельных ее кусков. По содержанию можно судить о том, что сюда вошли

высказывания из различных эпох развития Гейне. Одни из них перекликаются с «Путевыми картинами», другие — с наиболее поздними произведениями Гейне, особенно с «Признаниями».

Рассуждения Гейне о «революционной» природе царской власти в России аналогичны тем, которые Гейне поместил в «Пут. картинах» (см. Комментарий к IV тому нашего издания, стр. 699—700). В афоризмах русская часть завершается иронической тирадой, показывающей, что Гейне с течением времени стал ближе к подлинному пониманию сущности русского самодержавия и роли, выполнявшейся им в Европе.

Критические замечания Гейне о коммунистах имеют в виду отнюдь не научный коммунизм Маркса и Энгельса, но те примитивные и отсталые социалистические доктрины 30-х и 40-х годов, идейную традицию которых Маркс и Энгельс охарактеризовали в Коммунистическом Манифесте как «всеобщий аскетизм и грубую уравнильность». (Соч., т. I, стр. 509).

МЕМУАРЫ

Писанье мемуаров — один из самых ранних замыслов Гейне. Он думал о собственных «Воспоминаниях» еще в ту пору, когда воспоминаниями сколько-нибудь значительными он не располагал: в 1823 г., двадцатипятилетний, он сообщает Людвигу Роберту, что готовится рассказывать о своей жизни (письмо от 27 ноября). О том, что «Мемуары» пишутся, он уведомлял через год с небольшим Мозеса Мозера (письмо от 11 января 1825 г.). Часть первоначальных «Мемуаров» вошла в «Людвига Берне» (1839) — в книгу вторую, — изображение событий 1830 г., Июльской революции. Мемуары писались и дальше, превращаясь в картину времени. Гейне отдалял их публикацию — в «Людвиге Берне» часть их была вставлена только по необходимости, только по условиям общего распорядка книги. Но в 1837 г. подоспел повод для усиленной работы над ними и для их завершения. Шейбле предложил Гейне издать полное собрание сочинений со вступительной автобиографией. Издание Шейбле не состоялось, но работа над «Мемуарами» не отпала. Гейне убеждает Юлиуса Кампе, своего постоянного издателя, взять мемуары. Кампе не торопится. В 1840 г. Гейне говорит уже о четырех томах «Мемуаров», им написанных, и о богатстве их историческими материалами (письмо к Кампе от 14 сентября).

В 1847 г. Гейне вступает в договор со своим кузеном Карлом Гейне, по которому все написанное о родне подлежит предварительному просмотру самими родственниками. Таким образом, автобиография Генриха Гейне как бы заранее подлежит цензуре гамбургских близких и дальних, — нужно полагать, что в сочиненных уже мемуарах содержалось немало о них неприят-

ного, у Гейне были достаточные причины, чтобы описывать Гамбург и тамошнюю «фамилию» без излишней нежности.

К концу 40-х годов философско-политические взгляды Гейне менялись. Многое из прошлого он видел уже не теми глазами — «Мемуары» устаревали. В конце ли 40-х годов, в начале ли 50-х, но где-то около этого времени он бросает «Мемуары» в огонь, чтобы избавиться и от пререканий с Карлом Гейне и от собственного идейного былого.

Погибла большая часть «Мемуаров».

В 1854 г. Гейне возвращается к труду над ними.

Он старается дать применение остаткам от старой рукописи и сочиняет новое. Орывок, который до нас дошел, относится к этому новому варианту «Мемуаров». Задачей исследователей было дознаться, куда девалась остальная часть написанного. «Мемуары» — самое несчастливое из произведений Гейне. Анри Юлиа, человек прикосновенный к бумагам Гейне, уверял, что дошедший отрывок (самим же А. Юлиа опубликованный) — это все сохранившееся из «Мемуаров» по смерти поэта. По словам этого свидетеля, во всех отношениях крайне подозрительного, Гейне собственной рукой уничтожил свои «Мемуары», не пощадив ни первого, ни второго варианта.

Есть слишком много оснований объяснять исчезновение «Мемуаров» совершенно иным образом. Догадки устанавливают, что посмертная судьба рукописи Гейне была непростой и в прямом смысле трагической.

Не подлежит сомнению, что Гейне, положивший свои последние силы на вторую редакцию «Мемуаров», вовсе не был намерен эту редакцию уничтожить. Альфред Мейсснер в 1854 г. видел у Гейне всю рукопись целиком, на-глаз это было три тома. Когда Гейне умер и Мейсснер стал разбирать архив, ему сразу же показалось, что «Мемуары» от него утаивают. В конце концов «Мемуары» были ему показаны, — Матильда Гейне держала их в стенном шкафу, отдельно от других бумаг покойного мужа. Мейсснер высказывает предположение, что Матильда назначила «Мемуары» к отсылке в Гамбург, на суд и приговор гамбургской родни *.

Догадка Мейсснера все более подтверждалась после новых поисков, предпринятых теми исследователями Гейне, которые не мирились с пропажей «Мемуаров».

Литературное наследие Гейне, где были и рукописи вещей напечатанных и рукописи ненапечатанных вовсе, наследство это попало к Матильде, которая могла с ним поступать, как вздумается. Матильда, столько раз описанная у Гейне лирически и снисходительно, на деле оказалась жадной мещанкой. Она плохо

* A. Meissner, Geschichte meines Lebens, B. II, Wien und Teschen, 1884, S. 438 ff.

разбиралась в рукописном товаре, оставшемся от покойного мужа, не знала по-немецки, не знала юридических правил и брала советы у Анри Юлия, адвоката, который ей указывал, как и из чего извлекать доход.

Ее научили, что на рукописях Гейне, писателя социально опасного, можно зарабатывать, даже не печатая их. Правительства охотно их купят, чтоб не выпустить их в публику. Юлиус Кампе не давал больших денег, — в 1861 г. переговоры, по которым от него требовали 30 000 франков, расстроились. В 1864 г. Матильда через Фердинанда Фридланда предлагала архив Генриха Гейне австрийскому правительству, в 1868 г. — прусскому правительству, наконец, Наполеону III. Все отказывались.

Розыски, которые впоследствии произвели в архиве Наполеона III, только подтвердили, что гейневских рукописей там никогда не было *. Для вопроса о «Мемуарах» всякие последующие розыски, собственно, уже были излишни: если бы в 60-х годах «Мемуары» оставались на руках у Матильды, вероятно, правительства не отвергли бы ее предложений, — «Мемуары» должны были их заинтересовать. Следовательно, Мейснер прав — «Мемуары» были отправлены в Гамбург.

Матильда находилась в зависимости от Карла Гейне — по уговору Матильде шла половина пенсии, которую выплачивали Генриху Гейне пожизненно. Сам Генрих Гейне указывал ей, что не следует сердить родственников. Таким образом он сам же указал Матильде, как погубить его последний труд. Матильда, чтоб не лишиться пенсии, сдала «Мемуары» в Гамбург. Жадность этой женщины была равна ее недалекости, — она не развела, что печатание «Мемуаров» выгоднее пенсии.

Родственники совершили подлинное убийство, — они истребили книгу Генриха Гейне, о которой он сам говорил, что она «корона» всего написанного им. Генрих Гейне пострадал неслыханным образом от немецких и французских мещан, завладевших его писательским наследством. Классовое общество знает немало литературных предательств, обманов, казней, совершенных над книгами. Но такая черная трагикомедия, как расправа над «Мемуарами», в истории письменности единственная. Поэт оставляет наивной женщине одну из лучших своих книг как доходную вещь, которая бы ее кормила; наследница, сделав ошибку в расчетах, отдает ее недорого людям, истребляющим страницу за страницей из ревности к фамильному имени: укоротив литературное наследство Генриха Гейне на одну прекрасную книгу, семейство Гейне, очевидно, полагало увеличить свою фамильную славу.

О том, что книга не принадлежит ни Матильде, ни Карлу Гейне, ни Максимилиану Гейне, о том, что она не товар, но живая художественная вещь, принадлежащая читательскому

* «H. Heines Briefwechsel», B. I, hg. v. Friedrich Hirth, 1914, S. 60—61.

миру, — об этом никто не посмел заикнуться, хотя Мейсснер и другие предвидели участь книги.

Максимилиан, брат поэта, очевидно, более всех виновен в злом конце «Мемуаров». Максимилиан взял на себя роль блюстителя посмертных дел Генриха Гейне. Однако в уме у него был не Генрих Гейне, но Карл Гейне, миллионщик и глава фамилии. Перед Карлом Гейне Максимилиан невероятно суетился, стараясь быть ему приятным. Максимилиан, редактируя письма брата, немилосердно их подчищал, совершал подлоги, извращал их смысл, и все для того только, чтоб его хвалили в Гамбурге. Над «Мемуарами» он проделал наиболее радикальную исправительную работу — он вырезал язык у мертвого, как это предсказывал о своей участи Генрих Гейне в одном из своих стихотворений.

Мелкая уголовщина оказалась послесловием ко всей трагедии «Мемуаров». Анри Юлия, устроившийся около Матильды, около архива Гейне и не знавший ни слова по-немецки, в 80-х годах внезапно поднялся как гейневед, как владеец рукописей Гейне. В 1884 г. Анри Юлия печатает свои «Воспоминания о Гейне», в том же году он продает фирме Гоффмана и Кампе фрагмент гейневских «Мемуаров», единственный уцелевший и ниже здесь у нас напечатанный. Первое издание «Мемуаров» в книге «Heinrich Heines Memoiren, neugesammelte Gedichte, Prosa und Briefe, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1884». Редактором книги был Эдуард Энгель. Анри Юлия должен был объяснить, каким образом к нему попали куски «Мемуаров» Гейне и другие реликвии. Он сочинил версию, будто сам Гейне оставил из своих «Мемуаров» только этот фрагмент и будто Гейне распорядился печатать фрагмент только по смерти Матильды. Если бы фрагмент все время находился в собственности Матильды, она бы его опубликовала после 1869 года — года смерти Карла Гейне, так как со смертью Карла Гейне с «Мемуаров» снимался запрет. Сама Матильда умерла в 1883 г., и вот тогда у Анри Юлия развязались язык и руки. Если Матильда боялась Карла Гейне, то Анри Юлия боялся Матильды. Предполагать, что Матильда подарила ему фрагмент вместе с другими рукописями Гейне, нет никаких оснований: Матильда щедростью не отличалась.

Следовательно, Анри Юлия выкрал у Матильды несколько страниц из наследства Гейне и ждал удобного случая, чтобы проявить над краденым хозяйскую власть. Случай представился только в 1884 г., когда Матильда уже не могла проверить своего правозаступника.

Хищения отдельными страницами и торг отдельными страницами вошли в правило у наследников Генриха Гейне. Так, племянник Гейне Людвиг фон Эмбден, которому принадлежала рукопись «Германии», продавал ее врозницу, а то и дарил одну-другую страницу гамбургским и берлинским друзьям. Анри Юлия тоже припас для себя некоторую часть из наследства Гейне.

Выбрать он не умел — он вытащил, что попало. Такими и дошли до нас «Мемуары».

Барон Густав Гейне, другой брат поэта, распространял слухи, будто «Мемуары» лежат у него в Вене. Фридрих Гирт спрашивался у его наследников, готовя издание писем Гейне, — барон Макс Гейне дал Гирту честное слово, что «Мемуаров» у него нет *. До того Эрнст Эльстер еще надеялся на неожиданную находку отдельных партий «Мемуаров».

«Мемуары», какими они лежат перед нами, относятся к лучшему из художественной прозы Гейне. Немецкие исследователи привыкли эксплуатировать «Мемуары» как всего лишь автобиографический материал, и то в очень ограниченном значении, — как материал, говорящий о семитских, «ориентальных» источниках умонастроений Генриха Гейне. Разумеется, здесь с особым вкусом интерпретировалось все сказанное Гейне о своем семействе, о еврейской родне. Это относится не только к фашистствующим врагам Гейне, но и к либеральным его друзьям. Макс Брод грустит, почему до сих пор не опубликованы целиком еврейские рукописи Симона де Гельдерн, экзотического предка Генриха Гейне, — в этих рукописях для Брода важный документ «иудейского духа» и ключ к духовной истории поэта **.

«Мемуары» действительно писались как «роман жизни», как «большая книга» (Гейне в письме к Кампе от 17 марта 1837 г.), эпохальная по стилю и замыслу.

Еврейские мотивы, как это видно даже по фрагменту, имели в ней весьма подчиненное значение, — они вошли как скромная часть в эпос времени, в свободно проведенный рассказ о первой половине XIX столетия и о человеке этого столетия. Идеи Гейне — философские, исторические, поэтические — превратились в этой «большой книге» в непосредственное художественное дело, в прямой способ художественно воспроизводить картину современной истории. В 1854 г. Гейне писал «Мемуары», делая свой общественный опыт, к тому времени очень значительный, не только предметом изображения, но и способом, методом этого изображения. Гейне уже поднялся до идей классовой борьбы, он прошел искусы романтического учения о народности, социалистического учения о роли масс в истории; Гейне оценил уроки революционных движений в Европе, продумал вопросы культуры, поэзии, вопросы их цены, их происхождения, их связи с буржуазным обществом и с народной массой. Он знал, что рассказывать о самом себе, рассказывать свою личную историю это значит рассказывать всеобщую историю; автобиография у него превращалась в мемуары обо всем, что влияло и могло влиять, обо всем социальном движении, которое определяло

* «H. Heines Briefwechsel», B. I, hg. v. Fr. Hirth, 1914, S. 61.

** См. книгу M a x B r o d, Heinrich Heine, Amsterdam, 1934, S. 11—12.

личную судьбу человека, родившегося около 1800 г. и про- жившего в новом столетии достаточно долго. Самое важное в его «Мемуарах» — это углы зрения, под которыми представлена историческая среда и все, что творилось в этой среде. Гейне рассказывает о родителях, родственниках, предках, семье и школе, товарищах, но он рассказывает еще и о том, о чем молчали недавние автобиографии: он рассказывает об «улице», о низах города Дюссельдорфа на Рейне, о темных безыменных людях, населявших город, о людях, которые находились за порогом бюргерского дома Самсона Гейне и Бетти Гейне.

Он рассказывает о массовой жизни, о массовых людях, как о чем-то косвенно относившемся и к нему, к его воспитанию и судьбе; хотя люди эти и жили поодаль, но все, что ими вынашивалось, делалось, в огромной степени определяло будущность Гарри Гейне, сына почтенной фамилии купцов, врачей, благотворителей.

Уличные мальчишки, няньки-сказочницы, колдуньи, старые палачи — все это перешло к Гейне по подсказу «романтической народности» братьев Гримм, Арнима и Брентано. «Романтическая народность» в мемуарах прежде всего означает ввод народности, народной массы на правах важного действующего лица в большую биографическую повесть. Тем самым разрушались всякий индивидуализм автобиографии, ее социальная ограниченность. Но Гейне 50-х годов уже далеко перешагнул через романтические идеи: народ, описанный в «Мемуарах», — это «бывший народ», остатки средневековья в старых немецких городах, суеверная, господобоязненная, ютящаяся посреди устаревших общественных отношений и понятий несвободная масса. Гейне рисует культуру этой массы, носительницы романтического фольклора, сказок, песен и поверий. Для ортодоксальных романтиков фольклор со всеми присущими ему архаическими консервативными чертами был положительной практической силой, они желали, чтоб народ и впредь в практической общественной жизни держался нравов и понятий, выраженных в старой легенде или в устной лирике. Гейне разрушает обаяние «романтической народности», поскольку народность эта трактуется как реальное положительное содержание современной жизни, содержание, которое никаким дальнейшим изменениям не подлежит. Он производит в «Мемуарах» отделение эстетического от практического: как эстетика, как предмет художественного переживания «романтическая народность» достаточно хороша, как современная действительность она есть мрак и угнетение. В этом смысле «романтическая народность» — это консервативная феодальная Германия, оказывающая свое мертвое влияние как до марта 1848 г., так и после. Гейне нисколько не намерен с нею мириться. Феодальный фольклор и феодальная нравственность, поскольку они отражены в фольклоре у Гейне, описаны либо как злоеущая

мистика, либо как дьявольский, грубейший гротеск. Взятые в отношении к живым современным людям, они либо трагичны, либо лежат ниже действительности — имеют силу и значение комедии низкого фарса. Так, промыслы старой ворожеи с ее фольклорными способами «лечить любовь» изображаются у Гейне как своего рода примитивная порнография, полная комизма, фантастики и варварства. Красная Иозефа, дочь палача, представлена жертвой средневековья, доживающего в Германии, жертвой генеалогических предрассудков, корпоративной отверженности. И Иозефа, и весь ритуал палаческого цеха, и все обычаи народные, — все это относится всего лишь к категории «прекрасного», к странной и мрачной разновидности романтической красоты*.

Роман с Иозефой — это роман между сыном «скептического восемнадцатого столетия» и между обиженной девушкой, которую он великодушно извлекает из среды, где на деле, в быту и нравах господствует «романтическая народность».

«Мемуары» Гейне в том куске, который сохранился, держатся на исторической противоположности между французской революцией и немецким средневековьем, как она отразилась в городе Дюссельдорфе: свободное французское воспитание, атеизм и ясный слог французских просветителей, либеральные бюргеры, детство героя, которое протекает по «Эмилию» Руссо, — это с одной стороны; суеверное шушуканье служанок, язычество, обскурантизм и поэзия народной нетронутой еще жизни — с другой.

Родители поэта — это люди Просвещения и французских идей, хотя и усвоенных по-бытовому, усвоенных наивно, но достаточно органично. Здесь верят в свободу и разум. Там — у народа — предрассудки. Здесь считают, что искусство — это метрические строки, техническая трудность и что ремесло поэта худший вид карьеры. Там — весь бытовой уклад есть поэзия, нерасчлененная и дикая. В этом свои — ограниченные — преимущества народной жизни. Средневековый народ воспитывает в Гейне поэта, воспитывает конкретность представлений, доверчивую чувственность, страсть к образу и свободному вымыслу. Но все это только форма художественной культуры, «идеи» у Гейне не фольклорно-архаические, но вольтерьянские.

Так Гейне интерпретирует свой роман с Иозефой и свои сношения с «романтической народностью», — все это связи культур, не покрывающих друг друга, связи исторических эпох, еще живущих совместно, но уже оспаривающих каждая роль и значение другой. Вся сложность отношений между трезвым, но антихудо-

* В других своих произведениях Гейне старался выделить живые стороны немецкого фольклора — его мятежную плебейскую традицию, к которой Гейне относился как к великой силе практического значения — см. комментарии к «Фаусту».

жественным бюргерским прогрессом и примитивною эстетикой отсталой народной жизни отражена в рассказе о мальчике из купеческого дома, мальчике, который посещает и французский лицей и старую гадалку, глубоко осведомленную в магических культах и поверьях.

В 1855 г. Гейне писал Сен-Рене Тайандье, что он, Гейне, это «немецкий соловей, который свил себе гнездо в парике г-на де-Вольтера» (письмо от 8 сентября). Вот это двойное происхождение своей литературной личности Гейне и описывает в «Мемуарах», вынося рассказ о самом себе на арену большого исторического повествования о столкновении общественных укладов и культур.

В «Мемуарах» намечены и более глубокие, более современные коллизии между бюргерством и народом. Гейне пишет «Мемуары» после 1848 г., и в фрагменте о дюссельдорфском детстве острожно, издавлек показана возможность столкновения между имущими и неимущими. Уличные мальчишки, дюссельдорфская нищета угрожающе колышутся в глубоком фоне «Мемуаров», и Гейне не случайно с таким тщанием, так распространено описывает дюссельдорфское попечительство о бедных. Все это связывается с рассуждениями о римском праве, о «римском» эгоизме собственности, о либеральном моисеевом законе, регулирующем неравенство имуществ. «Романтическая народность» взята у Гейне в тот момент, когда нижнее сословие феодального общества смутно еще, но превращалось в современный революционный плебс.

Таково внутреннее содержание «Мемуаров» и таково внутреннее расположение материала, образующего биографию поэта. В «Мемуарах» Гейне достигает редкой у него полноты изображения, свободного и дальновидного реализма. Это сказывается и на портретах — на родительских портретах в особенности. Самсон Гейне и Бетти Гейне описаны чрезвычайно богато и содержательно; сначала характеры пишутся как гротеск, как односторонняя намеренная стилизация, а затем гротеск перерастает в реальное целостное изображение, наивное и нежное. Гейне в «Мемуарах» шел обратным путем, чем тот, которого он обычно держался: начинать с реальности и кончать гротеском. Здесь богатая реальность, состоящая из непростых отношений, перерастающих друг в друга, образует конец, результат художественно расчлененного рассказа о современности.

ЛЕВЕ-ВЕЙМАРС

Из неоконченного предисловия, которое Гейне писал зимой 1855 г. для второго тома своих стихотворений во французском переводе (туда должны были войти циклы «Новая весна», «Опять

на родине» и др., — все вместе должно было составить второй том «Поэм и легенд»).

Леве-Веймарс (род. в 1801 г., ум. 7 ноября 1854 г.) был довольно характерною фигурой в среде французских романтиков. Известность его главным образом основывалась на переводах, сделанных им из «экзотической» тогда немецкой литературы: в 1824 г. он выступил с переводами из Виланда, в 1825 г. — с переводами стихотворных вещей Гете, в 1828 г. — с переводом Цшокке. Самым важным его делом как переводчика был перевод сочинений Э.-Т.-А. Гофмана, 1829—1830 гг., доставивший Гофману широкую популярность во Франции и в других странах Европы (между прочим, в России. Пушкин читал Гофмана в переводах Леве-Веймарса). Леве-Веймарс переводил и Гейне; в 1832 г. в «Revue des deux mondes» был опубликован его перевод «Путешествия по Гарцу» («Excursion au Blocusberg et dans les montagnes du Hartz». Traduit de l'allemand de H. Heine).

Статья о Леве-Веймарсе была, очевидно, последней литературной работой Гейне.

**Х Р О Н И К А
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ**

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, НАПОЛЕОН И ГЕРМАНИЯ *

Армия Французской революции оккупировала Рейнскую область в Германии. С сентября по май месяц 1801 оккупирован город Дюссельдорф.

1799. — Наполеон — первый консул.

1804. — Наполеон — император французов.

1806 — 1807. — Война Наполеона с четвертой коалицией — с Пруссией и Россией.

1806, март. — Войска Наполеона вступают в Дюссельдорф.

До 1808 герцогством Берг, куда входил Дюссельдорф, управляет Иоахим Мюрат. Затем номинальным сувереном страны считается малолетний принц Луи Наполеон, племянник императора (будущий Наполеон III).

Наполеоновские реформы в Рейнской области:

1797—1801

Вопрос о годе рождения. Три версии. Первая — шуточная, принадлежащая самому Гейне.

По словам Гейне, он родился в ночь на новый 1800 год и, таким образом, оказался «первым человеком девятнадцатого столетия» (тогдашняя традиция считала 1800 год началом нового века). Серьезные версии — одна из них датирует рождение Гейне 1799 годом (год рождения Пушкина и Бальзака), другая, которой придерживается наиболее компетентный исследователь, Эрнст Эльстер, считает датой рождения 13 декабря 1797 года.

Гейне родился в Дюссельдорфе, там же протекло его детство. Происходил Гейне из еврейской семьи.

Родители и родня Генриха Гейне. Отец — Самсон Гейне (1764—1828), небогатый и малолудачливый купец, торговал мануфактурой, вел дела с Англичей. В наполеоновские времена был офицером гражданской гвардии. Мать — Бетти Гейне, урожд. Гельдерн (1771—1859), отец и брат ее были известными врачами. Мать была просвещенной женщиной, знала современную литературу, усвоила педагогические идеи Руссо.

ИЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ

Литературные выступления отдельных романтиков, независимых друг от друга, до периода образования романтической школы:

Людовиг Тик (1773—1853) выпускает повесть «Абдаллах» (1792) и драму «Карл Берн» (1793), затем большой роман «История Вильяма Ловелля» (1795—1796), где первые трактуется романтическая психология, проблема современной личности в ее отрыве от общественных традиций и т. д.

Л. Тик создает ряд произведений, написанных в жанре и в манере «романтической прозы» — комедии «Кот в сапогах» (1797), «Принц Цербино» (1798), «Мир наизнанку» (1797).

Романтическая про-

отмена крепостного права, введение Наполеонова кодекса, суда присяжных, гражданского равноправия евреев.

Наполеон проектирует основание университета в Дюссельдорфе. Теневые стороны наполеоновского режима — последствия континентальной блокады, наборы новобранцев среди немецкого населения для войн в Испании и в России.

1813. — Конец наполеоновской диктатуры над Европой. В ноябре 1813 город Дюссельдорф освобождается от французов.

1814, 1 апреля. — Низложение Наполеона.

1815. — Возвращение Наполеона с о-ва Эльбы, эпоха «Ста дней».

1815, 18 июня. — Битва при Ватерлоо, окончательный разгром Наполеона

Сестра Гейне — Шарлотта, в замужестве Эмбден (1800—1892), братья: Густав (1805—1886), впоследствии получивший в Австрии титул барона, и Максимилиан (1807—1879), врач русской службы, достигший в Петербурге довольно высокого положения.

Г о д ы у ч е н и я. Гейне посещает начальную школу фрау Гиндермани, затем частную еврейскую школу Ринтельзона. В 1807 — он вступает в Дюссельдорфский лицей, создавшийся из остатков старинной иезуитской школы. В лицее Гейне пользуется особым вниманием ректора, Якоба Шальмейера, тонко образованного человека, сохранившего философское волюнтаристское, несмотря на принадлежность к католическому духовенству.

Лицейские товарищи Гейне: Иозеф Нейниг, Франц фон Цуккальмальо, Христиан Зете; с последним Гейне поддерживает и впоследствии тесную дружбу. В 1814 Гейне покидает лицей.

С падением Наполеона, с восстановлением старой феодально-монархической Европы, родителям Гейне приходится отказать от мысли о неградиционном будущем для их сына. Они направляют его

ния — декларация новой художественной школы, подверженной критике и осмеянию идеалы буржуазного просвещения, как философские, так и художественные. Романтическая ирония ставит на голову просветительский реализм, веру просветителей в буржуазный прогресс, в совершенствование личности, осуществляемое через полное развитие буржуазных общественных отношений.

Романтическая ирония создает художественное оружие для трех поколений немецких писателей — вплоть до Гейне.

Специальную антибуржескую сатиру Тик пишет еще в 1796 — «Граждане Шильды».

Особая сфера деятельности раннего Тика —

* Последнее печатается биографическая хроника Гейне, слева — хроника социально-политическая, справа — хроника литературной и идейной жизни эпохи. Во многих случаях те или другие исторические и литературные факты представлены более или менее подробно не столько в виду их значения для общенационального развития, сколько в зависимости от специальной их роли в развитии Генрика Гейне.

англо-прускими войсками.

ГЕРМАНИЯ ОТ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА ДО ИЮЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

1814—1815. — Работа Венского конгресса, на котором реакционные державы восстанавливают судьбу Европы, освобожденной от армий Наполеона. Поредел территории России, Австрия и Пруссия закрепляют национальное положение Польши и Италии, рассматривая эти страны как «географическое понятие». Усиление Пруссии. Феодальное самодержавие заново утверждается в немецких землях.

Рейнская область вместе с городом Дюссельдорфом отошла к прусскому королю; рейнские жители, вкисившие от буржуазной эмансипации, снова становятся подданными феодального государства. Образование Священ-

на избитую дорогу еврейской карьеры и воспитания, — он должен стать торговцем, коммерсантом.

В 1815 Гейне работает во Франкфурте на Майне у одного банкира, затем — в лавке колониальных товаров. Во Франкфурте он впервые видит Людвигу Берне.

Дальнейшие попечения о нем берет на себя дядя, Соломон Гейне, крупнейший банкир в Гамбурге (1767—1844). К нему Гейне и переселяется в 1816. Под руководством дяди основывается мануфактурная фирма «Гарри Гейне и Ко», просуществовавшая только один год: 1818—1819. (Гарри — имя, которое носил Гейне до своего перехода в христианство.)

В Гамбурге Гейне находится в состоянии тяжелой зависимости от дяди-миллионера. Он не пользуется ни самостоятельностью, ни уважением. Он несчастливо влюблен в своих богатых кузин, сначала в Амалию, затем в Терезу. Обе им преенебрегают. В 1821 Амалия выходит замуж за Иона Фридлендера, землевладельца. Адольф Галле, за которого в 1828 вышла Тереза, всегда был злеем врагом поэта. Амалия и Тереза явились ко-свенными героинями любовной лирики «Книги песен».

К гамбургскому периоду относятся первые выступления Гейне в печати. В 1817 в журнале «Hamburbs Wächter»

это его занятия фольклором, народной сказкой, народной книгой. Наивное патриархальное художество народной литературы Тик ставается воспроизвести в своей «Прекрасной Мэрилоне» (1796) и в «Мелузине» (1800).

На почве интересов к фольклору, к немецкому национальному искусству Тик соли-жается с Вагенродером.

В. Вагенродер (1773—1798) оставил после себя одну-единственную книгу — «Сердечные излияния монаха, любителя изящного», изданную еще при жизни автора в 1797 Л. Тиком. Книга Вагенродера — своеобразный трактат по романтической эстетике, провозглашающий наивность и интуицию основными принципами искусства, а средневековое художество высшим осуществлением этих принци-

ного союза — между Австрией, Пруссией и Россией — для защиты реакционных порядков, установленных Венским конгрессом.

Прусский король Фридрих Вильгельм III в новых условиях отказывается от своей стране конституцию, обещанную ей в указе от 22 мая 1815 г. — во время новой угрозы феодальной Европе со стороны Наполеона.

Оппозиционное движение бурgeoisства не в силах создать сколько-нибудь широкий фронт. Оно выражается в эпизодических выступлениях, в об разовании политических группировок, довольно случайных и нехарактерных по своему составу, охватывающих идеологию уродливого немецкого национализма («французество»).

В этом отношении показательно кружки студенческой молодежи, сре-

(«Гамбургский страж») Гейне напечатал за подписью Фрейдгольд-Ризенарф несколько стихотворений («Дон-Рамиро» и др.).

После неудач с коммерческими начинаниями дядя соглашается отправить Гейне в университет и дать ему средства на учение.

В 1819 Гейне снова в Дюссельдорфе, — здесь он готовится к вступительным экзаменам. В том же году его принимают в университет, в Бонн, где он должен изучать юриспруденцию. Вступительные экзамены он сдал посредственно, — он успел одичать за свои гамбургские годы. Но, наконец, он вновь возвращается в мир культуры из мира коммерции и торговли.

УНИВЕРСИТЕТЫ

Осень 1819 — осень 1820 — Бонн. В Бонне Гейне прилежно посещает лекции А.-В. Шлегеля по истории немецкого языка и поэзии, участвует у него в занятиях по тексту «Нибелунгов», по метрике, просодии и декламации.

У Э.-М. Арндта, у Гюльмана, у Радлова он слушает историю немецкого средневековья. Филологическим и историческим наукам Гейне уделяет больше внимания, чем своей правовой специальности. Он сближается с А.-В. Шлегелем, знаменитым теоретиком романтического дви-

пов. Одновременно Вакенродер ведет борьбу с трезвым, прозаичным искусством буржуазного просвещения.

Вместе с Вакенродером Тик создает особое направление внутри романтизма.

Во многих отношениях справедливая критика эстетики просвещения ведет обоих к религиозной переоценке художественного примитивизма. Одновременно возникают религиозно-мистические тенденции — искусство как форма религиозного сознания у Вакенродера.

Однако для Людвига Тика идеи Вакенродера являются лишь одним из мотивов его литературной деятельности и даже не особенно существенным.

Более близок к идеям Вакенродера Новалис. *Новалис* (1772—1801) — носитель наиболее ши-

ди] которой действовал знаменитый Ян, «отец гимнастики», насаждавший в немецком студенчестве любовь к отчуждению и любовь к физическим упражнениям.

Среди студентов распространялся культ средневековой «национальной» Германии, исключавший всякую интеллектуальную утонченность, цивилизованность и политическое просвещение передовых стран современного Запада.

При всей своей неуклюжести, наивности и ограниченности оппозиция «буршеншафтеров» (так назывались студенческие общества) тревожила немецкие правительства. — национализм буршеншафтеров был как бы укором для немецких князей, отдавшихся в руки России и Австрии, для князей, которые своей политической сохранения немецкой государственной раздво-

жения, в то время блестящим и разнообразным университетским ученым. А. В. Шлегель непосредственно руководит стихотворческими опытами Гейне.

Одновременно с Гейне в Бонне учатся молодые люди, впоследствии тоже ставшие себе имя: Юстус Либих — в будущем знаменитый химик, Диффенбах — хирург, Карл Зимрок — поэт, филолог, переводчик, Гофман-фон-Фаллерслебен — политический лирик, Вольфганг Менцель — впоследствии публицист и критик, озлобленный тевтоман и «доносчик», Гентстенберг — теолог. Гейне ведет дружбу с князем Алдром Витгенштейном, участвует в литературных предприятиях своих коллег — Жана-Батиста Руссо и Фр. Штейнмана. С обоими он впоследствии рассорился. Фр. Штейнман приобрел в дальнейшем дурную славу фальсификатора якобы «неизданных гейневских текстов». Этим делом он занимался уже при жизни поэта.

Движение патристической молодежи («буршеншафтеры») коснулось в этот период и Гейне. Он участвовал в тайном празднике, устроенном в память Лейпцигской битвы народов несколькими боннскими «демагогами». Участие Гейне было, очевидно, совершенно внешним — к буршеншафтерам он относился резко-отрицательно.

роких художественных замыслов среди романтиков Иены, поэт, прозаик и теоретик школы. В 1797 им написана повесть «Ученики в Саисе», представляющая собой целый трактат по философии природы и по философии истории, развивающая критику буржуазного общества и буржуазной культуры, полемизирующая с философским и научным идеалом просветителей. Выход Новалис видит в интуитивизме, в смутной философии чувства и в жизненном укладе примитивных народов. Наряду с поэтами в Германии появляются критики, теоретики искусства, философы, которым предстояло в ближайшем будущем образовать единую литературную школу.

Август Шлегель
(1767—1845) выступал как литературный кри-

бленности ставили препятствия национальным интересам буржуазии.

1817. — Иенские студенты организовали празднование 300-летнего юбилея Реформации. Праздник состоялся 18 октября, в день годовщины Лейпцигской битвы, в городе Вартбурге, бывлой резиденции Лютера.

Ночью, как бы в память сожжения Лютером папской буллы, в разведенный костер были брошены символы прусской военщины: косичка, офицерский корсет, капральская палка, затем более двух десятков ненавистных книг — среди них «Кодекс жандармерии».

Вопрос о немецких делах был поднят уже на Ахенском конгрессе членов Священного союза — ноябрь 1818. Реакционер Стурдза, написавший заговор венской полиции докладную записку «О современном положении в

Г е т т и н г е н. Здесь Гейне пробыл с осени 1820 до зимы 1824. Он слушал лекции германиста Бенеке и историка Сарториуса, которого очень высоко ценил. Сошелся с Генр. Штраубе, редактором романтического журнала «Die Wünschelrute» («Волшебная палочка»). Геттингенский университет Гейне вынужден был оставить из-за истории с дуэлью (ссора со студентом Вибелем).

Б е р л и н, с апреля 1824 до мая 1823. В Берлинском университете Гейне продолжал свои разнообразные занятия. Он посещал как аудиторию юристов — Гассе и Шмалгана, так и лекции знаменитого санскритолога Боппа, классика Фр.-Авг. Вольфа, историка Раумера. Важнее всего был Гегель, который тогда господствовал над умами. В годы пребывания Гейне в Берлине Гегель читал: философию религии, логику и метафизику, философию природы, философию права, антропологию и психологию, философию всемирной истории. Знакомство с Гегелем по университету дополнялось для Гейне дружескими связями среди берлинских гегельянцев.

Берлин был для Гейне чем-то гораздо большим, нежели обыкновенный академический город. Здесь он впервые включается в оживленную общественную жизнь. Гейне принят в литературных салонах,

тик, чрезвычайно разносторонний филолог, поэт и переводчик. В своей критической деятельности он восстанавливает художественную репутацию великих поэтов Ренессанса — Данте, Шекспира, Сервантеса, — в многочисленных рецензиях громит художественную ограниченность современников, потирающих в мелком бесперспективном реализме «мещанской драмы» или бытовом реализме английского типа. 1797—1810 А. Шлегель работает над немецким переводом Шекспира. Имя Шекспира — один из важнейших лозунгов для раннего Авг. Шлегеля.

Ф р и д р и х Ш л е г е л ь (1772—1829) вместе со своим братом Августом оказался ведущим теоретиком школы. Писания раннего Фр. Шлегеля — главный источ-

Германии», подстрекал русского императора Александра к решительным действиям. Последующие события в Германии оканчивались отличным предлогом для вмешательства Священного союза.

1819, 23 марта. — Студент Занд в Маннгейме заколот кинжалом Августом Коцебу, известного писателя и русского шпиона.

1819, август. — Карло-бадский конгресс по настоянию Меттерниха выработал меры, относившиеся к внутреннему порядку немецких государств.

Было разъяснено, что под обещанной конституцией следует разуметь старое сословное представительство. Против бюргерской интеллигенции Меттерних предложил несколько решительных полицейских ограничений.

В университеты вво-

прежде всего в знаменитом салоне Рахели Фарнгаген. Рахель и муж ее, дипломат и литератор Август Фарнгаген-фон-Энзе, относятся к Гейне чрезвычайно ласково. Фарнгагены приобщают Гейне к культуре Гете.

С братом Рахели, Людвигом Робертом, автором мешанной драмы «Власть обстоятельств», и с женой его «прекрасной Фридерикой» Гейне тоже вступает в дружбу. Он оказывает помощь литературно-издательским начинаниям Фридерики. Через Фарнгагенов Гейне знакомится с известнейшими представителями романтической литературы: с бароном де-ла-Мотт-Фуке, автором «Ундины», и с Адальбертом Шамиссо, автором «Шлемиля».

Помимо салона Фарнгагенов, Гейне входит в салон Элизы фон-Гогентаузен, переводчицы и пропагандистки Байрона в Германии. Гейне сближается и с богемными артистическими кругами, посещает кабачок Лютера и Вегенера, где еще недавно царил Э.-Т.-А. Гофман и где сейчас можно встретить актера Людвига Деврента, поэтот Дитриха Граббе и Карла Кехи. Расположением Граббе Гейне не пользуется, хотя сам и проявляет к Граббе живейшую симпатию.

Особый эпизод берлинской жизни Гейне — сближение с деятелями еврейского культурнопросветительного союза

ник литературных идей для всей романтической школы. В 1798 появляется его «История поэзии греков и римлян», во многих отношениях идущая навстречу интересам современной литературы. Оставив античные штудии, Фр. Шлегель непосредственно обращается к вопросам современности в целом ряде статей и фрагментов. Он создает учение о романтизме, как о высшей форме искусства современности, предлагает ряд теоретических формул и особенно подробно развивает учение о «романтической иронии»: «Романтическая поэзия есть прогрессивная университетная поэзия... Единственно она бесконечна и свободна и основным своим законом признает произвол поэта, который не должен подчиняться никакому закону. Ро-

дился правительственный комиссар, должность которого состояла в систематическом шпионаже за профессорами и студентами. Какие бы то ни было студенческие объединения категорически воспрещались. Был предусмотрен и вопрос о печати, — вводилась предварительная цензура для всех периодических и непериодических изданий, размер которых не достигал 20 печатных листов.

В Пруссии репрессии начались еще до карловских постановлений: Ян, «отец гимнастики», угодил в тюрьму, и Арндт, известный поэт эпохи освободительных войн, был лишен профессоры; за либеральным богословом Шлейермахером шпионовали. Либеральный прусский министр Вильгельм Гумбольдт, сопротивлявшийся карловским постановлениям, ушел в отставку.

(берлинский «Союз еврейской культуры и нации»). Союз ставил себе целью культурную ассимиляцию евреев от «односторонних» эмансипировать евреев от «односторонних» занятий торговлей, открыть перед ними поприще искусств, ремесел, земледелия. Возглавляли союз интеллигенты. Здесь Гейне столкнулся с людьми, для которых имя Гегеля было, пожалуй, дороже специально еврейских интересов. Председателем союза был Эдуард Ганс, блестящий теоретик права, последовательный гегельянец. Гегельянцем был также и Мозес Мозер, человек большой образованности, хотя и занимавший скромное положение в обществе. Ганс и Мозер становятся близкими друзьями Гейне. К союзу принадлежали: Лацарус Бендавид, Иммануил Вольвилль, известный ученый Леопольд Пунц, литератор Иозеф Леман, глубокий ориенталист Людвиг Маркус и др. Печать гегельянства лежала и на журнале, издававшемся членами союза. Гейне нес довольно значительную работу в союзе: преподавал историю, действовал как пропагандист и пр.

Связь с союзом оставила довольно заметный след в творчестве Гейне, — особенно это относится к вещам Гейне с юдаистической тематикой.

С Берлина начинается регулярная работа Гейне в литературе. В декабре 1821

мантический жанр поэзии — это единственный, который есть нечто большее, нежели отдельный жанр. Он является всей поэзией в ее совокупности, ибо в известном смысле всякая поэзия есть, и должна быть романтической» (из «Фрагментов», 1798).

Содружество романтических устанавливается к 1799. Уже до того времени они уступили большей части переэволюционировать и вступить в планомерную идейную связь друг с другом. Но к 1799 школа окончательно формируется.

Город Иена — место романтических сборищ. В 1799 здесь встречаются А. Шлегель (к этому времени иенский профессор), Фр. Шлегель, Новалис, Л. Тик. В орбиту иенских романтических попадают и философы Шеллинг и Риттер.

С начала 20-х годов образованная Германия попадает в полосу полицейского террора. Австрийский император Франц в своей речи в Лайбахе заявлял: «Ученые мне не нужны, мне нужны верноподданные».

Для окончательной ликвидации «демагогов», для планомерной борьбы с идеями Французской революции, еще бродившими в среде бюргерства, была учреждена центральная следственная комиссия в Майнце, распротранявшая свою деятельность на всю Германию.

Одной из форм реакционной политики немецких государств являлся активный антисемитизм. Гражданское равноправие, дарованное Наполеоном, было у евреев отнято. Типический случай — увольнение Людвига Берне с поста политического актуария, который он занимал в своем родном городе,

он выпускает в издательстве Маурера свою первую книгу — «Стихотворения Гейне», куда вошли вещи, заполнившие первые части «Книги песен». Сочувственные отзывы Карла Иммермана и Фарнгагена, начало репутации «немецкого Байрона». В 1820—1821 написана трагедия «Альманзор», в 1822 — «Ратклиф». В начале 1822 в «Рейнсковестфальском вестнике» печатаются «Письма из Берлина». Осенью 1822 Гейне гостит в Познани у своего берлинского знакомого, графа Евгения фон-Бреда; в результате этой поездки возникают статьи «О Польше», прошедшие через январские номера журнала «Gesellschaft», 1823.

В апреле 1823 Гейне издает у Дюммлера в Берлине самую значительную свою книгу этого периода — «Лирическое интермеццо» вместе с двумя трагедиями — «Альманзор» и «Ратклиф».

Таким образом Гейне покидает Берлин, сделавшись заметным человеком в литературе и поэзии.

Из Берлина Гейне едет в Люнебург — май 1823. В Люнебурге сейчас обособлялась его семья, перебравшаяся туда из Дроссельдورфа.

Неладно с родственниками, которым не нравится ни его карьера поэта вообще, ни направление его поэзии в частности. Изречение Соломона Гейне: «Если бы

На рубеже двух столетий романтики создают свои наиболее программные и значительные по масштабу произведения.

В 1799—1800 Новалис работает над романом «Генрих фон Офтердинген», где полностью вырисовывается исторический и культурный идеал романтизма и где ведется борьба с величайшим романом немецкого Просвещения — с «Вильгельмом Мейстером» Гете.

Л. Тик пишет роман «Странствования Франца Штербальда» (1797—1798), грандиозные драмы: «Святая Генофа» (1799) и «Император Октавиан», которые должны утвердить новый тип театра.

Фр. Шлегель в 1798—1799 сочиняет роман «Люцинда», опыт воссоединения романтической иронии с мистико-

Франкфурте на Майне. Евреи были отстранены от государственной службы, им воспрещалось преподавать в университетах. Возникает специальная антисемитская литература. Профессора Рюс из Берлина и Фрис из Иены выступают против еврейских претензий и предупреждают немцев против еврейского влияния. Со сцены берлинских театров раздаются антисемитские тирады.

В год карлсбадских постановлений — 1819 — по Германии прокатились еврейские погромы: в Вюрцбурге, Гейдельберге, Франкфурте, Гамбурге. Еврейская буржуазная интеллигенция пытается, со своей стороны, противостоять антисемитской пропаганде. На этом фоне возникает в Берлине «Союз еврейской культуры и науки».

Оппозиционное движение в среде бюргерства

этот малый чему-нибудь выучился, ему не пришлось бы тогда писать книги». Запнятия в Люнебурге: Гибон — «История упадка Римской империи», Банак — «История религии евреев», Монтескье — «Дух законов». В июле 1823 Гейне посещает Гамбург, — здесь-то им и овладевает новая любовь — к младшей кузине, Терезе Гейне. Август месяц он проводит на морских курортах в Куксгафене. Осенью он снова в Люнебурге среди родных. За это время у Гейне появляются новые друзья — Альберт Метфессель, композитор, и д-р Рудольф Христиани, видный человек в Люнебурге, либерал («Мирабо люнебургской степи», как называл его Гейне). Христиани к тому же интересуется литературой, он завязывает поклонник Гете.

Родня настаивает, чтобы были завершены занятия юриспруденцией. В конце января 1824 Гейне выезжает в Геттинген, — он решил возобновить в Геттингене свои учебные дела.

В Люнебурге и Куксгафене он сочинил целую серию лирических стихотворений — из будущего цикла «Опять на родине». Сейчас он отправляет их в печать (Берлин, «Gesellschafter», мартовские номера 1824).

В апреле месяце Гейне навещает в Магдебурге Карла Иммермана, — он ищет друга и сторонника в этом виднейшем

пантеистическим направлением Новалиса.

В это же время Август Шлегель интенсивно работает над переводами Шекспира.

К романтикам тесно примыкают представители философской мысли, Шлегермахер (1768—1834) и Шеллинг (1775—1854).

«Речи о религии» Шлегермахера (1799), его же «Монологи» (1800), «Идеи к философии природы» (1797), «Мировая душа» (1798), «Система натурфилософии» (1799) Шеллинга вливаются в романтическое движение.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ РОМАНТИЗМ

Во многих отношениях обособленно развивается второе поколение романтиков — поколение эпохи наполеоновских войн: Арним (1781—1831), Клем. Бренцано (1778—1842), Иозеф Гергер

питалось теми затруднениями, которые встречала на своем пути немецкая промышленность. Немецкой буржуазии дорого обходилась феодальная отечественная организация — система монетной системы в немецких государствах, разгороженность внутреннего рынка таможенными барьерами, отсутствие политической централизации.

С прекращением континентальной блокады (1818) Германия (в особенности западная ее часть) наводняется дешевыми английскими товарами. В докладной записке от 1818 рейнские фабриканты заявляли: «Наша промышленность исключена со всех рынков Европы вследствие таможенных барьеров, между тем как все отрасли промышленности других европейских стран имеют в Германии открытый рынок».

Первым экономическим

современном писателе, который так благоприятно высказался в печати о поэтическом дебюте Гейне.

Затем он заезжает в Берлин, и в мае, после прогулки по Гарцу, он снова является в Геттинген, избранный им местом как основное место жительства. Он делит время между юридическими штудиями и работой для своих писательских целей: изучает материалы для «Бахраха-ского равнина», начинает готовить: «Муары». В его окружении студенты: Филипп Шпитта, религиозно-сентиментальный поэт, и Эдуард Ведекинд, оставивший впоследствии ценные воспоминания о Гейне.

Осенью 1824 Гейне совершает большую пешеходную прогулку по Гарцу. 2 октября он добивается в Веймаре аудиенции у Гете. Он убежденнейший почитатель Гете, переслал в Веймар на благословение, но ответа не последовало. Сейчас тоже попытка приблизиться к Гете не удалась: аудиенция была краткой и бессодержательной. Существует версия, по которой Гете оскорбился, узнав, что Гейне тоже работает над «Фаустом», своим собственным; именно поэтому он не пожелал вступить в доверительный разговор с дерзким начинающим поэтом (версия принадлежит брату Гейне, Максимилиану). С различ-

(1776—1848), *Иосиф Эйгендорф* (1788—1857), *Якоб Гримм* (1785—1863), *Вильгельм Гримм* (1786—1859); *Беттина фон Арним* (1785—1859).

Для этой группы романтиков, лишь отчасти наследующей некоторые идеи Новалиса и Вагнера, характерен историзм, мировоззрение, научный интерес к прошлому и в особенности консервативно-народнические тенденции. Все значение «гейдельбержцев» (город Гейдельберг в 1805—1808 связывал большинство из них) лежит в их работе по изучению и по пропаганде немецкого фольклора. Собственное творчество гейдельбержцев в значительной степени явилось отражением немецкой народной песни, народной книги и народной сказки. Литературное творчество шло бок о бок с филологическими и исто-

успехом буржуазии было установление свободы торговли в пределах Пруссии в 1819, затем постепенное расширение круга государств, охваченных прусским Таможенным союзом.

Особые перспективы открылись со времени вступления в таможенный союз Гессен-Дармштадта — 1828 г.

1821—1831. — Германия поражает аграрный кризис. Причина все та же: передовые государства Запада ограждают себя от немецкого экспорта, сама же раздробленная Германия бессильна против их конкуренции.

Путь буржуазии в период 1815—1830 — путь отвоения у правительств частных услуг в области непорядочных экономических интересов.

Оппозиция в Германии приобретает более широкий характер только после

ными вариациями сам Гейне неоднократно описывал свой визит в Веймар как переписку, так и в печати. Как до, так и после этого визита Гейне остается активным гегелем. Встречу с Гете он обычно вечно трактует юмористически-почтительно.

Уже в октябре — ноябре 1824 Гейне по следам недавних впечатлений начинает работать над «Путешествием по Гарцу».

16 апреля 1825 Гейне получает позволение сдавать докторский экзамен.

28 июня того же года Гейне совершает шаг, к которому уже давно готовился, — в Гейлгенштадте, в церкви св. Мартина, он принимает лютеранство.

При крещении он получает имя Христиана Иоганна-Генриха.

Одновременно он работает над еврейской повестью «Бахерахский раввин».

20 июля 1825 происходит в Геттингенском университете докторский диспут, — Генрих Гейне из Дюссельдорфа (Hengis, Heine Duesseldorpiensis) защищает на латинском языке предложенные им тезисы. В заключительном слове декан Гуго, старший реакционер, вождь «исторической школы», отвечает тем не менее довольно благосклонно о новом докторе прав, — он даже сравнивает его с Гете, который тоже был юристом и поэтом.

Август — сентябрь 1825 Гейне на морских купаньях на острове Нордней.

рическими изысканиями как для иенских романтиков показателей романов с философами — Шеллингом и Шлейермахером, так для гегельбергов — союз с филологами и лингвистами — Герресом и бр. Гримм. Реакционные тенденции гегельбержцев, абсолютизовавших значительные традиции и примитивных культурных форм, перекликались с действительностью так называемой «исторической школы» правоведов (Савиньи, Гуго и др.).

Наиболее талантливым писателем в их среде — Клем. Брентано, выдающийся лирик, автор романа «Голди» (1801—1802), новелл и комедий, первоначально следовавший путями «романтической иронии» и закончивший свою деятельность как фанатик католицизма. Его ближайший друг Арним был

того, как включились в нее народные массы.

Это было связано с июльской революцией 1830, с общим положением в Европе.

АНГЛИЙСКИЕ ДЕЛА

Эпоха, последовавшая за падением Наполеона, отмечена очень значительными успехами английской промышленности. Завершается переход сельского хозяйства на капиталистический путь развития, чрезвычайно поднимаются города. Несмотря на возникновение собственного капиталистического производства во многих странах Европы, Англия царствует на мировом рынке. Промышленная буржуазия добивается решающего политического влияния, ведет борьбу за парламентскую реформу с купеческой и аграрной буржуазией, которым принадлежала в основном политическая власть. Борь-

Здесь он водит знакомство с светскими дамами (княгиня Сольмс-Лих, приятельница Фарнгаген), с ганноверскими офицерами. Здесь же он имеет удовольствие встретить своего старого друга Христиана Зете. Соломон Гейне оплатил пребывание своего племянника на Северном море, — оно ему обошлось в 50 лудиров. Цикл «Северное море», вышедший этой поэздой, подвигается в этом же году.

Покончив с университетами, Гейне ищет способ создать для себя положение в гражданском обществе. Попытки устроиться при Берлинском университете, обосноваться в Гамбурге адвокатом кончаются ничем.

В Гамбурге Гейне находится с ноября 1825 до июля 1826. Летние месяцы он по примеру прошлого года проводит на Нордерне, — здесь у него новый знакомец, русский дипломат Козловский. С сентября 1826 по январь 1827 Гейне в Люнебурге, у родителей.

В начале 1826 Гейне печатал в периодической прессе свое «Путешествие по Гарцу» («Gesellschaft», январь — февраль). В этом же году он выпускает отдельной книгой свои «Путевые картины», часть первая. Сюда входят, кроме «Путешествия по Гарцу», цикл стихотворений «Опять на родине» и первый раздел стихотворного цикла «Северное море». Издатель — Юлиус

создателем немецкого исторического романа «Хранители короны» (1817).

Основная заслуга Арнима и Брентано — изданный ими в 1806 сборник немецких народных песен «Волшебный рог мальчика» (вторая и третья часть — в 1808).

Влияние этого сборника на развитие немецкой лирики было огромно: Эйхендорф, Уланд, В. Мюллер, сам Брентано придали романтической поэзии фольклорное направление.

В 1807 Геррес издает свою работу «Немецкие народные книги». В 1812 — бр. Гримм издают свое собрание немецких народных сказок.

Дело бр. Гримм, Арнима, Брентано и Герреса по-прежнему было должно в немецкой демократической литературе 30-х и 40-х годов.

Несколько в стороне

ба между различными группами господствующего класса носила и откровенно экономический характер — борьба вокруг хлебных законов, затруднявших доступ в страну привозного хлеба, что было в интересах английских аграриев.

Агитация Кобдена против хлебных законов. Идеология свободной торговли (фритред) как знамя промышленной буржуазии.

Английский либерализм, Кобден как типичный его представитель. Либералы рассматривают рабочий вопрос как вопрос о полной свободе эксплоатации рабочего класса со стороны буржуазии.

Ранние формы рабочего движения в Англии:

1811—1816. — Луддизм (разрушители машин).

1824. — Закон о праве рабочих на организацию профсоюзов. Неурелость и недостаточная организо-

Кампе, в Гамбурге. Отныне Гейне связывается навсегда с этим фатальным для него человеком, эксплоатировавшим до самых последних дней его творчество.

В 1827 Гейне издает у него же вторую часть «Путевых картин» в таком составе: «Северное море» (стихи), «Северное море» (проза), «Книга Ле-Гран», «Письма из Берлина».

Успех обеих книг был чрезвычайный; они вызвали оживленную критическую литературу и расхватывались читателями. 4-я и 2-я части «Путевых картин» употребили за Гейне имя крупнейшего писателя современной Германии. В самый день появления 2-й части Гейне отплыл в Англию.

Путешествие в Англию заняло несколько месяцев. Почти все это время Гейне провел в Лондоне. Он с величайшим вниманием изучал общественно-политическую жизнь «самой свободной страны», ее нравы, бытовые условия; в парламенте слушал Каннинга, к которому относился с энтузиазмом. Две недели Гейне пробыл в Рамсгейте, затем снова вернулся в Лондон.

На обратном пути домой Гейне посетил Голландию — материал для будущего «Шнабелевотского». В сентябре 1827 Гейне уже в Гамбурге.

В октябре 1827 выходит в свет «Книга песен» — большой лирический сборник.

от гейдельбергцев стоял *Генрих Клейст* (1777—1811), прусский националист, писатель большой публицистической на пряженности. Клейст — автор героических драм «Кетхен из Гейльбронна» (1810), «Пентезиля» (1808), «Принц Фридрих Гомбургский» (1810), повесть «Михаэль Коляхаас» (1809) и ряда новелл.

БЕРЛИНСКИЕ РОМАНИКИ

Де-ла-Мотт-Фуке, барон (1777—1843) был чрезвычайно плодовитым писателем, автором рыцарских романов («Волшебное кольцо», 1813, и др.), драм, лирических стихотворений. Наиболее значительное его произведение — повесть «Ундина» (1814).

В своих феодально-реакционных устремлениях перекликался с гейдельбергцами.

ванность рабочего движения десятих и двадцатых годов. Пролетариат поддерживает либеральную буржуазию в ее борьбе за отмену хлебных законов и за парламентскую реформу. Эта борьба приводит в 1832 к реорганизации английского парламента, более целесообразной с точки зрения интересов всей буржуазии в целом, но ничего не давшей рабочему классу.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

Реставрация Бурбонов. Царствование Людовика XVIII (1814—1824).

Сохранение порядков наполеоновского управления. Борьба течений среди royalistского дворянства. Ультрароялисты помогают полностью восстановить дворянских привилегий, утраченных в революции. Король и его министры стараются найти среднюю линию (умеренность). Конституционная

судя вошли стихотворные вещи из первой и второй части «Путевых картин», судя же целиком включены были ранее изданные им два тома лирики и стихотворных драм. Весь этот материал был заново организован, получил новый смысл и освещение. «Книга песен» предстала как самостоятельное произведение, независимое от опубликованных до него стихотворений и стихотворных циклов.

В октябре того же 1827 Гейне решает перебраться в Мюнхен, столицу Баварского королевства. По дороге в Мюнхен он делает остановки — в Касселе (знакомство с братьями Гримм), во Франкфурте (дружеское общение с Л. Берне), в Штутгарте (визит к Вольфгангу Менцелю).

С конца ноября 1827 Гейне в Мюнхене. Его пригласил сюда барон Котта, крупнейший немецкий издатель и либеральный политический деятель. Котта поручает Гейне редактировать совместно с Линднером «Новые политические анналы». Популярная католическая клика настроена в Мюнхене против Гейне. Газетка «Эос», руководимая Герресом, Баадером, подстрекаемая Доллингером, ведет травлю против Гейне, желая его выпроводить из католической столицы. Тем не менее он старается добиться расположения короля Людвига I, хочет занять место профессора литературы в Мюнхенском университете — безуспешно.

Адальберт Шамиссо (1781—1838) — носитель демократических тенденций среди романтиков, автор народнической поэмы «Петер-Шлемилль» (1813), написанной в духе социальной филантропии, и многочисленных стихотворений, в части которых он является предшественником политической лирики 40-х годов. Переводчик Беранже.

Э.-Т.-А. Гюфман (1776—1828) — один из наиболее демократических романтиков, мастер антибюргерской сатиры, враг феодального государства и бюрократии, «энтузиаст», в искусстве которого романтический стиль, нашедший свое высшее выражение, приблизился к границам современного реализма. Самым популярным и самым читаемым в свое время из романтиков, отрицательно встречен-

хартия Людовика XVIII — 1814.

Партия либеральной буржуазии: Бенжамен Констан, Казимир Перрье, Лафитт, Лафайет.

Услехи буржуазного экономического развития во Франции в эпоху реставрации. Либеральная буржуазия, опираясь на эти успехи, требует своей доли в политической власти. И здесь, как и в Англии, в центре стоит вопрос о парламенте.

Луддитские настроения в рабочем классе Франции. Зачаточное состояние рабочего движения. Стачки в Лионе — 1822, 1825.

Царствование Карла X (1824—1830). Карл X еще до вступления на престол возглавлял партию ультра-роялистов. Его воцарение ознаменовалось новым усилением реакции. Изречение Карла X: «Я предпочел бы колоть дрова, чем быть королем на тех же условиях, как в

Мюнхенские связи: драматург Михаэль Бер (брат композитора Мейербера), драматург Шенк (баварский министр), живописец Корнелиус и его ученики, наконец Ф. И. Тютчев («Baron von Tutschef»), служивший тогда в русском посольстве.

Путешествие в Италию — с июля 1828 до конца года. Маршрут: Инсбрук, Триент, Верона, Милан, Генуя, Ливорно, Лукка, Флоренция. Весть о смерти отца заставляет Гейне спешить с возвращением на родину.

В начале 1829 Гейне живет в Берлине, общаясь с обычным для него дружеским кругом Фарнгагенов и др. Он знакомится с Ахимом фон-Арним и с женой его Беттиной. «Романтический Эдип» графа Платтена. Уже раньше, в Мюнхене, Гейне претендовал, что граф Платтен относится к числу его злейших врагов. Сейчас в «Романтическом Эдипе» напечатан низкопробный памфлет на Гейне (и на друга его Иммермана), — все это отзвук мюнхенского житья.

Потсдам, где Гейне работает над третьим томом «Путевых картин». Знакомство с Генрихом и Генриеттой Штиглиц (Штиглиц — неудачливый писатель; аккадированная Генриетта, жена его, в 1834 закослосась кинжалом, чтобы доставить мужу материал для творческих переживаний). С 30 сентября 1829 Гейне водворяется

ный в романтической среде и оцененный и признанный по преимуществу за пределами немецкой литературы (Франция и Россия).

В 1814 выходят его «Фантастические рассказы в манере Калло», в 1816 — «Элексир дьявола», в 1819 — серия новелл «Серапионовы братья», в том же 1819 — повесть «Крошка Цахес», в 1820 — роман «Кот Мур».

ШВАБСКАЯ ШКОЛА

Это — группа романтических поэтов, лирика которых, по преимуществу пейзажная, узколичная, с фольклорной окраскою, провинциальная по своему духу и значению, во многих отношениях была характерной выразительницей немецкой патриархальности и отсталости в первую треть века. Главные «швабы» — Людвиг

Англии. Борьба с буржуазной парламентской оппозицией, покушения власти на конституционный режим. Полиньяк — министр Карла X — мечтает об уничтожении хартии и возвращении к до-революционному порядку вещей.

Правительство терпит поражение на выборах в палату.

Как в 1827, так и в 1830 собирается палата, состоящая из оппозиционных депутатов. Король решается распустить негодную ему палату 1830 года, в июне распубликованы распоряжения («ордонансы»), по которым новая палата распускается, вводятся новые законы о парламенте и о прессе.

Овтом на ордонансы явилась Июльская революция 1830 года, опрокинувшая трон Карла X, преломленная руками народных масс, оказавшихся слишком решительными и

в Гамбурге. Здесь он пробыл до марта 1830. Общество его составляли: старый приятель Фридрих Меркель, д-р Ассинг, либеральный барон фон-Мальтиц, высланный из Берлина за свои симпатии к Польше, писатель Август Левальд, профессор эстетики Циммерман, художник Петер Лизер. В феврале 1830 Гейне знакомится с Людовиком Винбарг (будущий вондэ «Молодой Германии», автор «Эстетических походов», 1834). Концерты Паганини в Гамбурге — материал для будущих «Флорентинских ночей».

Расеянная жизнь, гамбургские развлечения.

26 мая 1830 Гейне выезжает в Вандсбек, где проводит подряд три месяца. Чтение «Истории революции» Тьера. В Вандсбеке его навещает Ф. И. Тютчев.

В конце июня 1830 Гейне отправляется на Гельголанд. В августе сюда доходит до него известия об Июльской революции в Париже. Гейне возвращается в Гамбург, все лето и осень этого года он работает над четвертым томом «Путевых картин». Еврейский погром в Гамбурге: погром едва не коснулся дома Соломона Гейне. Гейне задумывается в последний раз над вопросом о своем устройстве в Германии. Он запрашивает Фарнгагена, нельзя ли ему рассчитывать на прусскую или австрийскую государственную службу. Через того же

Уланд (1787—1862) — прославленный автор баллад и романов, наиболее значительные поэтические выступления которого относятся к 10-м годам.

Юстин Кернер (1786—1862), Густав Шваб (1792—1850) — наиболее типические представители школы.

К «швабам» известное отношение имели крупные романтические поэты: Эдуард Мериже (1804—1875), Вильгельм Мюллер (1794—1827), автор «Прекрасной мельничихи», «Зимнего пути» и «Греческих песен», на- конец Николай Ленау (1802—1850), чье творчество, окрашенное элементами байронизма, далеко выходит за пределы швабской школы.

ПОЗДНИЙ ГЕТЕ

В новом веке, среди новых общественных условий и новой литера-

опасными союзниками оппозиционной парламентской буржуазии.

Армия перешла на сторону баррикадных бойцов, королевский режим лишился своей опоры.

В июльские дни Париж и Франция находились в руках народа. Буржуазия прилагает старания лишить народ результатов его победы, — либеральные банкиры подсовывают Франции нового короля, ставленника своего, Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Политическая неформленность массового движения трудящихся позволяет буржуазии использовать Июльскую революцию для расширения власти своего класса, — с воцарением Луи-Филиппа во главе государства оказываются представители биржи и банки, при Карле X составившие кадры оппозиции. Луи-Филипп утверждает на престоле как

Фарнгагена он хлопочет о месте синдика в гамбургском совете. Все эти попытки проваливаются. Тогда у Гейне оживает мысль, уже давно его привлекавшая, — он замысливает переезд во Францию. «... я мог бы сейчас собственноручно вешать немецких полиняков, — пишет он о своих политических настроениях Фарнгагену. К Пруссии я теперь тоже не слишком расположен... Меня тошнит от либеральных Тартюфов. Во мне накаплиет сильное негодование». «... каждую ночь мне снится, что я укладываю свой чемодан и еду в Париж, чтобы глотнуть свежего воздуха и полностью отдалиться священным чувствам моей новой религии, а может быть и принять последнее посвящение в ее жрецы». (Письмо от 1 апр. 1831.) В мае 1831 Гейне прощается с немецким отечеством. Восемь дней он пробыл во Франкфурте-на-Майне, где его чествовали представители местной оппозиции: «... вы не представляете себе, как здесь меня чествуют! Когда днем я вернулся домой, весь мой стол был покрыт карточками почитателей». — писал Гейне из Франкфурта Августу Левальду. Через Гейдельберг и Карlsruhe Гейне следует во Францию.

В мае 1831 Гейне уже находится в Париже. Итоги литературной работы 1828—1831. от выхода «Книги песен» до отъезда во Францию:

турной обстановки, Гете, с одной стороны, подводит итоги своей прежней деятельности (издание 1-й части «Фауста» в 1808), с другой — дает свой ответ на вопросы современности («Илибрательное родство», 1809, произведение, предвещающее новейший психологический роман), Другой большой роман, «Странствования Вильгельма Мейстера», (1829), является опытом уяснения социальнй проблемы капиталистического общества.

В 1819 выходит «Западно-восточный Диван», на целых тридцать лет определивший развитие немецкой экзотической поэзии (Платен, Рюккерт, Даумер, Боденштедт).

К немецким романтикам в целом Гете относится отрицательно, с интересом и сочувствием следит за литературой

«король-буржуа». «Луи-Филипп — лучшая республика» — заявление Лафайета.

Под воздействием Июльской революции в Европе развязывается революционное движение, угрожающее порядкам, установленным решениями Венского конгресса и охраняемым членами Священного союза.

1830, в конце августа. — Произошла революция в Бельгии, насильственно объединенной по решению Венского конгресса с Голландией.

1831, декабрь. — Польский сейм в Варшаве объявляет Романовых низложенными с польского престола.

1832, весна. — Восстания охватывают итальянские государства — Модену, Парму, Болонью.

Правительство короля-буржуа во Франции не проявляет склонности поддерживать революционные

В мюнхенских «Политических анналах» в 1828 Гейне напечатал статью по поводу книги Менцеля — «Немецкая литература». Эта статья явилась литературным кредо для Гейне этого времени.

В остальном литературная работа Гейне за эти годы состояла в восполнении «Путевых картин» новыми частями.

3-я часть «Путевых картин» вышла отдельной книгой в декабре 1829. До того в 1828—1829 в «Утренней газете» барона Котта печаталось «Путешествие от Мюнхена до Гейну». «Лункские воды» же были в книге Гейне новинкой. Здесь он ответил графу Платену на его памфлеты — ответил с неслыханной силой и злостью. Поэтинок Гейне — Платен составлял для современников центральное содержание 3-й части «Путевых картин».

4-я часть «Путевых картин» отдельной книгой появилась в самом начале 1831 (под названием «Добавления к Путевым картинам»).

I и II главы «Города Лункки» Гейне печатал еще в 1829 в «Утренней газете». Часть «Английских фрагментов» прошла в «Мюнхенских политических анналах» за 1828.

4-й часть, опубликованием «Города Лункки» и «Английских фрагментов», Гейне закончил свои «Путевые картины».

Таким образом, он покинул Германию

Англии и Франции (Байрон, В. Скотт, Стендаль, Беранже, Бальзак, Мерииме).

В 1832, в год смерти Гете, выходит 2-я часть «Фауста».

Гегель

В 1807 в Иене Гегель издает «Феноменологию духа», основополагающее свое произведение. В Нюренберге 1812—1816 он издает свою трехтомную «Науку логики».

С 1818 г. Гегель занимает кафедру философии в Берлине, — с этих пор начинается его могучее влияние, вскоре выходящее за пределы Германии. В своей стране он возжжет умственной жизни, победоносный соперник Шеллинга, вытесняющий романтиков с позиций, занятых ими в философии, в науке и в искусстве.

В 1817 он издает «Энци-

-силы в Европе, — поляки и итальянцы были предоставлены собственной участи, царская Россия и Австрия Габсбургов подавили революцию в своих владениях. Правительство Луи-Филиппа заботилось больше о том, чтобы быть принятым в семью «законных правителей», не сразу изымавших готовность признать орлеанскую династию с баррикадным происхождением ее власти. Международная политика июльской монархии разоблачала ее социальную природу и указывала, каковы общественные перспективы нового порядка вещей, создавшегося во Франции.

как автор двух больших художественных работ — «Путевых картин» и «Книги песен».

Вольфганг Менцель, тогда еще довольно друженственно относившийся к Гейне, в статье 1837 г., называл его одним из «корифеев современной литературы», однако тут же делал знаменательные предупреждения, советовал ему ограничить свою сатиру и шадить святыни. Эти филистерские напутствия не оказали никакого влияния на дальнейшую деятельность Гейне.

клонению философских наук», в 1821 — «Философию права».

По смерти Гегеля (1831) ученики издали его лекции — «Философию истории», «Эстетику», «Философию религии», «Историю философии». За время 1832—1840 появилось полное собрание его сочинений.

Энгельс о посмертном влиянии Гегеля: «...вагляды Гегеля, сознательным или бессознательным путем, в изобилии проникали в самые различные науки и оплодотворяли даже популярную литературу и ежедневную печать, из которой средней образованный «человек» черпает свои мысли». (Соч., т. XIV, стр. 640).

НЕМЕЦКИЙ КОНТРОМАНИЗМ

Революционное движение охватывает северогерманские государства: Брауншвейг, Гессен-Кассель, Саксонию, Ганновер. Под напором революции монархи этих государств вынуждены ввести в своих странах конституционный режим. Волнения перебрасываются и на юг Германии, — в Баварию происходят студенческие беспорядки, в Гессен-Дармштаде — ряд крестьянских восстаний. Софранкфуртский Союзный сейм терпит среди всех этих событий, так как главный его вдохновитель — Меттерних — занят в это время собственными делами Австрии. Сейму ничего другого не остается, как утвердить перемены поли-

В Париже Гейне потрясается в общественную жизнь, увлеченный и политическим, и литературным, и артистическим развитием страны, освобожденной от режима реставрации.

Интерес к социалистическим учениям — связи с сен-симонистами. Гейне посещает публичные собрания сен-симонистской «церкви», усваивает философско-историческое учение Сен-Симона и его учеников. С отдельными сен-симонистами Гейне устанавливает близкое знакомство: Анфантен (глава «церкви»), Мишель Шевалье (теоретик хозяйственных вопросов), Родригес, Деверье, Карно — все это люди, с которыми он входит в идейное общение. В собственных сочинениях Гейне той поры скажется влияние сен-симонизма. Когда в 1832 году буржуазия пытается идейно и организационно разгромить сен-симонистов, Гейне остается верен своим симпатиям к ним. В предисловии к своей книге «К истории религии и философии в Германии», подписанной 2 апреля 1833 года, Гейне заявляет о своем сочувствии философским положениям школы Сен-Симона. Анфантену Гейне посвятил первую французское издание своей книги «De l'Allemagne» («О Германии»).

В Париже Гейне становится по преимуществу журналистом. В 1831 он пишет для

Эпоха 20-х, особенно 30-х годов выдвигает целую плеяду писателей в Германии, стремившихся сбросить господство романтизма, но недостаточно утвердившихся на принципиально новых позициях. Все эти писатели выступали отдельно, в иных случаях даже враждую друг с другом. Они являлись признаком перехода от романтической школы к «Молодой Германии».

Платен, граф (1796—1835) — поэт эстетского и формалистического направления, борющийся с нечеткостью и субъективизмом романтического стиля. Антиромантические комедии: «Роговая вилка» (1826), «Романтический Эдип» (1829). В 1831—1832 он пишет либеральные «Польские песни» — один из истоков

тического режима, произведенные революцией.

Пример Июльской революции во Франции развивал силы массового движения в Германии и вывел оппозицию за пределы узкобюргерских интересов. Массовое восстание приобретает в Германии своих идеологов.

1834. — Состоялось симптоматичное выступление Георга Бюхнера, поэта и политического агитатора. Вмешестве с пастором Вейдигом он выпускает «Воззвание к гессенским крестьянам», — это социальная апелляция к политической самодетельности масс, к особым их нуждам и к их революционной энергии. Йозуанг Георга Бюхнера: «Мир хижинам — война дворянам». Георг Бюхнер в ряде случаев высказы-

«Утренней газеты» барона Котта статьи о парижской выставке картин — «Французские художники». С конца 1831 по июль 1832 Гейне сотрудничает в «Аугсбургской всеобщей газете» того же барона Котта — помещает политические корреспонденции, «Французские дела». По настоянию Гентца, пособия Меттерниха, «Всеобщая газета» отказывается от Гейне как от сотрудника. Гейне и немецкие эмигранты в Париже. Отношения с Людвигом Берне. Гейне сторонится немецких радикалов. Берне начинает высказывать недовольство и подозрительность. Открытый разрыв наступает в 1832, когда Гейне отказывается подписать одну из очередных петиций немецкой «Ассоциации ремесленников» в Париже. Берне бросает Генриху Гейне вызов в немецкой и французской печати. Он резко судит в своих «Парижских письмах» о книге Гейне «Французские дела», развенчивает Гейне как политическую личность, проявляя к нему только как к артисту некоторую снисходительность. (Письма 92, 108, 114.)

В журнале «Reformateur» Берне дает злую и низводную оценку книге Гейне «De l'Allemagne» (номер от 30 мая 1835.)

Первый (и скрытый) ответ Гейне на вражду со стороны Берне содержится в «Мемуарах господина Шнабелевонского», 1833 (напечатаны в I томе «Салона», 1834). Маленький Симсон в «Мемуарах» изображен в отдаленном соотношении с общим обликом Людвига Берне.

позднейшей политической поэзии в Германии.

Фр. Рюккерт (1780—1866) — представитель «ученой» экзотической поэзии, переводчик и прозаик, поэт Востока. В 1836 — «Мудрость Брамана».

Карл Иммерман (1796—1840) — чрезвычайно разносторонний и продуктивный писатель, стихотворец, романист и драматург, один из наиболее значительных борцов против романтической литературы, сторонник Гете и гетеанских художественных принципов. В 1828 — «Тирольская трагедия», в 1832 — «Мерлин», драматическая поэма в духе «Фауста» Гете.

Важнее всего деятельность Иммермана-прозаика, он один из основателей большого социально-сатирического романа в Германии. Первый роман Иммермана, «Эпигоны» (1836), — подражание «Мей-

ваает резко критическое и недружелюбное отношение к буржуазным либералам.

Но массовая борьба, даже в тех отношениях к скромным масштабам ее, которые были известны в Германии, дает толчок и либеральному движению.

Митинги и манифестации, устраиваемые юнкным и рейнско-восточным бюргерством.

1832. — «Гамбахский праздник», митинг в Гамбахе, в Баварии, устроенный по инициативе пфальцских демократов Зибенфелфера и Вирта. В Гамбахе собрались около 30 000 человек, здесь произносились речи за единую Германию, за Польшу, за революционную Францию.

1833, 3 апреля. — Студенческая молодежь пытается овладеть Франкфуртом и сеймом, засе-

Связи Гейне во французском обществе и литературе. Он бывает в доме у Ротшильда, знаменитого банкира, у Лафайета, героя июльских дней, у министров Юшателя и Салляванди. Знакомится с Беранже, Жорж Занд, Теофилом Готье, Мюссе, Бальзаком, Ламартином, Александром Дюма, Евгением Сю. Попадает в общество музыкантов и композиторов — Шопен, Лист, Фердинанд Гиллер, Берлиоз. С Берлиозом он особенно сближается. В салонах встречается с Россини. Из немцев в Париже его обычный круг составляют: естествовед Александр Гумбольдт, писатель князь Пюклер-фон-Мюскау, Михаэль Бер, Граф Бредо. Он знаком и с датским писателем Хр. Андерсеном, находящимся в Париже. Посещает салон барона Кюстина.

Заметное значение для него имела дружба с княгиней Христиной Бельджойозо, молодой красавицей, женой итальянского аристократа, у которой австрийцы конфисковали земли. В 1848 Христина Бельджойозо выказала себя отважной патриоткой, активно и непосредственно участвуя в борьбе за освобождение Италии. Гейне бывает в ее салоне, гостит с 1835 в ее замке Жоншер близ Сен-Жермена. В окружении кн. Бельджойозо находятся историк Адольф Тьер, тогда министр Франции, историк Франсуа Минье и Огюстен Тьерри, поэт Мюссе. Знакомство с кн. Бельджойозо оказывается в одном отношении для Гейне фатальным: она исключотала для него у Тьера госу-

стеру» Гете; гораздо самостоятельнее «Мюнхгаузен» (1838—1839), обобщавший популярность Иммермана. Романы Иммермана — вершина немецкой социальной прозы 30-х годов.

Дитрих Граббе (1801—1836) — талантливый драматург, с большим жаром ниспровергавший догмы идеалистического театра; делал ставку на экспрессивный реализм и шекспировизацию немецкой драмы, во многих отношениях возродил традиции «Бури и натиска». Театр Граббе в целом — аналогия французскому романтизму 1830 г. В 1829 — «Дон-Жуан и Фауст», в 1831 — «Наполеон, или Сто дней», в 1835 — «Ганнибал».

Георг Бюхнер (1813—1837) — замечательный политический деятель, революционный демократ и воинствующий материалист. Как драматург успешнее

дающим во Франкфурте. Но войска обращают в бегство молодых людей, ворвавшихся в городскую гауптвахту.

Активность бюргерства и народных масс вызывает жестокие репрессии со стороны немецких правительств, подстрекаемых Меттернихом, снова овладевшим во всей их полноте своими жандармскими функциями. Венский акт 1834 — выработка мер успокоения для немецких государств сроком на шесть лет. Особые параграфы по поводу печати и университетов.

1835. — Правительственные гонения против группы писателей «Молодая Германия». Сочинения «младогерманцев» запрещаются к печатанию.

Попытки немецких монархов отнять у государства конституцию

дарственную пенсию. В 1835 его внесли в пенсионный список, одновременно с полковником Густавом — потерпевшим престол шведским королем. 4800 франков, выдававшихся ежегодно, Гейне сохранил и при преeminии Тьера по министерству — Гизо. Пенсия поставила Гейне в двусмысленное отношение к французскому правительству.

В личной судьбе Гейне в 1834—1835 сыграло роль сближение с французской Матильдой Мира. Матильда становится его женой. Это обстоятельство как бы окончательно натурализовало Гейне во Франции.

Сент-Бев говорил, что во Франции имя Гейне до Июльской революции было совершенно неизвестно. Тот же Сент-Бев в 1833 утверждал: «Гейне совершенно натурализовался, он целиком наш». К концу 30-х годов немецкие литераторы, заезжавшие в Париж, изумлялись признанию, каким Гейне пользуется у французов, его авторитету первоклассного европейского писателя.

Гейне вошел во французскую литературу раньше всего переводами, сделанными из его произведений 20-х годов. В 1832 в журнале «Revue des deux mondes» Леве-Веймарс поместил переводы «Путешествия по Гарцу», «Книги Ле-Гран» и «Лукукских вод».

Сам Гейне предпринимает ряд работ, знакомых Франции с немецкой философской мыслью и поэзией. В 1833 в журнале Виктора Бюэн «L'Europe littéraire, Journal de la littérature

всех своих современников в Германии разрешил задачу нового реалистического стиля, основываясь на опыте французского романтического театра.

Трагедия «Смерть Дантона» (1835), неоконченная трагедия «Воцек», впервые напечатана в 1879.

Повесть «Ленц» была напечатана в 1839 — памятник интереса поколений Бюхнера к поэтам эпохи «Бури и натиска».

«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ»

Активная группа мелкобуржуазных радикалов, поставивших художественную литературу на службу своей политической программы. Для 30-х годов и для начала 40-х «младогерманцев» самое выдающееся явление немецкой литературы.

Людвига Берне (1784—1837) — духовный отец и вождь «младогерманцев». Сначала острый театральный критик, затем темпе-

в тех случаях, когда она была дана под напором народа.

СОБЫТИЯ В ГАННОВЕРЕ

1837. — Новый король Ганновера Эрнст-Август отменяет в своей стране конституцию. В отместку начинают волнения по всей Германии. Профессора Геттингенского университета, историки Дальман, Гервинус, филолог Г. Якоб и Вильгельм Гримм и другие вместе с ними, издают против ганновского короля манифест. Бесплодные профессора изгнаны из Ганновера. Зато они приобретают в среде бюргерства огромную популярность. Бюргерство отстаивает свои права в политической жизни Германии.

Прусский министр внутренних дел фон Рохов публикует свое заявление, где отраже-

национале et étrangère» появляются статьи Гейне «Etat actuel de la littérature en Allemagne» («Современное состояние немецкой литературы»); эти статьи в том же 1833 выходят в немецком издании в Париже, а в 1835 в окончательной редакции, под названием «Романтическая школа», издаются в Гамбурге у Кампе.

В «Revue des deux mondes» в 1834 печатается серия статей под названием «De l'Allemagne depuis Luther» («О Германии со времен Лютера»); в немецком издании эти статьи, озаглавленные «К истории философии и религии в Германии», вышли у Кампе в 1835 (в составе второго тома «Салона»). Уже титул второй работы — «De l'Allemagne» — указывал на полемические цели Гейне: он противопоставлял свое произведение знаменитой книге мадам де Сталь, под тем же заголовком: «О Германии». Гейне разрушил ложные идеализирующие представления об отсталой Германии, созданные в свое время мадам де-Сталь. Работы Гейне были одинаково поучительны как для Франции, получившей через них более правильную информацию, так и для самой Германии, культурная традиция которой была переопределена Гейне с революционно-демократической точки зрения.

Внедрение Гейне во французскую литературу продолжалось и в дальнейшем. Постепенно сложилась целая группа французских литераторов, сделавших своей специальностью переводы из Гейне: кроме Леве-Веймара, здесь были: замечательный романтический поэт Жерар де Нер-

раментный публицист, мастер слова, незаурядный сатирик. Не задумываясь над социальными вопросами, агитировал за политическую революцию, против князей и правителей. Имел заслуги в деле политической активизации Германии — этой, по его выражению, страны «не рабов, но лакеев». С 1830 — в Париже. Здесь он пишет свои «Парижские письма» (1830—1833). В 1837 — памфлет «Мендель-француз» и др. В последние годы жизни становится приверженцем христианского социализма в духе Ламене, переводит Ламене на немецкий. По смерти — кумир сентиментальных демократов.

Людвиг Винберг (1802—1872) — основатель эстетической теории младогерманцев — в книге «Эстетические походы», (1834). Проводевал сближение искусства с действительностью, прозу ставил выше:

на точка зрения правительства: «Не подобает, чтобы поданные мешали ограниченному своему разумом действиям главы государства». Политический разгром издательств, типографий, университетов продолжается.

Не делая никаких уступок политическим притязаниям бюргерства, правительство Пруссии развивает дальше свои мероприятия, направленные в пользу чисто экономических интересов немецкой буржуазии.

Расширяются границы таможенного союза. С 1 января 1834 вступил в действие Таможенный союз 18 государств с 23 млн. населения. В ночь на 1 января у пограничных шлябаузов скопились сотни повозок с товарами, — с боем башенных часов все они

валь, Сен-Рене Тайандье и лирик Эдуард Гренье. Французские публикации новых произведений Гейне сделали столь же обязательными, как и немецкие.

В 1835—1840 Гейне вовлекается более активно, чем это было в первые парижские годы, в политические и литературные дела современной Германии. Уже давно им усиленно интересовалась прусская цензура. Добавления к «Путевым картинам» были в Пруссии конфискованы. По поводу «Французских дел» сам король Пруссии обратился к своему министру с предложением запретить эту книгу. Запрещена была и «Романтическая школа».

Постановление Союзного сейма от 1835 ближайшим образом и в первую голову коснулось Гейне и его произведений. Свой ответ сейму Гейне напечатал 30 января 1836 в «Journal des Débats», а 10 февраля в «Аугсбургской всеобщей газете». Союзный сейм рассматривал Гейне, помимо его собственной воли, как вождя «Молодой Германии». Гейне принял эту роль и взял на себя обязанность защищать молодых писателей, подвергнутых гонению заодно с ним. Кампания, поднятая немецким правительством, была поддержана бешеной журнальной агитацией против младогерманцев, которую вел их недавний соратник, а сейчас ренегат и доносчик, Вольфганг Менцель. Статьи Менцеля, содержащие клевету на Гейне и новейшее литературное движение в Германии, появлялись в «Литературном листке» одна за другой от сентября

стихов, требовал от искусства политической злободневности и воспитующей силы.

Карл Гукер (1811—1878) — один из самых продуктивных и разносторонних младогерманцев, драматург, романист, публицист и критик. Воспитался на философии Гегеля, которую усвоил в весьма радикальном смысле. В 1833 — атеистический роман «Маха-Гуру», достаточно сумбурный, проповедующий, между прочим, полиандрию. В 1835 — «Валли», роман, где наряду с атеизмом защищается право девушки являться нагою перед своим влюбленным. Однако «Валли» кажется современникам произведением чрезвычайной смелости. В 1837 — 1842 издает журнал «Немецкий телеграф» у Кампе в Гамбурге. В 1838 — педагогический роман «Блазодов и его сыновья», в 1840 — книга «Жизнь Берне».

двинулись на территорию, с этой минуты свободную от сборов и обложений. Бюргерство расценивало начало свободной внутренней торговли в Германии как торжественный день.

Правительство указывало бюргерству до рогу компромисса, мирной сделки между феодальным государством и буржуазными интересами.

АНГЛИЙСКИЕ ДЕЛА

Наиболее значительное событие в истории Англии 30-х годов — зарождение чартизма.

Чартизм возникает как самостоятельное движение рабочего класса, требующее глупой и подлинной демократии, идущее значительно дальше результатов парламентской реформы 1832.

1836, июнь. — Созда-

1835 до начала 1836. Отповедь Менцель получил от Людвиг Берне, Карла Гущкова, Л. Вин-чарла, Д. Ф. Штрауса. Гейне ответил Менцелю уничтожающей брошюрой «О донощике», напечатанной в Гамбурге, 1837.

Менцель только начал поход реакционных литераторов против Гейне.

Так называемая швабская школа поэтов подхватила знамя шугуттарского «доносчика» и тоже обрушилась на Генриха Гейне как на нигилиста, атеиста, разрушителя христианской эстетики и пр. и пр. Поводом явилась история с портретом Гейне. Шамиссо поместил портрет Гейне в «Немецком альманахе муз» на 1837 год. Тогда Густав Шваб — «шваб» и с маленькой буквы также — в знак протеста отказался редактировать этот альманах; одновременно вся швабская школа возмущалась, и в 1838 один из ее писателей, Густав Пфифер, выступил с христианско-патриотическим памфлетом: «Сочинения Гейне и его тенденция». Счеты с Пфифером, с швабской школой в полном ее составе Гейне свел в своей статье «Швабское зерцало» (1839). Здесь же он снова вернулся и к теме о Вольфганге Менцеле.

Общий ход литературной борьбы выяснил, что младогерманцы чрезвычайно сомнительные союзники Гейне. В этой группе мещанских радикалов то один, то другой выказывали склонность присоединиться в каком-либо отношении к нападающим на Гейне и его деятельность. Борьба началась с такой расстановкой сил:

Как драматург Гущков стремился к идейной и тематической злободневности, — он требовал, чтобы немецкая сцена отказалась от своих «ассириян и вавилонян». Самому Гущкову это удавалось только отчасти: его основной театральный жанр составляют исторические пьесы с кивками в сторону современности. Среди них самая удачная «Уриэль Аноста» (1847), затем «Прототип Тартюфа» (1847). После 1848 Гущков становится постановщиком чтива для бюргерства, автором толстых сенсационных романов.

Генрих Лаубе (1806 — 1884) — романист, драматург и критик. Для младогерманского периода в творчестве Лаубе характерен роман «Новое столетие» (1833), затем собрание «Путевых новелл» (1834 — 1837).

После революции 1848 Лаубе становится одним

стоя «Лондонская ассоциация рабочих» под руководством Ловетта.

1837. — Была подана петиция, вызвавшая требование всеобщего избирательного права.

1838. — Эти требования были подробно развиты в «Народной хартии».

1838. — От «Лондонской ассоциации» откалывается более радикальная группа во главе с Харнеем, выдвигающая лозунги социального характера — «уничтожение неравенства и водворение всеобщего счастья».

1839. — Чартистский Конвент и борьба течений внутри чартизма.

1842. — Стачечное движение.

1848. — Чартистское движение угрожает Британии революцией.

на одной стороне — Менцель и «швабы», на другой стороне — Гейне и «Молодая Германия». Замечивалась она для Гейне полным одиночеством: он к началу сороковых годов имел против себя почти всю «Молодую Германию», со всеми ее поэтами, беллетристами и журналистами. Неладь с Берне были уже давним делом. К этому присоединились в 1838 конфликты с одним из виднейших младогерманцев, Карлом Гуцковым. Гуцков обратился в августе 1838 с длинным письмом к Гейне, в котором «дружески предупреждал» о безнравственном характере его новейших стихотворений. К этому письму Гейне отнесся либерально, но в 1839 Гуцков в «Телеграфе» решился напасть на «Швабское зеркало», заявив, что враги Гейне только приобретают кредит вследствие метода и приемов его полемики.

Статья Гейне «Злоключения писателя» (18—20 апреля 1839, в «Zeitung für die elegante Welt») направлена уже непосредственно против Гуцкова, ближайшего помощника Кампе, искавшего сочинения Гейне, представленные издательству Кампе для печатания.

В ответ Гуцков публикует сказочку «Слекуляния», где дает волю своим антисемитским настроениям и где Гейне представлен как ловкий делец на бирже поэтической славы, как безнравственный поэт, непризнанный во Франции и забытый у себя в отчизне. Людвиг Виль, «креатура Гуцкова», тоже выступил с писанием против Гейне («Zeitung für die elegante Welt»),

из самых авторитетных театральных деятелей Германии, 1849—1866 он состоит директором венского «Burgtheater».

Теодор Мундт (1808—1861) — автор программного романа «Мадонна» (1835), проповедывавшего «эмансипацию плоти». В 1842 выпустил книгу «Литература и современность».

Особую популярность в среде либерального бюргерства приобрели младогерманцы в связи с преследованиями, которым подвергли их правительственные органы известного критика и публициста В. Менцеля.

Союзный сейм в указе от 10 декабря 1835 запретил все их сочинения. Однако репутация «тевтонских якобинцев» была слишком преувеличена. Энгельс дал «Молодой Германии» такую итоговую оценку: «На германской литературе тоже отразилось политическое возбу-

ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ ВО ФРАНЦИИ

Первое министерство июльской монархии возглавлялось Лафитом — «партия движения».

1831. — Лафитта сменил Казимир Перье — «партия сопротивления», считавшая революцию оконченной, отвергавшая дальнейшую демократизацию режима.

1831—1839. — Франция находится в революционном возбуждении. В стране одно за другим возникают тайные политические общества.

С начала Июльской революции возникает республиканское «Общество друзей народа». Один из его членов, д'Аржансон, провозглашает для пролетариата лозунг «полной доли в общественном наследстве». В этом

11 мая 1839), на которое Гейне ответил уничтожающей пародией. Все эти мелкие стычки и ссоры готовили решительное размежевание Гейне с принципами и мировоззрением младогерманцев, проделанное им в книге о Людвиге Берне. Только в этой книге Гейне по существу и в самом широком смысле противопоставил свои собственные позиции младогерманским.

Период 1835—1840 очень беден лирическим творчеством. Помимо полемических, публицистических статей, Гейне пишет в этот период несколько произведений, примыкающих к циклу работ по истории философии и литературы, появившихся в первой половине 30-х годов. Сюда относятся «Духи стихий», опубликованные по-немецки в III томе «Салона», начало 1837. В мае 1837 Гейне сочиняет предисловие к «Дон-Кихоту» для шпугтарского издания, иллюстрированного приятелем его Тони Жоано. В том же 1837 Гейне печатает во «Всеобщем театральном обозрении» Августа Ллевальда «Письма о французской сцене».

В 1838 он составляет текст для альбома «Женщины и девушки Шекспира»; в том же году альбом этот выходит в парижском художественном издательстве Деллуа, специально предназначенный для Германии. Этой работе предшествовали основательные занятия Гейне по Шекспиру.

Особняком стоит повесть «Флорентинские ноты», впервые напечатанная в «Утренней газете», апрель—май 1836. Повесть эта — своего рода

жидение, в которое события 1830 г. ввергли всю Европу. Наивный конституционализм или еще более наивный республиканизм проповедывались почти всеми писателями того времени. Все более и более входило в привычку, особенно у либераторов низшего разбора, пополнять недостаток искусства в их произведениях политическими намеками, которыми обеспечивался успех у публики. Стихотворения, повести, рецензии, драмы, всякие литературные произведения были переполнены так называемой «тенденцией», т. е. более или менее робкими выражениями протеста против действительного духа. В довершение путаницы понятий, царившей после 1830 г. в Германии, к этим элементам политической оппозиции пришивались плохо перенесенные воспоминания немецкой философии и непонятые крохи французского

обществе принимал участие Огюст Бланки.

1835. — Бланки вместе с Барбесом организовал «Общество семей», исповедующее сенсимонистские и бабуистские идеи.

Главной целью общества является вооруженное восстание.

1837. — Выпущенный из тюрьмы Бланки основывает общество «Времен года».

После неудачного вооруженного восстания 1839 г. Бланки и Барбес были присуждены к пожизненной тюрьме (из тюрьмы их освободила только Февральская революция).

Деятельность тайных обществ, пропаганды революционных идей, происходила на фоне революционных выступлений народных масс. Народ требовал суровой расправы над бывшими ми-

рецидив романтизма у Гейне — вызывает резкое неудовольствие Л. Берне.

К 1840 Гейне закончил у Кампе издание своего «Салона», где были собраны работы первого парижского десятилетия:

«Салон», т. I, 1834 — «Предисловие», «Французские художники», «Стихотворения», «Мемуары Шнабелевского».

«Салон», т. II, 1835 — «К истории религии и философии в Германии», стихотворный цикл «Новая весна».

«Салон», т. III, 1837 — «Флорентинские ночи», «Духи стихий».

«Салон», т. IV, 1840 — «Бахерахский равнин», «Стихотворения и романсы», «Письма о французской сцене».

«Бахерахский равнин», над которым Гейне работал еще в 1824—25—26, был напечатан в «Салоне», т. IV, впервые.

Третий том «Салона» Гейне хотел вначале озаглавить «Тихая книга». О четвертом томе он писал Кампе, что это невинный ягненок. Все это была прелюдия к бурно-полемическому «Людвигу Берне».

Эта книга писалась в течение 1839 и появилась одновременно с «Салоном», т. IV, в 1840, озаглавленная самим Кампе крикливо и недвусмысленно: «Генрих Гейне о Людвиге Берне».

Скандал вокруг книги о Берне. Немецкие радикалы оскорблены и не брезгают никакими средствами, чтобы отплатить Гейне за этот пам-

социализма, особенно симонизма. И клика писателей, приносивших публике эту мешанину, кичливо называла себя «Молодой Германией», или «Новой школой». Позднее они раскаялись в своих юношеских грехах, но мажора их писания не утратила от этого» (Соч., т. VI, стр. 25).

НИКОЛА ГЕГЕЛЯ

По смерти Гегеля (1831) происходит размежевание среди его учеников в порядке истолкования его философии и дальнейших выводов из нее. В противовес «правым гегельянам» — Ульрици, Гегель и др. — «левые гегельяны» толкуют Гегеля как атеиста, как энтузиаста французской революции, как разрушительную для феодально-монархической Германии силу.

В 1835 выходит книга Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», изборажающая

нистрами Карла X, волнения возникали по поводу польских собраний, когда «король баррикад» Луи-Филипп отказался от помощи польским повстанцам. Развергивается борьба между буржуазией и пролетариатом.

Казимир Перье от имени захватившей власть буржуазии говорил в Палате: «Нужно, чтобы рабочие знали, что для исцеления их недугов нет другого средства, кроме терпения и покорности». Но пролетариат избирает тактику менее удобную для хозяев официальной Франции.

1831, ноябрь. — В Лионе происходит первое восстание рабочих. **1834, весна.** — Второе лионское восстание, отмеченное горюдой болей высокой политической сознательностью. Среди лионских рабо-

флет против их покойного вождя (Людвиг Берне скончался в 1837).

Среди младогерманцев сторону Гейне держит один только Генрих Лаубе, подвергаемый насмешкам за эту свою преданность. Впрочем, Генрих Лаубе тоже делает попытки «возвратиться» над Гейне и читать ему мораль на мажнер Гущкова. Лаубе и еще кое-какие другие литераторы высказались в пользу Гейне в его споре с идейным наследством Людвигу Берне.

Но пришлось им высказываться во второстепенных изданиях. Большая немецкая пресса была закрыта для друзей Гейне. Здесь представляли слово только его ненавистникам. Подруга Л. Берне, мадам Жанетта Воль, выпустила книжку: «Суд Людвигу Берне над Генрихом Гейне. Неопубликованные отрывки из Парижских писем», Франкфурт н/М., 1840. К книге были приложены враждебные Гейне отзывы критики. Книга К. Гущкова «Жизнь Берне» (тот же 1840) была опять-таки направлена против произведения Гейне, должна была восстановить в силе и славе главу младогерманцев.

Дело не ограничивалось литературной борьбой. Соломон Штраус, муж мадам Воль, вступается за ее честь, — Гейне не пощадил эту женщину в своем антверпенском памфлете, указывая на ее подозрительное духовное супружество с Л. Берне. Штраус распространяет через печать слух, будто 14 июля 1841 на улице Ричелье в Париже он, Штраус, в присутствии публики, дал пощечину Гейне. 7 сентября

Евангелие как результат мифологического творчества первохристиан.

Еще радикальнее в своих богословских взглядах Бруно Бауэр, считающий всю историю Христа целиком подложным мифологией.

В 1841 Бруно Бауэр при участии Маркса пишет «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеизмом и антихристом» — программное сочинение левых гегельянцев («ультиматум»). Левые гегельянцы, так же как и «Молодая Германия», подвергаются политическим гонениям.

В 1841 появляется «Сущность христианства» Л. Фейербаха, философа, вышедшего на материалистические позиции и завовавшего собой развитие немецкой классической философии.

УТОНИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

Сен-Симон (1760—1825).
В 1821—1822 появляется

чих действовали левые республиканцы, члены «Общества прав человека». Восстание было безжалостно подавлено буржуазией, ранены и расстреляны боицы сотнями. Отдельные группы восставших в Сен-Этьенне, Гренобле, Марселе, Шалоне на Сене, Люневилле, Вьенне, Клермон-Ферране, наконец, в Париже. Проведенные войсками парижский пролетариат массовым избиением — «кровавая баня на улице Транспонен» (13—14 апреля 1834).

Лишь с 1840 наступает для июльской монархии эпоха известной стабилизации.

1840—1848. — Кабинет министров возглавляется Гизо, известным историком и консервативным буржуазным политиком.

Гейне встречается со Штраусом, Гейне отделяется легким ранением.

С февраля 1840 до середины 1843 Гейне возвращается к сотрудничеству в «Аугсбургской всеобщей газете», куда он посылает корреспонденции о политической и художественной жизни Парика (последствиям собранным им в отдельную книгу под названием «Лютеция»).

В 1842 им написана большая комическая поэма «Атта Тролл», полная отзвуков его борьбы с идеями Берне и других мелкобуржуазных немецких радикалов.

Все начало 40-х годов отмечено оживлением поэтического творчества Гейне, — все это были отголочки на общественную активизацию, наступившую в Германии с воцарением нового прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. Гейне включается в группу политических поэтов, появившихся в Германии в эту пору. К 1842 относятся стихотворения: «Доктрина», «Тенденция», «Император Китайский», к 1843 — «Гамбург-мэжор», «Георг Гервет», «Ночные мысли», к 1844 — «Вyroждение», «К усноению», наконец, стихотворение «Тначи», где Гейне отзывался на наиболее восстание в Силезии.

Посещение Германии. — В октябре 1843 Гейне выезжает на родину. Прусский посланник Арним отказывает ему в паспорте. Поэтому в Гамбург к родным он направляется через Бремен. В Гамбурге Гейне пробыл до начала декабря и через Ганновер, Кельн, Брюссель он возвращается в Париж.

его труд «Промышленная система», где предложена философия истории, по-философски историческая по своим тенденциям, выдвигающая принципы классовой борьбы. В 1824 — «Капитализм промышленный», в 1825 — «Новое христианство». Сен-Симон, планируя общество будущего, еще не различает противоречия интересов между промышленниками и рабочими.

Социалистической становится система Сен-Симона в дальнейшей ее разработке — у Базара и Анфанена, учеников его, в 1828—1829 читавших публичный курс — «Доктрина Сен-Симона»: здесь ставится вопрос о планомерной общественной организации производства, и здесь дана более правильная оценка исторической роли пролетариата. Одновременно сен-симонисты развивают собственную философию культуры и

Ему удается создать в палате депутатов большинство. Он действует подкупными избирателями, стремится уничижить всякую оппозицию в стране. На требования всеобщего избирательного права Гизо, сторонник высокого ценса, отвечает: «Обогащайтесь, трудясь, и вы сделаетесь избирателями».

1846. — Положение Гизо и самого Луи-Филиппа начинает колебаться. Здесь сыграла роль и неудачная внешняя политика — уступки, сделанные Англии после одержанных в Африке побед. С другой стороны, Гизо поддерживает реакционные державы — вступает в контакт с Меттернихом, заклятым врагом национально-освободительного движения в Италии.

В июле 1844 Гейне предпринимает новое путешествие в Германию. На этот раз вместе с Гейне отправилась и Матильда, но в Гамбурге у родственников мужа она застучала и вернулась в Париж раньше Гейне, гостившего в Германии до самой середины октября.

В январе 1844, после первого путешествия на родину, Гейне пишет поэму «Германия, центральную вещь во всем его творчестве политического поэта. В апреле он сочиняет эпилог для этой поэмы, и 17-го этого же месяца отсылает рукопись нового произведения своему издателю Кампе. Во время своего второго наезда в Германию Гейне наблюдает за печатанием поэмы. В сентябре 1844 поэма увидела свет, либо встретив открытое осуждение, либо замолчанная критикой. Вольфганг Менцель в своем «Литературном листке» сделал вид, что вовсе не заметил «Германии», этой самой выдающейся книги в немецкой литературе за 1844.

Годы 1843—1844 богаты еще одним значительным событием, отразившимся на поэтическом развитии и на поэтической работе Гейне этих лет: в конце декабря 1843 в Париже Гейне знакомится с молодым Карлом Марксом. Познакомил их младотельянский публицист Арнольд Руге, уже до того завязавший сношения с Гейне. Встречи с Гейне продолжались, покамест Маркс находился в Париже (11 января французское министерство внутренних дел распорядилось о высылке Маркса). Знакомство с Марксом началось в период писания «Гер-

становятся инициаторами философско-эстетических идей, оказавших большое влияние на современников, — особенно учение об «Эмансипации плоти».

Шарль Фурье (1772—1837). В 1808 — «Теория четырех движений», в 1822 — «Теория универсального единства», в 1829 — «Новый промышленный мир». Фурье дает глубокую критику капиталистического общества, системы капиталистического производства, его анархии и бессмыслицы, проникающих во все общественные отношения. Переход к новому строю Фурье изображает как мирный постепенный переход.

Kabe (1788—1855). В 1840 появляется его утопический роман «Путешествие в Икарию», проповедь мирного социализма. *Вильгельм Бейтлинг* (1808—1871) — глава утопического социализма в

1846—1847. — Ноль подьем оппозиционного движения во Франции.

1848, 24 февраля. — В Париже происходит народное восстание, ликвидировавшее июльскую монархию.

НЕМЕЦКИЕ ДЕЛА 1840—1848

1840. — На престол Пруссии вступает новый король — Фридрих Вильгельм IV. Буржуазия ждет от него реформ.

В Пруссии оппозиционное движение достигает значительных масштабов. Король разочаровывает буржуазию — он старается проводить не реформы, но реакционно-романтическую политику укрепления феодального государства. Конфликты между королем и буржуазией: соединенные ландтаги,

и можно предположить, что Маркс оказал существенное влияние на поэму Гейне. Из Гамбурга Маркс получил от Гейне датированное 24 сентября 1844 письмо с просьбой напечатать отдельные главы «Германии» в парижской газете «Vorwärts», близкой к Марксу. По инициативе Маркса «Германия» печатается в №№ 84—93 и 96 за 1844 г. Таким образом, поэма «Германия» как бы состоялась под идейной опекой Маркса.

Сохранились три письма, написанные Марксом Гейне в период 1845—1846 (см. «Сочинения Маркса и Энгельса», т. XXV, стр. 5—6, 40—41).

Последнее письмо (приблизительная дата — 5 апреля 1846) наиболее значительно по содержанию и касается споров Гейне со сторонниками Л. Берне. Маркс пишет: «Несколько дней тому назад мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас — письма, оставшиеся после Берне. Я бы никогда не поверил, что Берне так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черныш по белому написанные строки. А добавления Гуккова и прочих — что за жалкая мазня! В одном из немецких журналов я дам подробный разбор Вашей книги о Берне. Вряд ли в какой-либо литературный период книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы, а между тем ни в каком периоде немецкой литературы не опускалось недостатка в тупоумии» (Соч., т. XXV, стр. 41).

Германий. В 1842 в Швейцарии печатается его трактат «Гарантии гармонии и свободы». Ориентировался на рабочий класс, однако смешивал его с люмпен-пролетариатом, проповедывал немедленный переход отсталой Германии к коммунизму.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС ДО 1848

Юношеский период Маркса — 1842—1843 — работа в «Рейнской газете»; 1844 — Маркс вместе с Руге издает в Париже «Немецко-французские ежегодники», где напечатано «Введение в критику философии права Гегеля» — произведение, в котором Маркс апеллирует к пролетариату как к классу, способному осуществить «человеческую эмансипацию» — коммунистический общественный строй.

Энгельс в 1842 публикует памфлет «Шеллинг и откровение», в 1844 —

созванные королем, отзываются в займе.

Массовое движение — социалистические идеи проникают в среду трудящихся. В 1844 г. вспыхнули бунты силовских ткачей, за ними последовало восстание пражских ситцевщиков. Эти бунты, жестоко подавленные, бунты рабочих не против правительств, а против хозяев, произвели глубокое впечатление и дали новый толчок социалистической и коммунистической пропаганде среди рабочих. Такое же действие оказали хлебные бунты в голодном 1847 г.» (Маркс — Энгельс, Соч., т. VI, стр. 31.)

1845—1847. Маркс и Энгельс — их политическая деятельность в Брюсселе. Демократическое общество и «Немецкий рабочий союз»

В годы 1844—1847 обстоятельства заставляют Гейне погрузиться в материально-семейственные драмы, стоившие ему времени, энергии, траты духовных и физических сил.

С п о р о н а с л е д с т в е. 23 декабря 1844 умирает Соломон Гейне, гамбургский банкир, который выплачивал племяннику-поэту ежегодную ренту в четыре тысячи восемьсот франков. Наследник Соломона, Карл Гейне, отказывается от всяких обязательств по отношению к своему кузену, — он предлагает ему единственную сумму в восемь тысяч франков, в лучшем случае готов выдавать ему по две тысячи в год, но с условием, чтобы тот отдавал на цензуру родственников все свои дальнейшие произведения. Гамбургская родня ополчается против Генриха Гейне, припоминает ему старые обиды и угрозы. Муж Терезы Гейне, Адольф Галле, интригует против него, Карла Гейне подстрекает его жена, урожденная Фульд-Фуртадо, — она хочет посчитаться с Генрихом Гейне, который задел в печати знаменитого биржевика Фульд-Бенуа.

Буржуазные родственники, на чьем иждивении поэт вынужден был до сих пор находиться, сейчас желают использовать трудное для него положение: они вмешиваются в его литературную деятельность, ставят ему условия и добиваются своего рода идейного надзора над ним. Гейне вступает с ними в длительную борьбу. Чрезвычайно раздраженный, полный опасений за свою материальную судьбу,

«Очерки критики политической экономии».

Совместно с Энгельсом Маркс в 1845 выпускает памфлет против гегельянцев — «Святое семейство».

Вторая совместная работа Маркса и Энгельса от 1845—1846 — «Немецкая идеология» — явилась развернутым изложением системы диалектического материализма, уничтожающей критикой эпигонов гегельянства. Одновременно критикуется и метафизический материализм Л. Фейербаха.

В 1845 печатается «Положение рабочего класса в Англии» — книга Энгельса, в 1847 на французском языке — книга Маркса «Нищета философии», направленная против мелкобуржуазного социалиста Прудона. В Брюсселе осенью и зимой Маркс читает для немецких рабочих лекции о «Наемном труде и капитале».

В «Немецкой брассель-

подчиняются в Брюсселе идейному влиянию Маркса и Энгельса.

Сношения с чартистами (группа Харнея) и с немецкими коммунистами в Лондоне.

1847, июнь. — В присутствии Энгельса в Лондоне состоялся конгресс коммунистических обществ, был создан «Союз коммунистов».

По поручению Союза Маркс и Энгельс пишут «Коммунистический манифест». В конце января Маркс из Брюсселя отправляет в Лондон в печать текст «Манифеста».

1848, февраль в конце. — Манифест выходит в свет.

«В Германии коммунистическая партия борется совместно с буржуазией, — как только она выступает революционно, — против абсо-

помышляющий временами о самоубийстве, Гейне пытается действовать через прессу, куда Лаубе доставляет статьи, написанные в защиту материальных интересов поэта. Спор о наследстве превращается в общественное событие, — Гейне получает поддержку в лице Фердинанда Лассали, а этот в свою очередь мобилизует на помощь Гейне таких людей, как Александр Гумбольдт, Фарнгаген, князь Поклер-Мюскау, Мейербер, Феликс Мендельсон-Бартольди. Но ни пресса, ни общественное мнение ничего не могут подделать с гамбургскими родственниками. Только ложные слухи о смерти Генриха Гейне, появившиеся в 1846, принудили молодого гамбургского банкира пойти на примирение, — 25 февраля 1847 он берет со своего кузена подписку, что тот не станет публиковать какие-либо сочинения, касающиеся родни, без ведома этой последней; одновременно Карл Гейне восстанавливает ренту своего кузена — те самые четыре тысячи восемьсот франков ежегодно, из-за которых возникла распря.

Знакомство с Фердинандом Лассалем начинается в зиму 1845—1846. Гейне восхищается этим молодым человеком и горячо рекомендует его Фарнгагену. Участие Лассали в споре о наследстве укрепляет дружбу. Дружба с Лассалем впоследствии осыпает, — Гейне винит Лассали в проделках шурина его, Фердинанда Фридланда: этот пражский делец вовлек Гейне в очень сомнительные коммерческие спекуляции

своей газете» в том же 1847 Энгельс печатает статьи на литературные темы: «Немецкий социализм в стихах и в прозе» — о поэте «истинного социализма» Карле Беке и о книге «истинного социалиста» Карла Грюна, посвященной Гете. — Характеризуя Карла Бека как убогого мещанского поэта, Энгельс знаменательным образом противопоставляет ему Гейне: «Песня барабанщика». В этом стихотворении наш социалистический поэт опять обнаруживает, как его немецкая мещанская ограниченность вновь и вновь портит и тот слабый эффект, который он вызывает.

Под звуки музыки выступает полк. Народ приывает солдат объединиться с ним. Читатель обрадован: поэт, наконец, проявил мужество. Но, увы, в конце концов, мы узнаем, что речь идет лишь об имениях императора, и обра-

лютной монархии, против феодального землевладения и мелкой буржуазии.

Но ни на минуту не перестает она вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собою господство буржуазии как оружие против нее же самой, чтобы, сейчас же после крушения реакционных классов в Германии, началась борьба против самой буржуазии.

«На Германию коммунисты обращают главное свое внимание, потому что она находится накануне бур-

газового общество «Ирис»), закончившиеся для Гейне потерей значительных сумм.

История с наследством, ожесточенная борьба с родней подтачивают силы Гейне — здоровье его ухудшается. С лета 1845 Гейне переходит в полное распоряжение врачей и медичицы. Выясняется страшная болезнь — прогрессивный паралич. В 1845 появилась угроза смерти, через год паралич уже коснулся губ и языка, еще через год паралич поражает ноги и нижнюю часть тела. Гейне выезжает то в Монморанси, то в Барез и Гарб, то снова в Монморанси, — однако болезнь не останавливается. Гейне хочет ехать в Берлин, чтобы лечиться у знаменитого хирурга Диффенбаха, своего старого друга студенческих лет. Прусское правительство заявляет, что стоит только Гейне вступить на прусскую территорию, как он тотчас будет арестован. Лаубе при встрече в 1847 не узнает Генриха Гейне, с которым он еще не так давно расстался: «упитанный, изящный светский аббат», как он его называл, превратился в старого человека, совсем истощавшего, с потухшими глазами и с запущенной седою бородой».

Энергичный парижский корреспондент «Коммунистического бюро сношений», в письме от 15 мая 1846 сообщает Марксу: «Г. Гейне едет завтра на воды в Пиренеи; несчастный безвозвратно погиб, ибо уже сейчас проявляются первые признаки размягчения мозга. Умственная деятельность, в особенности его юмор, не смотря на то, что сознание часто затумани-

вание народа — это лишь мечтательная, тайная импровизация юноши на параде, — вероятно, гимназиста.

Так мечтает юноша, у которого пылает сердце. Та же тема у Гейне была бы горькой сатирой на немецкий народ; у Бека же получилась лишь сатира на самого поэта, отожествляющего себя с немощно мечтающим юношей. У Гейне мечты буржуа намеренно были бы ввинчены, чтобы затем упасть до уровня действительности. У Бека сам поэт солидаризируется с этими фантазиями и, конечно, терпит ущерб, когда низвергается в мир действительности. Первый вызывает в буржуа возмущение своей дерзостью, второй успокаивает его родством душ» (Соч., том V, стр. 125—126).

Очевидно, опыты-таки Гейне, эмигрировавшего в политически свободную

жужазой революции, потому что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым протариатом, чем в Англии XVII и во Франции XVIII столетия. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции» (Маркс—Энгельс, Соч., т. V, стр. 512).

ваются, все еще не изменились; но его уже стали донимать различными способами лечения, например, ему вводят порошок под кожу, и все напрасно. Он будет умирать постепенно, по частям, в течение пяти лет. Такие случаи бывали. Он еще пишет, хотя одно веко он держит всегда закрытым. Я посетил его вчера; он шутил и ведет себя как герой. Вскоре появится его новый труд».

В первые годы болезни объем литературной деятельности Гейне, естественно, сужен. С одной стороны, в эти годы он завершает цикл своих прозаических произведений на тему «О Германии», о немецком фольклоре, средневековые и национальных традициях. Сюда относятся балетное либретто «Богиня Диана», написанное в январе 1846, и опять-таки балетное либретто с распространенным сопроводительным текстом — «Фауст», написанное в 1847. С другой стороны, он приступает к лирическому творчеству совершенно нового типа.

В 1846 написаны стихотворения: «Карл I», «Помааре», «Маленький народец», «Азра», «Пфальц-графиня Ютта», «Жоффуа Рюдель» и «Мелисанда из Триполи»; в 1847 — «Валькирия». Все это — вещи, позднее включенные в «Романсеро» — во второй и завершающий цикл гейневской лирики.

Францию, имеет в виду Энгельс, когда говорит о том, что немецкое «хроническое убожество» не может воспитать революционного поэта. «Всем немецким поэтам, у которых есть какой-нибудь талант, пока можно посоветовать только одно — переселиться в цивилизованные страны» (там же, стр. 132.)

«Коммунистический манифест», законченный Марксом в январе 1848, был набран и уже брошюровался, когда в Париже началась революция.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1848, с 24 февраля по 4 мая. — Первый период революции — от падения Луи-Филиппа до открытия заседаний Учредительного собрания — «пролог». Провозглашение республики под давлением революционных масс. Обращение временного правительства во главе с Лавриньоном.

Национальные мастерские. Люксембургская комиссия Луи Блана и Альбера изучает вопрос об улучшении положения рабочего класса.

Период братания, кажущегося примирения между общественными классами.

«Парижский пролетариат упиивался этим великодушным порывом всеобщего братства» (Маркс, Соч., т. VIII, стр. 13).

1848, 4 мая. — В Париже собирается Наци-

1848—1856

В начале 1848 Фридрих Энгельс называет больного Гейне, — первоначальное знакомство Энгельса и Гейне относилось еще к 1846.

В письме к Марксу, датированном январем 1848, Энгельс так описывает состояние парижского приятеля: «Гейне при смерти. Две недели тому назад я был у него, он лежал в постели, с ним случился нервный припадок, вчера он встал, но в крайне жалком состоянии. Он с трудом может сделать три шага, опираясь о стены, пробирается от кресла к постели и vice versa. К тому же шум в его доме сводит его с ума — стук столяров, удары молота и т. д. Умственно он также несколько ослабел. Гейнцен хотел зайти к нему, но не был допущен» (Сочинения, т. XXI, стр. 92).

На самом кануне Февральской революции Гейне перевозят в лечебницу, которую содержит знакомая ему, Фольгтрейе. В письме, написанном оттуда, Гейне сообщает, что зрение его совсем ослепло, что он едва разбирает написанное им самим.

23 февраля Гейне в коляске, с женой и с врачом, отправляется из лечебницы к себе домой, — они предполагали втроем поужинать. Коляска, которая ждала Гейне,

НЕМЕЦКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

1840 — начало небывалого распространения и влияния политики политической поэзии в Германии. Немецкая поэзия превращается в рифмованную публицистику, в пропаганду и агитацию за принятии надвигающейся буржуазно-демократической революции.

Одним из предшественников этой новой поэзии был *Anastasis Grylls*, граф Антон Ауэршперг (1806—1876), выступивший еще в 1831 с «Прогулками венского поэта» — либеральной лирикой, направленной против Меттерниха и его режима.

Молодая плеяда политических поэтов:

Karl Beck (1817—1879) — автор «Тихих песен» (1840), и «Песен о беднике» (1846), выдержанных в духе «истинного социализма» и вызвавших в ответ полемическую статью Энгельса.

ональное собрание, вы-
бранное прямой всеобщей
подачей голосов.

«Это собрание было жи-
вым протестом притяза-
ний февральских дней и
должно было низвести
результаты революции
до буржуазного уровня»
(Маркс, Соч., т. VIII,
стр. 329). 15 мая 1848 —
попытки пролетариата ра-
зогнать собрание.

Буржуазия громит на-
циональные мастерские.

1848, 21—26 июня. —

Восстание парижского
пролетариата. Генерал Ка-
веньяк устраивает гран-
диозное избиение восста-
вших рабочих. После по-
беды свыше трех тысяч
инсургентов было убито,
пятнадцать тысяч сослано
без суда.

Урок июньских дней:
«Это была первая вели-
кая битва между обоими
классами, на которые
распадается современное
общество. Это была борьба
за сохранение или уни-

чтобы отвезти его обратно, была опроки-
нута баррикадными бойцами, — они дали
ей новое употребление.

Февральская революция сразу же на-
несла Гейне личный удар: в начале марта
«*Revue retrospectiv*» публикует список
пенсионеров свергнутого правительства, и
среди этих индивидуумов Гизо — Луи-Фи-
липпа находится также и имя Генриха
Гейне. Разоблачение материальных связей
Гейне с июльской монархией повсюду вы-
зывает толки, крайне для него неблаго-
приятные.

9 марта 1848 «Аугсбургская всеобщая
газета» помещает статью Гейне о февраль-
ской революции. В номере от 28 апреля
«Всеобщая газета» сообщает о своем сотруд-
нике позорящие сведения. Газета считает
для себя невозможным печатать в даль-
нейшем корреспонденции Гейне из Парижа.
В той же «Всеобщей газете» Гейне высту-
пает с разъяснениями по поводу своего
пенсionерства — в номере от 23 мая.

(В последний раз по вопросу о луи-
филиповской пенсии Гейне писал уже во
втором издании «Лютетии», 1854, — при-
писка к главе от 6 мая 1843.)

Связи Гейне с пролетарским револю-
ционным движением: встречи с Марксом,
март — апрель 1848 и июнь — август 1849.
24 апреля 1848 Маркс через Эвербека
пригласил Гейне сотрудничать в «Новой

Горман-фон-Фаллерслебен
(1798—1874) — ученый гер-
манист, знаток народной
лора, специалист по лите-
ратуре Нидерландов.

В 1840 выходят его «Не-
политические песни», весь-
ма умеренного содержания,
по своему стилю находя-
щиеся на уровне мелкого,
пристрастного к подробно-
стям, бюргерского реализма.

После 48-го года отка-
зался от оппозиционных
идей, издавал «Детские пес-
ни».

Франц Дингельштедт
(1814—1881). — В 1840 вы-
пустил книгу политических
стихов — «Песни космопо-
литического ночного сто-
рожка». По собственному
признанию, Дингельштедт
«не был гладиатором»

48-го года он писал стихи
о «змее, которая пожирает
отчину», после 48-го года
он делал карьеру бюро-
крата по театральным де-
лам — театральный интен-
дант в Мюнхене и т. д.

чтожение буржуазного строя. Покрывало, окутавшее республику, было разорвано» (Маркс, Соч., т. VIII, стр. 23).

«Поражение июньских инсургентов, правда, подготовило, расчистило почву для здания буржуазной республики, но в то же время оно показало, что в Европе дело идет о чем-то другом, а не о споре между республикой и монархией» (Маркс, Соч., т. VIII, стр. 330).

Поражение пролетариата делает крупную буржуазию господином положения. Средние слои оказываются у нее в руках. Буржуазное правительство отменяет все предполагавшиеся социальные законопроекты. Выработка реакционной конституции.

1848, 10 декабря. — Луи-Наполеон 5½ млн. голосов избран президентом республики.

рейнской газете». 3 мая Эвербек известил Маркса о согласии Гейне.

В мае 1848 Гейне впервые после долгого лечения в комнатах показывается на улице. Каролина Жюбер рассказывает о прогулке в Лувре, о последнем «визите», который нанес Гейне выставленной в Лувре Венере Милосской.

По сведениям той же Каролины Жюбер, в июньские дни 1848 Гейне снова лежит, прикованный к своим матрацам.

В июле 1848 его переводят в Пасси.

Статья о февральской революции была единственным произведением Гейне за 1848. В следующем году он пишет стихотворение «В октябре 1848» — героическую элегию в честь разгромленной революции.

С середины 1848 Гейне уже более не покидает своей «матрачной могилы», оторванный от общественной жизни, от живых людей, от парижской улицы. Он видится только с теми, кто посещает его на дому. Круг посетителей был довольно значительный.

Постоянным гостем Гейне в этот период был Альфред Мейснер, пражский революционный поэт (1822—1885). Мейснер тогда пользовался большим уважением в литературе как автор поэмы «Жизнь», политических «Стихотворений», драмы «Жена Урии». (Имя Мейснера осталось в истории немецкой литературы, открытое

Роберт Пруц (1816—1872) — публицист, историк литературы, критик, драматург. В 40-х годах выступал с политическими стихотворениями радикального содержания.

Георг Гервег (1817—1875) — популярнейший из поэтов 40-х годов; его «Стихи живого человека» (1844) оказались чрезвычайным общественным событием. Неопределенные лозунги «свободы», риторический пафос, неотчетливость политической программы — все это достаточно выражало оппозиционный энтузиазм бюргерства, чьи политические идеалы в ту пору тоже не отличались полнотой и ясностью.

В 1842 — аудиенция у короля Фридриха-Вильгельма IV, довольно милостивая, но за ней следует высылка из Пруссии.

В 1844 — 2-й том «Стихов живого человека», уже не имевший того же значения, что сборник 1841.

Борьба между Национальным собранием и президентом. Рост республиканских настроений в среде буржуазии. — Собрание 1849, 29 мая. — Соборное Законодательное собрание. Малая буржуазия во главе с Ледрю-Ролле-ном представляет в нем оппозицию.

1849, 13 июня. — Попытка мелкобуржуазной оппозиции совершить свою революцию, заканчиваясь жалким провалом. Законодательное собрание последовательно унижает одно за другим завоевания февральских дней 1848.

1850, 31 мая. — Опубликован закон об отмене всеобщего избирательного права.

Конфликты между социализмом и президентом. Приближается срок новых выборов президента — 1852. Луи-Наполеон спешит упорочить свое положение.

скандалом. Во вторую половину своей деятельности Мейснер был плодотворным автором романов. Через четыре года по смерти Мейснера выяснилось, что ни один из этих романов не был написан самим Мейснером, — он покупал их за половину гонорара у некоего Гедриха и ставил свое имя.

Таким образом, в истории сохранился не Мейснер, но Вимаснер-Гедрих.)

Мейснер был внимательным наблюдателем дел и дней умирающего Гейне, оставил о последних годах Гейне ценные мемуары. Гейне относился к Мейснеру весьма дружески, был его литературным советчиком. Знакомство с Мейснером началось в 1847. Альфред Мейснер бывал затем у Гейне в 1849, 1850 и 1854.

Из других немецких литераторов, посещавших умирающего Гейне, следует назвать Фанни Левальд и Адольфа Штар. Фанни Левальд (1811—1889), племянница Августа Левальда, издана приятиельством вашего с Гейне, была заметной в свое время писательницей. Ее романы «Клементина» (1842), «Дженни» (1843), «Диогена» (1847) были уже написаны ко времени ее знакомства с Гейне. Адольф Штар (1805—1876), муж Фанни Левальд, был автором книги «Год в Италии» (1846). Фанни Левальд и Адольф Штар бывали у Гейне в 1848, 1850, 1855. Оба они

Гервег активно, хотя и малоудачно, участвовал в революции 48-го года.

Георг Веер (1822—1856) — поэт, прошедший через левое гегельянство, через увлечение мелкобуржуазным немецким «истинным социализмом» и окончивший свой путь как сочувствующий Маркса и Энгельса, как инициатор пролетарской революционной поэзии в Германии. Веерта от сентиментальных демократов отличало понимание исторической роли рабочего класса, понимание прогрессивной роли современной промышленности цивилизации как необходимого условия освобождения трудящихся, что получило выражение в его поэме «Индустрия» и отчасти в его поэме «Суд».

В 1848—1849 он состоит редактором фельетонного отдела в «Новой рейнской газете», печатает там политические стихи и сатирический роман «Приключения

1851, 2 декабря. — Государственный переворот «18 брюмера Луи-Бонапарт». Законодательное собрание распущено, одновременно Луи-Наполеон восстанавливает всеобщую подачу голосов. Народные волнения во Франции. Однако подавляющая масса собственногонического крестьянства поддерживает переворот.

1852, 2 декабря. — Провозглашение империи Наполеона III.

РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ

1848, 13 марта. — Революция в Вене.

1848, 18 марта. — Революция в Берлине. Власть монархов сохраняется. Создается либеральное министерство.

Обещана конституция. Борьба за национальное объединение Германии.

1848, 31 марта. Первое собрание франкфуртского предпарламента.

написали очень содержательные воспоминания о своих визитах к Гейне и о своих разговорах с ним.

В 1849—1850 секретарем Гейне состоял Карл Гиллебранд, которому Гейне диктовал стихотворения «Романеро». Гиллебранд одновременно был у Гейне чтецом. В своих воспоминаниях Гиллебранд рассказывает, что читал он Гейне Шиллера, Гете, богословские сочинения Толука, Шпиттлера. В «магратцкой могиле» Гейне становится еще более жадным читателем, чем до того. Книжки, которыми он интересуется, чрезвычайно разнообразны. Гейне со всех сторон собирает пеструю эрудицию, украсившую последние его стихотворения и поэмы. В письме к родным от 15 июня 1850 Гейне просит, чтобы ему прислали из библиотеки: сочинения Диккенса — «Пиквикский клуб», «Путешествие в Италию и в Америку», сочинения Гоголя («переведенные с русского»). В более позднем письме к Ю. Кампе (15 октября 1852) Гейне просит о книгах биографических — жизнеописания Шамиссо, Нибура, Виланда, просит прислать ему роман Теккере «Пенденнис», просит о книгах по фольклору, этнографии, о путевых книгах и т. д.

В некоторых случаях Гейне знакомится с такими явлениями современной культуры, которые свою настоящую роль сыгнали в значительно более поздний период.

кавалера Шнапанского». Эта его деятельность бок о бок с Марксом в самый разгар революционной борьбы составляет вершину его литературной биографии.

Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876) — один из самых плодотворных и художественно одаренных политических поэтов. Начал свою деятельность в рамках «экзотической поэзии» в духе Рюккерта и французских романтиков; своими энергичными стихами с их резким колоритом завоевал сразу же большую публику.

В 1844 отказывается от королевской стипендии, которой пользовался как поэт. Это означало сознательный переход на сторону политической оппозиции, отказ от «чистой» поэзии в пользу поэзии «партийной», против которой он еще недавно возражал.

В 1846 публикует тетрадь политических стихов «Са

Буржуазия старается ограничить размах народного движения — переверсти его на парламентские рельсы.

1848, 18 мая. — В церкви св. Павла во Франкфурте собирается всегерманский парламент.

1848, 2 апреля. — Открывается в Берлине прусский Соединенный ландтаг.

Буржуазия идет соглашения с феодальным государством и готовится вступить с ним в союз против революционного народа.

С 31 мая 1848 по 18 мая 1849. — Выходит под редакцией Маркса «Новая рейнская газета». «Новая рейнская газета» от 14 июня 1848: «Мы не должны забывать, что у нас не было революции, как в Париже и еще ранее в Англии, — еще у нас имело место соглашение между короной и народом (свое-

риод, — он знакомится, так сказать, с «последнейневской культурой»). Так, Альфред Мейснер ведет с ним в 1850 разговор о философии Шопенгауэра, к которому он сам, Мейснер, только случайно стал причастным.

1851 чрезвычайно продуктивен для Гейне — лирического поэта. В этом году создано множество вещей из цикла «Романцеры» — «Рамсенин», «Белый слон», «Поэт Фирдуси», «Витцли-путцли», «Испанские Атриды» и пр. и пр. Летом 1851 Юлиус Кампе, гамбургский издатель, находит в Париже Гейне стоваривается с ним об издании нового стихотворного цикла, — название «Романцеры» для всего цикла в целом отчасти возникло по инициативе самого издателя. В августе брат Гейне, Густав, уже доставляет Юлиусу Кампе значительную часть манускрипта. Гейне спешит с поправками и дополнениями. В октябре 1851 «Романцеры» выходят в свет отдельной книгой. Сначала «Романцеры» предполагалось объединить с балетной поэмой «Фауст». Успех издания очень велик, — Кампе в четыре месяца распродает двадцать тысяч экземпляров.

В 1853 появились «Боги в изгнании» — позднее дополнение к таким вещам Гейне, как «Духи стихий» и «Доктор Фауст». Напечатаны были «Боги в изгнании». «Revue des deux mondes», 1 апреля

ига», среди них знаменитое «Снизу вверх». Новые его стихотворения печатаются и расходятся в Германии листовками.

В 1848 он пишет «Мертвые живым», работает в «Новой рейнской газете», где отклоняется стихами на большие события революции. Последний номер газеты — 19 мая 1849 — вышел с прощальными стихами Фрейлиграта.

1849—1851 еще проходят для Фрейлиграта на волне революционного одушевления: сборники «Среди снопов», «Новые политические и социальные стихотворения».

Литературная биография Фрейлиграта кончилась бесславно. В 1868 он возвращается из эмиграции в отечество, принимает от бюргеров дар в 180 000 марок, который они для него собрали, и во время франко-прусской войны становится патристическим поэтом («Ура, Германия» и т. д.).

ЛИТЕРАТУРА НЕМЕЦКОЙ РЕАКЦИИ

1853. С конца 1853 пишутся «Признания», в начале 1854 уже оконченные. Они тоже появляются в «Revue des deux mondes», 15 сентября 1854.

В 1854 Гейне после долгих споров и торгов с Юлиусом Кампе осуществляет переиздание отдельными книгами и в переработанном виде своих старых корреспонденций из Парижа, писавшихся с 1840 до 1843 для «Всеобщей газеты», — статьи эти получают общее название «Лютеция».

На издание «Лютеции» Гейне положил большие силы, видя в этой книге итог своей деятельности как политического писателя; помимо того, он ценил эту книгу и как образец прозы, как достижение стилистики. В реакционной, послемартовской Германии «Лютеция» была принята недружелюбно. Даже наборщики и корректора оскорбляли Гейне своими замечаниями, сделанными на полях пересылаемых в Париж корректурных листов. Буржуазные либералы Юлиан Шмидт и Густав Фрейтаг отказывают книге Гейне в каком-либо принципиальном политическом содержании, — они объявляют книгу результатом мгновенных настроений и писательских капризов.

В 1854, 1855, 1856 Гейне работает над своими «Мемуарами».

«Лютеция» составила II и III томы изданных у Кампе «Смешанных сочинений» («Vermischte Schriften von Heinrich Heine»);

образное соглашение при помощи карточки и ружейной пули!)» (Маркс, Соч., т. VI, стр. 173).

Июньское поражение парижского пролетариата развязывает контрреволюцию в Германии.

1848, 30 октября. — Падение революционной Вены.

Осободительное движение в Венгрии.

1849, 19 апреля. — Объявлена Венгрии ее независимость.

1849, июль. — Русские войска во главе с Паскевичем вступают в Венгрию.

1849, 13 августа. — Капитуляция венгерской армии.

1849, 18 июня. — Распущено Национальное собрание, перешедшее к тому времени из Франкфурта в Штутгарт.

1849, май. — Начинаются восстания в защиту имперской конституции. В июле 1849 они почти повсюду подавлены.

Характерные черты ее: глубокая аполитичность, провинциализм, домашне-буржуазный кругозор, мелкие тематические задания, тяготения к «национальному»: к пейзажу, идиллии, к мелочной «чистой психологии» и пр. и пр. Литературный стиль: эпигонство у классиков и романтиков, «академизм», эстетство при очень низком эстетической культуре его носителей. С другой стороны — развитие реализма, ограниченно — буржуазного, по своим возможностям, медлительно-описательного, ориентирующегося на быт и на абстрактный психологический анализ.

Для эстетов — эпигонов центром служил Мюнхен, где король баварский Максимилиан II старался сосредоточить, по примеру своих предшественников, немецкую поэзию и немецкие художества. Мюнхен-

Реакция побеждает по всей Германии.

1850, март. — Первое Обращение к Союзу коммунистов.

Программа новой революционной борьбы пролетариата.

РЕАКЦИЯ В ГЕРМАНИИ

1851, 31 декабря. — В Австрии отменяется конституция. Меттерних снова приобретает политическое влияние. Австрия пытается снять вопрос об едином немецком национальном государстве. Австрия получает снова преобладание в немецких делах.

Конституция в Пруссии — трехклассная избирательная система. Верхняя и нижняя палаты («палата челяди»), находившаяся в полной зависимости от правительств.

Либеральная буржуазия вместе с юнкерством выступает как враг рабо-

в I том этого же издания вошли новые стихотворения, написанные после «Роман-церов» в 1853—1854 и являющиеся «совершенно новым тоном, принадлежащим к самому своеобразному из созданного мною» — так характеризует Гейне эти стихотворения в письме к Ю. Кампе от 7 марта 1854.

1855 был ознаменован для Гейне новым знакомством. У одра больного появлялась некая Камилла Зельден, родом немка, проводившая почти всю свою жизнь во Франции, в Париже. Она была горячей поклонницей поэзии Гейне. Нежная дружба с Камиллой Зельден («Mousche», как он ее называл) явилась источником нескольких предсмертных стихотворений Гейне.

В середине февраля 1856 обнаружили первые признаки развязки многолетних страданий больного Гейне. Начались недержимые рвоты, — они бывали и прежде, но сейчас окружающие поняли, что положение безнадежно. Гейне сохранял сознание. За несколько часов до того, как наступил конец, к Гейне вломился один из его знакомых. Он сразу же спросил, что думает умирающий о боге. Гейне улыбаясь: «Будьте покойны. Бог меня простит, это его профессия» (было сказано по-французски: «Dieu me pardonnera, c'est son métier»). Рассказ принадлежит Альфреду Мейссне-

ский круг составляли поэты Эм. Гейбель, Боденштедт, граф фон-Шак и др.

Немецкий мещанский реализм 50-х годов представлен творчеством *Густаве Фрейтага* (1816—1895), чей роман «Дебет и кредит» (1855) явился прославлением трезвого, умеренно-честного в делах немецкого купечества.

Реализм описательный, лирического оттенка, культивировали *Адальберт Штифтер* (1805—1868) и *Теодор Шторм* (1817—1838).

Безвременье сказалось и в работе больших талантов, которыми располагала эпоха: швейцарец *Готфрид Келлер* (1819—1890), ученик Фейербаха, почитатель Гейне, весь ушел в подробности местного колорита, в ландшафтную живопись, в лирику индивидуальной судьбы, создавая свой лучший роман «Зеленый Генрих» (1854) — биографию художника.

чего движения и революционной борьбы. Компромисс между буржуазией и юнчерством.

«В Пруссии результаты революции сводились к тому, что романтик Фридрих-Вильгельм IV получил, наконец, возможность осуществить свои средневековые чаяния, когда победоносная реакция смело множество антиромантических учреждений, контрабандой проникших в Прусское государство за время от Фридриха II до Штейна и Гарденберга. Под предлогом защиты буржуазного общества от пролетариата это общество вновь подчинили господству феодализма». «Буржуазия — по меньшей мере класс, лишенный героизма» (Энгельс, Соч., т. XV, стр. 83).

ру). Доктор Груби, лечивший Гейне, объяснил ему, что нужно быть готовым. Гейне выслушал его спокойно. Около четырех часов утра 17 февраля 1856 Гейне скончался.

20 февраля его хоронили. Тело не было вскрыто, так как Гейне в свое время запретил вскрытие. Хоронили Гейне без религиозных обрядов — опять-таки следуя его завещанию. И по его же собственному предсмертному желанию хоронили его на кладбище Монмартр, уже приютившем многих политических изгнанников, поляков и итальянцев. Гроб Генриха Гейне провожали человек сто, среди них были немцы, французы, знаменитые писатели: Теофиль Готье, Поль де-Сен-Виктор, Минье, Александр Дюма. Александр Дюма громко рыдал. Речей не произносили. Умирающий Гейне успел попросить друзей и об этом.

Монмартрское кладбище, как сам Гейне говорил еще в 1850 Людвигу Калишу, оказалось для Гейне последней «квартирой» — «с видом на вечность».

Отто Людвиг (1813—1865), романист и драматург, оказался бесплодным экспериментатором, так и не нашедшим пути к большому искусству, к которому он стремился и как теоретик и как художник-практик. В драматургии для него фатальными оказались границы «Мещанской драмы», в романе он не поднялся над мелким бытосанием.

Фридрих Геббель (1813—1863), начавший свою деятельность драматурга под сильным влиянием «Молодой Германии» («Юдифь», 1841), экспериментировавший в области мещанской драмы («Мария Магдалина», 1844), завершил свою деятельность как хороший мастер абстрактной трагедии, как эпитон немецкой классики и как апологет существующих политических форм.

1848 — дата, с которой начинается упадок буржуазной литературы Германии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О НЕДОШЕДШИХ ДО НАС ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. ГЕЙНЕ

О двух недошедших до нас произведениях Гейне сохранил сведения Шмидт-Вейсенфельс.

Приводим цитаты из его книги — Schmidt-Weissenfels, Über Heinrich Heine, Berlin, 1857.

«Когда Гейне был еще здоров, он мечтал о лаврах не только лирика, но и драматического писателя. Тщеславие настолько дожимало его, что, как рассказывает Жерар де-Нерваль, он в конце концов передал своему другу рукопись комедии с тем, чтобы сцены, написанные Гейне по-немецки, были переведены на французский язык. Через несколько дней Жерар выполнил эту работу для Гейне.

Месяца через два, повстречавшись с поэтом, Жерар спросил, принята ли его комедия. Гейне грустно покачал головой и сказал, что он побаивается подвергать испытанию театральный мир. Известно, что никто не относился столь ревниво к своей славе, как Гейне: он страшился мысли, что какое-либо из его поэтических произведений может потерпеть неудачу и что публика непосредственным образом произнесет над ним свой суд.

Жерар предложил ему переслать комедию анонимно Арсену Уссе. Тогда Гейне снова передал свою рукопись Жерару и поручил ему доставить ее либо дирекции театра Odéon, либо дирекции Théâtre Français.

Прошло несколько недель, покамест Гейне нанес визит своему другу. Первое, что он спросил, — это: получен ли ответ касательно его комедии.

Жерар молча возвратил ему манускрипт и рассказывал ему, что Арсен Уссе отверг предложенную ему комедию,

Гейне до того расстроился, что без дальних размышлений бросил тетрадь в камин.

— Бог мой, что вы делаете! — воскликнул Жерар.

— Пускай горит, — отвечал Гейне, — я буду досадовать, если эта работа снова попадется мне на глаза. Говоря откровенно, это самый лучший конец для нее; в мои годы мне уже не пришлось играть комедию с самим собою.

Жерар не видел греха в том, чтобы посвятить меня в содержание рукописей, переданных ему Гейне... Поэма, попавшаяся мне на глаза, была довольно-таки объемистая; ... это была сатирическая поэма в духе «Атта Троль», с едкими стихами, направленными против Германии и в особенности против немецких поэтов.

Название поэмы было «Эллоа» или «Аллао», по вывеске немецкого трактира, куда совершали паломничество немецкие поэты...

Как только появлялся новый посетитель, начинался «воюющий» рефрен...

Приходят поэты швабской школы, младогерманцы, Фрейлиграт, Гейбель и многие другие; каждому дается подобающая характеристика...

Как сказано, мне удалось прочесть не слишком значительную часть этого манускрипта; я вспоминаю только еще кое-какие стихи, произносимые ведьмами, которые ложатся на соломку тут же, рядом с пьяными немецкими поэтами. Не знаю, относится ли это произведение к посмертному наследию, вызвавшему столько толков, или же было оно уничтожено самим поэтом, так как содержало немало грубо-цинического. Во всяком случае, то, что эпос остался неопубликованным, — это для многих из наших поэтов весьма приятное обстоятельство.

РАЗГОВОРЫ С ГЕЙНЕ

Э д у а р д В е д е к и н д

(Сообщение Штротмана на основании дневника Ведекинда)

16 июня 1824 г.

Любимая тема, к которой он возвращался при всяком удобном случае, была метрика и теория стихосложения, которою он обстоятельнейшим образом занимался еще в Бонне под руководством Шлегеля.

Вообще, — сказал он однажды, — произведения плохие или хорошие я всегда рассматривал под таким углом зрения: понимает ли автор в метрике или не понимает. В действительности метрика дьявольски трудная вещь. В Германии найдется, быть может, всего шесть-семь человек, понимающих ее сущность. Шлегель меня в нее посвятил. Шлегель — это колосс! Сам он отнюдь не поэт, но благодаря своему знанию метрики он временами доходил до самого преддверия поэзии. Очень хорош и Фосс.

— Мне кажется, — заметил Ведекинд, — что вы связываете со словом метрика более широкое понятие, чем это обычно делается. Ибо если отсчитывание стоп и слогов естественно признавать чем-то посторонним для поэзии или же попросту ее азами, то зато в остальных отношениях, как мне кажется, нетрудно проникнуть в характер и сущность поэтической формы. Хотя это не всегда можно отчетливо формулировать в словах, однако чувство, если ему привита известная культура, всегда может служить здесь правильным руководством. Я вообще держусь того мнения, что поэту никогда не приходится искать формы; он не должен отделять ее от существа содержания, более того, я убежден, что вместе с идеей какого-либо поэтического произ-

ведения одновременно возникает и вполне ему присущая специфическая форма как неразрывное единое целое...

— Как правило, — сказал Гейне, — это бывает именно так, однакоже не всегда. Иногда приходится весьма основательно поразмыслить относительно формы, так как она отнюдь не является всего лишь средством, но, со своей стороны, тоже имеет и творческое значение. В чем заключается конечный смысл метрики древних, я не могу уяснить себе до сих пор. Античные стихотворные размеры, как, например, гексаметры, кажутся мне совершенно несвойственными немецкому языку. Даже если они превосходно и абсолютно правильно построены и в них ничего нельзя переставить, они все же мне не нравятся. Существуют лишь отдельные исключения, да и то это не лучшие образцы, каковы, например, римские элегии Гете. Шлегель говорил мне, что Гете читал их ему предварительно в рукописи и он, Шлегель, указал ему на ряд погрешностей против правил стихосложения. Но Гете обыкновенно отвечал, что он сам хорошо видит эти неправильности, но не хочет вносить изменений, ибо в таком виде они нравятся ему больше, чем когда все правила соблюдены. В чем же тут дело?

— Все дело в духе немецкого языка, — отвечал Ведекинд. — Это, конечно, сказано слишком обще, но до сего дня я не могу развить своей мысли более конкретно.

— Среди таких исключений, — продолжал Гейне, — можно назвать — я имею в виду стихотворения, античная форма которых мне нравится, — некоторые оды Клопштока, например Цюрихское озеро и оды к Эберту и Гизеке. Вообще из произведений Клопштока оды его нравятся мне более всего остальных. «Мессиаду» я не мог читать, она представляется мне какой-то поэтической проповедью...

... Ведекинд спросил поэта, не писал ли он когда-либо настоящих сатирических вещей. «Это опасное ремесло» — последовал ответ Гейне.

— Почему же, они не должны только носить персонального характера.

— Ба! Все сатиры носят персональный характер.

Ведекинд указал ему на сатиры Горация, в которых личные выпады прикрыты и смягчены.

— Но это скорее всего хороший юмор, — ответил Гейне. — Величайший сатирик — это Аристофан, я хотел бы, чтоб у нас снова расцвела персональная сатира...

— Это было бы нехорошо и вызвало бы много яростных чернильных битв.

— А чем же это плохо? Не нужно, чтоб народ впадал в безразличное состояние.

— Тогда надо браться за мечи, а не за перья.

— Эразм и Лютер также боролись пером.

— Это другое дело. Перед ними была высокая и важная задача, на карту было поставлено народное благо. Лютер, естественно, должен был бороться всеми возможными средствами за свои высокие принципы и за то, что он считал истиной, чтобы все это снова не погибло. Займитесь-ка сами сатирой в персональном роде, это будет хорошее упражнение и может позабавить ваших друзей, если даже вы не все и напечатаете.

— Я уже сделал почин в этом направлении, — сказал Гейне, — поскольку я пишу мемуары, которые уже достаточно продвинулись вперед. Теперь я оставил их, так как у меня есть другие дела. Но я буду их продолжать, они должны появиться или после моей смерти, или же при жизни в том случае, если я доживу до того же возраста, что и старик (Гете).

— Последнему я пожелал бы умереть пораньше, — заметил Ведекинд, — мир много бы потерял, но слава его от этого бы выиграла.

Гейне решительно возражал против этого. Как он утверждал, любил он, конечно, больше Шиллера, но нравился ему больше Гете.

— Гете, — сказал он, — это гордость немецкой литературы, Шиллер — гордость немецкого народа.

В противоположность своему другу Ведекинду он ставил Гете выше Шиллера и в качестве драматурга. Шиллер, по его мнению, никогда не поднимался до уровня «Эгмонта». «Страдания молодого Вертера» Гейне еще не читал. Как-то он собрался взять эту книгу, но потом отложил ее в сторону, так как он боялся, что при его тогдашнем настроении «Вертер» его слишком взволнует. С большим уважением отзывался он о Бюргеревей народный стиль вызывал в нем большое сочувствие.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Апрель 1827 г.

Как-то раз дядя (Соломон Гейне) в прекрасном расположении духа попивал свой утренний кофе; племянник сказал ему:

— Я должен видеть страну моего Ратклифа, я должен видеть Англию.

— Ну, и поезжай, — ответил дядя.

— Но в Англии жизнь очень дорога.

— Ты недавно ведь получил деньги.

— Да, но этого хватит только на самые необходимые расходы; чтобы вести более достойный образ жизни, мне нужно бы иметь чек на Ротшильда.

И вот племяннику, недавно получившему от матери 100 луидоров на путешествие, дядя дал еще чек на 400 фунтов стерлингов дополнительно, то есть 10 тысяч франков, вместе с горячей рекомендацией к барону Ротшильду в Лондоне.

При прощании дядя сказал:

— Чек дается тебе лишь для формального подтверждения рекомендации, тебе должно хватить тех наличных денег, которые ты получил на путешествие. До счастливого возвращения.

Что же сделал поэт? Не пробыв и 24 часов в Лондоне, он уже является со своим чеком в контору Ротшильда и благодушно забирает 10 тысяч франков. Затем он отправляется к главе дома, барону Джемсу Ротшильду, который тут же приглашает его на торжественный обед...

Небезынтересна была сцена, когда гениальный племянник впервые после своего возвращения явился к разгневанному дяде. Дядя упрекал его в безграничной расточительности, угрожал, что никогда не простит его, и все это Гейне выслушал с величайшим спокойствием.

Когда же дядя закончил свое нравоучение, племянник произнес в ответ только одну фразу: «Знаешь ли, дядя, лучшее в тебе это то, что ты носишь мое имя», — и гордо покинул комнату.

ЛЮДОЛЬФ ВИНБАРГ

1830 г.

Гейне не был слеп к некоторым своим недостаткам. Он, например, хорошо знал те теневые стороны своей писательской манеры, которые были связаны с ее блестящими сторонами. Он сказал однажды одному молодому автору: «Профессор Ц. (Циммерман) хвалил ваши стихи. Правда, вся композиция (дело шло о переводе с греческого размером подлинника) у вас вдохновенна и изящна, но в моих глазах это имеет меньшее значение. Восхитило меня ваше предисловие, я завидую вашей прозе». Когда упомянутый автор посмотрел на него с оттенком иронического недоверия, Гейне воскликнул: «Нет, нет, это не комплимент с моей стороны, это мое настоящее мнение. Вы еще вольный конь, я же выезженный. Я усвоил себе определенный жанр, от которого мне трудно освободиться. Как легко стать рабом публики! Публика ждет и требует, чтобы я продолжал так же, как я начал. Если я буду писать иначе, скажут: это совсем не по-гейневски. Гейне теперь уже не Гейне». Он, без сомнения, имел в виду в данном случае, кроме постоянного присутствия на авансцене его собственной личности, также и привычное для него обилие острых эпитетов, в особенности же свойственную ему пластику в выражении мысли, пластику, которая была обусловлена ориентацией на чувственное созерцание, пластику, полную остроты, прелести, разрабатывающую избранный поэтический образ до пределов полной гармонии, хотя по временам и страдающую известной перенапряженностью. Он никогда не расценивал явлений и поэтов не мог впасть в противоположный недостаток, в мелкий и придиричивый анализ. Он видел перед собой вещи и людей и давал им имена, самобытный, как первый творец человеческого языка, как Адам в раю. Он сохранял за явлениями их целостность, если только им не руководила недружелюбная мысль представить их в разорванном виде, но и в этом случае он предпочитал содрать с них кожу, но не подвергать их анализу. В ходе его мыслей всегда была заметна какая-либо руководящая идея, в его характеристиках — одна какая-либо резко выраженная черта, в его образах — определенная тенденция и определенный колорит. Его прозаический стиль достиг

своего кульминационного пункта позднее, в его парижских корреспонденциях в Аугсбургскую газету, т. е. в период, который привел к всестороннему развитию его духовных дарований, заставлявший изумляться той быстроте ориентировки и той проницательности, с которой он сумел изобразить мировой город со всеми его персонажами и событиями. «Хороший писатель выявляет себя не столько через то, что он описывает, сколько через то, что он опускает» — было одним из важнейших его изречений. (Поэт-переводчик с греческого, о котором говорится в начале записи, был сам Л. Винбарг.)

Ф Р А Н Ц Г Р И Л Ь П А Р Ц Е Р

Апрель — май 1836 г.

Из людей в Париже более всего интересны мне были два моих соотечественника — Берне и Гейне. С первым у меня установились почти что дружеские отношения...

Гейне я нашел в расцвете здоровья, но, как мне казалось, в затруднительном материальном положении. Он занимал две маленькие комнаты в Cité Bergère, в первой из которых две каких-то женщины возились с постелями и подушками, вторая же, еще более маленькая, рабочая комната Гейне, из-за скудности мебели имела вид просторной или, по крайней мере, нежилой. Вся его наличная библиотека состояла, как он сам сказал, из одной-единственной одолженной книги. Он принял меня вначале за писателя Кюстина, похожим на которого я ему, должно быть, показался. Когда я назвал себя, он выразил большую радость и наговорил мне много лестных вещей, о которых, вероятно, спустя час позабыл. Но в течение данного часа мы вели оживленную беседу. Вряд ли я слышал когда-либо немецкого литератора, который говорил бы более разумно. Однако с Берне и с другими наиболее разумными немцами он имеет то общее, что он при всем отрицательном отношении к отдельным писателям питает величайшее уважение ко всей немецкой литературе в целом и даже ставит ее выше других. Что же касается меня, то я не знаю такого целого, которое не состояло бы из отдельных частей. Последним же недостает индивидуальности и характера. А я, когда читаю книгу, хочу иметь дело с какою-то личностью.

Насколько понравился мне Гейне при разговоре с глазу на глаз, настолько же противоположное впечатление произвел на меня Гейне, когда несколькими днями спустя я присутствовал вместе с ним на завтраке у Ротшильда. Было очень заметно, что хозяева побаивались Гейне, и этой боязнью он злоупотреблял, чтобы при всяком удобном случае тайком подсмеиваться над ней. Нельзя сидеть за одним столом с человеком, которому ты не желаешь добра, и нельзя сидеть за одним столом с человеком, которого находишь достойным презрения. По этой причине наши отношения не могли стать более близкими.

А н о н и м

«Господин доктор, — сказал ему однажды за столом Ротшильд, — вы ученый человек, скажите, почему это вино называется Лакрима-Кристи (слезы Христа)?» — «Достаточно перевести, — ответил Гейне. — Христос плачет, когда богатые евреи пьют такое вино, в то время как много бедных людей терпят голод и жажду». Ротшильд жил в новом дворце на улице Лаффит, построенном целиком в стиле ренессанса, на украшение которого были затрачены миллионы. Ему казалось остроумным, когда он задавал каждому из своих посетителей вопрос: «*Comment trouvez vous ma chenie?*» *

«Знаете ли вы, — шепнул ему на ухо Гейне, — что *chenie* означает собачья конура?» — «Ну, и что же?» — спросил Ротшильд. «Но ведь вы же являетесь жильцом этой *chenie*. Если вы так плохо думаете о себе, то по крайней мере скрывайте это» (см. статью Гейне от 1 марта 1836 г; в «Аугсбургской всеобщей газете» от 8 марта, под заголовком: «Гугеноты Мейербера и большой бал у Ротшильда»; здесь описан этот новый дворец банкира: «Версаль абсолютного самодержавия денег»).

Г е н р и х Л а у б е

Декабрь 1839 г.

«Вы близко знакомы с мадам Дюдеван?» — спросил я Гейне, когда мы в одно зимнее утро въехали в ту часть города, которая

* Что вы скажете о моей конуре?

постепенно возвышается в сторону Монмартра и куда теперь в виду здорового местоположения переселится высший свет. — «О, да! Но я в течение двух лет не видел ее. Два года назад я часто бывал у нее». — «Но ведь эти два года вы и она преимущественно провели в Париже». — «Да, но Париж огромен». «Однако он имеет только одну Жорж Занд». — «Но он имеет также только один Лувр, только одну Итальянскую оперу, а иногда по два года не бываешь ни в Лувре, ни в Итальянской опере. Ежедневные хлопоты берут слишком много времени». — «Не обидится ли Дюдеван на вас за такое невнимание и не примет ли она вас сегодня холодно?» — «Не думаю, она ведь тоже живет в Париже, книги же ее я все читаю. Французский писатель не так чувствителен по части супружеских прав, как немецкий». — «Кто теперь ее влюбленный?» — «Шопен, пианист-виртуоз, обаятельный человек, худой, тонкий, одухотворенный, как немецкий поэт из журнала «Сладостное одиночество». — «Виртуозы, должно быть, ей особенно нравятся; разве Лист не был долгое время ее любимцем?» — «Она ищет бога, а его нигде нельзя так быстро найти, как в музыке. Музыка носит настолько общий характер, она лишена всяких противоречий, ее никогда нельзя обвинить в глупости, так как ей никогда не нужно казаться умной, в ней дается сразу же и то, чего мы хотим, и то, что нам доступно, спасает нас от мучительной для нас духовности, не лишая нас, однако, одухотворенности».

Стоял один из тех прекрасных зимних полдней, которыми так часто солнце дарит Париж. Гейне опасался, что солнце уже с утра выманило ее на улицу. На маленькой гористой улочке этого квартала экипаж остановился перед незаметным домом. То был всего лишь вход в сад, через который дорога шла к друтому дому, приветливого вида. Снег растаял, и большая лужайка перед окнами выглядела зеленой, как если бы была весна.

— Дома ли госпожа маркиза?

— Она только что уехала в Булонский лес.

— Вот так раз! — Мы остались стоять, и такой приветливый сначала дом с газоном перед ним глядел уже на меня как покинутый и неинтересный. «Тогда отправимся к Кюстину, который живет поблизости, а если его тоже нет дома — к Бальзаку,

а если и этого нет, тогда к Жанену, который всегда дома и всегда принимает, работая при открытых дверях». Гордый титул «госпожа маркиза» меня удивил, и я спросил об этом Гейне. Он сказал, что она происходит из древнего рода в Берри, и там, в глубокой равнине, в центре Франции, у нее есть поместье, там она проводит лето и осень, если не отправляется путешествовать...

На другой день мы пришли снова около двух часов пополудни, она была дома, но еще в постели. Гейне держал себя в доме как человек знакомый, и о нем доложили. Нам велели немного подождать, пока она встанет и нас примет. Она живет в доме одна. Комната, в которую нас ввели, была богато обставлена, портрет изумительно красивого мальчика в натуральную величину, с длинными черными волосами и прекрасно написанный в духе ван-Дейка, смотрел на нас со стены большими вопрошающими глазами. — Это ее сын, мальчик двенадцати или четырнадцати лет. Она очень любит его. Когда мы позже сказали ей, как интересен и красив казался нам этот мальчик, она была, видимо, чрезвычайно довольна. «Не правда ли? — сказала она с наивной уверенностью матери: — это милое человеческое лицо».

Когда нас ввели к ней, она сидела на низеньком стуле посреди своего маленького салона, закутанная в коричневое утреннее манто своеобразного покроя. Большая круглая голова была непокрыта, черные очень густые волосы с греческим пробором были завязаны ниспадавшим на затылок узлом... Шопен готовил ей на камине кофе, и она пила его, принимая нас с веселой сердечностью и оживленно разговаривая. Она, повидимому, очень ценила Гейне. Она провела рукой по его волосам и очень мило пожурела его, что он так долго у нее не был.

Вначале говорили не о литературе, а о некоторых общественных деятелях, а от них перешли к разговору на общие темы. Говорил главным образом Гейне, он был очень оживлен, в то время как Жорж Занд, попивая кофе, вставляла лишь время от времени два-три слова, поддерживая беседу спокойными, благожелательными и вполне определенными замечаниями. И позднее, когда общество стало многолюдней и беседа оживленней, она принимала в ней участие таким же образом. Она слушала долго,

кратко высказывалась в пользу выдвинутого мнения, либо объявляла правильным другое, расходившееся со всеми прочими. В разговоре ей была свойственна мягкая серьезность, которая, лишь когда она обращалась к Гейне, переходила в нежную веселость; она отвечала коротким искренним смехом на его большей частью остроумные и неожиданные реплики. После кофе она свернула себе бумажные сигаретки из легкого табака и, поднося их на ладони, оглядывала всех гостей, число которых увеличилось, ища глазами возможных курильщиков. Некий Рошфуко, потомок знаменитого участника фронды и друга мадам Севинье, первый подвергся обследованию с этой точки зрения. Сотень, известный под этим именем как многоречивый и вездесущий защитник легитимизма, сопровождаемый повсюду противной маленькой собачонкой, был обойден, и она подошла к усердному нюхательщику табака Гофману со словами: «Не курите?»

— Нет, мадам.

Знаменитый артист Бокаж также был еще свободен от этой распространившейся в Париже привычки. Гейне тоже не курил. «Ах, вы приехали из Германии, — сказала она мне, — вы выкурите со мной сигаретку».

Вскоре затем вошел маленький, худощавый человек, одетый в темносиний старомодный сюртук, в башмаках из грубой кожи, которые, вместе с серыми чулками, производили впечатление глубокой провинции. Жорж Занд приветствовала его дружелюбно и сердечно. Он поклонился по сторонам застенчиво, без обычной французской уверенности, и по близорукости своей не сразу мог ориентироваться в обществе. Затем он сел возле меня, вооружился большими очками в солидной оправе и некоторое время молча слушал разговор, который Гейне в это время сумел направить на любимую свою тему о сенсуализме. Занд, заметив это, улыбаясь искоса, взглянула сначала на вновь пришедшего, а затем на Гейне и назвала его озорником.

Пришедший был Ламене, тот самый бретонский священник, который уже причинил достаточно огорчений церкви... То, что он происходил из Бретани, несомненно помогло ему встать на путь религиозных спекуляций, ибо бретонцы — упрямое, тесно спаянное и древнее племя — из всех народностей Франции

более всего одарены религиозными стремлениями... Эта религиозная глубина бретонцев не французская... Ламене обнаружил свою полную несостоятельность в том обществе, где произошло практическое столкновение его мира с силами светской мысли, с легкомысленным, но острым оружием Гейне.

Последний, который вообще редко говорил с законченной последовательностью и еще реже систематически защищал свои мысли, в этом обществе совершенно изменился в сравнении с тем, каким его привыкли видеть. Он с таким беспощадным остроумием нападал на все виды бретонского спиритуализма, что все пришли в движение. Жорж Занд из внутреннего чувства, стремившегося к примирению противоречий, без всякого остроумия и находчивости пыталась отвести разговор в сторону, но делала сама это лишь наполовину, так как смех, которым она сама заражалась, ослаблял ее усилия и делал ее выступления неубедительными. Все смотрели на Ламене. Нападки были настолько остроумны и тонки, что он не мог игнорировать их, как какую-нибудь фамильярную бестактность или назойливость. При том направлении, которое уже много раз принимал дальнейший разговор, и при той глубоко тактичной и чисто французской терпимости, которая существовала, несмотря на внутреннюю неоднородность общества, состоявшего из легитимистов, свободных монархистов и республиканцев, все ожидали, что Ламене завершит беседу, повернув в эту сторону, каким-либо содержательным резюмирующим заключением, к чему вела дело и Жорж Занд своими частыми замечаниями, направленными в помощь Ламене. Был ли это недостаток во внутренней свободе, который удерживал Ламене от того, чтобы принять этот другой мир, столь веселый и столь радостный, всецело погрузившись в него на мгновение? Он улыбался, он смеялся, но делал это кисло, незаразительно, как человек, не владеющий свободным смехом. Напрасно мы надеялись, что против отточенного оружия своего остроумного противника он сразу обнажит все богатое и острое оружие твердой догмы. Ламене спрашивал меня с большим интересом о наших церковных неурядицах, об епископах Кельна и Познани... и уверял меня... что он питает величайшее уважение к немецкой науке и к немецкому образованию и что он очень бы хотел понимать немецкий язык

и изучить Германию. Гейне прошептал мне на ухо: «Большого вы от него не можете и требовать».

(Позднейшее описание этого посещения Жорж Занд, которое Лаубе дает в своих «Воспоминаниях», ватушевывает и опускает многие детали. Наоборот, сцену с Ламене он описывает более подробно.)

До своего зрелого возраста этот бретонец был борцом за неограниченную папскую власть, и Лев XII предлагал ему звание кардинала. Только со времени Июльской революции он перешел к народной партии и в своем журнале «L'avenir» сделал своим лозунгом требования, одновременно являвшиеся вызовом и государству и церкви: «Бог и свобода». Папа решительно осудил это учение Ламене, и последний как будто покался в 1832 году и написал заявление, что на будущее время будет строго следовать ортодоксальному учению католической церкви. Однако для него оказалось невозможным сдержать обещание, и через 2 года он опубликовал произведение, всколыхнувшее всю Европу. Оно было переведено на все языки. Берне сам переводил его на немецкий язык. Оно появилось в сотнях изданий. Произведение называлось: «Слова верующего». Его называли песней песен революции, потому что оно и по форме было написано на прекрасном французском языке в стиле Боссюэта. И когда это сочинение снова было осуждено папой, он опубликовал свои «Римские дела», в которых он изображал тенденции папизма как противоречащие всякому естественному и христианскому праву.

На этих позициях теологического и политического радикализма он находился и в то время, когда он появился у Жорж Занд и со своими скромными движениями и замечаниями уселся в нашем кругу. Между ним и Жорж Занд существовали отношения духовного содружества, и не было человека, менее гармонизировавшего с этими отношениями, чем Генрих Гейне, который именно в этот день находился в приподнятом настроении и во всеоружии своего ума. Хозяйка тотчас заметила опасность и стремилась к тому, чтобы разговор не стал общим. Гейне же, наоборот, не переставал обращаться к мягко и благожелательно уклонявшемуся священнику и переводил разговор на общие положения. Всем было ясно: он имел дерзкое намерение высмеять

Ламене, что французы называют *gailler*. Все, что пахло «попами», всегда было ему антипатично. Чтобы доставить мне большее удовольствие, он прошептал мне на ухо: «Этот сентиментальный поп был даже близок к тому, чтобы сделаться папой. Послушай-ка». И затем он снова выдвигал все более острые вопросы, утверждения и придавал спору такой остроумный оборот, что насмешники всегда были на его стороне... Жорж Занд была в величайшем затруднении, хоть она и улыбалась кисло-сладкой улыбкой наиболее острым и комичным словам, и все время умоляла его глазами, чтобы он, наконец, перестал. Сам Ламене также смеялся и вынужден был принимать как приятное все, что исходило от Гейне, этого непринужденного мирянина.

Никогда не видел я Гейне таким неотразимым в обществе. Нередко он говорил на своем французском языке, — который он, впрочем, очень тонко культивировал, — с известными замечаниями и переборами, теперь же из его уст вылетали целые каскады слов, и, совершенно не ища их, он находил удачайшие выражения, как прирожденный француз. Он господствовал в этом собрании, как император духа.

Фридрих Геббель

(Письмо Геббеля к Элизе Лензинг. Париж 16 сентября 1843)

14 сентября 1843 г.

Господина Гагена не было дома, — и я снова ушел... Затем я пришел опять, но его еще не было. За ним послали, и он вскоре пришел вместе с господином Леру (Виктор Леру). Вначале мой соотечественник не особенно мне понравился, в то время как француз с его длинными светлыми волосами и с его большими выразительными глазами мне сразу показался симпатичным. Но это впечатление почти изгладилось; молодой человек был в радостном настроении, и так как я не понимаю его музыки, я не знаю, были ли для этого достаточные основания, я видел только то, что на него можно было оказывать влияние... На следующее утро он повел меня к Гати, которого он знал... У Гати мы узнали, что Гейне снова появился в Париже. Мы пошли, следовательно, и к нему. Гаген тоже был с ним знаком. Мы застали его в прихожей. Он провожал до дверей одного

гостя, которого он представил позже как А. Вейля, а нас попросил войти в его гостиную. Его квартира была в высоком этаже, но была изящной. Когда он вернулся к нам, я передал ему письмо от Кампе. Он вскрыл его и, едва пробежав глазами, отложил в сторону и поспешил ко мне, спрашивая: «Вы Геббель? Я чрезвычайно рад лично познакомиться с вами. Вы один из тех немногих людей, — добавил он, — которым я уже временами начинал завидовать. Я не знаю вашей «Юдифи». Я читал только ваши стихотворения, и они произвели на меня сильнейшее впечатление. Я хотел бы украсть у вас некоторые из ваших сюжетов, в особенности скачку ведьм». Он процитировал несколько строф. Я прервал его замечанием, что критики вынесли смертный приговор именно этому фантастически-причудливому произведению. Теперь между нами развернулась оживленная беседа, мы обменялись с ним теми тайными знаками, по которым члены ордена распознают друг друга, и углубились в мистерии искусства. С Гейне можно говорить о глубочайших вещах, и я снова переживал удовольствие от беседы, когда другому достаточно лишь чуть-чуть намекнуть, чтобы оживить в его душе свою собственную сокровеннейшую мысль. Это случается нечасто. Он рассказывал мне странные вещи об Иммермане и Граббе; последнего он ставит очень высоко. Про Иммермана он утверждал, что тот убил себя, порвав много лет под ряд длившуюся связь с фрау Люцов и завязав новые отношения с одной молодой особой. «Смерть, — сказал он, — является не столь случайной, как принято думать, она есть результат жизни, и всегда следует основательно подумать, прежде чем в поздние годы решиться на какую-либо радикальную перемену». Я считаю это чрезвычайно верным. Говоря о Гуцкове, он пустил в ход все оружие своего остроумия. Поэт, не пишущий стихов, подобен дереву, лишенному цветов. Но у Гуцкова, полагал он, в этом не будет недостатка, так как в случае его смерти Виль засядет и из дружеских чувств сочинит необходимое для комплекта количество стихотворений и пополнит ими его литературное наследство. Затем он затронул также один щекотливый вопрос — по поводу его книги о Берне, причем я не скрыл от него своего мнения на этот счет. Вообще говоря, Гейне произвел на меня неожиданно благоприятное впечатление. Он, конечно, несколько

пополнел, но нисколько не толст, и в его лице с его маленькими острыми глазками есть нечто вселяющее доверие. Что он — поэт, глубокий, истинный поэт, такой, который не только на авось погружается на дно морское, чтобы выкрасть там несколько жемчужин, но и живет среди нимф и русалок, владычествуя над их сокровищами, — об этом говорит весь его образ, а также об этом говорят и его слова. Его замечания о Граббе, Клейсте, Иммермане и т. д. затрагивали каждый раз самое существо дела. Я думаю, что он является ожесточеннейшим врагом всякой посредственности, хотя бы и истинно поэтической, но в конечном счете никчемной; однако действительную силу он умеет уважать. Впрочем, следуя совету Кампе, он прилагал все усилия, чтобы мне понравиться. Кампе писал ему: «Соберитесь с силами, ибо в Геббеле вы видите поэта, который скоро...» Дальше я не мог читать, но то, что следовало дальше, не могло быть ничем дурным. Очень прошу тебя не заподозрить меня в том, что я вскрыл письмо. До подобного преступления я не дошел, хотя для писателя отнюдь не может быть безразличным, как о нем пишет Кампе в письме к Гейне. Бумага конверта была так прозрачна, что я вынужден был прочесть это место, лишь только взглянул на адрес...

То, что Гейне говорил об Иммермане, приложимо и ко мне. Без тебя я был бы ничто...

КАРЛ МАРКС

(Каутский на основании воспоминаний дочери Маркса)

Осень 1843—1844 г.

Отношения между обоими (Марксом и Гейне) были весьма дружескими и сердечными, как сообщает нам Элеонора Маркс-Эвелинг, вспоминая рассказы своих родителей. Но в этих рассказах о Гейне политика не играла никакой роли, а гораздо большую роль — поэзия и семейные дела.

Одно время Гейне изо дня в день заходил к Марксам, чтобы почитать им свои стихи и узнать, какого мнения о них молодая чета. Какое-нибудь маленькое стихотворение в восемь строк Маркс и Гейне были в состоянии проверять бесчисленное количество раз, взвешивая то или другое слово, и до тех пор

отделывали его, пока стихотворение не доводилось до совершенства и пока не исчезали всякие следы произведенной над ним работы.

При этом нужно было обладать большим терпением, так как Гейне был болезненно чувствителен ко всякой критике. Иногда он приходил к Марксу буквально со слезами, когда какой-нибудь безвестный писака нападал в какой-нибудь газете на него. Маркс в таких случаях находил выход в том, что посылал его к своей жене, остроумие и милое общество которой очень быстро приводили отчаявшегося поэта в чувство.

Но не всегда Гейне приходил лишь за тем, чтобы искать помощи: иногда он и сам оказывал ее. Один такой случай особенно хорошо запомнился в семье Маркса. Однажды, когда маленькая Женни Маркс была еще грудным младенцем, с ней случились сильнейшие судороги, которые угрожали ей смертью. Маркс, его жена и их верный друг и помощница Елена Демут, беспомощные и полные отчаянья, стояли вокруг ребенка. Тут вошел Гейне, взглянул на девочку и сказал: «Нужно сделать ванну». Он собственноручно приготовил ванну, окунул в нее ребенка и, как говорил Маркс, спас жизнь Женни.

Гейне в роли детской няньки — эта картина изумила бы многих.

Маркс был большим почитателем Гейне. Он любил поэта так же, как и его произведения, и снисходительно относился к слабым сторонам Гейне-политика.

— Поэты, — говорил он, — это чудачки особого рода, им надо давать возможность идти собственными путями. Их нельзя измерять масштабом обыкновенных или даже необыкновенных людей.

А Л Ъ Ф Р Е Д М Е Й С С Н Е Р

21 января 1849 г.

Вместе с тем он начинает размышлять о религиозных вопросах. Он всегда был религиозной душой, — я всегда защищал этот парадокс, — и одиночество, вечно вынужденная возня с самим собой еще более усилили в нем религиозно-мечтательное направление. На одре болезни ставит он перед собой вопрос,

который уже ставил Иов: «Почему должен страдать праведник? Если существует бог, каким его представляют себе теисты: добрый, справедливый, всемогущий, то зачем допускает он зло, зачем подвергает он природу, которую он мог бы создать иному, мукам нужды, несчастья, болезней? Он делает нас слепыми и наказывает за то, что мы попадаем в яму, где же тогда его справедливость? Если он мог помешать злу и все же его допустил, то кто же он такой? Он сам тогда есть зло. Ведь уже Граббе, который стоял на этой точке зрения, воскликнул: «Нет никакого бога. Я думаю так, отстаивая его же интересы».

Дух Гейне потерял силу и свободу, необходимые для того, чтобы овладеть этими вопросами. Кто будет ставить ему это в вину? Нередко в своих мучениях он впадает в малодушие и спасается бегством к идолам своего детства. Слезы струятся из его глаз, и он начинает молиться. Гейне молится! Гейне, этот великий язычник! Но не торжествуйте слишком рано, правоверные! Это всего лишь припадок. Как только наступает просветление в его сознании, он снова прежний вольный человек.

Когда жена Гейне рассказала мне впервые об этом религиозном направлении его души, я не хотел этому верить. Он заметил мое удивление и васмеялся — горестно, как это с ним обычно бывает. «Действительно, — сказал он, — с некоторого времени во мне наступила религиозная реакция. Бог знает, зависит ли это от морфия или катаплазмы. Это так, я снова верю в личного бога! К этому приходит человек, если он болен, смертельно болен и сломлен! Не считайте это моим преступлением! Допускает же немецкий народ в своей нужде короля прусского; почему же я не могу допустить личного бога?»

«Мой друг, — продолжал он, — послушайте великую истину:

Там, где больше нет здоровья,
Там, где больше нет денег,
Там, где нет здорового человеческого рассудка, —
Там повсюду начинается христианство.

Таков Гейне. Находишь он на раскаленных углях как Гватимочин, он и тогда не отказался бы от иронии, от острого словца,

КАРЛ ГИЛЛЕБРАНД

(Гиллебранд к Герману Гюфферу, 7 января 1876 г.)

Поздняя осень 1849 г. — лето 1850 г.

Вы спрашиваете меня, не могу ли я сообщить вам какие-либо интересные сведения о Гейне, в комнате которого во время болезни я провел так много дней четверть века тому назад. К сожалению, я не вел никакого дневника, и, несмотря на мое тогдашнее восторженное отношение к поэту и привязанность к нему как к человеку, я был достаточно легкомысленным юношей, и, вместо того чтобы сберечь все то драгоценное золото, которое источалось из уст поэта, я пропустил его между пальцев. Ибо он был расточителен: остроты и образы непрерывно слетали с его уст, — не нужно было только быть тем жалким решетом, каким был я, чтобы все это удержать в памяти. Все же я попытаюсь припомнить отдельные факты, тщательно отмечая в сторону всю личную сторону жизни поэта, все его отношения к жене и друзьям, ибо то полное доверие, с которым в моем присутствии все делалось и говорилось, обязывает меня к молчанию в этой области.

Я прибыл в Париж поздней осенью 1849 г., и вскоре после этого один старый газетный корреспондент г-н Левенталь представил меня Гейне, который знал произведения моего отца и отнюдь не был обижен несколько строгой критикой в третьем томе «Национальной литературы» (Иозефа Гиллебранда). Мы скоро сошлись с ним, и хотя моя собственная казна была тогда в достаточно плачевном состоянии, мы все равно сошлись бы с ним, если бы даже поэт не предложил мне своих трудовых пятифранковых монет, которые он со вздохом вытаскивал из своего красного кошелька из-под подушки. Он уже был тогда прикован к постели (на улице Амстердам), если только можно называть постелью его матрацевое ложе. Его слух уже ослабел, его глаза закрылись, и лишь с трудом мог он своими худыми пальцами поднять уставшие веки, когда хотел что-либо увидеть. С парализованными ногами, с искривленным телом, каждое утро он водворялся в кресло женской рукой — он не мог выносить обслуживания со стороны мужчин, — пока ему приготовлялась постель. Он не мог выносить ни малейшего шума.

Его страданий были так велики, что он, стремясь добиться хотя бы малейшего покоя, стараясь заснуть хотя бы на три-четыре часа, вынужден был принимать морфий в трех разных видах. А в свои бессонные ночи он, должно быть, слагал свои самые чудесные песни. Он продиктовал мне все «Романцеры» целиком. К утру каждое новое стихотворение бывало совершенно готово. А после этого целыми часами происходила отделка, причем он пользовался моей молодостью, как Мольер пользовался невежеством Луизон. Он расспрашивал меня о звучании, об интонации, о ясности и прочем. При этом обстоятельно взвешивался каждый презенс и имперфектум, каждое устаревшее и неупотребительное слово подвергалось испытанию, уничтожались все эллизии, каждое ненужное прилагательное убиралось, в соответствующих местах делались поправки. Я живо помню каждое отдельное стихотворение сборника и особенно точно те комментарии, которые относились к определенным лицам.

Нередко диктовал он мне также и письма к разным лицам, преимущественно денежного характера. Остальная часть моего пребывания у него, которое длилось ежедневно три-четыре часа, была посвящена чтению. Из литературных произведений, которые я ему читал, у меня совершенно выпали из памяти вещи научного характера, так как я не имел к ним никакого интереса и читал их совершенно механически: по большей части это были теологические сочинения или, по крайней мере, книги по истории церкви; так, я должен был прочитать ему всего Шпитлера, еще более увесистого Толука, «Религию» Шпальдинга и, конечно, также Библию, которую он знал почти наизусть и из которой я ему прочитывал часто под ряд целые главы, главным образом из ветхого завета. О газетах он не хотел и слышать, в лучшем случае он читал «*Journal des Débats*», но когда я однажды принес ему «Историю первого немецкого парламента» Лаубе, которую мне прислал отец, мне пришлось прочитать ему все три тома, и хотя он не одобрял несколько консервативного направления автора (или, лучше сказать, направления в духе готского альманаха), он тем не менее не переставал хвалить его ясный стиль, живость портретов и свободу суждений. Поэтов же мы читали многих. За те восемь-девять месяцев, в течение

которых я посещал его, я прочел с ним «Вильгельма Мейстера». «Правду и поэзию», «Тассо», «Фауста» (обе части), «Духовидца» и почти все драмы Шиллера, которыми он очень восхищался. В частности особенно высоко он ставил «Валленштейна». При этом он не устал посвящать двадцатилетнего юношу в тайны поэтического ремесла, объясняя сущность различных стилистических форм, разбирая отдельные поэтические приемы, отмечая тончайшие нюансы и не переставая хвалить строгую манеру классиков.

Я не хочу, как я уже предупредил, говорить о лицах, но я могу и должен сказать, что поэт неизменно проявлял в своих отношениях ко мне доброту и нежное внимание, глубоко запечатлевшиеся в моем сердце. И после того как летом 1850 г. я должен был покинуть Париж, он не забыл меня, даже помогал мне, чем мог, когда я был в нужде, и лишь с большим трудом мне удалось убедить его взять обратно то, что он мне ссудил и что хотел заставить принять как плату за оказанные услуги.

А до л ь ф Ш т а р и Ф а н н и Л е в а л ь д

Сентябрь 1850 г.

По настоянию Альфреда Мейсснера я посетил Гейне вскоре после моего приезда в Париж. Я знал, что его состояние, означавшее предел возможных человеческих страданий, заставляло его на протяжении долгого времени отклонять всякие визиты, даже самых благорасположенных к нему соотечественников. Поэтому я отказался от всякой мысли лично сблизиться с ним. Но так как приглашение исходило от него самого, то я мог согласиться на него без всяких колебаний.

Я отправился к нему несколько дней спустя после моего прибытия в Париж вместе с Фанни Левальд и Морицем Гартманом. На расстоянии нескольких домов от его квартиры на Амстердамской улице мы зашли в читальный кабинет, который содержала там одна ирландка. Здесь наша спутница предполагала нас подождать...

Больной поэт жил в тихом доме на тихой Амстердамской улице. Пройдя через подъезд и чистый двор, мы вошли в стоявший в глубине двора дом, на втором этаже которого нам отворила

двери мулатка, сиделка при больном. Когда она назвала ему наши имена, мы тотчас услышали его приветливое «войдите, войдите». Мы нашли его на одре страдания, который он не покидал уже более года. Оконные занавески были опущены, и, кроме того, постель была загорожена от света зеленой испанской ширмой. Больной приложил тонкую, почти прозрачную худую руку к правому глазу, чтобы раздвинуть веки и бросить на нас взгляд. Только этот глаз сохранил еще способность видеть, другой же лишь слабо воспринимал свет. Но веки были уже парализованы и неспособны к свободному движению. Он протянул мне свою руку и сердечно приветствовал нас. Но едва он узнал, что Фанни Левальд находится здесь и вблизи, как действительно начал просить привести ее к нему, ибо он ни на один час не хотел лишаться удовольствия от ее посещения; мы должны были удовлетворить его желание. Когда она пришла, он сердечно поблагодарил ее, что она так дружески вспомнила о нем в своих «Парижских воспоминаниях от 1848 года». Друзья прислали ему эту книгу и доставили этим большую радость. Кроме того, они опубликовали в парижских газетах касавшиеся его места.

Именно во время этого первого посещения он подробно говорил о своей болезни и своих страданиях, к которым он редко возвращался в последующих разговорах. «Я переживаю все время, — сказал он, — невыносимые страдания. Даже мои сновидения несвободны от них. Вчера я висел на воздухе в клетке, как Иоанн Лейденский, и мои страдания витали вокруг меня, как дикие сны. Судороги распространялись по всему телу, и все время я ждал, что они дойдут до сердца. Я могу собственно еще свободно двигать руками и кистями рук. И все это я должен переносить, — продолжал он, и улыбка промелькнула на его страдальческом лице, — без помощи нашего господина Иисуса Христа! Но и у меня есть моя собственная вера. Не думайте, что я живу без религии. Опиум — это тоже своего рода религия. Когда на мои страшно болящие и пылающие огнем раны присыпают немного серой пыли и боль после этого немедленно утихает, разве нельзя сказать, что это та же самая утешающая боль сила, что действенным образом проявляется в религии? Между опиумом и религией существует большее родство, нежели боль-

шинство людей себе могут представить. Вы видите, у меня есть Библия. Я много читаю ее, вернее, мне ее читают. Это совершенно необыкновенная книга, это книга книг. Когда я не в состоянии больше выносить страданий, я принимаю морфий, когда я не в состоянии умертвить своих врагов, я их предаю провидению, когда я не в состоянии справиться со своими делами, я предаю их милому господу богу, и только мои денежные дела, — прибавил он после короткой паузы с улыбкой, — я веду еще сам».

(Добавление Фанни Левальд в 1886 г.: «Нельзя было не смеяться, нельзя было не удивляться ему; но люди редко были способны отнестись к нему со свободным, ясным чувством».)

КАМИЛЛА ЗЕЛЬДЕН

Февраль 1856 г.

Февраль начался плохо. Погода была холодная, пасмурная, дождливая, и катар, приковавший меня к комнате, заставил меня временно прекратить мои посещения.

Гейне получал большое удовольствие от прелестных сказок, которые Н. Лабурлей в то время в качестве новогоднего подарка преподнес читателям «Journal des Débats», и он просил меня раздобыть ему следующие номера. По недоразумению прошло несколько дней, пока, наконец, журнал попал в мои руки, и таким образом я вновь явилась к моему другу лишь после недельного перерыва. Я не подозревала, что в последний раз вижу его в живых. При входе мне бросилась в глаза сероватая бледность его губ, и я нашла его мрачным, в том тяжелом настроении, какое вызывает угрюмый зимний день.

— Наконец-то ты здесь, — закричал он мне навстречу.

Он часто встречал меня этими словами; но на этот раз они были высказаны менее нежным, почти строгим тоном. Таким образом и он несправедливо осуждал меня! Несправедливость упрека глубоко задела мое сердце, но с человеком, который был так болен, я не могла говорить о том, что сама с трудом вырвалась из постели, чтобы придти к нему. Невозможность сказать это терзала меня, и я залилась слезами. Вдруг, как если бы он почувствовал мою боль, хотя он и не мог видеть моего лица, он

подозвал меня к себе, и я должна была присесть на край его постели. Слезы, которые текли по моим бледным щекам, казались, глубоко потрясли его.

— Сними свою шляпу, чтоб я мог лучше тебя видеть, — сказал он.

И ласковым жестом он потянул за ленту моей шляпы, я же под влиянием быстрого душевного движения откинула шляпу назад и опустилась перед его постелью. Взволновало ли меня горькое воспоминание о пережитых страданиях или же это было предчувствие еще худшего надвигающегося несчастья, но, одним словом, я тщетно пыталась подавить рыдания, я уже не могла владеть собой и как будто была побеждена бурей, бушевавшей в моей душе. Не было сказано ни одного слова, но рука друга, лежавшая на моей голове, казалось, благословляла меня.

Это было наше последнее свидание. Я уже переступила порог комнаты и стояла уже у лестницы, когда моих ушей коснулся хотя и достаточно внятный, но дрожащий тревогою звук любимого голоса: «До завтра, слышишь? Не опаздывай!»

И все же я опоздала.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин, св. епископ Гиппон-
 ский — 110
 Агриппа Неттесгеймский —
 251
 ван-Акен — 178
 Александр I — 218, 382
 Александр Великий — 52
 Алексис, Виллибальд — 358
 Альбер — 341, 414
 Амалия — 378
 ван-Амбург — 213
 Амори — 201
 Андерсен, Нильс — 83, 84, 85,
 86, 90, 312
 Андерсен, Хр. — 398
 Ансельм Кентерберийский —
 143
 Антоний — 48
 Анфантен, Бартелемий-Про-
 спер — 396, 407
 Араго — 9, 335, 341
 д'Аржансон — 404
 Аристотель — 50, 174
 Аристофан — 166, 167, 184,
 429.
 д'Арленкур — 188
 Арналь — 126
 Арндт, Эрнст-Мориц — 118,
 379, 383
 Арним — 407
 фон-Арним, Ахим — 371, 385,
 388
 фон-Арним, Беттина — 114,
 344, 386, 391
 д-р Ассинг — 392
 Ауффенберг, Иосиф — 188
 Ауэрбах, Бертольд — 344
 Ауэршперг, Антон-Александр
 (Анастасиус Грюн) — 414
 Баадер — 390
 Базар — 407
 Байрон, Джордж-Ноэль-Гор-
 дон — 47, 197, 382, 394
 Балланш — 126, 330
 Бальзак — 116, 376, 394, 398,
 434
 Банаж, Жак — 385
 Барбес — 405
 Бартель — 95, 358
 Батте — 236
 Бауэр, Бруно — 144, 362, 364,
 365, 406
 Бек, Карл — 411, 412, 414
 Бельджойозо, Христина, кня-
 гиня — 272, 316, 398
 Бендавид, Лазарь — 383
 Бенеке — 381
 Бер, Генрих — 136, 137, 138,
 319
 Бер, Михаэль — 391, 398
 Беранже — 335, 390, 394, 398
 Берлиоз — 398
 Берне, Людвиг — 196, 378,
 384, 390, 397, 399, 401, 403,
 405, 406, 407, 409, 432, 438,
 440
 Бехштейн, Людвиг — 352
 Блан, Луи — 9, 326, 327, 341,
 343, 414
 Бланки, Огюст — 341, 405
 Блез-де-Бюри — 201
 Блюхер, Гебгардт — 118, 321
 Богуславский — 326

- Боден — 57, 59
 Боденштедт — 393, 421
 Бодич, майор — 111
 Бокаж — 436
 Боккаччо — 215
 Бопп, Франц — 381
 Боско — 181
 Боссюэт, Жак-Бенинь — 183, 236, 438
 Бозн, Виктор — 127, 128, 129, 399
 фон-Бреда, Евгений, граф — 384, 398
 Бреммель, Джордж-Брайан — 262
 Брентано, Клеменс — 354, 371, 385, 387
 Брод, Макс — 370
 Брокгауз, Фридрих-Арнольд — 193
 Бурбоны — 212, 323, 325, 390
 Бурдалу — 236
 Бурггардт — 198
 Бутервек — 415
 Буффе — 126
 Бюргер, д-р — 165
 Бюффон — 201
 Бюхнер, Георг — 397, 398, 399

 Вагнер, Рихард — 308, 358
 Вагнер, Христофор — 41, 55
 Вакенродер, В. — 378, 379, 386
 Валькер — 240
 ван-Гельмонт — 251
 Ватто, Антуан — 261
 Вегенер — 382
 Ведекинд, Эдуард — 346, 347, 348, 386, 427, 428, 429
 Веерт, Георг — 447
 Вейль, Александр — 13, 14, 344, 345, 440
 Вейтлинг, Вильгельм — 134, 135, 361, 408
 Веллингтон — 186, 210, 322, 329
 Венедей, Якоб — 194
 Верман — 165
 Верне, Орас — 14, 164
 Вернер, Ганс — 308, 309, 310
 Веск-фон-Пюттлинген — 345
 Вибель — 381
 Видман, Георг-Рудольф — 22, 41, 51, 53, 62
 Виктория Английская — 19
 Виланд — 418
 Виль, Людвиг — 403, 440
 Вильмен — 201, 330
 Винбарг, Людольтф — 392, 400, 402, 431, 432
 Вир, Иоганн — 42, 59
 Вирдунг, Иоганн — 349
 Вирт — 398
 Витгенштейн, Александр, князь — 380
 Воль-Штраус, Жанетта — 406
 Вольвилль, Иммануил — 383
 Вольтер — 124, 127, 131, 159, 199, 319
 Вольф, Фр.-Авг. — 381
 Вольфрам, Л. — 352

 Гаген — 439
 Галланд — 302
 Галле, Адольф — 378
 Галлер — 193
 Ган-Ган, графиня — 116
 Ганне — 277
 Ганс, Эдуард — 383
 Гарнье-Пажес — 341
 Гарри *см.* Гейне, Генрих
 Гарри, мистер *см.* Гейне, Генрих
 Гартман, Мориц — 446
 Гарун-аль-Рашид — 302
 Гассе — 381
 Гати — 439
 Геббель, Фридрих — 439, 440, 441
 Гегель — 136, 137, 138, 142, 144, 149, 337, 350, 362, 363, 364, 365, 381, 383, 394, 395, 405, 406, 409
 Гедрих — 417
 Гейбель, Эм. — 426

- Гейне-Гельдерн, Бетти — 371, 373, 376
 Гейне, Генрих — 193, 196, 197, 269, 270, 272, 273, 274, 307, 378, 431
 Гейне, Густав — 345, 370, 376, 449
 Гейне, Карл — 366, 367, 368, 369, 410, 411
 Гейне, Макс — 370
 Гейне, Максимилиан — 234, 260, 368, 369, 377, 386, 430
 Гейне-Мира, Матильда — 441, 367, 368, 369, 399, 408
 Гейне, Самсон — 371, 373, 376
 Гейне, Соломон — 259, 378, 388, 392, 410, 430
 Гейне, Тереза — 378, 385, 410
 Гейне-Фульд-Фуртадо — 410
 Гейне-Эмбден, Шарлотта — 376
 Гейнцен, Карл — 414
 де-Гельдерн, Лазарь — 242
 де-Гельдерн, Симон — 246, 247, 251, 370
 Гемпель — 354
 Генгстенберг — 144, 194, 380
 Генрих IV — 148
 Генрих V — 214
 Гентц — 397
 Георг IV — 262
 Гервег, Георг — 416, 417
 Гervинус — 193, 400
 Гердер, Иоганн-Готфрид — 183
 Геродот — 160, 218, 327
 Геррес, Иозеф — 118, 385, 387, 388
 Гете, Вольфганг — 22, 39, 40, 53, 54, 165, 187, 189, 197, 203, 256, 346, 348, 351, 352, 384, 386, 387, 392, 393, 394, 399, 428, 429
 Гешель — 405
 Гиббон — 385
 Гизеке — 428
 Гизо — 213, 399, 408, 415
 Гиллебранд, Иозеф — 444
 Гиллебранд, Карл — 418, 444
 Гиллер, Фердинанд — 398
 Гирт, Фридрих — 370
 фон-Гогенгаузен, Элиза — 382
 Гоголь, Н. — 418
 Годельманус — 59
 Гозье — 301
 Гольбек — 41
 Гомер — 50, 51, 91, 117, 147, 183, 203, 211, 315, 321
 Гонзага — 194
 Гораций — 160
 Гортензия, королева — 121
 Гослан, Леон — 201
 Готлиб — 300, 303
 Готтгельф, Иеремия — 344
 Готье, Теофиль — 358, 398, 422
 Гофман — 442
 Гофман и Кампе — 20, 354, 369
 Гофман, Эрнст-Теодор-Амедей — 374, 382, 390
 Гофман-фон-Фаллерслебен — 191, 380, 415
 Гохстратен — 149
 Граббе, Христиан-Дитрих — 196, 197, 243, 244, 245, 246, 382, 398, 440, 441, 443
 Гренье, Эдуард — 401
 Грильпарцер, Франц — 352, 432
 Гримм, братья — 371, 387, 388
 Гримм, Вильгельм — 110, 386, 400
 Гримм, Якоб — 356, 357, 386, 400
 Груби — 422
 Грюн, Анастасиус *см.* Ауэршперг, Антон-Александр
 Грюн, Карл — 411
 Губиц, Фридрих-Вильгельм — 245
 Гумбольдт, Александр — 398, 411
 Гумбольдт, Вильгельм — 383
 Густавсон — 399
 Гуцков, Карл — 196, 402, 403, 406, 409, 440
 Гюго, Виктор — 5, 198
 Гюльман — 379

- Гюон — 253
 Гюффер, Герман — 444
 Давид, царь иудейский — 119
 Давид, Жан-Луи — 129
 Дальман — 400
 Даниил, пророк — 144
 Данте — 204, 381
 Дантон — 6
 Даумер — 144, 393
 Дебюро — 301
 Деверье — 396
 Девриент, Людвиг — 382
 Дежазе — 126
 ван-Дейк — 444
 Декарт — 349
 Деллуа — 404
 Демулен, Камилл — 204
 Демут, Елена — 442
 Диккенс — 418
 Дингельштедт, Франц — 415
 Диоген — 245
 Дитрих — 273
 Диффенбах — 380, 412
 Доллингер — 390
 Дон-Жуан — 41
 Донуа — 236
 Дрек, Франц — 204
 Дюбуа-Реймон — 352, 353
 Дюбюро — 126
 Дюдеван, Аврора *см.* Занд,
 Жорж
 Дюма, Александр — 398, 422
 Дюммлер, Фердинанд — 384
 Дюпон-де-Лер — 9, 341
 Дюпре — 224
 Дюшатель — 398
 Дюшен — 333
 Екатерина II — 217
 Жанен — 441
 Жанлис, г-жа — 323
 Жасмен — 134
 Жирарден, Дельфина — 315,
 316
 Жиске — 196
 Жоанно, Тони — 404
 Жобер, Каролина — 416
 Жозефина — 334, 335, 338
 Жорж, мадемуазель — 126
 Жюльен — 166, 338
 Занд, Жорж — 315, 316, 398,
 433, 434, 435, 437, 438, 439
 Занд, Карл — 382
 Зейбольд — 165
 Зельден, Камилла (Mouche) —
 422, 448
 Зете, Христиан — 377, 388
 Зибенпфейфер — 398
 фон-Зиккинген, Франц — 349
 Зимрок, Карл — 44, 47, 380
 Иммерман, Карл — 355, 384,
 385, 391, 397, 398, 440, 441
 Иозефа (Зефхен) — 285, 286,
 287, 288, 289, 290, 291, 292,
 294, 372
 Кабе — 408
 Кавеньяк — 415
 Кадм — 220
 Казобонус — 330, 331
 Кайяфа — 237
 Калиш, Людвиг — 344, 345,
 422
 Кальмониус — 42, 43, 227
 Кампе, Юлиус — 134, 321, 345,
 353, 354, 359, 366, 368, 370,
 389, 400, 403, 405, 418, 419,
 420, 441
 Каннинг, Джордж — 389
 Кант — 115, 149, 349
 Капет, Людовик — 216
 Карл V — 51
 Карл X — 391, 392, 393, 408
 Карно, Ипполит — 7, 9, 396
 Картезий — 251
 Каутский, Карл — 441
 Квинтилиан — 236
 Келлер, Готфрид — 421
 Кернер, Юстин — 392
 Керубини, Луиджи — 271
 Кестльри — 118
 Кехи, Карл-Георг — 382
 Клаурен, Христиан — 188, 241

- фон-Клейст, Генрих — 187, 389, 444
 Клингеман — 346
 Клопшток — 124, 193, 237, 335, 428
 Кобден — 389
 Козловский, Петр Борисович, князь — 388
 Коле, Луиза — 315, 316
 Колумб — 225
 Кольб, Густав — 358
 Констан, Бенжамен — 210, 391
 Константин — 217
 Константин, император — 50, 474
 Коперник — 335
 Корнелиус — 391
 фон-Котта, Иоганн-Георг, барон — 198, 358, 390, 394, 397
 Коцебу, Август — 382
 Кремье — 9, 341
 Ксантиппа — 219
 Кузен — 318
 Кундлинген — 44
 Курфюрст Саксонский — 326
 Кюстин, барон — 217, 398, 432
- Лабурлей, Н. — 448
 Лагир — 126, 333
 де-Ламартин — 4, 5, 6, 9, 327, 328, 341, 342, 343, 398, 414
 Ламене — 403, 434, 437, 438, 439
 де-Ланкло, Нинон — 157
 де-Ланкр — 59
 де-ла-Рошфуко, Франсуа, герцог — 436
 Лассаль, Фердинанд — 358, 411
 Лаубе — 445
 Лаубе, Генрих — 308, 345, 405, 406, 412, 433, 438
 Лафайет — 126, 213, 391, 398
 Лафитт — 391, 404
 Лашатр — 157
- Лев XII — 444
 Левальд, Август — 392, 393, 404, 417
 Левальд, Фанни — 417, 446, 447, 448
 Левассер, Тереза — 110
 Леве-Веймарс — 299, 300, 301, 302, 303, 304, 373, 374, 399, 400
 Левенталь — 444
 Ледрю-Роллен — 341, 342, 417
 Лейбниц — 149, 313
 Леконт де-Лилль — 358
 Леман, Иозеф — 383
 Лемлей, Бендж — 19, 20, 95, 345, 346, 358
 Ленау, Николай — 192, 392
 Лензинг, Элиза — 439
 Лепаж — 301
 Лепорелло — 108
 Леру, Виктор — 439
 Леру, Пьер — 318
 Лессинг, Готтгольд-Эфраим — 185, 203
 Либих, Юстус — 380
 Лизер, Петер — 392
 Линднер — 390
 Линней — 125, 186
 Лист, Франц — 398, 434
 Ловетт — 403
 Лойола — 161
 Луи-Наполеон Бонапарте, принц — 121, 343, 376, 417, 418
 Луи-Филипп — 3, 4, 8, 173, 210, 213, 217, 303, 323, 324, 393, 394, 395, 406, 408, 414, 417
 Людвиг I — 390
 Людвиг, Отто — 422
 Людовик, король голландский — 121
 Людовик XIV — 124
 Людовик XVI — 323
 Людовик XVIII — 324, 390
 Лютер, Мартин — 42, 149, 194, 204, 381, 429
 Люцов, фрау — 440

- Магомет — 57, 219, 224
 Магомет, Ибн-Мансур — 84
 Мазарини — 293
 Мазепа — 14
 Мак-Адам — 191
 Максимилиан II — 424
 Максимилиан-Иосиф, князь — 121
 фон-Мальтитц — 392
 Маньен — 21
 Мараст — 9, 341
 Мари — 341
 Мария-Амалия — 323
 Марк Аврелий — 175, 323
 Маркс, Женни — 442
 Маркс, Карл — 144, 342, 344, 362, 364, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 441, 442
 Маркс-Эвелинг, Элеонора — 441
 Маркус, Людвиг — 383
 Марло, Христофор — 21, 45
 Массанн — 194
 Массильон — 236
 Маурер — 384
 Медичи — 194
 Мейдингер — 123
 Мейербер, Джакомо — 136, 202, 310, 345, 391, 411
 Мейсснер, Альфред — 367, 368, 416, 417, 419, 442
 Мекельдей — 240
 Меланхтон, Филипп — 42
 Мендельсон-Бартольди, Феликс — 137, 413
 Мендельсон, Моисей — 321
 Менцель, Вольфганг — 195, 380, 394, 401, 402, 403, 410
 Мерике, Эдуард — 392
 Мериме, Проспер — 394
 Меркель, Фридрих — 392
 Мерлен, г-жа — 315, 316
 Мерлин — 202
 Меттерних, Клеменс, князь — 118, 226, 382, 397, 408, 416, 421
 Метфессель, Альберт — 385
 Минье, Франсуа — 398, 422
 Мирабо — 293, 343
 Мистифицинский Дейтобольд Символицетти Аллегорьевич *см.* Фишер, Фридрих-Теод.
 Мозер, Мозес — 366, 383
 Мольер — 445
 Моммерк — 21
 Монталамбер — 172
 де-Монтескье, Шарль де-Секонда, барон — 385
 Монти — 213
 Мориц — 235
 де-ла-Мотт-Функе, Фридрих-Генрих-Карл, барон — 120, 346, 382, 389
 Моцарт, Вольфганг-Амедей — 137, 185
 Мундт, Теодор — 403
 Мюке, Георг — 355
 Мюллер, Вильгельм — 388, 392
 фон-Мюллер, Иоганн — 193
 Мюрат, Исаак — 121, 376
 де-Мюссе, Альфред — 398
 Навуходоносор — 144
 Наполеон — 113, 114, 118, 172, 186, 209, 210, 211, 265, 271, 316, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 344, 376, 377, 378, 384, 388
 Наполеон III — 329, 344, 360, 368, 376
 Нейцинг, Иозеф — 377
 де-Нерваль, Жерар — 403, 425, 426
 Нестор — 210
 Нибур, Бартольд-Георг — 198, 418
 Николай I — 216, 218
 Нимбш-Штреленау *см.* Ленау, Николай
 Новалис — 187, 379, 383, 384, 385
 Нодье, Шарль — 201
 Нума — 283
 Нюрнбергер, Иоз. — 352

Одри — 126
Океани — 48
Океан, Лоренс — 181

Навел — 217
Павзаний — 54
Паганини — 392
Парацельс — 186, 251
Паскевич — 420
Патер, Уолтер — 358
Перье, Казимир — 391, 404, 406
Петерсен, Юлиус — 348, 353
Петр I — 217
Петр III — 217
Петрарка, Франческо — 5
Пифагор — 327
Пихлер, Каролина — 114
фон-Платен, Август, граф — 197, 391, 393, 394
Платон — 50, 245
Плиний — 54
Плутарх — 332
Полиньяк — 333, 392
де-Помпадур, г-жа — 261
Потье — 166, 338
Поццо-ди-Борго — 118, 211
Преториус, Иоганн — 56
Прокруст — 237
Прудон — 410
Пруц, Роберт — 416
Пунц, Леопольд — 383
Пус, Том — 326
Пушкин, Александр — 374, 376
Пфицер, Густав — 402
Пюклер-фон-Мюскау, Герман, князь — 345, 398, 414

Рабле, Франсуа — 331
Радклиф, Анна — 315
Радлов — 379
Разия — 247
фон-Раумер, Фридрих-Людвиг — 381
Рафаэль, Санцио — 185, 203, 271, 316
Рашель — 192

Рейхлин — 149
Рекамье, г-жа — 126, 330
Ремигиус — 59
Ренке — 193
де-Ренье, Анри — 358
Рерш, Юпп — 274
Риенци — 5
Ринтельзон — 377
Риттер — 383
Роберт, Людвиг — 366, 382
Роберт, Фридерика — 382
Робеспьер — 6, 126, 204, 211, 276, 332, 333
Родригес — 396
Розенкранц, Иоганн-Карл — 348
Романовы — 394
Россини, Джакомо — 137, 202, 272, 398
Ротшильд — 207, 226, 398, 430, 433
Ротшильд, Джеймс — 430
фон-Рохов — 400
Руге, Арнольд — 143, 144, 194, 409
Руссо, Жан-Жак — 110, 111, 162, 199, 211, 241, 372, 376
Руссо, Жан-Батист — 380
Рюйс — 178
Рюккерт, Фридрих — 393, 397, 418
Рюс, Христиан-Фридрих — 385
Рютбеф — 20, 21

Савиньи, Фридрих-Карл — 192, 193
Сальванди — 398
Сарториус, Георг — 381
де-Севинье, мадам — 436
Семпроний — 333
де-Сен-Виктор, Поль — 422
Сен-Жюст — 126, 333
Сен-Симон, Анри-Клод — 359, 396, 407
Сент-Бев — 399
Сервантес, Мигель-де-Сааведра — 381

- Скала — 194
 Скотт, Вальтер — 190, 394
 Скриб, Эжен — 310
 Сократ — 219, 245
 Сольмс-Лих, княгиня — 388
 Спиноза — 349
 де-Сталь, г-жа — 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 130, 210, 211, 314, 316, 317, 400
 Стендаль — 394
 Стурдза — 381
 Стюарты — 323
 Сю, Эжен — 5, 327, 398

 Тайандье, Сен-Рене — 345, 373, 401
 Талейран — 118, 210
 Тальони — 345
 Тарквиний — 214
 Твардовский — 42
 Теккерей — 418
 Теофиль — 20, 21, 22
 Тик, Людвиг — 376, 378, 379, 383, 384
 Тиль Эйленшпигель — 58
 Тиндар — 51
 Толук — 418, 445
 Тритемиус, Иоганн — 349
 Тритгейм — 42, 43
 Тьер, Адольф — 5, 392, 398, 399
 Тьерри, Огюстен — 202, 398
 Тютчев, Федор Иванович — 391, 392

 Уланд, Людвиг — 188, 388, 392
 Ульрици — 405
 Уссе, Арсен — 425
 Уэльский принц — 262

 Фалес — 266
 Фарнгаген-фон-Энзе, Карл-Август — 382, 384, 392, 393, 411
 Фарнгаген-фон-Энзе, Рахель-Антония-Фридерика — 114, 245, 382
 Фарнгагены — 388, 391
 Фауст — 19, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 82, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353
 Фейербах, Людвиг — 144, 318, 364, 410
 Фейт *см.* Шлегель-Мендельсон, Доротея
 Фидий — 91
 Фихте, Иоганн-Готлиб — 115
 Фишер, Фридрих-Теодор — 348
 Фладер, фрау — 274, 278, 279
 Фладер, Юпп — 274, 278, 279
 Флешье — 236
 Флокон — 341
 Фольгрье — 414
 Фосс, Юлиус — 426
 Франц — 274
 Франциск, принц — 121
 Фрейдгольд-Ризенгарф *см.* Гейне, Генрих
 Фрейлиграт, Фердинанд — 192, 197, 198, 419, 420, 432
 Фрейтаг, Густав — 420, 421
 Фридерика «прекрасная» *см.* Роберт, Фридерика
 Фридланд, Фердинанд — 368, 411
 Фридлендер, Ион — 378
 Фридрих Великий — 43
 Фридрих-Вильгельм III — 379
 Фридрих-Вильгельм IV — 409, 416, 422
 Фрис, Якоб-Фридрих — 385
 Фруассар — 289
 Фрундсберг, Георг — 70
 Фульд-Бенуа — 410
 Фурье, Шарль — 408

 Харней, Юлиус — 403, 411
 Христиан-Иоганн-Генрих *см.* Гейне, Генрих
 Христиани, Рудольф — 385
 Цезарь, Юлий — 327

Циммерман, Фридрих-Готлиб — 392, 431
 Циппель (Сивилла) — 279, 280, 282, 285
 Цицерон, Марк Туллий — 204
 фон-Цуккальмальо, Франц — 377
 Цшокке — 374
 фон-Шак, граф — 421
 Шаль — 186
 Шальмейер, Якоб — 162, 295, 377
 Шамиссо, Адальберт — 382, 390, 402, 418
 де-Шатобриан — 120, 126, 200, 201, 210
 Шахриар — 7
 Шваб, Густав — 392, 402
 Шевалье, Мишель — 201, 396
 Шейбле, Иосиф — 283, 366
 Шекспир, Вильям — 21, 45, 183, 184, 185, 203, 244, 245, 325, 381, 385, 404
 Шеллинг, Фридрих — 115, 383, 385
 фон-Шенк, Эдуард — 391
 Шеффер, Ари — 203
 Шехерезада — 7, 302
 Шикар — 127, 336
 Шиллер, Фридрих — 117, 187, 346, 418, 435
 Шлегель, Август-Вильгельм — 44, 45, 114, 118, 197, 355, 380, 381, 383, 385
 Шлегель-Мендельсон, Доротея — 119, 321
 Шлегель, Фридрих — 119, 321, 381, 382, 383, 384, 426, 428
 Шлейермахер, Фридрих-Даниэль-Эрнст — 383, 385
 Шмалъц — 381
 Шмидт-Вейсенфельс — 425
 Шмидт, Юлиан — 422
 Шопен — 398, 434
 Шопенгауэр — 419
 Шотус, Толет — 41

Шпис, Иоганн — 22, 348, 349
 Штитта, Филипп — 386
 Шпиттлер — 418, 445
 Шпренгер — 283
 Штар, Адольф — 417, 446
 Штауб — 185
 Штейн — 211
 Штейнман, Фридрих — 380
 Штиглиц, Генриетта — 391
 Штиглиц, Генрих — 391
 Штифтер, Адальберт — 421
 Штольте, Фердинанд — 352
 Шторм, Теодор — 421
 Штраубе, Генрих — 381
 Штраус, Давид-Фридрих — 180, 402, 405
 Штраус, Соломон — 406
 Штротдтман Ад. — 314, 347, 365, 427
 Эберт — 434
 Эвербек — 412, 415, 416
 Эвоп — 160
 Эйхендорф, Иосиф — 358, 388
 Эккерман, Иоганн-Петер — 114
 Экштейн, барон — 321
 Эльслер, Фанни — 227
 Эльстер, Эрнст — 347, 370
 фон-Эмбден, Людвиг — 369
 Энгель, Эдуард — 369
 Энгельс — 403, 409, 410, 411, 413, 414, 417
 Эразм — 429
 Эредий — 358
 Эрнст-Август — 400
 Эрнст Кумберландский, принц — 262
 Эсте — 194
 Этцель — 9
 Юдифь — 48
 Юлиа, Анри — 367, 368, 369
 Юлиан — 175
 Юний — 204
 Якоби — 187
 Ян — 118, 380, 383

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Г. Гейне. С портрета маслом Ф. Лено	32—33
Титульный лист первого издания «Доктор Фауст» . . .	48—49
Титульный лист первого издания «Боги в изгнании» . .	68—69
Рукопись начала «Боги в изгнании»	80—81
Рукопись «Боги в изгнании»	—
Г. Гейне. С портрета карандашом, сделанного с на- туры Э. Б. Китцем	144—145
Рукопись «Мемуаров» Г. Гейне	240—241

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Февральская революция. <i>Перевод А. Федорова</i>	1
Предисловие к новеллам А. Вейля. <i>Перевод А. Федорова</i> . .	13
Доктор Фауст. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	19
Боги в изгнании. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	67
Богиня Диана. <i>Перевод Е. Лундберга</i>	95
Признания. <i>Перевод А. Горнфельда и Бернштейна</i>	107
Мысли и афоризмы. <i>Перевод Е. Лундберга</i>	171
Мемуары. <i>Перевод Е. Лундберга</i>	233
Леве-Веймарс. <i>Перевод А. Федорова</i>	299
Варианты и дополнения	307
Комментарии — <i>Н. Я. Берковский</i>	341
Хроника жизни и творчества Генриха Гейне — <i>Н. Я. Берковский</i>	376
П р и л о ж е н и я:	
Сведения о недошедших до нас произведениях Г. Гейне	425
Разговоры с Гейне	427

Редактор Е. В. Якобсон. Художество, редакция М. П. Сокольников. Лит. техн. редактор В. В. Чешихина. Техн. редактор Л. А. Чалова. Наблюдение на производстве Г. А. Батков.

Сдано в набор 3.XII. 1936. Подписано к печати 8.VI. 1937. Тираж 15 500 экз. Уполномоч. Главлита № Б-9090. Индекс А-1. Изд. № 250. Уч.-авт. л. 20,35. Бумага 82 × 110 в 1/32. Бум. л. 7,5. Заказ № 1127.

Отпечатано во 2-й типографии ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный двор» им. А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.

Цена Р. 8. —

Переплет Р. 2. —

О П Е Ч А Т К И

<i>Страница:</i>	<i>Строка:</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует:</i>
183	14 сн.	другая	другие
196	8 »	летия	лет, и я
287	6 »	привлекают	привлекает
316	4 »	привела	привезла
327	3 »	был	не был
353	3 св.	его.*	его»*.
415	8 сн.	гладиатором»,	гладиатором», — до
419	1 »	«Revue	в «Revue
456	3 св.	Океан	Океан


Заказ № 1127.

ГЕЙНЕ



ГЕЙНЕ

10



ACADEMIA

